

НИКОЛАЙ РАЧКОВ



## КАКИЕ СВЕРКНУЛИ ВО МГЛЕ ИМЕНА!

\* \* \*

Синее небо и даль голубая...  
Сколько прошло здесь,  
смеясь и рыдая!  
Пахнут поля, и холмы, и долины  
Запахом хлеба,  
мёда,  
малины.  
Сказочный мир,  
где под ливни и ветры  
головы клонят  
берёзы и вербы,  
Где по зиме  
серебристо-хрустальной  
Слышится звук колокольчика  
дальний,  
Звук не простой,  
исторически-длинный,  
Душу встряхнувший,  
Старинный-былинный.

---

*РАЧКОВ Николай Борисович родился в Горьковской области. Там же начинал печататься как поэт. Автор более 10 стихотворных сборников. Ныне живёт в городе Тосно Ленинградской области. Член Союза писателей России.*

Сколько промчалось —  
об этом забыли —  
В сёдлах,  
в санях ли,  
в автомобиле...  
Кто их и где ожидаючи встретит,  
Небо не скажет,  
земля не ответит.

### ФРОНТОВИК

В подбитом танке он горел,  
Отстреливался, но не сдался.  
Его водили на расстрел,  
И всё-таки он жив остался.

Он у сельпо в родном селе  
Под вечер, опершись на клюшку,  
Стоит всегда навеселе:  
“Марусь, добавь на четвертушку...”

Фронтовики... Семён... Егор...  
Иван... Вернулось их немного.  
Я с детства помню до сих пор  
Его — с грабельками у стога.

Ничто такого не берёт,  
Такой, коль гром военный грянет,  
Пойдёт, за Родину умрёт  
И бронзовым однажды встанет.

### МАЙОР

Он горькую пил, этот старый майор.  
Блуждал где-то в прошлом израненный взор,  
В том огненном пекле.  
“Вторая Ударная? Это кремь.  
Мы шли на прорыв то ли в ночь, то ли в день,  
Не помню — ослепли.

Ослепли от взрывов фугасных и мин.  
Плевали на Власова — сукин он сын.  
Мы шли на погибель...”  
Всё ниже клонилась, сутулясь, спина.  
Он бредил. И еле держал ордена  
Изношенный китель.

Без устали цепи выкашивал дот.  
Из той мясорубки, из шедших двухсот  
Их вырвалось трое.  
Их били свои по зубам и под дых.  
“В штрафную! — кричал особист. — Всех троих,  
Вот там все герои...”

Седой, как полынь, в ста смертях закалён,  
Гвардейский он вёл на Берлин батальон.  
Но нет горше темы:  
“Постойте. На Сталина зла не держу.

Он вождь, и когда бы ослабил вожжу,—  
Погибли бы все мы...”

Изведал наветов удушливый чад.  
“За что ж меня власовцем люди кричат?  
Мне так, братец, плохо...”

Какая война! И какая страна!  
Какие сверкнули во мгле имена!  
Какая эпоха!

\* \* \*

Вот закрою глаза...  
На окне занавеску из ситца  
Отодвину и в поле уткнусь удивлённым лицом:  
Серебристая рожь катит волны свои, колосится,  
А над ней жаворонок зеркальным звенит бубенцом.

Где-то вёдра гремят... Где-то фыркает бодро лошадка...  
Неторопкий мужицкий летит со двора разговор.  
А малина поспела, и пахнут томительно сладко  
В спелых ягодах ветки, упав на дощатый забор.

Но гляжу я на поле, гляжу на его переливы,  
На таинственный блеск и молю, чтобы он не исчез.  
И неслышно, неслышно в душе возникают мотивы,  
От которых душа воспаряет почти до небес...

...Если в жизни суровой чего-то я всё-таки стою,  
Если я до сих пор не погиб от любви и тоски,  
Низко кланяюсь полю, ведь там моё детство босое  
Всё бредёт, всё бредёт, раздвигая рукой колоски...

ПЁТР КРАСНОВ



УШЛЫЕ

РАССКАЗ

I

Он когда, в какой момент прощания понял, что самое, может, большое сердцу в жизни, в этом бытии под ныне тихим предосенним, в голубенькой размытой акварели небом, среди негромкой затем суеты поминального обеда — испытание любовью? Когда, расставаясь навек, не поцеловал, а прижался, мучительно притиснулся лбом к бумажному венчику на спокойном, только чуть удивлённом материнском челе — к ней, маме, без которой не мог представить своего существования ни во все его давно зрелые, на пятом десятке годы, ни даже теперь, пред свершившимся, тем более в мутном, обещавшем лишь ноющую память будущем? Или когда, не дожидаясь, пока все разойдутся с поминок, жену оставив с сыновьями и сестрой прибираться, на “жигулёнке” своём вернулся на кладбище и от креста переходил к кресту, к пирамидкам с поржавевшими звёздами и крестиками, к новым под мрамор плитам стоймя, в фотографии вглядываясь, в полужнакомые лица, озабоченные, всё ему казалось, тайной и, одновременно, неким знанием той другой, уже посмертной жизни своей? А потом повернул опять к родительской могилке, к свежей, кусками дёрна обложенной и не успевшей ещё высохнуть и поблёкнуть глине её пополам с чернозёмом, под которой неведомо

---

*КРАСНОВ Пётр Николаевич родился в 1950 году в с. Ратчино Оренбургской области. Окончил Сельскохозяйственный институт и Высшие литературные курсы. Печатался во многих периодических изданиях, автор полтора десятка книг прозы. Лауреат многих литературных премий, в том числе им. И. А. Бунина, им. Александра Невского “России верные сыны”, “Ясная Поляна” им. Л. Н. Толстого. Живёт в Оренбурге.*

как пребывала ещё во плоти она, мать его, — и в то же время, он знал, её уже там нет, не было...

И не спросить — где, некого, хотя так много крутом их, на тебя глядящих с молчаливых крестов и надгробий, с выгоревших и потускневших порой до неузнаваемости, непритязательных по-сельски фотоизображений, подобию лиц и глаз, некогда живых. Всё та же двойственность являла себя здесь, настаивала на себе, душу и мысль надвое разнимала: их, отстранённо глядящих на него и некой думой, тайной своей занятых, ему недоступной, нет здесь давно — и все они, тем не менее, тут, и не только в тяжёлой материковой глине той, но во всём... в обустрое кладбища самого, да, сиренью и берёзами обсаженного, шелестом и вздохами зрелой листвы встречающего всякого, кому затосковалось отчего-то по ушедшим, кого безгласно позвали они, да в том же сельце их Рязановке, речной низиною разбросанном среди огородов и садов, где каждое бревно или кирпич их руками уложены, обихожены, каждая дощечка прибита, всякий саженец взращен.

Перекрестился ещё раз перед родительской, с похороненным тут пятью годами раньше отцом и теперь навечно на двоих оградкой. И выбрался из рядов могил с пожухлыми, а то и свежими совсем венками и цветами, со всем этим наивным бумажным разноцветьем, простосердечными попытками увлажнить, заговорить ли смерть и саму свою всегда виноватую память; и прошёл на недавно пригороженное, для других своих приуроченное сельскими властями место, сел на травку, закурил.

Его, Сарычева, только и отпустили, что на похороны, завтра уже надо было уезжать. На днях ожидалась отправка на полигонные испытания их “изделия”, и ему, ведущего конструктора замещающему, при всём желании никак нельзя было отложить дела важнейшего этого, на которое потрачено столько изнурительных, долгое время неудачных поисков главного решения, столько накачек и наездов от московского начальства выдержано, что уже на грани закрытия завис проект. В другой ситуации он постарался бы и девятого дня материнского дожидаться, отгулов на целый отпуск набралось, и пожил бы тут, на родине всего, что в нём есть кровного, в домишке изначальном своём, по местам заветным побродил... ох как давно не навещал их, не успевая в коротких приездах сюда оглядеться, отцу-матери толком помочь по немудрёному хозяйству, да на речке хотя бы посидеть, окушков подёргать. После смерти отца чаще навещался, уговаривая мать переселиться к себе, комнату ей даже с женой приготовили, но та отмахивалась только: нет уж, от своего никуда... Рядом, в райцентре, жила семейно и Ольга, сестрёнка, приглядывала за ней, будучи сама врачом, и кабы не тромб этот... Но что теперь и на кого пенять — на себя, на жизнь самоуправную? Ей наша тоска, наши жалобы — что есть они, что нет. Вот и дом сиротою остался, соседскому догляду препорученный уже, и скоро ли доведётся хотя бы на побывку заглянуть сюда — он и сам не знает, третий год без отпуска, на “передке”. А уж чтобы вернуться, поселиться здесь...

И не первый он, не последний такой из крестьянских детей, какие разрываются между делом городским, в его-то случае не меньше чем государственным, край как нужным не ему же одному, а всем, и повелительным подчас желанием жизни иной, иного же и дела, не навязанного случайными обстоятельствами, а то и причудами судьбы, а изначала сродного тебе, простого, но полноценного, дающего душе уверенность в исполнении долга своего, все мы здесь должники, и вместе с тем и покой бытийственный — которого давно уже не находил в себе, и не только из-за бывающих неудач профессиональных. Из кого-то, более-менее успешных, желание это давно и начисто повыветрено урбанистическими со смогом пополам сквозняками, у иных замешено лёгкой, временами несколько обостряющей предотпускной ностальгией, хотя предпочитают-то ей Хургаду или, на худой конец, Гурзуф. И лишь совсем немногим достаётся это как некая родовая заноза, какую зубами не вытащить, и нет-нет, да слышишь, читаешь ли, как некто, продав жильё городское, срывается к отчому поближе, к изначальному, есть такие.

Понятно было, что срабатывает тут и давно известное недовольство собой и жизнью своей, какое нередко в русском человеке, где бы он и как ни жил,

и если даже прирождённых горожан порою сманивает сельское житьё, то что уж о нашем брате говорить. Другое дело, что и в селе-то сейчас не то что не мёд, а самая что ни есть разруха ползучая всего, что он знал, любил и помнил, и потому если и придётся кому возвращаться, то лишь к остаткам жалким жизни былой, какая вольно шумела здесь и полна была опережающим все наши того времени вопросы-запросы собственным своим, естественным смыслом.

И он наверняка тоже маялся бы теперь этим, когда бы волею целой вереницы отнюдь не случайных, в чём-то, верно, предопределённых понуждений, судьбою у нас именуемых, не нашёл в городе своего дела, оправдывающего всё, в числе том и необходимость числиться горожанином, жить не то что бы чужой, но и не вполне будто своей волей и жизнью души, обязанностями, ей навязанными или взятыми на себя по доводам рассудка и совести, всё того же долга... на соглашении, да, на контракте с неизвестным сроком действия — в реальности пожизненном, скорее всего, хотя ютилась едва ль не в подкорке не то что надежда, а так, полумысль некая отойти когда-нибудь потом от дел, наконец-то осуществлённых, и поселиться на остаток дней где-нито на бережку, окнами на бегущую воду...

Да ведь и знал, что не сбыться этому, слишком сурово оборачивалось время для всего, что он своим кровным считал, что обязан заслонять от неумного, совсем уж оборзевшего и себя теперь ничуть не скрывающего зла.

Сидел на прогретой сентябрьским приусталым солнцем траве, курил, глядел на разнобой крестов, оградок и плит, поселение второе и последнее на грешной и нашими, и чужими грехами, на своей земле своих людей — да, никак не чужих ему, многих тут он знал или не сразу, но узнавал в неуловимо чем знакомых, в отроческой ещё памяти оставшихся лицах, глазах... Родственных, не меньше, все здесь переплетены, как дернина корешками, породнены близкими ли, дальними связями семейными, узами генетически целого, не разъять, за два-то с лишним века, после переселения сюда прошедших со времён Екатерины, не считая даже веков прародины рязанской. Все родня ему здесь единокровная, все свои...

И горячим невольно подкатило к горлу и глазам, любящим; угнулся, пересиливая, досталось в эти дни сердцу, что ни говори. Всё своё, и есть что помнить ему и до последнего часу не забывать, даже вовсе для памяти ничего вроде не значащее. Она вокруг всегда была, родина, и во всём открывалась, сказывалась, несказуемой оставалась, тайной, хотя все отдельные проявления её никак не сокрыты были, на глазах повседневно, в обыденности, в самой что ни на есть малости порой. Горьковатый и чуть пряный запах, вкус ли лопушка, вороночкой свёрнутого, каким отец учил его, мальчика, пить из родничка холодную железистую воду, — после того, как отъехали они на "газоне" с полным кузовом тёплого зерна от запаленно грохочущего всеми сочлененьями своими комбайна, в мареве пахучей хлебной пыли и соляного чада плывущего, и свернули вниз, в ростошь, заросшую тёмным ольшаником и осоками лошину, под спасающую от зноя шелестящую многоречиво, каждым листочком лепечущую высокую сень... Или медлящими на мгновение-другое искрами многоцветными переливающимися снег, хрупающий, на все голоса разговаривающий с тобою, ревниво подвизгивающий каждому шагу, а над ним мутный окраск луны в морозном облачке, крещенская прозрачная ночь — и, разговору снега не внимая, звенящая поверх всего тишина, всегда словно ждущая чего-то от тебя... того, наверное, что ты подумать можешь, сказать ли, сделать, к тебе именно обращённое требование смысла — кто ты? зачем здесь? на какое дана тебе дело во всевладение земля эта, ныне заснеженно спящая, но готовая в сроки свои отдать сторицею всё, что ты вложил в неё? Многое ждалось от тебя, неразумного ещё, родиной молчаливой, всякого претерпевшей с избытком, и оправдать ожидание то хотя бы частью, малым делом своим — это как перед семьёй, без слов лишних, тем паче натуг патриотических, каких терпеть не мог, с тою же обыденностью, с какой сенокосили, картошку копали в огороде или на призывной в райвоенкомат собирались, два десятка лет тому и он в ракетных радиотехником отслужил, о профессиональном за деньги наёмничестве тогда и речи быть не могло.

Всё здесь наше, семейное, могилами укоренённое, трудами непрестанными, надрывными порой, вздохом первым и последним же каждого, кто упокоился тут, всему простив, верить хочется, и всё благословив. И ему среди них, когда срок придёт, исполнится, впервые подумал, да нет — уже решил он, и ни где больше.

## II

Город сразу взял в свой учащённый, как сердцебиение не совсем здорового, одышливо спешащего куда-то субъекта, оборот, и Сарычеву пришлось едва ли не разрываться меж самыми неотложными делами. Запустив с сотрудниками, ребятами молодыми большей частью, по человечку отобранными со студенческой скамьи в эти пять-семь лет и на идеи хваткими, последнюю перед испытаниями и потому самую тщательную настройку аппаратуры, помчался в бывшую обкомовскую больницу. Там вот уже вторую неделю отлёживался после микроинсульта, всё никак не мог отойти ведущий конструктор Кошелев, и надо было срочно обговорить и уточнить напоследок все параметры с Александром Витальевичем, сам алгоритм испытательного процесса, да вдобавок окончательно утвердить его по защищённой связи с начальством полигона. Установку уже через два дня предстояло погрузить на военно-транспортный и вместе с группой испытателей вылететь в астраханскую степь.

А тут ещё из ФСБ позвонили, и куратор их, подполковник Барвенков, сообщил, что меньше чем через месяц состоится в городе международная конференция по борьбе с терроризмом, ожидается делегация из организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, и вам, дескать, предстоит выступить на секции радиоэлектронной борьбы с этим самым клятым терроризмом, подготовьтесь. Да когда, возмутился Сарычев, вы же знаете, что на мне сейчас... Как не знать; но и дело это, рокотнул настоятельно в трубку подполковник, важное — для вас именно... Доклад готовьте, вы же этими средствами борьбы занимались раньше, вот вам и карты в руки, как раз и осветите им вчерашний день... Там, кстати, и спец оттуда будут, серьёзные. И тут особый момент есть, вас касающийся... ну, вернётесь — поговорим.

Какой ещё момент, злился Сарычев, разбирая в дорогу и раскладывая в папки документацию, — личный, тем более? Темой той он занимался вынужденно лет шесть назад, когда глупо, если не преступно обрезали остатки финансирования под главную задачу их группы — противодействию “Иджис”. И хорошо, что хоть и с запозданием, с потерей крайне дорогого времени, но одумались наверху, вернули к делу насущному, не менее чем стратегическому, и не без помощи фээбэшников... Да и эта контора так порой намудрит на пустом месте, что только дивишься: им что, заняться больше нечем, чтобы прокорм свой сытный хоть как-то оправдать? Их бы на наши харчи... Охранять получше наконец-то стали, и то ладно. Даже и подумать тошно, сколько и чего ушло, утекло за эти четверть века на запад и восток, сколько мозгов увели, пусть и продажных, — не сосчитать теперь уже, не вернуть...

И какое там, к чёрту, сотрудничество может быть с зачинщиками-модераторами этого самого террора по всему белу свету? А тем паче по военно-техническому, которого у ведомства Сарычева с ними в принципе быть не могло? Это кремлёвские могут ещё изображать, как сейчас, некое взаимодействие по этой части, а то и снюхаться с той стороной или вовсе лечь под победителя, сдавая всё, до чего дотянуться смогли, как в девяностых. А у них, технарей комплекса оборонного, весь смысл существования только и исключительно в соперничестве, задаче опережения врага в гонке, какой не видно конца, и в ней тайна — безусловный императив, потому и кошелевская лаборатория радиоэлектронной борьбы даже в их закрытом научно-производственном объединении ютится под вполне безобидной вывеской группы измерительной аппаратуры.

И теперь надо было подготовить к конференции текст “пустышки” для шефов этого самого международного терроризма: мол, гоняемся за ними, вашими подшефными, по горам, по лесам кавказским с аналогами ваших же поисковых систем, какие давно продаются на выставочных, считай — улич-

ных развалах рынка вооружений... Не про последние же, в самом деле, наработки им рассказывать. Посадил за эту писанину своего давнего по этой проблематике помощника Лёшу Пасько, остающегося теперь на лаборатории за старшего, уж он-то понапишет, без малой даже усмешки умеющий анекдоты травить, разыграть дурака, на летучее словцо спорый: “Хочешь попасть в Америку? Ноу проблем-с, записывайся служить в ракетные войска...” Сарычев лишь предупредил его, полусуто: “Не вздумай им при встрече про Кука спеть... что ни говори, а демаскировка. Измерители-исполнители мы, лохи, и взять с нас нечего...” — “Тюк — прямо в темя — и нету Кука...” — не лишил себя удовольствия, прогнусавил Пасько, памятуя инцидент прошлогодний тот, наделавший смутного переполоху в западной и радостного гогота в нашей блогосфере. Что ж, кое-что дали понять пиндосам, как окрестила их молодёжь нынешняя, да и давно пора, с явной же провокацией пёрли к побережью, охамели совсем; а Крым — ломоть отрезанный уже, позднеенько спохватились. Но ещё доводить и доводить до ума саму возможность эту ребятам из Калуги, ему неизвестным, по дальнедействию особенно и нужной компактности, ещё намаются.

Астраханская сентябрьская жара не удивила, как не удивлял в прошлые приезды сюда и жёсткий зимний ветродуй, роздыху не дававший, хотя вроде бы на одной параллели с Парижем, если не южнее... ну, родину не выбирали — ни здешние, ни его родова рязанская, разве что первопоселенцы незапамятные, да и те чаще по нужде, скорее всего, по произволению случая, истории самой. Не выбирали, она свыше даётся — раз и навсегда.

Намотавшись по зною, в раскалённых кунгах насидевшись за мониторами, одна была здесь услада — арбузы достославные; сюда, по преданию, даже и сам Фадеев езживал на промывку ими почеч-печени, по-петровски претрудившихся в державном деле, с чёрным хлебушком весьма они в том действительны. Вечерами, когда притихал суховец, как это во всякой большой степи бывает, принимали за ужином местную же водку — в меру, для релаксации, так выразился прикомандированный к ним от ФСБ Климушкин, общительный мужичок неизвестного звания; и он же, заранее похохатывая, рассказал, как год назад на свадьбе племянницы побывал. У жениха в уральской казачьей станице справляли свадебку, в курене добротном с просторными тёмными сениями — в один угол которых накатано было этих арбузов центнера с три, не меньше... В первый же в застолье перерыв они, мужики из родственников новых, этак парочку взрезали, съели в охотку, нахваливали... и, знаете, ничуть не хуже этих, астраханских. А во второй раз когда вышли из-за столов — нету в сенцах кавунов, ни одного! Они к бабам-своям, как на столы подавали: что за чудеса, где?! Те в смущении, не знают толком, что и сказать, отговориться чем: мешают, мол, не успели загодя убрать... а чему бы там мешать? И всё ж докопался, доспросился он у одной старухи, суровой такой. Да на вас тогда водки не напасёшься, сказала без церемоний, с арбузами-то... не упоишь.

— Прочищают чердачок, выходит. Так что поосторожней вы с ними, парни, — всё похохатывая, добавил он. — Этак никакого запаса не хватит...

Вышел потом Сарычев с ним из гостинички покурить на просвеженный воздух, лицом к меркнувшему на глазах, прогорающему до пепельно-сизого кострищу заката.

— Всё спросить хотел, да как-то не соберусь... — сказал Климушкин, любопытства ему не занимать было — похоже, и профессионального тоже. — С эсминцем этим... ну, с “Дональдом Куком” — не ваша в прошлом году работа? Здорово сработано, ничего не скажешь — молодца!

— Да краем уха, от ребят из отдела соседнего — инфа какая-то или де-за в инете прошла, мол... Нет, что вы! Некогда, понимаете? — пожаловался он. Мало кому можно верить было, предающим-продающим, перебежчикам всяким в смуте нынешней — несть числа, и незачем охраннику знать, чем они тут занимаются. Нельзя исключить и проверку со стороны охраны, о чём приходилось не раз предупреждать своих. — С зимы в заматке, шеф в больнице, а тут на полигон ещё, жариться... А что там такого уж? Я и сразу-то не очень понял, что к чему там, а тем более верить...



— Ну как же: под Крымом “сушка” наша атаку симитировала, локаторы вырубила им, вся электроника там сдохла, говорят... голыми руками бери! Перетрухали на этом новейшем “Куке” всерьёз и к румынам скорее, в порт забились. Чуть не три десятка из экипажа на увольнение подала, писали же — паника...

— А источники, достоверность? — был неумолим в скептицизме Сарычев. — Простите, я хоть и не спец по этой части, но какой-никакой учёный всё-таки и мне достоверные факты нужны, подтверждённые многократно и из разных источников, а не с этой... с помойки всемирной, интернета. Да и что эта за аппаратура военного назначения, если она не защищена? У них с этим неплохо налажено, насколько знаю, и что-то не верю я...

— Да?

— Да. И у нас, я слышал, над защитой такой работают. А наше тут дело маленькое — измерять, что дадут.

Над защитой нападением — только так, и другой военной логики нам теперь не оставлено. Фээсбэшник, скорее всего, не поверил ему, но выразил всем лицом явное разочарование, понятное в любом случае; впрочем, ему-то и отсутствие результата — тоже результат. Но не им, кошелевцам: трёхступенчатая, предназначенная сбивать наши “стратеги” на взлёте, достигающая и до спутников противоракета системы “Иджис” на этих эсминцах крайне опасна, и суметь вырубить эту систему не только с самолётов, но и с орбитальных установок наших — вот сверхзадача, от которой уклониться некуда.

Там, под Крымом, наши задействовали уже известный комплекс “Хибины”, и задача отпугнуть пиндосов была, конечно же, чисто демонстративной, отвлекающей; а главной — снять радиометрические характеристики их аппаратуры, какую врубили те в активном режиме, не зря же “сушка” буквально ездила им по головам, аж двенадцать заходов сделала условно-боевых... Ну, может, и засветила им экраны, “белый шум” нагнала. Коллеги калужские передали эти снятые параметры сюда, для стационарной мишени, уже смонтированной, и теперь осталось опробовать своё изделие и на ней тоже. А комплекс их самолётный сработал там на дистанции ближе некуда, тут-то всё понятно и ожидаемо по спецэффекту было. В боевых же условиях “сушку” обнаружили бы и попытались завалить километров за сто пятьдесят, а то и все двести... И ещё не совсем ясно, помогли бы ей “Хибины”?

Кошелев же сумел настоять в верхах на своей, параллельной разработке на основе радиофотоники, со сходным, но по радиоэлектронным и прочим параметрам весьма значительно усиленным фактором воздействия, поражения — так по их теоретическим расчётам выходило, по крайней мере. Но одно дело — расчёты, и совсем другое — “в железе” их воплотить. Над этим и билась столько времени, и вот вроде получалось, не сглазить бы.

Получалось, с разным успехом, но одну за другой гасили на дальних дистанциях, выводили из строя системы целеуказания летающих мишеней, имитаторов высокоточных средств с джипис-навигацией, с инерциальной наводкой на цель тоже. И стационарную, имитирующую эсминец тот же, обрабатывали довольно результативно. На мишени, разумеется, ставились аналоги известных нам зарубежных средств защиты, очень даже неплохих, но энергетический мгновенный, как бросок кобры, импульс кошелевского “Аспида” пробивал и их, вызывая сбои в начинке электронной, и чем сложнее она, известно, тем результативней даже самая малая в ней помеха, сигнал искажённый. Так приходилось растолковывать некоторым лицам из военной приёмки. Другое дело, что испытывалась установка не на последних образцах, не на главной фишке их — противоракете “Стэндерд-3”, где безусловно поработали они над новейшей защитой, и потому доводить эффективность “Аспида” надо, желательно, до двойной-тройной, чтоб уж наверняка. Если бы ещё не позорное двадцатилетнее, считай, отставание в микропроцессорной технике, не та разруха и нищета, в какой приходилось работать, все и всяческие предательства переживать, преодолевать... И всё-таки было теперь с чем возвращаться домой, вдобавок и с появившимися у них намётками на доработку, обнадёживающими тоже. Главное же, с результатами этими не могло уже быть и речи о закрытии проекта.

### III

А пока, вернувшись, оформляли итоги испытаний, Сарычева два раза приглашали в областную ФСБ, причём вместе с подполковником Барвенковым принимал его приехавший из столицы немаленький, по всему судя, чин их ведомства, назвавшийся Константином Павловичем, — на удивление молодой, с вязким каким-то, показалось, взглядом и поставленной речью:

— Небезызвестно нам стало, Андрей Иванович, что в составе делегации под эгидой организации по безопасности и сотрудничеству Европы, старухи довольно-таки злобной, прибудет ваш бывший однокашник Нежуринский Остап... э-э... Тарасович, спец по делу по вашему. И по нашим данным...

— Вот как?! — перебил Сарычев, никогда-то не считал нужным, как это невольно подчас делали другие, оказывать некое почтение функционерам этого заведения. — Ну да, ещё по техникуму электронного приборостроения, краснодарскому. По институту потом, в одной комнате как-то жили в общежитии. От армии откосил, как я слышал. Больше не виделись.

— Знаем. Так вот, спец, которого служба безпеки незалежній оплошно, я бы сказал — беспечно выпустила за кордон. Впрочем, оплошно или по настоянию из-за бугра, по согласию — это ещё вопрос... Что вы о нём скажете?

— Высокого класса знаток, читал его работы. В нашей специальной, в инопрессе потом.

— И что за... хлопец был, сам по себе?

— Как человек? Умён. Практичен весьма, рационалист... — Причём отъявленный, вспомнилось ему: вечно высчитывал всё, даже то, чего высчитать, казалось бы, никак нельзя... да, из троих девиц выбирал наиболее подходящую себе, балансы плюсов и минусов сводил, советовался с ними, троими соседями по комнате, скорее, чем друзьями. Нет, друзей не припоминал у него, очень уж себя любил. — Хотя, вообще-то, всегда корректен был, со всеми ладил. Обаять на время умел, эгоизм ему в этом как-то вот не мешал... И где ж он сейчас?

— В Роттердаме по местожительству числится, вилла у него там. А по функциональной прописке сразу в нескольких местах засветился — и, сдаётся, ещё не во всех... шустёр, однако. Но, в основном, вахтовым методом-способом за океаном, в корпорации “Локхид Мартин”, куда как известной вам.

— Ну да, как разработчики “Иджис”...

— Так вот, — встал Константин Павлович, прошёлся вдоль стола для заседаний, сцепив руки за спиной, развернулся, — должен сообщить, что они имеют явные виды на вас.

— На меня? — не стал скрывать удивления Сарычев. — Вот уж не знаю, чем обязан... Это что ж, и я где-то тоже, выходит... засветился?

— Не думаем, — успокаивающе сказал Барвенков. — Просто они так же читают ваше, отслеживают публикации открытые, высчитывают ваши возможности, вероятия всякие. И едет Нежуринский, а с ним один давний беглый, ещё из эмигрантов третьей волны...

— Ушлый, как таких Даль определяет в словаре своём, — добавил и Константин Павлович, усмехнулся. — Ушедший то есть слинявший, если по-простонародному.

— ...Едут они с этим ушлым Дридзо не от натовской шарашки, разумеется, с теми-то давно у нас заморожено всё, а от обээс Европы, этаким миротворческой якобы. И, кстати, знаете, какой предлог отыскиали? Подписанный нами заключительный документ аж Лиссабонской, две тысячи второго года, конференции по предотвращению терроризма и борьбы с ним... А значит, комплексы подавления, глушения связи интересуют их, усыпления дистанционных фугасов и прочее... ну, вы-то знаете лучше. Впрочем, борьба-то эта всегда актуальна, потому какого-никакого сотрудничества не прерываем: нет-нет, да подкидывают нам данные — как и мы им. Но этих-то, по всему, совсем другое сюда привело, уязвимость джипис-навигации их нервирует, да и самих спутников тоже, систем целенавещения и разведки, локаторов

тех же. И чем-то вот заинтересовали вы их, именно по вашей, научной части. А в этом мы, сами понимаете, разобраться не можем... чем? Щупать вас будут.

— Я, простите, не девка на выданье.

— И тем не менее, — улыбнулся одними губами, кажется, московский гость. — Да вы и... не упирайтесь особо-то. — И упредил возражение, ладонь поднял: — Подождите, у меня к вам один и не сказать, чтобы простой, вопрос. Знаем, что вы долго шли к нынешнему решению, с Кошелевым я уже встречался: если много мучиться, что-нибудь получится, такой вот алгоритм... У вас было направление в поисках его, решения, которое казалось самым перспективным и не передовым даже, а намного опережающим современные разработки — и которое оказалось потом совершенно тупиковым?

— Было одно, — подавил вздох Сарычев, глядявываясь в молодого да борзого этого, из нового, видно, поколения псов государевых... добро бы так. И чего он хочет-то? Сказал ему о той статье Александр Витальевич — и если сказал, то что? Статью свою тогда, три с лишним года назад, Сарычев опубликовал в открытом научном сборнике, терагерцовым технологиям посвящённом, и тянула она едва ль не на открытие — и, слава Богу, не дотянула, вовремя они с той заманивающей дорожки сошли... — Да что об этом теперь...

— И возможность того направления, вы думаете, известна им? В принципе если?

— Нежуринскому? Наверное, они ж, как вы говорите, читают наше. — Значит, что-то сказал всё же Кошелев ему? Сказал, иначе вопроса этого и не было бы. — Он и сам далеко заглядывает, надо ему должное отдать... теоретически, по крайней мере. А что у них в загашнике...

— Далеко не всегда заглянешь. Но всё-таки знаем, что именно на вас они глаз положили. И спрошу прямо, без экивоков: а не могли бы вы как-то навести их при встрече на... ну, скажем, на тот вариант решения, который вы отвергли? В этом-то вы заинтересованы, полагаю, даже побольше нашего.

“Вашего”, “нашего”... После августа девяноста первого, октября девяноста третьего никакой веры и быть не могло этой конторе, если не сказать хуже. И ещё разобраться предстояло в самом её непосредственном участии в томговоре-заговоре — но это, по всему судя, не завтра и даже не послезавтра будет... Выслеживала, щемила как могла всех несогласных с разбоем в стране своей, преступников и предателей пасла-хранила, на каких пробы ставить негде, давила и Союз офицеров, где тогда привелось Сарычеву посодествовать общему делу, за что и лишён был ими работы в нижегородском КБ на два почти года — тоже потерянное время... И лишь в последние лет семь-восемь что-то вроде бы начало выправляться: видно, и до них дошло, что с англосаксами безопасней врагами быть, нежели какими-то там союзниками, рано или поздно — обманут самым низким образом, кинут же, сольют, с отработанным материалом там не церемонятся. Что отступать, пресмыкаясь, дальше просто некуда, разве что в окончательное ничтожество своё, холуяж колониальный... задом в стену упёрлись, в кремлёвскую? Похоже на то. Но и в любом случае надо было помнить, что контора всегда выстраивает свои комбинации, в которых ты — пешка. И решил, что углы обходить себе дороже:

— Значит, принято решение засветить и нас? Меня, в частности?

— Почему вы так думаете?

— А как я смогу тогда не раскрыть свою... ну, компетентность в сугобо засекреченном? Поймёт же, чем я вплотную занимаюсь... Предателя, сразу скажу, сыграть не сумею, не моё.

— А если, как выразились вы, на чисто теоретическом уровне, по направлению поиска только? — пропустил мимо ушей “предателя” Константин Павлович, опять хозяйски прошелся по кабинету; и остановился напротив, настойчиво, почти требовательно глянул. — И вообще, игра эта стоит свеч, по-вашему?

Вот именно, игра, и не стали бы свечи золотыми — в случае, если однокашник сообразит, что его наводят на ложный след. Да и уверен ли ты, что этот самый путь ими не пройден уже? Или даже оба разом, их возможности даже и сейчас с нашими не сравнить, с дозированными на самое не-

обходимое лишь, всё в догонялки вечные играем... Про статью сказать? Нет, с этим погодить. И не спешил с ответом, поскольку его пока и не было.

— Не помешает и... водочки русской, виски там — с некоторым перебором, — помог начальнику Барвенков, лучась доброжелательством в отёкшем — с похмелья, что ли? — фейсе с азиатски узкими, утонувшими в прищуре глазами. — И, разумеется, ваша давняя обида за советскую власть и в особенности на российскую... Ходу, мол, никакого, задвинули всякие бездари от демократии, выскочки... знаем, имеете что сказать. Прибедняться придётся.

— Было бы с чем прибедняться... А если лишнего наговорю? — Он уже думал, как можно выстроить тот предполагаемый разговор, если он состоится вообще, и как в нём о статье упомянуть, да и надо ль... — Объективного? Не потяните на цугундер?

— Ничего, стершим как-нибудь, — отозвался смешком подполковник. — Толерантности нас учить не надо... выучили, с излишком даже.

— Подумать дайте, — сказал наконец он. Затея эта ему никак не нравилась, зыбкая совершенно, ни на чём конкретном не основанная, можно сказать — фантазийная. А у них, небось, как операция по бумагам отчётным проходит, да ещё под каким-нибудь кодовым словом мудрёным... ох, затейники. Или что-то ещё у них с этим связано, задумано, более существенное, а его встреча с однокашником лишь деталь? Что ни говори, а рыбка важная к ним в сети заплыла, и упустить такой момент, какие-то возможности свои не хотят. — Дело рискованное, навредить можно больше, чем...

— Думайте, — согласился молодой. — А завтра встретимся, скажете своё... э-э... видение этого дела. Главное, психологически достоверно выстроить всё, нужный алгоритм найти...

И дался ему этот алгоритм.

#### IV

Дородный, благодушный, Остап при встрече их с простецким размахом вlepил свою крепкую толстую ладонь в рукопожатье, приобнял дружески:

— Да ты ли это, Андрюша?! Глазам не верю!..

— Он самый. Тут не то что глазам — уму-разуму не вот поверишь... так нас разметало. Самый тот. А ты забурел, гляжу!

— Ну уж... Трошки подрос в ширину, а так... Человек, знаешь, величина постоянная. Константа, как его ни... конвертируй. Как ни переделывай.

— Конвертируетесь вы, за бугром. А мы тут разве что в девальвацию всё больше...

— Всё прибедняетесь? — Надо же, и словечко-то барвенковское повторил; и отшагнул, представил спутника, низкорослого, губастого, с седой шевелюрой на великоватой голове человека, внимательными голубыми глазами за массивными очками уже разглядывающего Сарычева: — Савелий, коллега мой из Ноттингема, прошу жаловать! И не стесняться себя официальной и долбаным дипэтикетом; проще же сказать — друг давний и, более того, собутыльник!

— Бутылки только у нас разные, — неожиданным баритонистым голосом произнёс Савелий, пожимая руку, быстрой усмешкой сопроводив слова свои, — и мировоззрения... Терпеть не могу этот его британский шнапс, гадость подслащённую. Да ещё пацифизм его.

— Что, такой уж миролубивый? — спросил и Сарычев под одобрительное ржание однокашника, улыбаясь и поглядывая искоса на него. — Неужто разоружился?

— В теории погряз, не вытащу... — кивнул серьёзно своей головой Савелий, руки развёл. — Нет бы какой-нибудь мудрый детектор... э-э... сообразить, чтобы как под хиджаб к бабёнке, “чёрной вдове” очередной залезть — так нет, он-таки формулы выписывает, интегралы... Но где присядем-то?

Шумела, переговаривалась разноязыко, конференция, уже кто-то и спорил в толпе, жестикуюлируя снятыми очками, и они поднялись из фойе по нескольким ступенькам в зал, болтая на ходу и приглядывая себе место,

рассаживались и другие. Да, Кошелев сразу поставил в известность молодого, да раннего о той сарычевской статье и, тем самым, подал тому идею как-то использовать её в разработке пришлого, другой зацепки для объяснения интереса вояжёра из Роттердама к какому-то там кандидату физико-математических наук Сарычеву и быть-то не могло... Хотя, какая это, к чёрту, разработка, да и что она может дать для них, для него тоже, фактического? Он законченный технарь, и ему нужны более-менее чёткие данные и факты, на основании которых можно было бы сделать необходимые ему достоверные выводы. А тут одни вопросы: читали в “Локхид Мартин”, нет ли, и насколько всерьёз её восприняли, продвинулись ли по этому пути... гаданьем не разживёшься, опять вспомнил он мать, её присловье своеобычное, и неплохо защемило под сердцем. Всю-то жизнь учительницей начальных классов пасла, собирала вокруг себя ребятишек, и помнит ли кто её из них, давным-давно не то что повзрослевших, а уже успевших состареть малость, поразъехавшись кто куда, даже и в заграницы всякие, как вот эти?.. Наверяд ли, разве что в горе каком, в неладах с самим собою, перебирая год за годом существование смладу своё, найти пытаюсь, где не то сделал, не туда свернул, но и это сомнительно, а в каком-никаком благополучии и вовсе. Это как бы корешки ранней памяти отмирают первоначальные у “многих-некоторых”, как дед говаривал, и вроде дерево как дерево стоит, шумит даже, а подпитка уже не та. Считанные до сороковин дни остались, сестра звонила уже, и надо успеть, помянуть не в церкви городской только, а в доме своём, где всё живо ещё ею, отцом, отрочеством собственным бездумным, когда за каким-то счастьем проблематичным рвался, дурачок, всенепременно вперёд, в завтра — а оно оказалось далеко позади, там...

— Как жил-то? — привалясь к нему через подлокотник кресла тугим плечом, с некоей ноткой сочувствия, даже заботы спросил виолголоса Остап, уже начались доклады.

— Да так... пёстро. В чересполосицу. Сам видишь, какие нам тут годочки выпали. Не соскучишься, не то что у вас.

— Ну, нам тоже, знаешь, швидко вертеться приходится. Но хоть знаешь, за что...

Спрашивать — а мы, выходит, ни за что, да? — не то что не имело смысла, а просто вопрошание это не умещалось в их, ушных, формат мышления и хоть какого-то чувствования, так это можно было понять. Вот сидит рядом грузноватый солидный человек с породистым славянским, да что там — русским лицом, губы во властной складке, привыкшие повелевать не менее чем коллективом тамошним научным, если не целым направлением, право имеющие приказывать, выдавать фундаментальные решения, под которые тут же, может статься, отпускаются миллиарды “зелени”... Ничем же не отличается от типичных наших среднего ранга вожяков комплекса военно-промышленного, какие тащат на себе КБ, лаборатории, целые научно-производственные объединения или даже школы научные. Единоковец и однокашник, интеллеktуал, учёный едва ль не с мировым именем, флёрот относительной для спецслужб секретности прикрытым, один из модераторов нового прорыва в микроволновой фотонике — и, тем не менее, в столь широкий формат разума этого человека не может в принципе, сдаётся, вместиться его, Сарычева, Кошелева ли, ценностное “за что”...

Означать это могло лишь одно, сыздетства уяснённое от деда Павла Анисимовича, войну в Праге доконавшего. И заключалось оно в простом, даже и обыденном каком-то, теперь в конкретно-чувственном обличе рядом сидящем, ближе некуда: враг. Лютый, на всё твоё замахнувшийся.

Что ни говори, а странным, острым одновременно было осознание этого как непреложного, не переменимого никакими обстоятельствами или действиями, всё расставляющего на свои места факта. Ни эта его дружеская, якобы надёжная плотность плеча, ни доверительная прищурка скошенных на тебя глаз, с явным же и, право, доброжелательным любопытством взглядывающих — ну-ка, мол, каким стал? — и приглушённый рокоток голоса, на подступающие хвори как своему жалующийся, — ничего уже не могло изменить давно и окончательно решённого, не подлежащего никакому, даже

самому теперь малому исправлению. Вот как, оказывается, всегдашнее понимание становится куда как конкретным, не отвлечённым, можно сказать — сиомоментным знанием, кто перед тобой... И чем на это ответить, кроме как произвольным своим, с запозданием за собою замеченным движением, когда отодвинулся чуть, откинулся на другую сторону кресла?

А на будущее лето, меж тем, назначена очередная — через каждые пять лет — встреча их, однокашников, четвёртая по счёту. И ведь что удивило ещё в первую их сходку: даже с теми из них, кто был тебе вполне антипатичен, встречаешься как с дружками былыми, расспрашиваешь, в воспоминания ударяешься — общие, чем-то вот дороге всем, да и понятно — молодостью, вместе худо-бедно проведённой, чем же ещё. Но вот о нём, рядом теперь сидящем, ни на одну встречу приехать не удосужившемся, как-то не вспоминали ни разу, понял он сейчас, хотя всех вроде перебирали, кого с ними нет, особенно же успевших уйти навсегда... Что-то вот не было такого, хотя ему-то, Сарычеву, первому бы надо вспомнить, как-никак одна специализация, да и публикациями вроде как перекликались — через кордон. Видно, не у них троих только, зиму с Нежуринским проживших по случаю в одной комнате, набиралось это отчуждение, копилось...

Всё это, впрочем, могло быть просто кажущимся теперь, надуманным задним числом; а есть то, что есть, что сложилось силою и личных, и ведь не менее чем исторических обстоятельств, подлегла “незалежная”, как обманутая посулами пьяная баба, под соблазнительей, а верней уж — проданась. Верхушечная шляхта извечная проданась, мазена коллективная, о народе никогда-то не думавшая.

Что ж, к кому-кому, а к врагам не стать привыкать. И уже и поглядывал, и слушал не то чтобы равнодушно, а с ожиданием: ну, и за чем тебя сюда принесло, за каким?

Выступить пригласили в конце второго заседания, уже под вечер. Возвратясь от трибуны, встретил удивлённый взгляд Нежуринского:

— Что это ты на террор переключился, на мелочёвку? У тебя же куда более серьёзные темы были, фундаментальные, можно сказать — на переднем крае...

— А не пускают на передок... да там, кажется, и без меня тесно. Как и у всякого корыта. Ну ты-то знаешь, что тебе рассказывать.

— Но есть же интересы чистой науки, — с долей возмущения сказал, высунувшись из-за осадистой фигуры собутельника, боднул упрямо своей головой Савелий. — Нельзя давать прикладникам тащить всё в свой карман.

— А у вас они не попираются, интересы? Не поверю.

— Да, но ведь же ж и возможности совсем другие, — вовсе загорячился тот. — Множество независимых фондов есть с независимыми тоже, захочу подчеркнуть, экспертами высокой, э-э, квалификации, заходи в любой, предлагай на грант, доказывай. И тебе расчислят, сколько ты стоишь, и уверяю вас — дадут! Это менеджмент науки называется, и это на Западе поставлено, доложу вам, убедительно.

Нет, всё-таки явные нелады с русским языком обнаруживались у Савелия, в самой интонации англоязычной, да оно и понятно, сколько в чужезни жить. К тому ж и здесь, на конференции, то и дело слышен был он, английский, крайне Сарычеву неприятный всегда, ещё со школьных лет, хотя и пришлось малость освоить, техническую литературу читая. Оккупационный, вот именно, и не только для нас, а и для мира всего, отвратный высокомерностью своей, с этой его горячей кашей во рту, через губу со всеми. Да и лживый изначально: пишется буквами одно, читается совсем по-другому, а уж думается ими, англосаксами, и вовсе третье-четвёртое... На что нелюбим был с кинофильмов военных, на какие сбегалась ребятня в сельский их клуб, лающий немецкий, командный для унтерменшей, но и тот не вызывал такого отторжения внутреннего и недоверия. Немец, думалось им вслух как-то с ребятами вместе, если уж враг, так это — враг, но быть может и другом верным; а вот о британце с пиндосом этого уж никогда не скажешь, лицемерны и эгоистичны до самой исподницы, продадут и купят зараз — и опять продадут... Джентльмены её величества подлости, как

окрестил их вгорячах Пасько, и ему-то простительно было, потерявшему брата-мироворца на границе с Грузией, известно кем вооружённой и натравленной на Цхинвал. Так ведь паразитируют же на всех, добавил кто-то, грабят же за пустую “зелень” свою, мошенники, насильники над планетой первейшие!..

Но эмоциями, не менее пустыми, дела не поправишь, одним хвалёным духом технологическую мощь не превозможешь, все понимали, и первым Лёшка: “Хватит базарить... к станкам!”

— А ведь и посядять пора, да что там — встречу обмыть! Ты как, Андруша, не против? Ресторан в гостинице вроде неплох...

На весьма кстати сказанное было чем ответить:

— Только “за”. Но давай не в гостинице, мало ль...

— А что, резонно, — сказал одобрительно Савелий, понимающе улыбнулся, выказав крупные зубы, переглянулся и с Нежуринским, и с ним, — что такси... э-э... порекомендует — так, да? Только в такой... в знатный, давно по-русски не кушал.

— Да будет так!

На улице ноябрьский моросил дождь, с шелестом слякотным сновали машины. Такси “порекомендовало”, выбирал наудачу из трёх названных ресторанов сам Дридзо, и полчаса спустя они сидели в углу небольшого, но с претензией на роскошь обставленного зала.

— Не рассчитывайте, что я буду на шермака, — усмехаясь, сказал им сразу Сарычев, листая меню. — За себя заплачу.

Однокашник, оценив шутку, зашёлся тихим, памятным по курсу ещё ржанием — в чём-то и вправду ничуть не меняется человек, и кабы это обязательно было для его преподаваемых с отрочества установок на всю жизнь... Но человек-то меняется, похоже, быстрее всех в мире, и если кто опережает царя природы, то это лишь его же техносфера. Сила которой, сдаётся иногда, не по его разуму.

— Да рассчитался бы я, — благодушно проговорил, отсмеявшись, Остап, — для нас это, в евро, сущие пустяки же.

— Но не для меня, — опять пришлось сострить ему, и теперь уже и Савелий рассмеялся дробно, с придыханиями, откинув крупную голову с пышными её сединами, у всякого свой смех. Со стороны посмотреть — очень даже тёплая компания старых друзей сошлась, да и типажи подобрались занятные, впору в какую-нибудь киношку лирическую, с ностальгическим уклоном; и сам он в ней кстати, с его-то сухим нервическим лицом типичного неудачника — в гардеробе определил, причёсываясь...

Пили, ели-закусывали и опять пили — они с Савелием кедровую водку, а Нежуринский виски из солидной бутылки, всё выяснив об однокашниках, где и как они устроились, куда кого раскидала жизнь, на полухохлацкий иногда переходя:

— Та я и ни знав, шо вы тут кучкуетесь. А тогда же и грант заполучив, на стажировку в Силиконовую... Но будет о них, ты-то вот как?

— Да так... Была группа неплохая, лаборатория — расформировали. Болтался, теперь вот в измерители засунули... извольте измерять фантомы их проектов. — И фразу, у ребят расхожую, вспомнил: — Слушай, не грузи! Работаю, думаю. А там видно станет. Станет, не всё сразу.

— Но вот у тебя же в “Вестнике” статья... Они что, не читали её?

— Не прочитали, скажем так.

— Но как же ж можно?! — Это Савелий возмущился, с пьяниною глядя, и без того толстую губу выпятив, да и порядком они уже выпили с излишеством уставленного стола. — Это ж надо неадекватно мыслить, не меньше! Но почему?

— Да долбаки потому что!.. — с облегчением — вот оно! — бросил Сарычев, пьяной уверенности добавив, не помешает... что, попробовать по идеям статьи решили? Так ведь уже три года, как опубликована, даже раньше; и что же, значит — занялись уже? Ввязались в работу проверки, в эксперименты тягомотные, там сам чёрт ногу сломит, а что-то не получается у них, застряли и — к первоисточнику? Весьма похоже на то, и не зря он, выхо-

дит, столько времени убил, извилин выпрямил на неё, на выводы её парадоксальные, захватывающие...

— Ну, я бы не сказал, чтоб у вас такие уж... — несколько неуверенно проговорил Остап, глаза его стали на какой-то момент совершенно трезвыми. — А Сливцов с Кошелевым? А Курихин тот же?

— Да что от них зависит, тем более от меня вот?! Там бери повыше, и что им наука, заморочки наши? Им результат подавай — прикладной, как вот Савелий сказал, чтобы перед Рогозиным выставиться, орденоч отхватить. А того не разумеют, что от построений теоретических до какого-никакого там железа — дистанция огромного размера порой, а в России так особенно... Жлобы оборонки! Ну ничего, я не в гостях — дома. Подождём, ещё придёт-ся им нас просить...

— Ты так думаешь?

— А я не думаю — я знаю.

Хотели фаната-неудачника от науки увидеть, в своей правоте убеждённого, да хоть в статье той же? Да пожалуйста, вот он, не совсем верной рукой за бутылку “Нарзана” взявшийся было, но передумавший, водки набухавший с переливом этому Дриздо, или как там его, и себе затем:

— За науку, за м-матерь нашу!

Вышли, и однокашник как-то сокрушённо мотнул головой, маслинку забросил в рот:

— Нет, брат, я тоже от своих ждал, на неньке ридной... хрен дождётся. А всё потому, что цели у нас и у них совершенно разные, это ты верно розумыв. И надо ль ждать?

— Да-да, наука чистой же должна быть, — закивал Савелий, предостерегающий палец поднял. — И независимой от бонзов государства, от их претензий. Свобода — вот наш категоричный императив!

— Ну, свобода — она о двух концах... — хмуро засомневался Сарычев. — А на подножном корму не пробовали? В девяностых, да и в нулевых её было — хоть завались, а зубы на полку... не забыл ещё в своих куцах, Остапчик, что значит сие?

— Как же забудешь... — невесело посмеялся тот, орудия вилок и ножом. — А ты что же, невыездной?

— Да какое там... — Выездной, подумал он: в Сыры-Шаган раньше, а теперь в Ашалук и прочие подобные, где попустынной. — Ничего, сейчас вроде как одумываться стали на самом наверху, допетрили: без фундаментальной — никуда, только в третий мир. В прибалты, умных из себя корчить. И у соседей за забором подвижки по микроволновой начались, у нас тоже зашевелились... Дождёмся, терпением нас Бог не обидел... добра-то.

— Да надо ль, Андрюша?! — горячо возразил, вскинулся Остап, даже и вилку, какой ловко управлялся, отбросил. — Знаем мы, как дуже швидко тут всё робыться... А у тебя — подывись! — уже ж и голова, як той ковыл, и годы наши с ярмарки едут... Открепляйся, брат, и к нам, дело продолжишь своё — мирового же уровня может быть дело, как ты не понимаешь?!

И Савелий встрепенулся, с изумлением на друга-собутельника глядя, не сразу будто сказанному им поверив; и брови вскинул:

— А это ж идея! Нет, это имеет большой смысл. Я вот уже и думаю, в какой университет лучше... Таланту вакансии всегда есть, и вы, Андрей, будьте без сомнения. Хотите в Европе, хотите в Юнайтед стейс, вольному есть воля...

— Да уж посодеествуем!

— Вы что, серьёзно? — как бы не понимая тоже, перевёл он глаза с одного на другого. Грубо работают; да, впрочем, для наших продажных кандидатов в ушлые тоньше и не требуется. — Как-то странно всё это, ни с того ни с сего...

— Ну, почему же? — Нежуринский откинулся в кресле, совсем посерьёзился, глаза в прищуре строгими стали. — Савушка вот варианты перебирает уже, университеты, фонды эти самые... Не надо. Мой добрый друг просто не в курсе; но так и быть, скажу. Я имею полномочия приглашать к сотрудничеству учёных, желающих послужить науке, и готов давать им гарантии...



Какие? Ну, это вопрос личных договорённостей, контракции. И не слабые, скажу.

— Слушайте, я вообще не понимаю, как вы там живёте, в чужени той? — Сарычев спросил это вполне искренне — ничуть не надеясь, впрочем, на такой же откровенный ответ, не для того они прискакали сюда. Но любопытно было, со злорадством уже пополам, каким враньём ответят, без лжи тут не обойдёшься. — Это ж надо всё время почти на чужом, — и чуть не добавил: на гнусном же... — языке что-то выговаривать, сообщаться с другими, считай что жить... а думать на своём? Так это ж личности раздвоение, шизофрения... Да я сдохну там.

— Ну ты загнул, брат! — смешком своим, несколько даже игривым, показалось, ржанием отозвался однокашник, враз насторожившегося взгляда не спуская... ещё тот “братец волк”, и опять его, в который уже раз, посетило это теперь не странное, нет — достовернейшее знание, напомнило о том, чего и не забывал: кто перед ним... И отчего-то легко стало, свободно, и не то что от определённости той, она-то всегда была, а потому, наверное, что полностью ситуацией овладел, стал над ней.

— Английский? — очень удивился Савелий. — Но для меня так не чужой. Мама меня, она живая и сейчас, с четырёх лет учила им. И потом, из России мы выехали в семьдесят третьем, мне было меньше чем восемь лет, и я его... э-э... уяснил себе очень быстро. И мы даже дома то на русском, то на английском, и ничего.

Ага, вот ещё почему ты косноязычишь так, усмехнулся про себя Сарычев; можно сказать, потомственный ушлый, даже ментальный. И мать-то жива ещё у него...

— Да всё гораздо проще, Андрей, — снисходительно морщился уже однокашник, минералки плеснул себе, глотнул. — Там есть с кем разговаривать на своём. Ты даже не представляешь себе, сколько сейчас там наших...

— Ваших? Да знаю, миллионы там, в одном Лондонграде за триста тысяч. Дезертиров, как самое малое... да, как минимум. Я так это понимаю, уж не обессудьте.

— Погодь трошки, не урузумыв...

— Да что тут понимать? — Весёлая злость взяла, и он смотрел уже в самые глаза тому, будто ещё не понимающие, и даже сомнения тронуло: а может, и в самом деле “не урузумыв”? С них, шкурников, станется. — Хреново в России? Да уж не сладко, одно слово — антисистема, кровососов всё никак не стряхнём, как ни пытаемся. А у нэньки — так там вообще руина, жутко глядеть...

— И что?

— Да ничего. Тут беда на беде, работы невпроворот, каждый стоящий, дельный каждый человек на счету, а вы кинули большую мать и... На пээмже, за баблом, за карьерой, жирок наживать — скажи, не так? По совести если?

— Ну, знаешь... — Лицо Нежурина стало стянулось, заметней стали барские брыля по углам пренебрежительно похилившихся губ. — Человек свободен выбирать себе... Если бы не выбирал, лучшего не искал, то так бы и остался полускотом.

— Это человек вообще — а сын если, а дочь? Когда на то пошло, то вот скот-то как раз не знает ни отца, ни матери, не помнит, что ему какая-то там родина...

— Вот ты как? А что делать прикажешь, когда десяток лет положил на замысел свой, на аспирантском да кандидатском куске чёрством, приносишь им готовое, хоть в серийное запускай, на конвейер, а они тебе: нэ трэба?.. До президенту дойшов, по-нашему сказать, — ни-и, кажут, грошей нэма, базы производственной тоже нэмае уже, расташылы, институт на ладан дышать... Хороша ж маты! А дома шаром покати, и детки за полу дёргают: этому джину, той видик, жене так и вовсе... А я — творец, я не могу не творить, мне без этого куда — дублёнками турецкими торговать? В алкоголизм?! На дно?..

— Если государство отказывает человеку, то и гражданин имеет полное право отказать такому государству, — сурово и, пожалуй, уже враждебно

изрёк Дридзо, с явным беспокойством слушавший их, очками блеснул. — И никаких других дефиниций этого права быть не должно. Не должно!

— Есть государство, а есть отечество, — пожал плечами Сарычев: а уязвил, однако, задёргалась... — Не видите разницу?

— И что тут обо мне... а сколько других, ведь творцов же! — обошёл вопрос его, напористо насел голосом однокашник, даже некой багровостью взялось лицо. — Целые научные школы из бюджета выбрасывали, направления — вот именно в отбросы, в челноки! А художников взять, философов, а писателей — и у вас, и у нас?! Самого Солженицына выкинули, Зиновьева, Бродского — геть за бугор!

— И Довлатова... да, Довлатова! И Войновича!..

— Ну, положим, ваши-то пысьменныки все остались, они-то самые сведомые, ярые... — не сдержал усмешки он. — Я хоть и технарь, а читаю кое-что. А этот... Да говнецо этот ваш Довлатов, честно-то говоря, вроде того, из Петушков который. Ханьги же заурядные, а раздули из них... Или тот, из Женевы, забыл фамилию, какой додумался, что мы с англосаксами и французами прочими против китайцев воевать будем... дичь же! И не о них одних речь — обо всех, кто из Рашки свалил... так они это называют? Да пусть валяют, скатертью дорога. — Не повышая голоса говорил, но уже и зло, откровенно, давно это нагорело в нём, да и у многих своих, кого знал. — Воздух чище. Понять можно первую эмиграцию, ну и вторую там даже — а этих? Кто наворовался под завязку, кто на жительство сытное, комфортное, да ещё, видите ли, ностальгия у них... раз предавши, кто им поверит, шкурникам? Обрадовались, ушлые, на готовенькое они кинулись, на чужое — а дом свой хоть гори... И пошли они все. Все, даже эти, которые родину там любят — издалека... И пусть не возвращаются, у нас и без того дерьма хватает. Без них обойдёмся как-нибудь, управимся, не из таких бед вылезали.

— Та-ак... Это и о нас, значит?

Но прозвучало-то, скорее, утвердительно, знают о себе.

— Ну, а как вы думаете? — Нет, уж раз начал, то надо было договорить, и это куда важнее для него оказалось сейчас, нужнее, чем все эти задумки-заморочки фээбэшные, да и... достоверней ведь, вдруг понял он. И что может достовернее быть, чем правда сама? Вот пусть и кушают — и те, и эти... — Писаки — ладно, они хоть где пописывать могут, на мать поплёвывать, ну не угодила она им; а вот мы... Уж не знаю, на кого вы там в частности робыте, но ведь в любом случае на сторону противную, нет разве? — И достал из внутреннего кармана потёртый свой бумажник, дензнаки немногие перебрал — ага, есть одна, и хорошо, что разменять не успел с зарплаты. — На врага, чего уж тут незнайкой-то прикидываться. “Творцы”... А это похуже будет, чем дезертирство паршивое.

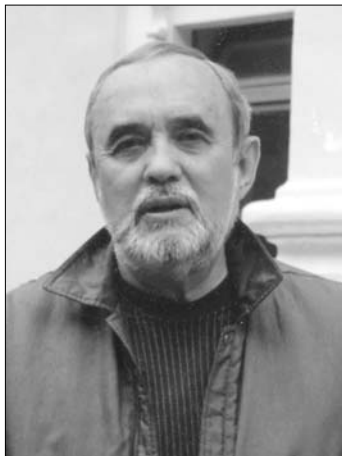
— Что ж, это твой выбор... — проговорил Нежуринский, смерив его холодным, разве что с долею презренья взглядом, в самообладании, несмотря на вышитое даже, ему нельзя было отказать; и кивнул на него спутнику своему, насмешливости прибавил в голосе — злобной, всё-таки не хватило выдержки: — Вот, полюбуйся на этого на реликта совкового — давно не видел?

— Да нет у меня выбора, — с легким уже сердцем сказал он, вставая, пятитысячную купюру подеунул под тарелку, — и никогда не было. В ваше дерьмо угодить — это не выбор.

И повернулся, направился к выходу, спиной ощущая там, позади, тяжёлое молчание.

Вышел на улицу, вдохнул студёной, острой после кухонных запахов ресторана свежести её, сырости. Дождь перестал, заметно похолодало, и уже надо было ждать скоро первого снега. Жена отчего-то любила поздние осенние сроки, мокрую, к земле прибитую, но ещё не потерявшую разноцветье лиственную опаль в недалёком парке, цветочек какой-нибудь бледный, совсем уж приподальей, и называла пору эту не иначе как “прелестный ноябрь”. Ехать надо было послезавтра, и хорошо, если бы подморозило у нас, всё грязи поменьше, хотя асфальт с год уже как в Рязановку проложили, чуть не до дому.

БОРИС СИРОТИН



И ЛИШЬ ГОДА  
ТЕСНЯТСЯ ЗА ПЛЕЧАМИ...

\* \* \*

Вижу я — озорница синица  
Посещала мой номер опять,  
И со всякой небрежной страницы  
Умудрилась все буквы склевать.

Может, это, конечно, во благо,  
Только вывод печально простой:  
Как приехал с пустою бумагой,  
Так уеду с бумагой пустой.

В путь-дорогу зовёт электричка.  
И в пространство я тихо зову:  
Ты верни мои вирши, синичка,  
Ведь они ещё, верно, в зубу.

Что вы думаете — прилетела,  
Села рядом, я еле дышу,  
И вернула мне то, что хотела,  
Остальное потом допишу.

---

*СИРОТИН Борис Зиновьевич родился в 1934 году в оренбургской деревне. Автор многих стихотворных сборников, постоянный автор журнала, Лауреат Всероссийской премии им. А. Фета. Член Союза писателей России. Живёт в г. Самаре.*

Может, даже получится лучше,  
Я признателен птичьей игре...  
Вот такой-то невиданный случай  
Был со мной в золотом сентябре.

## ПАМЯТИ ТАТЬЯНЫ ГЛУШКОВОЙ

Я не могу на кладбище пойти.  
Не то чтобы такое не под силу...  
Глушкова Таня, ты меня прости,  
Один я не найду твою могилу.

Не положу к ногам твоим цветок,  
Не постою в раздумьи и печали.  
Я, Таня, как и прежде, одинок,  
И лишь года теснятся за плечами.

А их, увы, всё меньше впереди,  
И год-убийца где-то правит косу,  
А мы не с места, Господи, прости,  
Привязанные к “русскому вопросу”.

И с этой нам дороги не сойти,  
А ты ушла, воительница, рано,  
Но в помощь нам идут твои стихи,  
Труды твои, бесстрашная Татьяна.

А осень в Переделкине всё та ж,  
В садах твоя любимая поспела  
Антоновка, и осы на этаж,  
Где ты творила, залетают смело.

Но нет тебя, нет на столе плодов,  
И тыкаются осы в стол пустынный.  
И только тонкий запах из садов,  
И ветер скорби, на котором стыну.

## НА ОБУГЛЕННОЙ ВЕТКЕ

Выстрел молнии, быстрый и меткий,  
Прямо в липу на пойме, но вот  
Соловей на обугленной ветке  
Как ни в чём не бывало поёт.

А надломится ветка... Ну, что же...  
И на землю упасть — не пропасть,  
Ибо жизнь ничего не итожит,  
Вечной жизни ничтожная часть.

Вновь обманчиво ясное небо  
Нам готовит гремучую смесь,  
Чтоб лишились насущного хлеба,  
Что молитвенно выпрошен днесь.

И зывают к нам добрые предки:  
Вы не прячьтесь в укромном углу!  
Можно и на обугленной ветке  
Петь Господнему Солнцу хвалу!

## ПОТЕПЛЕНИЕ

И наступило потепленье  
Пичужки объявились враз,  
И слышен писк их — пусть не пенье,  
И мощен колокольный глас.

И купол золотой сквозь листья  
Горит, и чудно ощущать,  
Как Свет Господний в сердце влился  
И на душе его печать.

Как мне отратно, будто внове  
Всё это, вспоминаю вдруг  
Свои несчастные любви —  
Их излечил сей свет, сей звук.

Сам провоцируя разлуку  
Я удивлялся: почему  
Вновь принимаю эту муку?  
И в сотый раз я не пойму.

Всё проходило, доблий воин  
Вновь выносился на щите.  
Зато сейчас я так спокоен  
В своей душевной нищете.

## “СТАРЕЙШИЙ”

Никогда и не думал, что буду “старейшим”,  
Я едва не полвека ходил в молодых,  
И любил злую водку и ласковых женщин,  
И менты меня весело били под дых.

Потому что поэт, да ещё забияка,  
И моя слишком лёгкой казалась судьба,  
Вот они и старались, и не видели знака  
Посередь моего многодумного лба.

А теперь я “старейший”, прошли все ушибы,  
И давно нет на теле моём синяков,  
И серьёзные лица блатного пошиба  
Жмут мне руку при встрече без обиняков.

Они любят поэтов, хотя не читали  
Ни одной моей строчки — да то пустяки,  
Ибо я им в “низке”, в том самарском подвале,  
С кружкой пива в руке говорил про стихи.

А теперь я “старейший”, как пишут газеты,  
И себе, мол, счастливую выбрал судьбу,  
Только вот петушки, молодые поэты,  
В белых тапочках видят меня и в гробу.

И почётное имя ко мне не пристало,  
Только Волга обнимет священной водой —  
И уже не “старейший” я, даже не старый,  
Хоть, конечно, давно уже не молодой.

ВЛАДИМИР САЛАМАХА



ЧТИ ВЕРУ СВОЮ...

ПОВЕСТЬ\*

1

Житель деревни Гуда, Иосиф Кучинский, отец полица, проклятый людьми за злодеяния сына, в жуткий весенний паводок 1945 года бесследно исчез из селения, хотя ему, имеющему свой дом, внезапно обрушившаяся на эту землю большая вода особой угрозы не представляла. Исчез он ночью, при невыясненных обстоятельствах, что очень обеспокоило участкового Савелия Космановича, подозревавшего в неладном односельчан Иосифа, которых хорошо знал, и чьи судьбы были ему не безразличны...

С тех пор минуло семь лет, о произошедшем между односельчанами и Кучинским те умалчивали, но, время от времени вспоминая старика, считали, что виноваты в его гибели, пусть не прямо, но все же...

А двумя годами ранее его сын Стас вместе с карателями участвовал в уничтожении деревни и ее жителей. Тогда удалось спастись только горсточке сельчан: старику Ефиму Боровцу, женщинам Катерине Журовец, Надежде Саперской и ее детишкам-близнецам, девятилетним Валику и Светке. И еще — Кучинскому, так он не в счет...

Вот тогда люди и отвернулись от Иосифа, а Ефим, друживший с ним с молодых лет, вообще люто возненавидел. Не жаловали Кучинского и быв-

---

*САЛАМАХА Владимир Петрович родился в 1949 году в деревне Бересневка Кировского района Могилевской области. Окончил факультет журналистики Белорусского государственного университета. Прозаик, критик, публицист, эссеист, лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.*

\* Журнальный вариант

ший партизан Михей Михасев, и бывший фронтовик Николай Безродный, возвратившиеся израненными в Гуду после освобождения района.

И вдруг выясняется: Иосиф Кучинский жив!

А было так... Катя с семилетним сынишкой Петькой и Надя с дочерью Светой приехали в город на базар, чтобы продать ягоды, да купить детям одежду. Продали. Надя со Светой ушли в магазин, находящийся на соседней улице, Катя здесь же, с рук, приобрела мальчонке костюмчик, начала упаковываться, как у базарных ворот увидела нищего... Ее сразу же словно молнией пронзило: Иосиф!..

Не раздумывая она бросилась к нему, забыв все обиды, неприятие, гнев, назвала его по имени, но тот резко остановил ее, дескать, обозналась, да сказал, чтобы не кричала, не пугала мальчонку...

Услышав о сынишке, Катя опешила, отвернулась от старика, принялась успокаивать Петьку, чего-то испугавшегося, а пока успокаивала, старика и след простыл. Успокоившись немного и сама, первое, о чем подумала: коль жив, то нет греха на гуднянцах. Приедет домой, скажет людям, какое облегчение будет всем!

— Сидел бы в своей хате, когда все окрест затопило, так и горя не знал бы, и мы лишней мороки не имели. А то думай, гадай, где и в какую западню угодил, да так, что и следа нет. Да еще считай себя виноватым: ты же был последним, кто его видел, кто с ним говорил, знал, что он в отчаяньи, а не удержал на островке, хотя мог удержать...

— А как можно удержать человека, если тот что задумал? Сколько мы его тогда ни звали, как исчез из островка, не отозвался! — перечил ему кто-то из мужчин. — Конечно, глупость тогда Иосиф сотворил: его изба спасла бы. Она хоть и старая, но крепкая. Это нам тогда с лихвой пришлось горько хлебнуть, это мы могли сгинуть. Сами-то что — а детишки, женщины?..

Оно так, дом Кучинского паводок выдержал бы, это не землянки сельчан. В землянках Ефиму, Николаю, Михею, а прежде всего Наде с ее детишками, Валиком и Светкой, да Кате на сносках, спасения не могло быть. И если бы не сарай за деревней на взгорке, собранный мужчинами летом сорок четвертого из обгоревших бревен (надо же было где-то держать двух лошадей и козу — все тогдашнее колхозное богатство), сами погибли бы и детишек не уберегли бы.

А мужчины продолжали:

— Спрашивается, кто тогда гнал Иосифа из дома? Чего ему не сиделось в тепле? Вишь, в полночь зашлепал веслами по воде: к вам хочу! А не спросил у нас, хотели мы этого? Вот истряслась беда: без следа сгинул, а мы...

Такие разговоры Катя помнила. Тяжелые они: одно дело ненавидеть человека, другое — быть причастным к его гибели. Но вопреки всему, оказывается, что не сгинул Иосиф Кучинский. Катя узнала его. Узнала по глазам и по голосу, хотя за это время он очень изменился — постарел, будто усох, сгорбленный... Борода длинная, седая... Голова непокрыта, редкие седые волосы ворошит ветерок. Лоб изрезан глубокими морщинами... Опирается левой подмышкой на самодельный костыль. А был же, помнится, не по летам прямой, высокий, с аккуратной седой остренькой бородкой.

“Да, его, Иосифа, пострадавшие глаза видела я сегодня!

И слышала его голос: глухой, хриплый, но какой-то уж очень чужой... Увидела, бросилась к нему: “Дядя Иосиф...”, а он как в грудь толкнул: “Обозналась, гражданочка... Не кричи так, мальчонку испугаешь...”

Опешила на мгновение, Петька заплакал, то ли ее крика испугался, то ли еще чего, начала успокаивать сынишку, а когда вновь повернулась к воротам, где Иосиф просил подаюнья, его уже там не было.

Эх, была бы с ней Надя, удержали бы старика...

Но Нади рядом не было. Ушла со Светланой в магазин, платьице купить той — школу кончает дочка. В город-то женщины за покупками прибыли. Черники набрали, продали, вот и денюжки есть... (Катя Петьке костюмчик прямо здесь, на базаре, с рук купила). Ну вот и не пошла с Надей, и Иосифа встретила... Встретить-то встретила, а толку...

А Надя, вернувшись с дочерью на базар, увидя растерянную и расстроенную Катю, заподозрила неладное:

— Что случилось? Деньги украли?

— Хуже... Дядю Иосифа видела.

— Хуже-то почему?

— Исчез же... Я — к нему: “Дядя Иосиф!..”, а он не признал или не захотел признать. Жив, значит, слава тебе, Господи...

— Жив.

— Надобно мужчинам сообщить. Дядь Ефим вон как корит себя за него. Дескать, я виноват...

Пока женщины выясняли, что и как, Светка присела возле Петьки на корточках, дала конфету.

Женщины начали собираться в дорогу: надо было как можно скорее выйти за город, к шоссе, проходящему недалеко от Гуды, чтобы успеть на попутку. Скоро начнет вечереть, а вечером попутных машин может и не быть.

## 2

С попуткой им повезло. Только вышли за городом на свое шоссе, увидели машину, въезжающую с кольцевой. Не успели проголосовать, как она остановилась. Водитель, пожилой мужчина в поношенной военной форме без погон, пристально посмотрел на женщин и детей, затем, будто что-то или кого-то поискал глазами, сказал:

— Я — в область. Если по дороге, садитесь. Мальчик с девочкой — в кабину, а вы, женщины, в кузов. — Затем немного помолчав, добавил: — Вы, часом, не видели здесь старичка? Такой седой, сторбленный, с самодельным костылем.

— Нет, а что такое? — насторожилась Катя.

— Да знакомы мы с ним. Не скажу, что близко, но знакомы. Я дважды в неделю, в понедельник и пятницу, езжу сюда из области и назад. Обычно в одно и то же время. Он знает, когда приблизительно проезжаю возле дороги от его хутора. Если ему надо в город, ждет меня там, и я забираю его. Едем в город, договариваемся, когда ему здесь стоять, чтобы назад я его подвез. Сегодня он со мной в город не ехал, а на базаре я его видел. Зашел в магазин недалеко от базарных ворот, в очередь стал, невзначай глянул в окно, смотрю: стоит возле ворот мой старичок. Мать честная: подаяния просит! Да такого с ним не может быть! Раньше он возил сюда грибы, ягоды, рыбу, орехи, и вот... Неужто с нами какая беда приключилась?.. Он же очень щепетильный, зазря не стал бы с протянутой рукой.

— И я его на базаре видела, — вздохнула Катя. — Односельчанин наш. Много лет назад как ушел из деревни, так ничего о нем мы не слышали.

Она помолчала, потом спросила:

— А возле какого хутора вы его подбираете? По дороге от нашей деревни до города и справа, и слева по лесу, с десяток хуторов наберется. Скажите, его не Иосифом зовут?

— Нет, Антоном, — сказал шофер. — А подбираю я его у Кошарской дороги. Этой весной мы с ним познакомились. Однажды утром еду из области в райцентр. Не спешу, недавно снег сошел. Моросит, дорога скользкая. Я в кабине поеживаюсь, можно представить, как холодно за кабиной. Еду, смотрю, справа у сосны стоит человек. Стоит и не двигается, даже руки не поднимает. Я остановился. Дверкой стучу, кричу: “Чего стоишь? Коль ехать надо, садись!”

Вижу, очнулся, медленно ковыляет к машине. Боже, какой-то крученный! Под мышкой — самодельный костыль. Помог я ему забраться в кабину. Едем. Я — так и так, хочу разговорить его. Я человек разговорчивый. У меня даже фамилия разговорчивая: Говорков. Кое-как растормошил старика. Спрашиваю: “Отец, что же за нужда выгнала тебя из дома в такую рань и в такую погоду? Молчит, словно не к нему обращаюсь. Чувствую, душа у него окаменевшая. Знать, неспроста, коль так. Тогда я начал ему



о себе рассказывать. Говорю, до войны баранку крутил. Войну шофером от звонка до звонка прошел. В каких только переплетах не был, а бог миловал, даже не зацепило. Вернулся с войны — дом цел на окраине облцентра, жена детешек сберегла: сына и дочь. Сын уже жених, доченька меньшая. Вновь шоферить пошел, вот баранку кручу. А у тебя, дядя, есть кто? Крыша над головой есть? А он мне: “Один я...”

— Один? — воскликнула Катя.

— Ну да... Говорит, крыша-то есть, но горе у него: хозяйка умерла. Вчера похоронил, а сегодня — в город собрался. Одному — хоть в мешок завяжись... Говорит, может, в городе пригожусь... Говорит, долго без людей был, пока она вернулась. Откуда, я не спрашивал. Наверное, из Германии. Туда на каторгу да на смерть немец столько людей вывез!

Вот так и познакомились. Больше я ему в душу не лез. Он неразговорчивый. Наверное, натура такая. Хотя чувствуется, душа вроде и окаменела, но в ней все же что-то теплится. Сегодня, когда ехал сюда, его у сосны у дороги из хутора не было. А на базаре — был. И что с ним могло случиться, коль стал с протянутой рукой?.. Значит, не видели... И по дороге из города не встретили... Ну что ж, поедем, коль нет его.

— Нет. Может, кто в городе подобрал. Нас несколько машин обогнали.

— Все может быть, — сказал Говорков. — Говорил он как-то, что от шоссе до его хутора верст десять: попробуй добраться засветло, если чуть ходишь... Как-то хотел я подвезти его на хутор, так он махнул рукой: “Там такое болото, что, если не знаешь, пешком не пройдешь, не то что на машине”.

Светка и Валик уже давно сидели в кабине, женщины забрались в кузов.

Странно как-то. Иосиф, а зовут иначе. У Иосифа хозяйки давно нет, еще до войны умерла, и вдруг — хозяйка. Да еще откуда-то вернулась. Дальше: живет где-то возле Кошары или в самой Кошаре. Слыхали о таком хуторе, затерянном среди леса. Слыхали, что там еще до коллективизации жил с семьей один человек. То ли беглый неизвестно с каких времен, то ли хозяин-единоличник. Имел тот человек неплохой клин пашни да сенокосные угодья. Держал много овец, построил большую кошару. Отсюда и — хутор Кошара. Об этом им как-то Ефим говорил, когда женщины сетовали, что в лесу возле Гуды мало черники, да и та мелкая. Сказал, что он знает место, где ее должно быть черным-черно. За Кошарой. Правда, этот хутор очень далеко отсюда. В густых лесах. Недалеко от хутора течет Дубосна, их, гуднянцев, река...

Еще говорил Ефим, коль место неприступное, так и сейчас там должно быть много ягод — куда они денутся. А что возле Гуды изводится ягодник, так неудивительно: в войну лес вона как пылал! А ягоднику, чтобы возродиться, нужны годы да годы.

Далее сказывал Ефим, что к хутору, если от шоссе, идти-ехать со стороны Гуды, дорога вправо, приметная, травой поросшая, одичавшая. А до дороги отсюда верст тридцать. Какое-то время она идет по твердому, изрядно петляя по лесу, и понять где она, а где поляны трудно. А километра через три-четыре спускается в низину, поросшую лозняком, теряется в нем. За лозняком, а он густой там, болото, с краю поросшее багульников, голубикой. Ягоды, как желуди. Словом, там ягодное царство. Но если не знаешь хода через болото, не лезь туда, засосет тряпина и — поминай как звали. А хозяин там с закрытыми глазами пройдет. Когда-то еще его отец через болото проложил к хутору потайной путь, и тайна его никому не известна. А вот как с другой стороны, от реки добраться до хутора, Ефим знает. Он и сегодня прошел бы там без особого труда: хозяин раскрыл ему тайну, не раз вместе ходили.

Говорил Ефим женщинам, что мог бы по реке на лодке завезти их туда по ягоды. Но чтобы добраться до хутора, нужно потратить день, день собирать и день назад. А потом, переночевав дома, надо ехать в город. Ягода за это время скиснет, ее не продашь. Нет, не с руки туда плыть.

Соглашались, оно так... Но интересовались, как он туда попал. Оказывается, случайно и неслучайно: хозяину как-то понадобился работник. А Ефим тогда в городе при базаре состоял грузчиком, разгружал мужикам

телеги с зерном. Молод был, здоров, забросит мешок на плечи и несет будто играючи. Люди удивлялись: силен! Однажды его и увидел хозяин хутора. Присмотрелся, подошел да говорит: “Пошли ко мне лес корчевать. Хорошо платить буду. И стол мой”. Согласился Ефим. В городе что? Своего угла нет. И работа — сегодня есть, завтра нет...

Посадил его хозяин в лодку, приплыли они по Дубосне против течения к тому месту, где за старицей, за болотом, за гривой темного леса стоял его хутор, да и говорит: “Здесь у меня свой ход к моему стойбищу, коль привез тебя, покажу. Но не хочу, чтобы кто чужой о нем знал, жизнь такова, что иного человека пуще лютого зверя берегись. А ты, вижу, парень не из злобных. Мы с тобой, может быть, даже в дружбе сойдемся. Мало ли что бывает, ты мне поможешь, я, случись что, — тебя выручу. А как же? Так издревле добрый люд промеж собой жил, поэтому и не вывелся он, сколько ни истребляли и чужаки, и свои. Так мне отец сказывал, когда я еще мальчишкой был, и мы бежали сюда, когда там, где жили, все наше порушили люди иной веры”.

И повел тайным путем к хутору. А там у него — хозяйка да маленькие дети, тогда их еще двое было, мальчик и девочка.

Хозяйство он держал большое, крепкое оно у него было. Но пашни на то время — маловато, вот и отвоевывал у леса.

От реки, через старицу, в болото тянулась узкая, поросшая травой коса. Местами она была специально порушена хозяином. Там, где порушена, в трясине припрятаны плахи, но на шаг в стороне. Человек идет по косе, а она вдруг кончается — поворачивай!.. А ты, если знаешь, жердью ткни в одну сторону, в другую — нащупаешь твердь. Вот и ступай на нее.

Тропа узкая, двоим не разминуться. Сперва, как живность на хутор переправлял, была шире. Потом хозяин за ненадобностью убрал несколько плах, сузил дорогу.

По косе, по этим плахам, лежащим в болоте, нужно подняться на взгорок, он недалеко от хутора. Подойдешь к нему — и справа межою ступай этак с полверсты. А там — не порушенный человеком бор. А где бор, там и черничник. И местами разливы вереска. Вот тебе и ягода, вот тебе и гриб. Ягода боровая — твердая, крупная, налитая соком — сахар. Известно, вызревшая на сухом — это же не болотная, кислая. И белый гриб по вереску...

Вспоминал Ефим того хозяина добрым словом: не жадный, жил с работника не тянул, сам горб гнул не меньше, чем он, и кормил до отвала. Да и хозяйка его была тоже двужильная. И был он ненамного старше Ефима.

А что потом?.. Жаль человека, жаль... Почему жаль, Ефим не говорил, думая о чем-то своем. А коль не говорил, не спрашивали: значит, есть причина.

Сейчас Катя ухватила за эти Ефимовы рассказы о некоей неизвестной ей Кошаре. Еще бы! Конечно, Иосиф мог знать о хуторе, они же когда-то дружили, держались друг друга. Пусть не так, как братья, но все же... А что, если...

Как же того хозяина звали?.. Катя, как ни старалась вспомнить, не смогла. Кажется, Ефим не называл его имени. Только — хозяин, хозяин... Ну и то, что крестился он не тремя пальцами, как мы, а двумя.

Как же она не запомнила, как перекрестился нищий, которого встретила на базаре? Кажется, после того, как сказал, чтобы не пугала ребенка, перекрестил и ее, и Петьку... Но как?

Водитель говорит, что старик назвался Антоном. Но он же — Иосиф! “А что если это один и тот же человек? — мелькнула у нее догадка. — И почему?.. Надо Ефиму сказать. Во всяком случае Иосиф жив”.

### 3

Город быстро удалялся. Вечерело. Над землей еле заметно сгущалась желто-сизая пелена. Женщины сидели на лавке спинами к кабине, еще долго хорошо видели город. Но прежде всего — реку. Их реку, Дубосну. К городу она выходила из леса, пробежав от Гуды среди лугов, болот, лесов многие версты. Довольно извилистая, здесь, среди длинных луговин, она казалась трепещущей широкой серо-синей лентой, очерчивающей правый песчаный берег

на окраине города, и, уходя от него, сужалась, прячась под высоким деревянным мостом. Выбежав из-под него, уходила влево от райцентра, скрывалась в таком же густом, как и справа, где подходила к городу, лесу...

Сейчас женщины ездили в город не так часто, как сразу после войны. Тогда выбирались сюда почти каждую неделю: нужно было как-то жить. На базаре меняли на еду, а то и на одежду, самотканые ручники, скатерти, покрывала — все, что в начале войны закапали в огородах, пряча от немцев.

После войны первое время, впрочем, как и в войну, сельчане недоедали. Колхозные земли пустовали, их не было чем и как засеять. И свои огороды пустовали. И живности здесь, кроме одной козы, не было. Деревня сожжена, большинство жителей уничтожено... И это горе навалилось на горсточку сельчан: сперва на Ефима, Надежду с дочерью и сыном да тогда еще одну, без Петьки, Катерину (в тот день, как уничтожили Гуду, Ефим на рассвете повел их в лес собирать малину, поэтому и остались живы), а после освобождения и на отвоевавшихся Михея с Николаем...

Выкопали землянки там, где раньше стояли их дома или дома родителей, решили, что здесь должны жить, что со своей земли идти им некуда.

А чтобы жить, нужно строиться. И когда вернулись с войны — Михей из партизан, Николай с фронта, оба раненые — первый в грудь, второй без ноги, окрепнув, первой начали рубить избу Кате. Ведь ей, как никому из гуднянцев, горе — полицай Стас Кучинский убил ее мужа Петра... Петро прибыл на побывку, часть проходила рядом. Побыв пару дней дома, направился в лес, чтобы повалить ведря — люди голодали, напоролся на Стаса с дружкой-полицаем, прятавшихся в чаще, да там и остался... А через некоторое время в соседнем районе наши повязали предателей, они и признались в злодеянии... И вот уже почти семь лет, как Катя без мужа, с сынишкой, который так и не увидел отца...

В первый послевоенный год в город ездили, если случалась попутка, втроем: Ефим, Надя и Катя. Одних женщин мужчины не отпускали: всякое может случиться, это же город, базар — чужое. Там немало разных людей. Ко всему, случилось, из леса, через который проходило шоссе, стреляли в машины. Кто стрелял? Неизвестно. То ли недобитые полицаи, то ли немцы, попавшие в окружение и не сдавшиеся, или еще кто.

Ближе к осени в лесах стало тихо: выловили нечисть, а может, и перебили тех, кто не сдался. На базаре, вроде, стало спокойнее. Но Ефим еще долго ездил с женщинами. Они знали, почему ездит и теперь: вдруг возвратятся домой сыновья...

Приедут в город, оставит женщин на базаре да спешит на вокзал. Идет туда взволнованный, а возвращается потемневший, угасший.

Вскоре Надя, как старшая, запретила Кате ездить в город: “Дитя береги... Одна”.

“Одна” можно было и не говорить. Это пока одна. А “дитя береги” — так понятно: близится время, когда беременной женщине нужно своих людей держать.

Ефим слышал, что сказала Надя Кате, увидел, как та смутилась, по-своему утешил:

— Ты мне внучка или внучку роди, натешусь и помру.

— Я тебе, дядя Ефим, помру! — вступая в разговор, возмутилась Надежда. — Ты еще должен Катину дитя покачать на коленях, зыбку смастерить, кое-чему научить да в жизнь направить. И своих родных внучат должен дожидаться, выпестовать их да тоже к жизни наставить. А потом — как бог даст... А то сразу — помру!.. — Надежда напускала на себя строгость и нарочито возмущалась. — А мои, дядя Ефим, тебе что, уже и не внуки, а?

— Внуки, а как же, — словно удивлялся ее вопросу старик. — Но твои уже, считай, выросли. Тоже страшно за них: как жизнь сложится у Валентина и Светланы? Не затеряться бы им меж людей: хорошие, открытые, таким всегда трудно. С малолетства столько всего видели, пережили самое страшное, что только может быть в человеческой жизни, а нет у них злобы. Я это вижу, при мне росли. Смотрю и думаю: у них нет злобы, а у меня, старого, есть.

— Об Иосифе вспомнил? — спросила Надя.

— О нем, дорогая моя Надежда, и говорю тебе это открыто, как сказал бы дочери. Не было у меня дочерей, но жизнь повернулась так, что дочери появились, вы с Катей. Наверное, такое за страдания дается: отца-матери не знал, даже не знаю, каких я кровей...

— Не надо так, — перебивала его Надя, — каких, каких — человеческих, у всех людей кровь и есть кровь.

— Да, да, верно, это так говорится, мол, каких кровей: кто, откуда. Так вот, все вы — мои.

— Вот это верно, — говорила Надя. — А то...

— Мне бы только Никодимушку с Ванюшей дожидаться, дожидаться того часа, когда все вместе в одном доме за стол сядем, чтобы насмотреться друг на друга, наговориться, успокоить сердце — уж очень оно трепещет с тех времен, когда ребят своих на войну выправлял. Потом, конечно, женить их, внучат от них дожидаться, тогда — уволь, и помирать дедушке не грех, и ты, Надежда, мне это дело не запретишь!

— Вот это другой разговор, — сказала Надежда. — А то: “Помру, помру...” Сразу-то зачем? Так что смотри, отец, не вздумай прежде времени лезть куда не следует, у тебя еще на этом свете дел невпроворот, и всем нам ты ох как нужен!..

— Ладно, нельзя так нельзя, — соглашался старик, словно от него зависело, когда умирать. — Конечно, надо сыновей ждать, вас смотреть да внучат баловать. Нельзя так, чтобы не ждать невернувшихся. Они, те, кого не ждут, чувствуют это. Худо тогда их душам, живых или из жизни ушедших. Пусть это мои ребята или чьи сыновья, дочери, отцы, мужья — нельзя, чтобы их не ждали. Много еще на земле невернувшихся, всех ждать надобно.

— Мудреные твои слова, отец, — говорила Надежда.

— Может, и мудреные, — соглашался старик, — только и на них, как на многих иных словах, в жизни многое крепко замешено... Не ждешь человека — себя теряешь, и ему нет света...

— Ну, отец, — встрял в разговор подошедший к ним Николай, — ты прямо как в одном стихе, что на фронте промеж нас летал:

*Жди меня, и я вернусь,  
Только очень жди...*

— Праведные слова, вот и летали меж вас, — говорил Ефим. — Слышал я их, помню, ты сам как-то сказывал. Может, слова эти тоже осели в моей памяти, коль так говорю. Только есть в них одно, что ставит меня в несогласие.

— Это что же? — ломал брови Николай.

— Что, дескать, жди, когда уже не ждут даже сын и мать. Мать, она не может не ждать, сын — не знаю. И то разве что несмышлennyш. Если уж отец не может не ждать, так каково матери, а, Николаюшка?

— Ну ты, дядя Ефим, уж так буквально понимаешь, — говорил Николай. — Все ждут. Что это мы вдруг...

— Ждем, а как же!.. — тяжело вздыхал старик и надолго замолкал. Его лицо, обветренное, изрезанное глубокими морщинами, покрытое сединой, казалось, чуть-чуть светлело, в глазах появлялся еле заметный слабый блеск. Затем угасали, влажнели...

— Надобно нам немедля деревню отстраивать! Ребята придут, и мои, и все остальные, посмотрят, что ничего не сделано, не поймут нас... Эх, нам бы еще один топор да ловкие руки, как у Иосифа, мы бы ох как разогнались!..

— Так в чем дело? Зовите его, — осторожно советовала Надежда.

— Нет, нет, нет! — махал руками старик. — Ты что? Это я так, к примеру. Умом, может, и мог бы позвать, а сердцем... Придут мои сыновья, твой Игнатий, что скажут, узнав что его сын творил? Что к врагу на поклон пошли?

Надежда пожимала плечами: только бы ее Игнатий вернулся, а что скажет, так пусть то и скажет... Но и от него пока, как и от Ефимовых сыновей — никаких вестей.

Игнатий вернулся в конце сорок шестого. Контуженный, израненный, но с руками-ногами. Выходила его Надежда, детишки от отца — ни шагу. Живут, лад в семье. В лесниках ходит Игнатий, куда ему в колхоз, там везде тяжело...

Сыновья... Это Ефимова неутраченная боль: сколько времени прошло — сами не отзываются и никакой казенной бумаги о них нет... Уж сколько лет о них ничего не известно...

Об остальных гуднящих, кто не вернулся с войны, — сколько же их полегло! — давно уже ясность есть: где, когда, при каких обстоятельствах. И в каких землях лежат — в своих ли, чужих...

Было, вели с Ефимом в сельсовете разговор, дескать, наверное, надо о пенсии за них хлопотать. При этом почему-то участковый Савелий Косманович присутствовал. Тяжело ходил рядом, молчал. Отказался Ефим: зачем?.. Живы они, живы. Видел, как Савелий после его слов молча кивнул головой, наверное поддержал старика: зачем?..

#### 4

К дороге, ведущей от шоссе в Гуду, успели приехать еще до сумерек. Ефим, как всегда, ждал их. Стоял на обочине, а у огромного старого дуба, росшего у дороги, лениво переступала с ноги на ногу запряженная в телегу лошадь.

Когда и дети и женщины подошли к нему, сказал:

— Уже битый час жду. Ни одной попутки. Думал, в городе заночуете. Каково с детьми... Но где? Знакомых там нет.

— Ничего, добрались, — сказала Надя, — Добрый человек подвез, спасибо ему.

Ефим посмотрел на шофера, вылезшего из кабины и провожающего взглядом своих пассажиров, кивнул ему, будто старому знакомому, тот кивнул в ответ, обошел грузовик спереди, открыл дверку, помог Свете и Петьке спуститься на землю и, уже обращаясь к женщинам, сказал:

— Бывайте! Но помните, в понедельник и пятницу я у вашей дороги где-то в семь утра. Соберетесь в город — пожалуйста.

Они не успели поблагодарить, как он стукнул дверкой, машина тронулась с места.

— Познакомились? — спросил Ефим, подойдя к телеге, подсаживая на нее Петьку, добавил: — Сразу видно, хороший человек.

— Еще бы! — согласилась Надежда. — И хороший, и говорит, что какого-то старика часто подвозит в город, забирает его возле кошарской дороги. А потом из города везет назад. А старик тот, чтобы ты знал, дядя Ефим, кажись, Иосиф Кучинский.

— Что ты говоришь?! — воскликнул Ефим. — Откуда вы знаете?

— Катя его видела.

— Где? Говорила с ним? Значит, жив, жив... Говори, Катерина!

— А что говорить? — вздохнула Катерина. — Видеть-то видела. На базаре подающая просил. Я к нему: "Дядя, Иосиф!.. А он: "Ошиблись..."

— Так, может, ошиблась? — насторожился Ефим.

— Да нет... Есть непонятность: если верить шоферу, то зовут его Антоном. Это раз. Дальше, живет в Кошаре, ты как-то о ней нам рассказывал. А еще — у него была жена, весной похоронил. Шофер говорил, что Антон без нее долго жил, пока не вернулась года два тому то ли из Германии, то ли еще откуда. Так что, дядь Ефим, что-то здесь странное. Но говорю тебе, не ошиблась я, хоть сомнения вначале были.

— А что здесь странного? — сказал Ефим. — Никак вы говорите о разных людях, Антон — хозяин Кошары. Да они оба мне нужны, коли так!.. Даже не знаю, кто больше. Кажется, я вам про хозяина Кошары как-то рассказывал. В молодости я у него работал. Стоящий человек. Крепкий был

хозяин. Но раскулачили, сослали вместе с семьей. Детишек у него было много. Двое первенцев старше, чем мои ребята, а за ними — целый выводок, мал мала меньше... Знать, выжил, вернулся. Да, была у Антона хозяйка. Но здесь что-то не вяжется. Получается, долго жил без нее? Хотя всякое может быть: сослали, жили в ссылке, затем их оправдали, он поехал посмотреть, стоит ли домой возвращаться, а она там от него вестей ждала. Может, вы о разных людях говорите?

— Да нет.

Не спеша разместились на телеге. Женщины и Света сели сзади. Ефим пристроился впереди, посадил на колени Петьку, сказал:

— Нокаль, внучок, будешь.

— А хворостинка? — спросил тот.

— Хворостинки не надо. Тихо поедем. Вечереет. В колее корни переплелись, узлов не счесть. Не надо, чтобы Буланчик ноги поранил.

— Но, но! — крикнул Петька.

Конь легко тронулся, колеса громко застучали по сухим корням. Молчали. Все думали об одном, об Иосифе. Жив... А это круто меняет их жизнь.

— Догадка одна у меня возникла насчет Иосифа, — вдруг сказал Ефим. — Я когда-то ему о Кошаре рассказывал. Намного раньше, чем вам. В коллективизацию, тогда мы с ним еще по одним дорожкам ходили... Хотя, кажется, я не говорил ему, как звали хозяина хутора. Тогда Иосифу было не важно, как зовут человека, которому нужно помочь. И мне тоже. Тревожило и меня, и его, что многодетную семью сняли с места, лишили крова да за ее труды вона куда погнали — на край света. Мы уже знали, куда гонят раскулаченных — в гиблые края... А может, и говорил, ведь Антон близок мне был. И детишек его я знал. И хозяйку. Здесь кое-что обдумать надо, да решать, как быть и с Иосифом и с Антоном. Вишь, подаяния просит. Кто? Иосиф? Антон? Кто бы ни был — неспроста просит. — И вдруг, обращаясь к Петьке, добавил: — Нокай, внучок, нокай!..

## 5

Обдумать, конечно же, было что...

Иосиф Кучинский исчез из деревни в тот день, когда взорвалась дамба, отделявшая деревню от реки, вернее, в ту ночь. Дамба, а это насыпь из цемента, песка и щебня несколько лет надежно сдерживала весенние паводки, отбрасывала от Гуды большую воду, приходившую сюда из далеких и ближних возвышенностей, рек и речушек, выше деревни впадающих в Дубосну. Почему взорвалась дамба, никто не знал: то ли была заминирована в войну и позже ее никто как следует не проверил, то ли ее заминировали недобитые немцы и полицаи, прячущиеся в лесах.

Дамбу перед войной на правом берегу реки, возле деревни, возвели военные. Возводили ее в том месте, где высокий берег круто спускался к реке, образовав впадину, а потом, пробежав почти у самой воды метров двести, вновь высоко поднимался над Дубосной. Вот и закрыли вечно зияющую перед глазами впадину, соединив береговые возвышенности, поросшие по обе стороны старыми деревьями.

Дамба была довольно высокая, ее плоский широкий верх за несколько лет успел прочно покрыться травой...

Военные, возводя дамбу, деревья не тронули: крепко стоят. За свой век деревья прочно переплели корнями почву, укрепили ее множеством побегов — в этих местах берег не могли разрушить ни острые весенние льдины, ни разъяренные талые воды, сбегаящие по его склонам в реку, никакие паводки. И если бы не эта, когда-то созданная природой впадина, дамба была бы не нужна. И вот она исчезла. А было так...

С утра Ефим, Михай и Николай запрягли в телегу пару лошадей и съездили в лес за жердями. Мужчины рассчитывали, что через неделю-две будут ставить строшила на Катин сруб, а пока нужно отесать жерди, высушить их на весеннем солнце. Со срубом они справлялись неплохо: начали на исходе зимы, а уже положили последний венец.

Мужчины рассчитывали, что к осени, к наступлению холодов Катерина с дитем (оно должно вскоре появиться на свет) переберется из землянки в свой дом. Знали, она хочет, чтобы вместе с ней в новую хату вошла Надежда с детьми, дескать, пока ей построят дом, пусть живут. “Иначе пороги не переступлю!” — говорила Катя мужчинам.

Дом Наде собирались поставить на следующий год. Ей надо жилье попросторней — сама, да двое детей, Игнатий вернется с войны...

Постояли, покурили, полюбовались срубом. Строение неплохое, пять на пять метров, но пристройки требует — позже сладим.

Дом без глухой стены. Свет с трех сторон: с востока, с юга, с запада. В таком жить да жить...

Ближе к вечеру мужчины посоветовали Ефиму вывести лошадей на дамбу на первую травку. В лесу местами уже хорошо разлилось зеленое разнотравье, и плоский верх дамбы — со сруба видели, покрыт сочной зеленью. Коли так, надо вести лошадей. Сено кончилось, до травы дотянули, еще день-два — и не будет никаких забот с кормом.

Лошадей было двое. Все нынешнее богатство колхоза. Берегли их сельчане пуще зеницы ока...

Вот и повел их Ефим на дамбу. Спутал. Пустил, посмотрел, как они начали жадно щипать мягкую травку, да направился в деревню. Отошел недалеко, как вдруг что-то сильно толкнуло в спину, сорвало с головы шапку, покатило по дороге, обожгло шею, перекрыло дыхание...

Ефим не помнил, кто к кому прибежал тогда: мужчины к нему или он к ним. Но когда сошлись, Николай с Михеем подхватили его под руки, потянули в тот конец деревни, к взгорку, на котором стоял сарай, к самому высокому месту во всей округе. Знали, что туда вода не дойдет, никогда еще, даже в самые страшные паводки, его не затопляло...

Они спешили изо всех сил, вода настигла их только в середине деревни. Но здесь волна осела, ослабела и доходила всего лишь до колен, хотя пыталась сбить с ног.

Бежать было тяжело, в сапогах хлопала вода, да и Николая нужно было тащить за собой, деревяшка ему мешала.

Добежав до Катиного сруба, приостановились, чтобы осмотреться, как-то опасность, ведь вода обогнала их еще на подходе к деревне.

Пока ничего особо страшного не заметили: волна, захлестнув Гуду, выдохлась, расплзлась дальше окрест. Мужчины спешили к взгорку в конце деревни, на котором стояли женщины и дети, махали руками, что-то кричали...

Целый день они были здесь, чистили лошадиные стойла, сгребали остатки сена с площадок, на которых раньше стояли стога, и разожгли печку — она недалеко от сарая.

Печку, как только сошел снег, из обгоревшего кирпича сложил Ефим. На ней грели воду животным, случалось, готовили ужин для всех. Сегодня вечером женщины собирались варить уху — рыба у них была, Ефим на ночь поставил на реке верши, а утром, пока ехать в лес, притащил мешок рыбы.

Старик знал рыбные пути, и даже по большой воде его верши никогда не пустовали. Сейчас, в бесхлебицу, сельчане в основном питались рыбой.

Женщины и дети, стоя на взгорке, все махали и махали руками, звали мужчин к себе.

— Слава богу, всех уберег, — прошептал Ефим. — Всех...

Он не подумал, что в деревне есть еще один человек — Иосиф Кучинский...

...Когда взорвалась дамба, Иосиф был в своей хате. Обычно он не выходил из нее без особой надобности. Он давно уже держался в стороне от людей: добра они ему не желают, так зачем мозолить глаза? Знал, односельчане облегченно вздохнули бы, если бы его вообще здесь не было.

Но знать, что ты здесь нежеланный человек, одно, иное — уйти куда подальше, чтобы тебя не было ни слышно, ни видно. Уже было, однажды уходил из деревни, думал, что надолго, думал, пока его не будет здесь, людская ненависть к нему хоть немного да уляжется.

Уходил, и что с того?.. Не улеглась, и легче ему не стало. Пожил, поработал в городе какое-то время, даже на станции, на угольном складе занимал отдельный уголок. И хотя никто его там не знал, никому не было до него дела: где много людей — каждый сам по себе, — а покоя не было.

Ужасно, когда ты никому не нужен. Иосиф это хорошо прочувствовал. А не нужен, так зачем живешь?.. Чтобы пить да есть? Даже собака живет не только для этого: служит человеку да свой собачий род продолжает. А ты человек. Какая польза от тебя?.. Для людей ты в лучшем случае пустое место. Или — враг...

Было бы у тебя продолжение рода, наверное, люди прокляли бы его до седьмого колена. Но твой род на тебе и окончится. И через некоторое время никто не вспомнит, был ты или не был на этой земле. Разве что когда-то твоим именем будут пугать непослушных детей. Так случается: за какую-нибудь провинность обозлятся люди на человека или, не очень-то разбираясь в сути дела, припишут ему какое-то злое деяние, а потом несмышленных детишек пугают им, мол, не будешь слушаться, заберет...

Между прочим, так было и в его детстве: сделает ребенок что-то не так, пугают каким-то Филиппом. Дескать, подожди, вот придет Филипп, он тебе покажет...

И только взрослым узнал Иосиф, что Филипп — конокрад и однажды люди порешили его. Радовались, что лошадей больше не будет уводить. Да рано радовались, через какое-то время вновь начали исчезать лошади. Долго следили, наконец взяли вора. Оказалось, что Филипп здесь ни при чем. Вор на него указал. На своего друга. Вместе водку пили. А Филипп был обычным пьяницей, бездельником, ни больше ни меньше...

Наверное, и его, Иосифа, односельчане, была бы их воля, сжили бы со свету. А может, когда втихари так и сделают — не любят они его, особенно Ефим.

Их сыновья вместе на фронт шли. Ефимовы где-то там остались. Живы ли — неизвестно. А Иосифов дезертировал, да — к врагу...

Впрочем, было бы более понятно, если бы от него так же, как Ефим, Николай и Михай, отвернулась и Катя. Так нет... Катя, он видел не раз, поглядывала на него с сожалением. Ну что же, наверно, женская природа иная, чем мужская. Хотя и женщины бывают разные. И не все такие, как Катя. Вот она Иосифом дитя пугать не будет...

Не смог Иосиф жить в городе — чужое. Не смог без земли, на которой родился и вырос, на которой полюбил, да так, что и сейчас, на исходе жизни, душа горит, когда Теклюшку вспоминает...

Только любовь его оказалась горше самой горькой полыни... И вообще, где сейчас Теклюшка? По какой земле ходит, в каких краях кручинится?.. Жива ли?.. Ведь раскулачив ее Авдея, их сослали неизвестно куда. Какие там люди?.. И есть ли возможность возвратиться?

Это он из города вернулся, не спрашивая ни у кого разрешения. Возвратился к тем, кто считает его врагом. Вернулся, не имея зла на односельчан. Но с обидой, с болью: никто его не хочет выслушать.

Хотя, чтобы он им поведал, если бы пришли и предложили: “Выкладывай, Иосиф, что ты хотел нам сказать в свое оправдание”.

Да ничего не сказал бы. В чем оправдываться?.. В том, что Мария была ему чужая, а жил с ней? Или тем, что не своего отпрыска как родной отец принял, а вот человеком вырастить не смог? Или тем, что после того, как немцы уничтожили людей и деревню, не посмел нажать на курок, лежа, избитый сыном, в кусте сирени и целясь в него из винтовки? Целился в Стаса, а Марию видел — сын как две капли воды похож на мать...

Да здесь не рассказывать надо! Здесь, чтобы понять Иосифа, нужно почувствовать все, что у него на душе... А как почувствуешь, если у тебя самого, у всех своего горя — за век не сносить?..

Вернулся из города, повидав многое. Наверное, это и подтолкнуло к возвращению: там горе чужое, хоть и обжигает, да все равно не так, как свое, — мимо скользит. Да и от чужого горя можно укрыться, а от своего нигде не спрячешься. И ожог от него вечный, незаживающий...



Вернулся, думал, рано или поздно в своей деревне, на своей земле вновь, как когда-то, пригодится. Думал, как бы там ни было, со своими людьми найдут лад, ведь когда-то вместе жили: и одно поле пахали, и общий хлеб ели, вместе свадьбы играли, вместе на похоронах печалились. Но не случилось...

Вернулся не с пустыми руками, приобрел там мешок зерна (где ты его сейчас найдешь? кто тебе его даст?). Надеялся, наступит весна, земля очистится от снега, позовут сельчане: “Давай вместе сеять, Иосиф...”

Пока не позвали. И, наверное, не позовут ни пахать, ни сеять, и дом Кате ставить не позвали... Не нужен он никому в отдельности и всем вместе...

Так часто думал Иосиф, когда был один в хате и тайком, из-за занавески, смотрел, как мужчины возили бревна Кате на сруб, а потом возводили его...

Так думал он и в тот вечер, когда взорвалась дамба. Тогда, услышав страшный взрыв, от которого задрожал дом, да так, что, показалось, вот-вот рассыплется, погребет его под собой, не сразу понял, что случилось. А когда понял, вновь, как не раз случалось за его одинокую жизнь, многое передумал о себе, о Марии, о Стасе и о людях... Понял: во всем, что с ним случилось, сам виноват. И ключ той жгучей вины в том, что когда-то в молодые годы сам себе не поверил, а не Теклошке: ее надо было выслушать да понять, почему с ней так случилось... Выходит, он от веры своей отрекся, изменил чувствам своим, оскорбил любимую и от людей отвернулся... С собой все понятно, с Теклей — также, а вот с людьми...

## 6

...Михей, Николай и Ефим, добравшись до взгорка, выйдя из воды, поднявшись на вершину, долго не могли отдышаться и вымолвить слово, растерянно глядели на Надю и ее детишек, на Катю. А они, ничего не понимая, испуганно смотрели на Ефима, Николая и Михея, ожидая, что скажут.

Вид у мужчин был жалкий: мокрые, забрызганные грязью, из сапог через голенища, когда двигались по взгорку, выливалась вода.

Надя, глядя на них, сказала:

— Мы, как рвануло, очень испугались за вас. А вы здесь... Давайте быстрее к печке, грейтесь. Или в сарай, одежду снимите да накройте, там в углу возле полатей тряпье есть, а мы вашу одежду просушим.

Мужчины подошли к печке, повернулись к деревне, чтобы посмотреть, что там происходит. А там ничего особенного и не происходило: паводок как паводок, все затоплено, из воды возвышаются печные трубы да серая хата Иосифа Кучинского, в ее окне — красные отблески солнца, заходящего за бор, начинающегося справа от деревни, если стоять в направлении по течению реки. Николай и Михей посадили Ефима на колоду спиной к печке. Затем возле него присел Михей, показал рукой Николаю, чтобы сел рядом, — место есть. Тот, будто не зная, как быть, прыгал возле них на деревяшке, колот ею землю, было видно, как ему тяжело. Станет на самодельный протез и морщится, будто в тело вонзается шило. Наконец и он сел на колоду, отставив деревяшку.

Мужчины долго молчали. Молчали и женщины. Дети испуганно посматривали то на взрослых, то на затопленную деревню.

— Ничего, выбрались, — сказал Ефим. — Здесь и переживем паводок. Вода пошалит, пошалит да и отойдет.

Он замолчал, задумался, ему никто не ответил. Все думали о паводке. И взрослые, и дети.

Ефим осторожно повел головой, посмотрел на Катю: как же с ней сейчас быть... В Забродье не поплывешь. Туда бы, там дома, фельдшер есть. Видел: морщится, сжимается, боль в себе удерживает — вот-вот начнут схватки.

А Катя знала, что сегодня родит. Не ко времени... На день-два раньше бы. Сейчас здесь такое делается!.. Все в напряжении, испуганы... Боялась и не боялась: сколько женщин рожает, и — ничего. Надя поможет: но не наделать бы крику, детишек не напугать бы... Да и мужчин...

Она молча стояла возле ворот, о ней, о ней думает сейчас Ефим, все о ней думают...

— Деда, лодку снесло, — услышал Ефим будто издали и повернулся на голос. Рядом стоял Валик, растерянный, бледный. — Как бабахнуло, так здесь, — мальчик показал рукой на ту сторону возвышенности, к реке, где Ефим к врытому в землю столбику привязывал свою лодку, — вода зашумела, вытащила столбик и потянула его с лодкой.

Хорошая лодка было у Ефима, хоть и старая. Двухвесельная. На ней он когда-то возил сено. Ладную копну набросает — дно широкое — да с лугов везет сюда, к этому берегу. Ефимова хата стояла недалеко от него, и сарай рядом.

— Ничего, челнок выдолблено. Смотри, какое бревно, — старик показал на длинный, метра три, толстый, в обхват, сосновый чурбан, который мужчины еще зимой привезли сюда из бора, чтобы заменить прохудившееся нижнее бревно сарая. — Оно, конечно, лучше смастерить долбленку из осины, но и сосна сгодится.

Что без лодки будет тяжело, знали даже дети. А челн... Его еще нужно смастерить. Чем?.. Одним топором?.. Больше здесь инструмента нет, все осталось возле Катиного сруба. Николай и Михей, как услышали взрыв, все бросили да побежали к дамбе.

Нет, без лодки при большой воде очень плохо, тем более при такой, как сейчас. Но самое страшное, что затопило землянки, а в них одежда, еда. Как есть, так есть, уже ничего не изменишь, главное, что все в безопасности. А могло быть... Валик и Светка, когда Ефим собирался вести лошадей к дамбе на траву, могли увязаться за ним, конечно, если бы тогда были возле сруба, где часто играют. Могли быть на дамбе или возле дамбы и женщины. Мужчины когда-то устроили там мостки, на них было удобно стирать белье. Также и Николай с Михеем могли оказаться рядом с Ефимом: впервые после зимы он вел лошадей в ночное, а это для крестьянина праздник!.. Не пошли. Катин сруб их спас. А от детишек и женщин, как подумал Ефим, сам Бог беду отвел, хотя во Всевышнего старик не очень веровал. А если и верил, то как большинство мужчин: когда страшно — есть Бог на свете, перекрестись, рука не отсохнет. А как все хорошо, так не до Бога.

Сейчас было страшно. Сейчас верилось, что кто-то свыше отвел гибель, спас этих шестерых гуднянцев. Вообще-то сюда нужно добавить и еще одну жизнь, которая вот-вот должна явиться на землю...

Значит, можно считать, что кто-то, кому подвластно все происходящее на земле, спас от гибели семь жизней. Хотя был в деревне и еще один человек — Иосиф Кучинский. Но гуднянцы его в расчет не брали: у Иосифа своя хата, его и спасать не надо, сам выживет. В тепле да с едой (знали, что еда у него есть) он сейчас как у Христа за пазухой.

Ко всему, у Иосифа под навесом новая лодка! А это при такой воде — спасение. Раньше в паводки люди плавали на лодках от двора ко двору, помогали друг другу, сейчас же помощи не жди...

Вечерело. Угас красный блик в окне избы Иосифа Кучинского. Издалека она казалась пепельно-черной. Вода быстро почернела, казалась вязкой. У взгорка она была покрытая темно-коричневыми пятнами кудрявой пены, по-прежнему время от времени пытаюсь взобраться на вершину, но тут же соскальзывала назад.

Зубчатая стена бора, все еще тронутая багрянцем последних лучей залившегося за него солнца, казалась опрокинутой в бездну темно-красного зеркала, тяжело покачивалась в его глубине. И сруб, и изба еще долго отражались в воде, покачиваясь в ней, и исчезли только тогда, когда угас последний луч уже невидимого солнца и ночь опустилась на землю, окутывая ее холодом и кажущимся спокойствием, — утих гул волн, словно его и не было...

...И на взгорке уже было спокойно. Потрескивая, в печке метался яркий огонь, дрова были сухие, береза да осина. В огромном чугуне варилась уха: беда бедой, а есть надо — Надя готовила ужин.

Кажется, спокойна была и Катя, словно показывая всем, что ничего особенного не случилось. Паводок? Ну и что? Сколько их, тех паводков, прошло по этой земле, а люди жили и живут...

Всегда было так: придет паводок, но скоро выдохнется, утихнет и через некоторое время вовсе сойдет. А земля будет держать в себе ровно столько влаги, сколько нужно для хорошего урожая.

Вот и селились люди с незапамятных времен возле рек, большой воды не боялись: река кормит...

— Дядь Ефим, — сказал Николай, — днем все же надо будет посмотреть, может, лодку под какой куст прибило, недалеко отнесло. Тогда свяжем плот, достанем. А если нет — смастерим челн, на плоту будем плавать, коль такая случится надобность.

— Какая еще надобность? — сломал седую бровь Ефим.

— Ну, сельсовет или район...

— Пока большая вода, нечего туда наведываться. Забродье само в воде. Может, не все, а этот край, от нас, уж точно весь затоплен. Он низкий. Будто тебе это не известно. Там сейчас свой переполох. Кто выше живет, помогают сняться тем, кто пострадал, детишек в лодки сдают, вещи, харч грузят и живность, коли она у кого имеется. Да и фермой заняты, как-никак коровы у них есть, несколько лошадей. Что после немца осталось, а что в районе дали.

— Да знаю, знаю, — сказал Николай.

— А район далеко, — продолжал старик, не замечая его раздражения. — Чем он сейчас может нам помочь? Лошадьми? Так уже дал двух, а я не уберег, нет их, нет! Еще спросят за них, ох как спросят!.. Ну, разве что кто с войны будет идти, так поможет и район, и сельсовет: на лодке подвезут. К фронтовику повсеместно уважение имеется, особенно у власти. Тот же Савелий, участковый наш, коль надо, поможет.

— Жди, поможет. Считай, два месяца, как участковый, а к нам глаз не кажет.

— А зачем? — удивился Ефим. — Он тебе здесь нужен? У нас — порядок. Он это знает. Ты же ему сам говорил, что и как у нас, когда на оборани был.

У него участок большой, почитай, два десятка деревень. У нас тихо, а там, случается, и постреливают, особенно ближе к городу, да если в лесу... Сейчас мы как никто отрезаны от всего мира, кто из недобитых сюда сунется?

— Что верно, то верно — никто.

— Так что, Николаюшка, получается, плавать нам некуда, разве что к бору, когда дровишки окончатся. — Старик посмотрел на сухие жерди возле сарая: на неделю хватит... А сельсовет, Забродье — так все же должен кто-то не сегодня завтра явиться сюда: взрыв не могли не слышать. А вдруг... Если что — помогут, детишек заберут. Может, и женщин. Катю так обязательно надо туда переправить.

— Никуда мы от вас не поплывем! — сказала Надя. — Я своих детей в жизнь никому не отдам даже на день! А Катерину как в лодке везти? Мало ли что... Это же — вода. А здесь худо-бедно — сухо, тепло. Сами же полати сладили, на чердаке сено разостлали, постель я ей сделала. Да и я при ней. А там кто?

— Да помогут, говорю. Чай, и там люди. Да власть...

— Помогут, помогут... — словно передразнила она Ефима. — Кому там до нас дело? Там своего горя хватает. И в Забродье много дворов выгорело.

— Если надо будет, помогут, — попытался сгладить резкий тон разговора Николай. — Там же, говорят тебе, — власть.

— Не спорьте, — встрял в разговор Михай. — Все оно так. Только я вот что вам скажу: беда наша, сами ее и одолеем. — Он немного помолчал и добавил: — Сейчас нужно, чтобы все были на виду. За детишками глаз да глаз нужен. А чтобы их в Забродье, или еще куда отдать — нет! Даже будь у нас лодка, я ни за что по такой воде, когда все крутит, крошит, рвет, никого никуда не повез бы. Ни Надежду с детишками, ни тем более Катерину. Нам нельзя отрываться друг от друга.

— Михай, конечно же, никто никуда не поехал бы. Если бы даже лодка была, и не поедет, когда будет — сказала Катя. — Это просто такой разговор. Мол, могло быть так и этак. Это...

Она не договорила, ойкнула, сжалась.

— Наверх! Быстрее вверх! — приказала ей Надя и добавила: — Дядь Ефим, ты уж сам смотри здесь. Воды нам согрейте. В сарае в углу, справа от двери, на полке чистая посуда. Я сама песком вычистила.

— С Богом, — еле слышно, будто сам себе, молвил старик и, отвернувшись от мужчин, тайком перекрестился.

## 7

То, что Ефим, будто стыдясь, перекрестился, мужчин не удивило — в последнее время за стариком такое хоть изредка, но замечается...

Как только женщины вошли в сарай, Ефим, словно что-то вспомнив, поспешил за ними.

В сарае уже было темно, слабый вечерний свет даже через приоткрытую дверь не проникал туда. В углу, за лошадиными стойлами, мекала коза. Ни женщины, ни Ефим на нее не обращали внимания, хотя старик подумал, что нужно было бы какую-то горсть сенца бросить ей. Но потом, потом...

Слева от двери на стене на гвоздях висели два фонаря. Ефим взял один, зажег его, чтобы светить женщинам. Они подошли к лестнице на чердак. Ефим с волнением наблюдал, как Катя осторожно поднимается по лестнице, как Надя поддерживает ее.

Когда женщины забрались на чердак, Ефим подал Наде фонарь, попросил:

— Надька, доченька, ты уж смотри сама, мы ничем не можем тебе помочь.

— Да не надо, дядь Ефим, — сказала Надя. — Сама справлюсь. Какая в этом деле от мужчин помощь? Не мешать. Воду согрейте. Когда скажу, подадите. Да не волнуйтесь, я знаю, что надо делать. Меня мама научила, когда я еще и замужем не была.

— Все будет хорошо, — в свою очередь попробовала успокоить старика Катерина.

Как и всякую женщину, рожающую первый раз, неведение пугало ее: как это будет... Боялась не боли: сколько женщин на земле рожали до нее, кто с криком, кто со стонами, а кто и звука не проронив... Боль она выдержит, будет делать все, что ей скажет Надя, доверится старшей подруге, как могла бы довериться матери, сестре. Боялась иного: здоровенький ли будет ребеночек — вынашивала его не в тепле и не в сытости, часто слезами умывалась, Петра вспоминая...

Надя от своей матери, известной во всех близлежащих деревнях повитухи, научилась помогать роженицам. Надина мать (с незапамятных времен меж людьми заведено передавать из поколения в поколение жизненно важные знания) от своей матери научилась принимать новую жизнь. Состарившись, она начала брать с собой к роженицам свою заневестившуюся дочь Надю. Не сосчитать, сколько детишек в окрестных деревнях, а также в Гуде приняли руки Надиной матери... Летом сорок третьего сгорела она в колхозном клубе вместе с односельчанами, куда их загнали фашисты.

Ефим еще немного постоял в сарае, снял со стены второй фонарь, но не зажег его, только качнул: есть ли еще керосин. В колбе весомо плеснуло — есть, не выжгли, почти полный.

Этот фонарь Николаю дал участковый Савелий Косманович. Как-то Николай по председательским делам был в сельсовете на сходке, рассказал местному активу, как гуднянцы живут.

Сказал, что зерна нет, что живут в землянках. Поведал, что ставят дом вдове-солдатке, что имеют двух лошадей, их осенью дали в районе — дескать, живут его односельчане, как и все люди, не хуже и не лучше.

Савелий, бывший фронтовик, только что демобилизованный по ранению, как и Николай, после совещания завел его к себе в боковушку, в “кабинет” (сельсовет располагался в уцелевшей избе), при слабом свете фонаря, стоящего на столе, налил стакан первача, посетовал, что пока ничем не может помочь.

Николай выпил, “прикусил” рукавом, не торопясь ответил, что помочь он может, и показал на фонарь:

— Вдова Петра Журовца, Катерина, на сносях, живет в землянке. Свет у нее такой: коптящая снарядная гильза.

— Жаль Петра, жаль Катерину, — вздохнул Савелий. — Такая пара была! Он — богатырь, она — красавица. По ней, пока с Петром не сошлась, многие ребята сохли... Сейчас у нее — ни мужа, ни родителей. Конечно, поможем чем только можем.

Прощаясь, Савелий молча подал Николаю фонарь с керосином...

Катя от фонаря отказалась, сказала, что гильзу зажигает редко, пусть фонарь будет в сарае, там он нужнее: при хозяйстве.

Старик повесил фонарь на место, подошел к полке, приделанной к стене, взял огромный чугунок и, помня Надин наказ согреть воды, вышел из сарая.

Уже хорошо стемнело. В печке по-прежнему метался огонь, освещал небольшую часть островка, людей, собравшихся на нем. У подножья, на воде колыхались длинные мягкие сполохи.

Ефим торопливо спустился к воде, сбросил тяжелые сапоги, не закатывая мокрые брюки, зашел в нее почти до колен, опустил чугунок, набрал. Холода он не чувствовал, хотя ступни покалывало.

— Деда, ее надо обязательно процедить, — сказала Светка, когда он подошел к печи. — У меня платок чистый. А вот другой чугунок. Я все сделаю.

— Ну да, — согласился старик, — только я тебе помогу, чугунок тяжелый. Светка молча сняла с головы платок, подала Ефиму пустой чугунок. Воду процедили. Ставя чугунок в печку, Ефим сказал:

— Большая уже. Скоро мать заменишь. А сейчас идите с Валиком да прилягте на полатах. Умаялись. Отдохните. А я кликну, когда помощь потребуется, особенно твоя, Светка.

— Хорошо, деда, — ответил за себя и за сестру Валик, он стоял рядом, не зная, что делать. — Только ты разбуди нас, когда помощь потребует-ся, ладно?

— А как же! — ответил старик, подбрасывая в печь дрова...

...А тем временем, когда дети улеглись на полати и вскоре уснули, утомленные за день, Катя лежала на грубом солдатском одеяле, разостланном на тонком слое сена. Ей было плохо, но она владела собой, не кричала, только тихо стонала. Фонарь, висевший на стропиле, слабо освещал Катину лицо, перекошенное от боли.

Надя видела, как непросто ей сейчас, наклонилась над Катей, начала шептать:

*Полям чистым, морем быстрым  
Шла мать Пречистая.  
Она траву рвала, воду брала,  
Рабе божьей Катерине  
Все тело омывала и в море спускала.  
Как по морю вода расходится,  
Чтобы так у рабы Божьей Катерины  
Кость расходилась.  
Я не знаю, сам Господь Бог знает и помогает.  
Я — со словом — Господь Бог с помощью и  
Святым духом...*

Этот заговор Надя шептала трижды. Затем читала молитвы, которые когда-то слышала от своей матери. И вскоре Катей овладело какое-то удивительное, похожее на сон состояние, хотя понимала: все, что с ней происходит, происходит наяву, и явь эта какая-то туманная, на грани, за которой исчезает сознание.

Наяву — лежишь на чердаке. Над головой фонарь. Она видит склонившуюся над ней Надю... Надя по-прежнему шепчет какие-то таинственные, успокаивающие слова...

...И грезится: Петро перед ней... Ласково улыбается, протягивает к ней руки, хочет обнять, то ли зовет к себе, то ли за собой...

Она улыбается в ответ, но не соглашается и вместе с тем не сопротивляется: будто раздумывает, как быть, при этом понимая, что грезится... И вдруг наяву чувствует, что уже не одна на этом свете, а если так, то ей нельзя в тот мир, где сейчас Петро... Хочет сказать ему это, но губы не слушаются, не может... И чувствует, что и он понимает — нельзя ей идти за ним, — так же неожиданно исчезает, как и появился...

...Очнулась от неизвестного ей доселе своей теплотой, своим родством, своей кровностью пронзительного, беспомощного детского крика, требующего всего ее существа, тепла, ласки, заботы. И этот крик наполнил ее неизъяснимой, ни с чем несравнимой материнской радостью, теплотой и нежностью. Она поняла: сыночек, и осторожно приложила его к своей груди...

Крик ребенка слышали и мужчины. Перед этим они тоже заметили отблески огня. Но не в небе, а там, где стояла Иосифова хата. Были они пугливые, слабые, мелкой россыпью дрожали на черной воде, то вспыхивали, то исчезали. Но сейчас мужчинам было не до них — здесь такое делается, а это, наверное, Иосиф вздумал растопить печку, согреться, вода-то в его избу вряд ли забралась, фундамент высокий...

— Слава тебе, Господи! — не то простонал, не то произнес Ефим, поднимаясь на чердак, держась одной рукой за ступеньки, а другой прижимая к себе завернутый в тряпье чугунок с теплой водой.

Воду, пока Катя рожала, успели прокипятить, еще раз процедить, остудить, чтобы подать матери, пустившей на свет ребеночка, своим криком оповестившего людей о том, что в этот горестный, страшный и жестокий мир пришла новая человеческая жизнь...

## 8

Имея мешок зерна да лодку у крыльца, Иосиф без особых забот мог переждать паводок. Но тем не менее, не мог оставаться здесь.

Ему и раньше жутко и одиноко было в своем доме. А после того, как пожил и поработал в городе, повидал разных людей, понял, как огромен мир человеческой жизни. Вернувшись домой, почувствовал себя вконец раздавленным этими серыми стенами, закопченным лучиной потолком. Захотелось вырваться из-под душающего гнета некогда построенного им же дома. Здесь он давно уже чувствовал себя не то что за решеткой (за решетку ветер врывается, приносит свежий воздух), здесь он, как в наглухо заколоченном гробу...

Вообще-то, если откровенно признаться, его дом, его хата была своеобразной западней для Иосифа столько, сколько жил в ней с Марией. Разве только той разницей, что раньше, когда хотел пойти к односельчанам, — шел, ничего не боясь и ни у кого не спрашивая разрешения.

Приходил к людям, говорил с ними, забывал о своих печалях и даже, кажется, ощущал радость от общения с ними. Хотя радость была с примесью горечи, потому что, сколько себя помнил, вся его жизнь проходила хотя и с людьми, но все же будто в отдалении от них. А горечь — знал, что многие ему сочувствуют, жалеют его, — стыдно было... Еще бы, видят, что не клеится у него с женой — она, не таясь людей, брезгает им и, как сказывали, за драное лыко не считает...

Иногда и горько было, ощущал себя последним негодяем: знал же, что между Марией и Матвеем любовь, так зачем взял ее в жены, зачем обрек и их, и себя на страдания.

Верно говорят люди, что на чужом несчастье свое счастье не построишь. Не построил...

Опостылила ему его хата после возвращения из города, после того, как сам заточил себя в ней, сторонясь людей, не выходя к ним: боялся — не примут, по-прежнему будут мстить за сына-изверга.

Не было ему покоя в своем доме (не говоря уже о счастье), и с Марией, и одному. Одному, вроде, должно быть просторно, но — нет, все давит!.. И вдвоем с Марией было уж очень тесно. Не было здесь места ему и рядом с сыном-полицаем.

И сейчас ему страшно здесь: не дом, а гнездовье адского зла. Да, да, много здесь собралось зла, много... И, может быть, если бы оно касалось только одного его, еще выдержал бы. Но после того, как немцы, уничтожив деревню, вместе со Стасом пиршествовали здесь, — зло стало адским...

О нем Иосиф не забывал ни на минуту. Он чувствовал его днем и ночью, каждое мгновение. Ночами его мучили кошмары. Он просыпался в холодном поту и, когда открывал глаза, во тьме рядом с собой видел (грезилось?) какие-то тени. Казалось, они вглядываются в него, казалось, это Мария и Стас преследуют его, тянутся за ним, не отставая ни на шаг, — дальше такое невозможно было терпеть...

В тот вечер, когда взорвалась дамба, Иосиф пытался очистить свое жилище от темной силы. Как это сделать, он знал: нужно зажечь свечи. Если свеча потрескивает, а язычок пламени бросается из стороны в сторону, значит, в доме нечисто.

Свечи у него были, еще довоенные, церковные. Иосиф зажигал их, ставил в стакан на столе — одну, другую, третью — свечи трещали, язычки пламени метались...

Он никогда не желал Марии зла. За что ему было на нее злиться? За то, что был немил? Так и она была немила ему. Сам виноват, что все так произошло.

Умерла Мария рано, как рано умирали все ее сестры, дочери Варивончика... А Стаса, сына своего, так открестись от изверга, отец, да не откреститься — за него ответ держи, прежде всего перед собой: не смог вырастить человеком...

Поставив в стакан очередную, четвертую зажженную свечу, Иосиф снял из красного угла икону, осторожно завернул ее в чистое полотенце, некогда доставшееся ему от мачехи и к которому с тех пор, кажется, ни разу не прикасался, положил под рубаху на грудь. Затем сунул в карман брюк коробку спичек, подошел к печи, достал из печурки завернутые в тряпочку камешки кремня, также спрятал в карман.

Потом собрал в вещмешок еду (несколько банок тушенки, кусок сала килограмма на два, десяток горстей пшена, завязанного в узел, с полведра картошки, хорошую горсть соли). Поднял — весомо, занес в лодку. Перед этим, вечером, по еще небольшой воде сходил под навес, где она была привязана, пригнал к крыльцу, привязал к столбу, как делал в прежние паводки.

Затем вернулся в дом, зашел в кладовую, притащил оттуда мешок зерна и положил в лодку на переднее сиденье. Это зерно он выменял за золотой червонец царской чеканки. Выменял зимой в городе у знакомого мужика из Забродья Михаила Калистратова, человека жуликоватого, принимавшего в войну и партизан, и немцев, а после освобождения не пошедшего на фронт.

Иосиф в высоких, до паха, сапогах немного постоял на крыльце — вода сжимала ноги выше колен, прислушался к тому, что делается вокруг. А вокруг было тихо, словно все вымерло в Гуде...

“Что же я стою?” — спокойно, как о чужом, подумал Иосиф и решительно ступил в лодку, взял весло, лежавшее на дне, оттолкнулся от крыльца и поплыл.

Путь у него был один — туда, к взгорку, к людям.

Он плыл, а на землю все глубже и глубже опускалась холодная майская ночь. Ее темный, усеянный крупными мерцающими звездами полог трепетал от порывов колочего ветра. Казалось, местами этот полог протерт и через слабо освещенные дыры к земле спускаются космы сизого тумана. Ближе к воде туман слоился — вверху казался шершавым, а у самой лодки — волнистым и мягким, тянулся в направлении взгорка, где трепетали красные языки пламени.

Он знал, что топят печь, повернутую чревом к деревне. Подумал, что огонь могли разжечь специально для него: вдруг вздумает плыть к односельчанам, так вот тебе ориентир... Огонь, трепетавший в печи, и был ориентиром, на который он плыл, иначе в темноте мог бы сбиться с пути.

Иосиф уверенно подсекал веслом под кормой лодки воду, старался держать нос своего суденышка прямо на огонь. Вскоре огонь ослаб, будто в печь

плеснули воды, а еще через минуту погас. Но впереди все же были заметны очертания островка, сарая на нем, гряды кустов, пробегающих через весь взгорок от воды до воды.

Лодку несло в нужном направлении. С каждым взмахом весла ее нос все дальше и дальше легко вспарывал густую ночную тьму. Когда же луна выскальзывала из-за туч, слева и справа от суденышка бледно-желтыми тенями проплывали печные трубы. Иосиф безошибочно определял, где чья: вот Ивана, а это — Кириллы, а та — Федора... Катерины... Тодоры... И каждая труба, оставаясь позади, была как напоминание о своем хозяине или хозяйке, которых уже нет на земле. И каждый раз у Иосифа возникало такое ощущение, будто кто-то из этих людей вонзает ему меж лопаток острый нож, да не так, чтобы насмерть, а на страдания: смотри, запоминай — и твой сын приложил руку к нашей гибели...

Иосифу не хватало воздуха, и он, словно рыба, выброшенная из воды, только обессиленно открывал и закрывал рот. Так было, пока не проплыл мимо последней трубы — Ефима, оставшегося в живых, друга молодости, а нынче недруга, к которому он плыл, надеясь на сочувствие в его страданиях... Исчезла труба, а на душе легче не стало, даже подумал: не повернуть ли лодку назад, к дому?..

Подумал, и все внутри сжалось: дома-то у него не было, хата была, стены были, крыша над головой была, а дома — нет.

Дом там, где тебя ждут. А его никто не ждет. Да и никогда никто не ждал...

“Нет, не вернусь”, — твердо решил Иосиф.

...Тем временем позади на воде заметались слабые отблески света. Иосиф заметил их, когда очередной раз подсек веслом воду под кормой, когда нос лодки взял вправо, заметил боковым зрением. Но странно, не придал этому никакого значения — скользили и исчезли, — волна вновь повернула нос лодки влево, поставив его в направлении взгорка, где неожиданно заметался желтый огонек, — фонарь, понял Иосиф.

Он быстрее заработал веслом, уже гребя справа и слева, даже начал бить им по воде, надеясь, что его услышат.

Но похоже, никто его не слышал. Никто не окликнул. Тогда, подплыв еще ближе, Иосиф закричал:

— Люди! Люди!

Ответа не было...

“Неужто что случилось?..” — в отчаянии простонал Иосиф и вновь хотел крикнуть: “Люди!..”, но из груди вырвался хрип...

Тем временем Ефим, заметив лодку, закричал, чтобы греб на него, стал подсвечивать фонарем. Иосиф облегченно вздохнул, начал причаливать... А когда причалил, разговор между ними был только им двоим известный. И этот разговор некогда бывших друзей, оказался совсем не дружелюбным...

А перед тем, глядя в темную фигуру Ефима, Иосиф кричал ему, что у него есть харч, что хата его еще теплая и что сейчас односельчанам, особенно детишкам, — туда надобно...

Охладил его разговор с Ефимом, словно плеснул в душу ледяной водой, от радости ничего не осталось. Растерялся Иосиф, не зная, что делать, а тут еще услышал из сарая: “Да закройте вы дверь!..”

Эти слова повергли его в шок, стыд обжег душу, и он понял: отныне между ними — непреодолимая стена...

...Односельчане не приняли его, а он-то думал, что новая общая беда, если не примирит их, то хоть чуть-чуть сблизит.

Иосиф надеялся, что время, прошедшее после войны, надоумит односельчан посмотреть на него как на человека, не имеющего перед ними никакой вины: он никогда никому не причинял никакого вреда.

Да, он отец изменника. Но кто из родителей знает, каким станет его дитя? Случается, и родители хорошие, а ребенок, как его ни воспитывай, вырастает плохим человеком. Наверное, не зря в таких случаях говорят: “И в кого он такой?..”



Так в кого Стас? В бабу с дедом, которых все считали кровопийцами, и не без оснований, — на людей зверьем смотрели, никогда никому не помогли, не посочувствовали...

В мать, в Марию? Мария была такая, как и ее родители. В него, Иосифа? Но он до сих пор сомневается, он ли Стасов отец: только начали жить с Марией как муж с женой, а она — уже с животом.

Сплетничали женщины, что Мария понесла от Матвея. Любовь у них была. Он старовер, с дальней деревни. Она новой веры. Его родители их разлучили: нельзя ему “поганку” брать... Коль жизнь так повернулась, да все по-хорошему было бы, пусть бы и так. Дитя при чем? Невинным оно рождается, но коль ты его принял, воспитывай, ответ за него держи, отец или нет. Получается, люди правильно считают: он в ответе за злодеяния сына. Поэтому как не принимали они ранее Иосифа, так не приняли и сейчас. Им нипочем, что он отрекся от сына, хотя и знают об этом. Знают, что он не пускал Стаса идти служить врагу. И еще много чего знают и о Стасе, и о нем, а что с того?

Нет ему места среди людей, которые когда-то были своими. Сейчас он в очередной раз убедился в этом.

Значит, прочь отсюда!.. Нужно как можно дальше держаться от них. Прочь, прочь!.. Но куда? Да куда глаза глядят!..

Иосиф сошел из лодки в воду: по колено. Волна толкнула лодку к сараю, повернулся и решительно двинулся к противоположному краю островка.

Он шел и не видел, что Ефим смотрел ему вслед, не зная, как быть. Впрочем, Иосифу это уже было не нужно. Он знал, чего хотят от него люди: чтоб быстрее сгинул с глаз, исчез с их островка, на котором они нашли спасение от паводка.

Но если так, этот островок такой же его, как и их. Он знал это место с детства. Знал, может быть, даже лучше, чем Ефим, неизвестно откуда пришедший когда-то в Гуду. Знал лучше, чем Николай и Михай, тем более, чем женщины и детишки.

Этот островок среди воды был самым высоким местом во всей округе. Небольшой, метров пятьдесят в длину, почти наполовину меньше в ширину, он стоял слева от деревни, за которой начинался клин бора.

Взгорок всегда жил сам по себе: и в паводок, и в засуху, и зимой, и летом. Еще бы, все вокруг связано с водой. И деревня, находящаяся в пади, и бор, и заливные луга на той стороне реки, и стежки-дорожки, ведущие в Гуду из далеких и близлежащих деревень. Здесь всегда все было прочно связано, переплетено между собой. А взгорок, погорок, гура, гора — просто возвышенность за деревней у реки, — как кто хотел, так и называл это место. Ведь в Гуде до того, как ее уничтожили фашисты, жили не только белорусы, но и несколько семей староверов, пришедших сюда откуда-то из России в далекие времена, спасая веру свою, семья переселенцев из Украины, польская семья, поселившаяся здесь неизвестно когда... Ладом жили, берегая свое и уважая чужое, помогая друг другу и в радости, и в горе...

В былые времена взгорок был как некая особая часть суши на этой земле, таившая в себе неразгаданную животворящую силу.

Сколько себя помнил Иосиф, здесь в паводки находили спасение зайцы, косули, дикие кабаны, а то и лоси, убегающие от большой воды со своих лугов, лесов, перелесков, полей, находящихся на этой стороне от Гуды, в направлении Демковских болот. Зверье, отрезанное от бора и не имеющее возможности добраться до него, пережидало здесь паводок. В былые времена зверя никто не трогал. Когда случалось, какой озорник говорил: не взять ли ружьишко да поплыть туда, — старики тут же осаживали его:

— Только попробуй!.. Мы с тебя самого шкуру снимем: живое спасения ищет, и походя лишать его жизни — большой грех.

Словно родниковой водой окатывали разгоряченный умишко — утихал молодец, со стариками шутки плохи:

— Да ну вас! Пошутить нельзя...

Никто не осмеливался в такую пору с ружьишком и шага ступить на островок, возвышающийся среди бескрайнего моря воды.

...Размышляя так, он остановился у кромки воды, зная, что будет делать дальше... Снял фуфайку, свернул, перевязал рукава, сжал как смог — меньше набухнет. Остался в рубашке, нащупал на груди булавку, снял шапку. Затем стянул сапоги, ноги были сухие. Свернул портянки, воткнул в сапоги и, плотно перевязав голенища ремнем, перебрался через плечи, как коромысло: сейчас можно и в глубину, обувка цела, в ней худо-бедно держится воздух.

Иосиф не оглядывался, хотя и заметил, что по кустам на гриве островка, справа от него скользят отблески света. Подумал, что, наверное, Ефим при свете фонаря повыше затаскивает лодку. Это хорошо: в лодке еда, зерно, икона.

Не смотрел он и по сторонам. Если бы глянул туда, где стояла его хата, увидел бы, что внутри, пытаясь вырваться наружу, мечется огонь.

Иосиф на шаг ступил в воду — у самого взгорка по колено. Значит, дальше глубоко. Впрочем, это он и так знал, дальше начинается впадина.

Отметил, что особого холода не чувствует, но понимал, что это обманчивое ощущение, что вода довольно холодная. Постоял, всматриваясь вперед и определяя, куда спускается темный клин бора, — его верх был потянут узкой дрожащей ломаной полоской света. Небо очистилось от туч, и луну закрывал только легкий туман. Иосиф перекрестился и бросился в черную воду...

Вода обожгла лицо холодом, потянула вниз, сжала, через мгновение вытолкнула на поверхность и опять попыталась поглотить его. Но он не поддался, перевернулся на спину, широко раскинув руки, взмахнул ими, поплыл.

Плывать он научился в раннем детстве, жизнь его прошла на реке, и он хорошо знал, что на спине плыть легче: слегка гребь руками, отталкивайся ногами, шевелись — и будешь держаться на воде. Однако вода весенняя, талая, еще не прогрелась, и продержится он в ней не более получаса. К бору, если не сойдет, доплывет минут за десять-пятнадцать. Главное, чтобы не свело руку или ногу. Впрочем, если сведет руку, нужно прокусить ее до крови — отпустит. Если же ногу — немедленно отстегивай булавку да коли как только можешь...

Это он знал с детства. Старики учили несмышленных мальчишек, что делать, если вдруг перевернется лодка, а ты не успеешь ухватиться за борт и тебя снесет течением, а потом сведет руку или ногу.

Старики многому учили ребят. И конечно же, передавали свой опыт выживания на воде, в лесу в разные времена года, когда помощи ждать неоткуда.

С пути он не свернет, плывя на спине, видит, как над гребнем бора колыхается все та же желтая нить. Она не исчезает, хотя вокруг посветлело — туман заметно поредел, будто прохутился, стал почти прозрачным, так что и луна светит, и звезды видны.

Плыть было тяжело, хотя голову и спину поддерживали наполненные воздухом, пережатые в голенищах сапоги. Да и фуфайка поддерживала, лежал на ней, как на подушке. Тяжело, наверное, потому что состарился, изнаосился. Это в молодые годы, когда еще не сойдет паводок, он мог напрямик доплыть до Забродья, да не отдыхая — назад. Перед Теклошкой хвастался: дескать, смотри, какой я — она стояла на мосту и с замиранием сердца наблюдала за ним.

И, наверное, сейчас, если бы не сапоги, наполненные воздухом, поддерживающие его на плаву, уже давно пытался бы достать ногами дно. И уже проплыв не менее половины пути, увидел, что желтая нить на вершине бора отяжелела, разорвалась, сползла в воду, но не погасла в ней, а вспыхнула пламенем — какой-то огонь отражался в ее глубине.

Иосиф повернул голову влево и увидел, что горит его дом...

“Ну, вот и все, — почему-то с облегчением подумал он. — Нет мне пути назад. В лес, в лес, подальше от людей!..”

## 9

В ту тревожную ночь, когда исчез Иосиф, никто из гуднянцев не заснул. И утро тоже особого облегчения людям не принесло. Вроде все хорошо, Катерина родила мальчика, выбилась из сил, тихо лежит на чердаке, а ребенок, говорила Надежда, пососав грудь, посапывает возле матери.

Тревога охватила всех, когда у Катерины начались схватки. А потом ужас, когда неожиданный паводок затопил все окрест, исчезли под водой землянки.

Еще хуже стало после того, как Иосиф, приплыв сюда, оставив им лодку с провиантом, с зерном да иконой, завернутой в ручник, исчез... А когда хату его охватило пламя, люди ничего не предприняли, чтобы погасить.

Конечно, можно упрекнуть себя: почему даже не пытались поплыть туда? Ну, поплыли бы на Иосифовой лодке, и что, потушили бы?.. Пламя занялось изнутри. Это они видели. Оно быстро разметалось по всей хате, через минуту вспыхнуло так, будто внутри дома что-то взорвалось: гонтовую крышу вмиг снесло. На воду долго сыпались искры. Попробуй подплыви...

Сначала думали, что Иосиф сам сгоряча поджег ее. Облил стены бензином или керосином, зажег где в уголке огонек, чтобы, пока разгорится, отплыть подальше: иначе почему все так быстро произошло? Кто-то даже произнес это вслух, то ли Михей, то ли Николай, как догадку. Но Ефим сразу же прикрикнул на него:

— Ты это брось! Какой ни есть, но не фашист, чтобы дом поджечь! Я с молодости его знаю! Мы с ним столько изб поставили!.. Да, судьбой обделен был, но никогда не вредничал. А что в войну произошло, так это...

Не договорил, будто обмяк, застонал от бессилия что-то изменить и вдруг подхватился, заметался по островку, как загнанный в клетку, простонал: “Иосиф...”

Михей с Николаем, словно опомнившись, начали звать: “Иосиф! Иосиф!” Ни звука в ответ, поздно спохватились, час прошел, а то и больше. Может, его уже и в живых нет?..

— Что же я сделал! — стонал Ефим.

— Может быть, сошел куда? — предположил Николай. — Может, смотрит сейчас издали, как догорает его дом, да волосы на себе рвет.

— Да куда ты отсюда уйдешь? Вода везде — дна не достанешь. Затянуло под какой куст и — нет человека.

— А мы что? — встрял в разговор Михей. — Наша в чем вина? Своего горя невпроворот, так здесь еще он. Кто его звал?..

— Дядь Иосиф! — вновь закричал Николай, сложив руки рупором. — Дядь Иосиф! Отзовись!..

Покричал, покричал и смолк, ответа нет. Вздогнул — глухое эхо словно плетью хлестнуло по лицу... Вздогнули и Ефим с Михеем.

Тем временем из сарая вышла Надя, спросила:

— А где это дядь Иосиф? Шел бы погреться, ночь холодная. Орете-то чего?

— Нет его здесь, поэтому и орем, — ответил Ефим. — Может быть... — он еще что-то хотел сказать, но смолк, так и не договорив.

Надя покачала головой, вернулась в сарай, где спали ее дети.

— Дядь Ефим, — сказал Михей, — ты огонь разожги, а мы с Николаем кусты осмотрим.

Ефим молча пошел к печи, положил дрова, начал разжигать огонь, все еще надеялся, что Иосиф где-то поблизости, на взгорке прячется. Увидит огонь, выйдет, слышит же, как они его зовут. Не вышел...

Через полчаса Николай и Михей вернулись озадаченные. На вопрос “Что там?” Николай ответил:

— Следы от сапог ведут прямо к воде. У воды он потоптался на месте, потом снял сапоги и, наверное... Больше на песке ничего — ни сапог, ни одежды.

— Что же делать? — спросил Ефим скорее сам у себя, чем у Николая и Михея.

Те неопределенно пожали плечами...

А через неделю, когда вода постепенно начала отступать и уже примерно на полметра отошла от взгорка, сюда прибыл участковый Савелий Косманович. Савелий был родом из Забродья. Почти ровесник Петра, Ефимовых сыновей и Стаса, с которыми уходил на войну, вскоре после освобождения

района, демобилизованный по ранению, вернулся домой. Савелий стал участковым.

Приплыл Савелий на лодке, привязал ее к торчащему из воды у самой суши пню, тяжело ступая блестящими хромовыми сапогами по вязкой земле, подошел к сараю.

Ефим стоял возле лодки, оставленной Иосифом. Ее вытащили сюда, перевернули вверх дном — хотя и новая, а протекает, надо бы просмолить...

Был Савелий в милицейской форме. Значит, прибыл неспроста, подумал Ефим, выпрямляясь и настораживаясь.

Участковый, подойдя к старику, молча посмотрел на лодку, покачал головой, затем резко козырнул, обнял Ефима за плечи, молвил:

— Крепись, дядя Ефим, твоих сыновей ищут.

То, что его сыновей ищут, Ефим и без Савелия знал. Конечно, старик прежде всего хотел услышать от участкового что-то конкретное о них, а тот ничего нового не сообщил: "...ищут..."

Ефим после того, как освободили район, подождя с месяц, но так и не получив никаких вестей ни от сыновей, ни от командования части (где-то же они служили, коль в военкомат в начале войны пришли), подался в город, чтобы узнать, что с ними.

В военкомате сказали, что сделают запрос куда следует, а потом обязательно сообщат. Но до сих пор не сообщили Ефиму, живы ли они, погибли или пропали без вести.

— Одно могу сказать, отец: до фронта они не доехали. Их поезд разбомбили, и с того времени следы твоих сыновей теряются.

— Как так? — растерялся старик. — Михей сказывал, что их еще в военкомате в танкисты определили. Если, как ты говоришь, поезд разбомбили и их следы касаются, так должна быть бумага, что пропали без вести.

— На войне всякое случается. Например, плен. В общем, если будет зафиксировано, что твои сыновья пропали бесследно, тогда и пришлют официальное уведомление. А пока надо надеяться и ждать.

Ефим молча посмотрел на Савелия. Лицо у него было какое-то отрешенное, ни один мускул на нем не дрогнет, слова произносит, как давно заученные, не свои, не из души идущие — никаких чувств, переживаний. А слова-то жестокие, нутро ледянистое, и впечатление такое, что говорит не человеку, которого они касаются, а неизвестно кому — бросает в пустоту, и только. Дескать, я говорю, что знаю, а ты как хочешь, так и воспринимай. И глаза у Савелия холодные, ничего не выражающие, вроде и на тебя направлены, а мимо скользят — нет тебя перед ним, горем угнетенного, нет...

Так и стояли друг перед другом: высокий худой старик с изможденным суровым лицом, с непокрытой седой головой, и молодой, крепкий, на вид — кремень, участковый.

"Официальное уведомление, говоришь, — скользнуло в сознании Ефима, — что ж, коль уж обходит оно меня, может, и живы..."

Такое уведомление на Ефимовых сыновей у Савелия было, и лежало оно в кармане его гимнастерки. Савелий перехватил бумагу у заброденской почтальонки, которая обслуживала и Гуду, время от времени приносившей сюда кому похоронки, кому вести от сыновей, отцов, мужей, а кому и это: "...без вести пропал..."

Приносила и отдавала Николаю, как главному здесь по должности — председатель несуществующего колхоза, ибо тех, кому они адресовались, не было в живых...

Стопка таких разных сообщений собралась у него, на некоторые требовался ответ, и Николай отвечал, писал тем, кто был на фронте, об их родных и близких. Писал под общую диктовку сельчан, передавал от них "поклоны", сообщал, что односельчане с нетерпением ждут возвращения фронтовика...

Казенную бумагу о Ефимовых сыновьях Савелий никому не показывал. И это была его глущая тайна и тайна почтальонки, недавно получившей такую же бумагу на своего мужа. Савелий попросил ее молчать. Сказал, если что, все возьмет на себя. Объяснил, почему пошел на такое "преступление": надо, чтобы старик верил, что живы его сыновья, ждал. Знал Савелий,

что есть случаи, когда родные получали официальное сообщение — “пропал без вести”, а через некоторое время оказывалось — жив человек, воюет или в плену, а то и в своем лагере...

Говорил Савелий это и почталонке, чтобы и та не верила, что ее муж пропал без вести, и она, выслушав его, ответила:

— А я и не верю, но лучше было бы, чтобы и мою бумагу кто-нибудь перехватил...

Савелий хорошо знал Ефима как человека, уважаемого во всей округе. И сыновей его хорошо знал. Поэтому не хотел допускать мысли, что они, если остались живы, могли сдать в плен, или того горше, оказаться предателями.

Верил, рано или поздно придет на них иное известие: живы, воюют, а может, и сами отзовутся, или, если в каком секретном деле, — соответствующие органы сообщат о них отцу то, что можно.

— Как же так? — вдруг спросил старик не столько у Савелия, сколько у самого себя. — Плен... Нет, в плен Ванюша с Никодимушкой пойти не могли. Разве что в несознании лежали. А чтобы провинились да в лагерь или в измену ушли, — нет... Я своих ребятишек лучше себя знаю, не такие они. В танкистах Ваня с Никодимом, сказывал же Михай. А танкисты — все время на передовой, вот и писать некогда. А ты говоришь, поезд... Какой еще поезд?

— Правильно говорил Михай, в танкисты их определили, — молвил Савелий, поняв, что сказанул не то. — Это я так, дядь Ефим, в общем обрисовал тебе, что может произойти на войне.

Я вот как рассуждаю: в районе их направили в танкисты. А до танкистов им еще нужно было ехать да ехать. Сперва в тыл. Там часть формировали. Не доехали. Эшелон разбомбили. Но их же, Ванюшу и Кодио, не нашли ни среди погибших, ни среди тех, кого после собрали в колонну... Что, побежали в панике куда глаза глядят?.. В лесу, километрах в десяти от того места, где разбомбили эшелон, тогда немецкий десант высадился. На него вышли и в плен сдались?.. Так они в изменниках не значатся. Изменники рано или поздно проявляют себя, враг с ними не церемонится, выставляет напоказ, чтобы назад дорогу закрыть.

— Да не могли мои сыны сдать в плен! — уже закричал Ефим.

— Тихе, дядь Ефим, — попробовал успокоить его Савелий. — Оговорился я. Так сказать, все размышляю, что с ними могло случиться. Я же не говорил, что они могли сдать в плен, или... Извини меня, запомнил, как тебя по батюшке, отчество твое как, дядь Ефим?

— Запомнил, говоришь... А у меня отродясь своего отчества не было. Не знал я ни матушки, ни батюшки, родивших меня. Люди иной раз Михайловичем кличут. Михайловичем, так Михайловичем... Если бы ты видел меня в молодости моей, то понял бы, что чужой я здесь, неизвестно откуда взявшийся. Местные люди — русые, а я темный... И глаза у меня темные были, пока не выгорели. Конечно, всякое было с людьми здешними, но они меня приняли, и сроднился я с ними, жизнь свою здесь доживаю, на этой земле. Судьбу свою здесь нашел, до этого много дорог прошагав. Помню я все те дороги, непростые они были, крутые, тяжкие, но одолел их, правда, не один и не сам по себе. Помню, как мальчишкой обездоленных людей по миру водил. Среди них был некто Михась, Михаил, значит. Он-то и подобрал меня сиротинку несмышленную в каких то краях, неизвестных мне... Немощные, слепые, хромые да безногие, а не дали мне сгинуть. И те, кто кусок хлебушка им подавал, выходит, и меня выхаживали. Так что мать и отец мне — хорошие люди. А их — вона сколько на земле! И Ванюшка с Кодиошкой это знали. Сызмальства учил я их этому. И на войну отправляя, об этом сказывал: идете людей защищать, землю свою от супостата спасать. И еще кой-какие слова говорил, может, уж очень крутые, но праведные, чтобы помнили, что к чему на земле да меж людей. Сам-то я, знаю, человек далеко не праведный, жесткий, а они праведными должны быть! Мать у них праведная была, мухи не обидела. У Ванюшки и Никодимушки все от нее, от меня — отцовство, ну и еще чуть-чуть в характерах. Так что, хоть и власть ты, Савельюшка, а такие слова мне говорить не смей!

— Да полно тебе, дядь Ефим! Коль глупость сказал, прости меня. При чем тут власть я или не власть? Говорю тебе который раз, размышляю... Время покажет, что и как. Только прошу тебя вот о чем, дядь Ефим. Вдруг придут, да не как демобилизованные, скажи чтобы сразу ко мне бежали. Разберемся. А то, не дай бог, какой службист ими займется. Сейчас с этим очень строго, да и дурусти полно: иной при больших погонах, а дурак дураком! Я сам таких повидал...

Катя, стоя в сарае с сонным сыночком на руках — дала ему грудь, он заснул, словно окаменела: Ефимовы сыновья — дезертиры?.. Да не может такого быть!

Слышали этот разговор и Михей с Николаем. Слышала и Надя. Они тоже были в сарае, в том его конце, где еще до паводка отбили уголки, смастерили в них полати.

Слышали и шлепки весел по воде. Слышали, как кто-то подошел к сараю, начал с Ефимом разговор. Вроде, и не касался он их, но выйти не посмели — мешать-то зачем? И вот, оказывается, кто прибыл — Савелий, участковый! И вот какой разговор повел — тяжелый...

А тем временем Савелий, видя, что Ефим будто обмяк, попытался, как умел, утешить старика:

— И я в твоих ребят верю, дядь Ефим. Правильные парни. Говорю же, мало ли что случается. Откроюсь, не одному тебе говорю все это. Вон, вместе с Ваней и Никодимом исчез Василий Кечик из Забродья. Помнишь такого?

— А как же, помню, — глухо произнес Ефим. — Хороший парень. Отец его, Леонтий Киреевич, до войны лесником был. В войну партизанил. Часто ко мне приходил. Через него я с отрядом связь держал. Мы с ним с войны не виделись. Как он там?

— Сейчас Киреевич совсем слаб. Почти не встает. Я и ему о сыне должен был так говорить, как тебе. Думаешь, мне это легко, не зная, что и как?

Ефим не ответил. Вновь некоторое время молчали. Потом Савелий, глубоко вздохнув, сказал:

— Собери-ка, дядь Ефим, всех, кто в наличии.

— Это как, в наличии?

— Тех, кто в деревне есть.

— Вона что...

Ефим уже собрался идти в сарай, как протяжно закричала дверь и на взгорок вышли Николай, Михей, Надежда, Катерина с сыночком на руках, Светка и Валик.

Савелий, увидев Катю с ребенком да Валика со Светкой, замахал руками:

— Катерина, назад иди! Малого смотри. И дети пусть идут.

Катя вернулась в сарай. За ней — Валик и Света.

Участковый долго пристально смотрел на Николая, Михея и Надежду. Наверное, хотел понять, слышали они его разговор с Ефимом или нет. Те, не дойдя несколько шагов до участкового, остановились, молча ждали, что будет дальше.

Савелий будто нехотя подошел к ним, сдержанно, хотя и за руку, поздоровался с мужчинами, Надежде кивнул головой: “Здрасьте”. Затем, ни к кому не обращаясь, спросил:

— Это все?

— Все, — ответил Николай и добавил: — Будто не знаешь.

— А Кучинский где?

— Кучинский? А кто знает? — ответил за Николая Ефим и неопределенно пожал плечами. — Исчез в паводок, и больше мы его не видели. Звали, не отзывался — здесь тогда такое было!.. Все вокруг кипело, трещало, сами чудом уцелели, не до Иосифа было. Может... — он умолк.

— О паводке знаю, — раздраженно сказал Савелий. — Знаю, что взорвалась дамба. Знаю, что был пожар, хоть я неделю отсутствовал — в район вызывали по делам. Но...

— Может... — повторил Ефим, не зная, что сказать дальше.

— Да брось ты это “может”! — Савелий вдруг изменился в лице: побавровел, глаза стали холодными. — Что это означает, “может”?.. Что, дом

Иосифа Кучинского сам сторел? И сам он исчез?.. Может!.. Вон в одной деревне, правда, не на моем участке, тоже исчез отец предателя. Органы ищут, а люди: “Может...”

— Мы его ни в войну, ни после даже пальцем не тронули, стороной обходили,— сказал Ефим. — Он сам по себе жил, мы сами по себе.

Савелий молчал. Его щеки нервно дергались. Вдруг он сорвался с места, начал быстро ходить перед сельчанами взад-вперед. Натоптав влажную тропку, остановился, тихо, будто размышляя, произнес:

— Хотя, может быть, и сам... — Он вновь умолк, словно собирался с мыслями, сказал: — А вы знаете, что Иосиф Кучинский перед властью ни в чем не виноват? Так что, если вдруг появится, — никакого самосуда! Иначе сами пойдете под суд, и я не спасу. Но если случится, кто иной из органов будет интересоваться, говорите правду, как сейчас мне: “Взорвалась дамба, все вокруг затопило, мы здесь спасение нашли, он в стороне от нас жил, может, смыло человека. А пожар — топилась печь, выпали угли...” Короче, вам все понятно?

— Конечно, понятно, — ответил за всех Николай. — Так и было. Мы его не видели.

— А лодка чья? — вдруг спросил Савелий. — Кажись, не Николаева, не Михеева и не твоя, дядя Ефим, а?

— Врать не буду, его, Кучинского, — сказал Ефим. — Принесло ее, прибилась...

— Принесло, прибилась, говоришь. Лучше было бы, чтобы она уплыла, и как можно дальше отсель. Пусть ее от вас унесет.

Сказав это, Савелий махнул рукой, повернулся, тяжело ступая по влажной земле, направился к своей лодке. Люди молча смотрели ему вслед: попробуй понять, навещал он их как участковый или как хорошо знакомый с довоенного времени человек. Говорил с ними вроде как с равными, но чувствовалось: служитель закона — власть...

Савелий удалялся, а в глубокие следы от его сапог сочилась рыжая муть...

Он подошел к лодке, достал из нее тяжелый деревянный ящик, поставил на землю, крикнул:

— Мужики! Здесь детям медок, дядя Кечик, Левонтий Киреевич, передал. У него в лесу колоды сохранились, я осмотрел их, взял прошлогодний. А солонину да еще кое-что люди собрали, узнав, что к вам плыву. Ну и консервы — мой паек. Так что держитесь пока, в беде не оставим.

— А почта есть? — спросил Николай.

— Почта? Нет пока, пишут. Заходил к почтальонке, как будет, приплывет, лодку дам.

Савелий отвязал свою лодку, оттолкнулся веслом от пня. Течение сразу же подхватило ее, понесло. Правя веслом, держа лодку под углом к течению, быстро вывел ее на фарватер реки. Там резко повернул, выровнял и, сидя спиной к людям, принялся грести изо всех сил.

Но, как заметили мужчины, для человека, выросшего возле воды, веслами орудовал неумело, махал ими, будто не замечая, не думая, что делает. Весла шумно шлепали по воде, поднимали брызги, и Савелий ни разу, пока не исчез за поворотом реки, так и не оглянулся на людей, стоявших на взгорке.

## 10

Все понимали, что Савелий не очень-то верит им. Считает, что они могли совершить самосуд над Иосифом Кучинскими, поджечь его дом. И лодку его забрали. Только зачем? Это же — улика. Ведь не зря советовал, чтобы уплыла...

— Если вдруг случится допрос какой, так вы не лезьте, — сказал Ефим мужчинам, когда уплыл Савелий. — Я последний, кто говорил с Иосифом, мне и ответ держать.

— За что? — возмутился Николай. — Да, было, приплыл сюда. Кричал: “Люди!..” Так что, целоваться с ним? Ты же не гнал его прочь, а если

что и сказал против, так он же не сумасшедший, чтобы из-за этого с головой в воду... А хоть бы и гнал, так бери, Иосиф, свою лодку и плыви куда хочешь. Много мест на земле, где тебя люди не знают. Так что, дядя Ефим, незачем изводить себя: “Я последний... буду отвечать...” Верно говорю?

— Может, оно и так. Но все же...

Старик пожал плечами. Конечно, думать можно по-разному. Но его никто не мог переубедить в том, что он виновен в гибели Иосифа Кучинского. Виноват. Именно после их разговора Иосиф оставил лодку возле взгорка и ушел прочь... Разговор хоть и короткий был, но нехороший, въедливый, с ненавистью.

Когда Иосиф подплыл, Ефим подсвечивал ему фонарем, спросил с насмешкой: “Откуда?..” — будто не знал, что из дома... Знал. Зачем тогда издевался: “Из дома, говоришь? Ну и что с того?”

Вот это “Ну и что?..”, наверное, и оттолкнуло Иосифа. Впрочем, он не сразу ушел, а некоторое время размышлял, что делать. Говорил, что еду привез, рожь, что хата его еще теплая, о детях заботился, о Кате... А они в ответ: “Да закройте вы дверь!” Но если в свою избу звал, так зачем еду привез? Не верил, что люди примут его, или боялся, что, пока они будут решать, как быть, его хату затопит вода, а то и снесет?..

Странно как-то... Впрочем, крестьянская душа: умирать собирайся, а жито сей... Может быть, хлеб на всякий случай взял?

А требование закрыть дверь — так из-за детишек, из-за Катерины. Ефим, когда увидел, что Иосиф плывет сюда, хотел крикнуть: “Прочь, дьявол, чтобы во веки веков люди не видели и не слышали тебя!..” Но сдержался, увидел в Иосифе хоть какого, но человека, которому тоже больно, как и тебе. Да только всего этого оказалось мало: одно дело увидеть, иное — сказать.

Ушел Иосиф. Кому сделал плохо? И себе, и тем, к кому плыл. И еще неизвестно, кому хуже...

Нет, завтра же Ефим на Иосифовой лодке поплывет к Савелию. Расскажет участковому все, как было. Почему сейчас не рассказал? Растерялся. О сыновьях больше думал. Горькое, страшное о них говорил Савелий, не надо бы так... Впрочем, все растерялись, никто не ожидал такого разговора с участковым. Что ни слово у него — гвоздь! И каждого словно к кресту приколачивал: за словами так и слышалось: преступник, преступник, преступник!..

А Ефима так даже дважды распял. Первый раз, когда размышлял, что в плен могли сдать, второй, когда предупредил, чтобы сыновья, если появятся в Гуде, сами к нему бежали. Значит, уверен Савелий, что они преступники. Значит, вообще не верит Ефиму. Как же так?..

...Тем временем Савелий, сидя спиной к людям, плыл в Забродье, но не напрямик — это километра три-четыре по залитым лугам, а по руслу реки.

Он нарочно делал круг. Нужно было побыть в одиночестве, чтобы все обдумать да разобраться в том, что случилось с гуднянцами. И как участковому, для которого сначала — закон, а потом все остальное... И как обычному человеку, для которого важнее всех писаных — неписаные, веками сложившиеся законы, по которым и живут люди. Законы эти нерушимые, ибо круто на совести замешены. И действие свое возымели еще с тех времен, когда законы никто не писал... Писанный закон — на страхе, на принуждении, а этот — на осмысленном действии. Хорошо, когда они совпадают. А если нет?.. Тогда и происходят человеческие трагедии. А здесь как?

Если по писаным, то он сам, мягко говоря, нарушитель: не имел права перехватывать да утаивать казенную бумагу, адресованную Ефиму Боровцу. Это документ. В нем, исходя из фактического материала, удостоверяется, что его сыновья “без вести пропали”. Но все же как “пропали?” Вот что для Савелия очень важно. У кого-то из сопровождающих офицеров были списки мобилизованных. В тех списках, естественно, значились и Ефимовы сыновья. Вскоре после того, как улетели немецкие самолеты, командирам удалось собрать оставшихся в живых и не убежавших неизвестно куда. Сверили списки: среди тех, кто был в наличии, — нет Боровцов. И среди убитых нет.



Так куда они делись? Домой бросились, а по дороге встретили немцев и сдались в плен?.. А если добрались до дома и прячутся в окрестных чащобах, да время от времени постреливают в машины, проезжающие по шоссе, а то и в местных жителей?..

Размышляя так, Савелий вдруг сосредоточился на мысли, посетившей его будто невзначай: как он может об этом думать, зная старика и его парней?! Выходит, совсем очерствел за войну, коль людям не верит. А верить надобно, иначе из человека в зверя превратишься. Это что касается Ивана и Никодима. Ладно, пока оставим их в покое, время должно расставить все на свои места, прояснить их судьбы. А вот как быть с Кучинским?..

Как бы там ни было, но на его, Савелия Космановича, участке трагедия: в паводок сгорела хата Иосифа Кучинского, сам бесследно исчез, а лодка обнаружилась у односельчан, которые относятся к нему как отцу врага...

Разговаривать с гудянцами было очень непросто: хорошо знакомые люди под подозрением в убийстве человека. Савелию, как участковому, нужно было принимать решение: составлять протокол о том, что при невыясненных обстоятельствах исчез гражданин Иосиф Кучинский, и доложить о случившемся в район или на свой риск попробовать самому во всем разобраться. Даже если люди и учинили самосуд, надо попытаться понять их.

По-человечески их очень жаль: доложишь — посадят. Но почему убили, утопили или еще что с ним сделали, если, конечно, это так?

Можно размышлять так: люди чудом остались в живых. Их родные и близкие погибли, и сын Кучинского виноват в их смерти. Такое из сознания людей ничем не вытравишь, оно будет в их душах столько, сколько жить им на земле. И вот подвернулся случай отомстить отцу за сына-полицая. А это — самосуд!

Самосуд, если давать происшествию правовую оценку. А если исходить из жизненных понятий, то произошел самый что ни есть народный суд...

Страшная, как говорится, нестыковка между этими понятиями: официальным и человеческим. Будто официальное не людьми определено, а кем-то, кто не жил среди них, кто не знает неписаных законов бытия. Он, Савелий, бывший фронтовик, с лихвой повидавший на войне человеческого горя, знает, что такое официальная и неофициальная справедливость. Может ли он сейчас, не раздумывая, не осмыслив случившегося, назвать этих несчастных людей преступниками?

Конечно, может...

Значит, Савелию, пока сойдет паводок, нужно самому разобраться, в чем правда и в чем неправда односельчан Иосифа Кучинского, — он в ответе перед властью и за них, и за него. И не надо спешить, поднимать шум, пока не найдут труп. А если не найдут, так еще надо подумать, как быть дальше.

Наверное, к решению не спешить Савелия подтолкнул собственный военный опыт. Он помнил, как когда-то зеленый, еще необстрелянный солдат, принимался не раздумывая исполнять приказы, из-за чего мог бессмысленно погибнуть. Но позже, побывав в страшных ситуациях, уяснил: приказ приказом, а надо самому думать, как его исполнить, чтобы зря не погибнуть и не подставить под пули товарищей. Решил так, действовал, исходя из этого, — и воевать стал смелее.

Воевал он хорошо, продумывая ситуацию, в которую мог попасть. Наверное, поэтому и остался в живых, не попал в плен, ни разу не выставил себя трусом. Под вражеским огнем, в самых разных боевых и небоевых ситуациях трусов он видел немало...

Всякое случалось на фронте, но при всем этом надо было остаться человеком, а это не каждому под силу... И сейчас, думая как быть с гудянцами, Савелий будто невзначай вспомнил случай, свидетелем которого был незадолго до того, как его ранило в Восточной Пруссии.

...Полковое командование включило его, тогда уже старшего сержанта\*,

---

\* История А. А. Пушина, одного из потомков рода Пушиных, давшего миру декабриста, друга А. С. Пушкина. Рассказана автору лично Алексеем Алексеевичем.

и еще нескольких бойцов в сопровождение: надо было проверить батальон связи, который состоял в основном из женщин. Батальоном командовал какой-то майор, говорили, из “бывших”, это значит из тех, кто до революции имел далеко не прелатарское происхождение.

Бойцам было известно, что майор очень ревностно оберегает своих подчиненных: на войне женская ласка не противопоказана ни рядовому, ни генералу, да и настоящей любви война — не препятствие.

Батальон связи располагался в имении старого немца. Начали с проверки постовых. Вошли в продуктовый склад, а там — невообразимое!.. У стены стоит винтовка, в проходе — старик-немец с окровавленной рукой, и его старательно перевязывает постовой — молоденькая девушка.

— Преступление! — заорал капитан НКВД, который был с группой проверяющих. — Под трибунал!

Все понимали, что преступление: оставлен пост. Знали, что значит трибунал. Знали, что постовой или постовая не имела права пропустить нарушителя на охраняемый объект: надо было задержать, если не подчиняется, сделать предупредительный выстрел, затем, если это не возымеет действия, — второй, но уже на поражение.

Еще никто не успел опомниться, как комбат, будто не слышал слов капитана из особого отдела, приказал своим бойцам:

— Арестовать немедленно! Отвести в землянку! — И, обращаясь к полковнику, сказал: — Разрешите, сам разберусь...

Полковник разрешил. Проигнорировал указание капитана из тех органов, а это было очень опасно для любого, невзирая на звание.

Капитан словно онемел от такой наглости командира батальона и командира полка, а через минуту выдал:

— Я должен немедленно доложить по команде...

Его вновь не “услышали”. Постового арестовали, увели. Старика-немца не трогали. А он, наблюдая за происходящим, понял, что может случиться с девушкой, упал на колени перед офицерами, заговорил, показывая окровавленную руку:

— Нихт!.. Нихт!.. Майн киндер эссен... Нихт расстреляйт... Их, их виноватэн...

Говорил, тряс окровавленной рукой, другой показывал на цементный пол, на котором лежали осколки от стеклянной банки с остатками каких-то продуктов.

Что он хотел сказать, было понятно и без переводчика: у старика детишки. Им нужно есть. Он пошел в склеп за продуктами, разбил банку... Зачем девушку расстреливать?..

Конечно, постового или постовую не расстреляли бы. Но под трибунал она попала бы, могла сгинуть в лагере, осужденная по всей строгости военного времени...

— Старика в санчасть! — приказал полковник. — Детишек накормить! Постового — в распоряжение комбата!..

Когда ехали назад, полковник остановил машину среди поля. Вышел, долго смотрел вокруг, о чем-то думая. Потом подозвал к себе бойцов, но не по уставу: “Сопровождение, ко мне!”, а так, как отец мог бы позвать своих детей: “Сынки, подойдите...”

Не подошли, подбежали, Савелий и еще трое бойцов. Капитан стоял в отдалении. С места не сдвинулся.

Савелий, как старший, должен был доложить: “По вашему приказанию...” Козырнул:

— Това...

Полковник остановил его:

— Сынки, знаете, почему нас не победить? Потому что у нас воины такие, как майор (он назвал фамилию), как эта девушка, — она добровольно пошла на фронт, дочь учителей, мне доложили, как вы, дети рабочих и крестьян. Майор же, знайте это (вновь назвал фамилию) из рода декабриста, друга Пушкина. И все мы — разных национальностей, но одной великой веры — в людей, в нас самих.

Капитан подошел без команды. Шел осторожно, будто ступая по заминированному полю. Подошел, попросил у полковника разрешения закурить. Закурили от одной спички...

Больше полковник ничего не говорил ни бойцам, ни капитану. И понял тогда старший сержант Савелий Косманович, что и майор, и полковник спасали девушку-постового от трибунала, от того законного суда, который не обещал ей ничего хорошего. Понимал, что и майор, и полковник за эту хрупкую девушку-бойца, добровольно ушедшую на войну, сами готовы были пойти под суд, только бы не сломалась ее судьба...

И еще понял Савелий, что большую ответственность за судьбы людей он берет на себя, и это может для него самого обернуться бедой. А пока он будет ждать, вдруг окажется, что Иосиф жив-здоров...

## II

Семь лет минуло с того времени...

...А тогда, как только Савелий услышал, “проинструктиввав” сельчан, что нужно говорить, если кто будет спрашивать об Иосифе, Ефим совсем приуныл. Старика можно было понять: нет ничего определенного о его сыновьях, а время идет... Участковый говорит о них загадками: то ли погибли, то ли в плену, а может быть, и предатели. А напоследок еще это — считает, что гуднянцы прикончили Иосифа Кучинского.

Нет, рук они на Иосифа не поднимали. А Ефим вбил себе в голову: “Я виноват, что погиб Иосиф. А мы же некогда с ним дружили”. И никто не мог переубедить его, что это не так.

Наверное, чувство вины за друга, пусть и бывшего, особое. А что они в молодости дружили, знали все... Когда-то вместе агитировали односельчан вступать в колхоз, сами вступили первыми. Ефим состоял при лошадях, Иосиф — в поле.

Кроме этих дел было у них еще одно общее — плотничать да столярничать. Лошади лошадами, поле полем, но находили время ставить сельчанам дома. Возведут строение — люди любят!..

А сошлись Ефим и Иосиф в молодые годы вроде случайно. На вечеринках. Один раз вместе покурили, другой, поговорили: кто ты, что ты, какие у тебя интересы, а вскоре уже — товарищи, потом — друзья.

Ефим чужой здесь, неизвестно какого рода-племени: родных не помнил. Пришел сюда в поисках работы с таким же, как и сам, товарищем, в сущности бродягой. Работа им нашлась: кому амбар подладить, кому — избу, а кому колодец выкопать. Товарищ вскоре дальше пошел — случайно встретились, скитаясь по земле, побыли вместе и разошлись — бывает.

Ефим же остался в Гуде, ему понравилась деревня: с одной стороны река, с другой — лес. Да и девушку тут встретил...

Остался, но первое время ему не на кого было опереться: местные парни к себе не брали, многим девчатам глянулся эдакий красавчик: темноволосый да темноглазый. Иосиф это видел, ему хотелось сблизиться с чужаком, мужчины, у которых он плотничал да столярничал, хвалили его — мастеровой.

Иосиф сам понемногу плотничал. Больше возле своей хаты, любил работать топором.

Иосиф тогда жил с мачехой и ее родными детишками и очень дорожил ею и сводными братиками и сестричкой. Чуть что — мама, мама, мама... Ефиму, не знавшему своей матери, сначала было удивительно и завидно: хорошая женщина, своих троих воспитывает и пасынка в люди вывела — Иосифов отец умер, когда сыну было десять лет.

Любила она Иосифа, как своего сына, а может, и больше. А он говорил Ефиму, когда случался какой заработок: “Мне маму и меньших надо поддерживать, тогда и жить веселей будет”.

И поддерживал, вел свое хозяйство, время от времени подрабатывал у тех, кто побогаче. Так и жили.

Когда мачеха узнала, что Иосифу нравится Текля, советовала не медлить, брать ее. А когда у него с Теклей разладилось, очень переживала...

Вскоре она умерла. Детей мачехи забрали родные из той деревни, откуда ее привез отец. В той деревне Иосиф никогда не был и навсегда потерял связь со своими сводными братьями и сестрой.

Помнил Ефим, как однажды Иосиф, рассказывая о мачехе, назвал ее святой женщиной...

...Случилось это, когда Иосиф был еще маленьким. Тогда, как это было заведено в крестьянских семьях, его, лет шести мальчугана, а может, и меньше, отец брал с собой на сенокос. Конечно, помощи от малого никакой, но пусть ребенок сызмальства привыкает к труду: может, где охапку свежескошенной травы растрясет, пласт поворошит или подаст старшим воды...

Бегал мальчик по лугу и вдруг наступил лапотком на что-то верткое.

Глянул под ногу, а оно поднимается, этакое красивое, черно-рыжее.

Закричал:

— Мама, цервяк! Смотри, какой большой.

Глянула мама-мачеха, недалеко было, тихо попросила:

— А мой сыночек, не трогай, стой, не ворошись, я сейчас...

Подбежала к пасынку, перехватила “цервяка”, не успел он вбросить яд в тело мальчика. Стала змею топтать ногами, давить лаптями, не обращая внимания, что на ее руке, выше запястья кровоточат четыре синие точки от ядовитых зубов: две вверху и две снизу.

Потом какая-то деревенская ведунья, она тоже была на лугу, беззубым ртом высасывала из руки мачехи яд, выплевывала его, а затем шептала на хлеб, заставляла ее есть его. Он стоял рядом испуганный, ничего не понимая. А мачеха ела хлеб, смотрела на пасынка и шептала:

— Все хорошо, родненький, все хорошо... Горький хлеб, горький...

— Это хорошо, что горький, помогает, — шепелявила старуха и тоже пристально смотрела на мальчика.

Но другая женщина (Вариончиха, его будущая теща, луг которой был рядом) смотрела на мачеху и осуждающе качала головой:

— Дура, из-за пасынка своих детей могла осиротить.

Другие женщины тоже осматривали его тельце. И тоже, как знахарка, они были готовы помочь мачехе чем только могли. А женщины не очень любили вдову из чужого края. За что ее было любить? Своих вдов хватает, а Митрий, его отец, чужую на телеге привез, да еще с тройным приплодом, когда одно под одно, мал мала меньше.

Все это вспомнилось Ефиму после того, как здесь, на взгорье, побывал участковый Савелий и пытался разобраться, что случилось с Иосифом.

Тогда что-то необъяснимое жгучей болью пронзило все его существо, словно разделило на две части сознание: он одновременно и жалел Иосифа, и ненавидел. И тяжело было ему выбрать что-то одно, точно определить, кто же для него Кучинский, да и для всех остальных.

Сейчас это воспоминание из детства бывшего друга всколыхнуло душу Ефима, вихрем ворвалось в нее. Еще бы: простые, темные деревенские женщины, в повседневной жизни не воспринимавшие мачеху Иосифа, как только случилась беда, спасали ее от смерти. И в этом порыве помочь ей были готовы на все. Выходит, что бы ни было меж людьми, а в нужный момент доброта все равно пробьется, как родниковая вода из-под хлама. И от самого человека зависит, сможет он помочь другому или нет...

На следующий день, как только начало светать, Ефим поплыл на Иосифовой лодке в Забродье. Спешил к участковому, чтобы рассказать ему всю правду об Иосифе да попросить Савелия, если, конечно, поверит, помочь разыскать Кучинского, живого или мертвого.

Поверил Ефиму Савелий. Сразу же собрал заброденских мужиков — три бывших партизана, два инвалида-фронтовика да Михаил Калистратов, это у него Иосиф как-то выменял за золотую монету царской чеканки мешок ржи, — вот и все, кто мог заняться поисками исчезнувшего человека.

Посадили их Савелий в лодки, сказал, чтобы поплавали по разливу, посмотрели под кустами, под кручами, вообще, где только можно — нет ли тела.

Михаил, пройдоха, в войну отиравшийся то возле немцев, то возле партизан, хотя в явном пособничестве врагу и не был замечен, Савелия боялся как огня. Узнав, кого будут искать, сказал:

— Может, он в своей избе сгорел. Там тоже нужно искать. Я как-то плыл, видел, нижние венцы, что были в воде, уцелели. Хата затоплена на метр-полтора. Пусти меня, Савелий, я все там осмотрю, дом его знаю, бывал. Со своими Иосиф не ладил, они к нему не ходили, дома его не знают. Да и в дугах мне будет тяжело, староват я, силушка уже не та, чтобы с вами, молодыми, тягаться, а вы поплавайте.

Михаил если и был староват — в войско после освобождения района не взяли по возрасту, но силушку еще не растратил — веслом как молодой правил. Савелий осадил его:

— Там мы и без тебя с дядей Ефимом управимся, а ты давай с мужиками — в дуга!

Михаил рассчитывал, что у Иосифа, кроме той монеты, которую он дал за мешок ржи, еще золотишко имелось. Но не вышло обхитрить участкового. Умолк, знал, с Савелием шутки плохи, только попробуй ему возразить, сразу приструнит. Так уже было. Как-то велел Савелий Михаилу вернуть колхозную лошадь, присвоенную им в начале войны, а он: “Савелий, лошадь-то моя!..”

— Знаю, какая она твоя, — сказал тогда участковый. — От людей ничего не спрячешь. А с тобой мы еще разберемся.

Пришлось вернуть...

Мужчины, получив приказ, поплыли на двух лодках к левому берегу реки, а Савелий с Ефимом направились в Гуду. Также на двух лодках: Ефим — в Иосифовой, Савелий — в своей. Ефим был уверен, что тела Иосифа на месте сгоревшей хаты быть не может: как он туда мог попасть, оставив тогда на взгорке лодку, — но молчал, а вдруг...

В Гуде, вернее, на островке, взяли с собой Михея. Николая оставили: ему с его деревяшкой в лодке сидеть неудобно. Да и при детишках и при женщинах кто-то должен быть.

Сначала подплыли к дому Кучинского. Венец, на котором лежал обугленный подоконник, чернел над водой. Конечно, в доме уцелел пол, сгореть он не мог, был в воде.

Заглянули внутрь: в обугленном четырехугольнике, оставшемся от дома, плавали угли, куски обгоревших досок. Уцелела печь, тоже черная, обгоревшая.

Поочередно, плавая вокруг дома, опускали в воду длинные весла, стучали по полу, исследуя его — нет ли тела. Впрочем, если бы было, так давно всплыло бы, знали это, но все же...

Убедившись, что нет трупа, отчалили. Ефим, когда плыли в дуга, вновь повторил, что Иосиф, когда загорелась хата, был на взгорке и плыть к ней не мог — лодку им оставил. Без нее поплыл? Такого не может быть: сумасшедший, что ли? Вода высокая, холодная, руки и ноги сведет и — поминай как звали!..

А пожар был страшный. Горела хата, искры от нее перебросились на крытый соломой сарай и дощатый навес. Все выгорело до самой воды.

С Ефимом согласились, поплыли к реке. Тщательно осмотрели этот берег, где утром, когда исчез Иосиф, обнаружили у воды следы босых ног. Затем не торопясь начали спускаться вниз по течению, останавливаясь у каждого куста. Искали целый день и заброденские мужики, и Савелий с Ефимом и Николаем. Искали, когда сошла большая вода, — нигде ни следа. За то время, что были вместе, Савелий несколько раз порывался отдать Ефиму бумагу, в которой сообщалось, что его сыновья, Никодим Боровец и Иван Боровец, без вести пропали, но так и не отважился. Сдерживал себя, хоть и боялся, что старик, устав ждать, пойдет в военкомат, тогда как? И однажды вечером Савелий сказал:

— Дядь Ефим, прошу тебя, пока я сам все до конца не выясню о Никодиме и Ване, ничего не предпринимай, никого не слушай, ни о чем никого не спрашивай, никуда не пиши. У меня одна зацепка есть, подсказывает

она, что твои ребята живы. Прости меня, но пока не могу ее открыть тебе. И дядю Кечика просить об этом буду — и с его сыном такая же история. Не хочу, чтобы кто мне мешал, со следа могу сбиться.

— Есть?! — оживился старик. — Коль надо для дела, не открывай, терпеть буду.

— Есть, верь мне и жди. Хорошо?

Ефим в знак согласия молча кивнул головой. Не знал он, даже не догадывался, что Савелий еще не определил для себя, как будет искать следы его сыновей. Сейчас Савелий думал об одном: как не лишить старика надежды? Лишишь, значит, заживо похоронишь Ефима.

## 12

...Иосиф за семь лет, как ушел из Гуды и до сегодняшнего дня, когда Катерина увидела его, вообще никого из знакомых, не то что бывших односельчан, не встречал.

На хуторе, конечно же, никто из них не мог появиться, разве что Ефим, это он когда-то рассказал ему о Кошаре, о ее хозяйне и как туда добраться.

Знал Иосиф, что однажды, когда началась коллективизация, а в Гуде уже был колхоз, Ефимова Марфа сказала мужу, чтобы тот спустился к Кошаре, посмотрел, что там и как. Время было неладное. В округе мужиков, которые не шли в колхозы, держались своего хозяйства, начали раскулачивать, ссылая в чужие земли. Ссылали семьями, детишек не щадили. Каково там, в Кошаре?.. “Может, пока все уладится, нужно забрать к себе Антоновых меньших ребятешек да внуков, а там как бог даст. Хотя вряд ли кто осмелится отобрать у нас чужих детишек, — рассуждала она. — Люди — не звери”.

Безусловно, об Антоне и его семье Ефим рассказал Марфе раньше, чем Иосифу, — от жены он ничего не утаивал, но больше никто в Гуде не знал о Кошаре и ее хозяйне.

И хотя к тому времени дружба между Ефимом и Иосифом постепенно угасала, Ефим на всякий случай (мало ли что может случиться с ним в дороге) поведал Иосифу, что поплывет туда.

Иосиф вызвался плыть с ним. Дорога неблизкая, вдвоем сподручней, но Ефим отказал ему, дескать, не надо, чтобы Антон знал, что еще кто-то, кроме его бывшего работника, знает о хуторе, тем более как туда добраться. Даже если Иосиф спрячется где-нибудь на берегу реки, Антон, провозжая детишек, обнаружит его. Зачем тревожить хозяина хутора?

Но Иосиф понимал, что совсем по иной причине Ефим не хочет брать его с собой. Помнил Ефим один случай из их давнишней дружбы, когда не помог Иосифу, а ему очень нужна была помощь. Может быть, в ином направлении пошла бы Иосифова жизнь...

Не помог потому, что Текля Ефиму не нравилась. Считал, что не для друга она. Какая-то ветренная, с Иосифом у нее любовь, а на вечерках танцует да заигрывает с другими парнями.

В конце концов догулялась до того, что женщины застали ее с Авдеем в снопах. Сраму-то!..

Иосифу тогда было невыносимо тяжело. Отвернулся он от Теклюшки, ходил как полоумный, не мог вынести такого предательства... А по деревне понеслось: “Текля с Авдеем в срам ушла...” И когда через некоторое время Ефим узнал, что Авдей поведет ее под венец, и сказал другу, что пойдет с ребятами по обычаю бросить свадьбе “зайца” — перегородить дорогу, Иосиф будто не услышал. Сказал это Иосиф Ефиму, надеясь, что тот поймет: пойдет, чтобы Теклюшку последний раз увидеть еще не чужой женой. Ефим понимал это, но не пошел с другом.

На горькое яблоко смолотили тогда Иосифа Авдеевы дружки, бросили окровавленного посреди дороги, и не сказал он тогда, униженный и оскорбленный, Теклюшке, поспешившей к нему, того одного слова, которое она ждала: “Останься...”

С того времени дружба между Иосифом и Ефимом дала трещину, словно лед на реке, и из той трещины сначала повеяло холодком, потом

дохнуло колючим холодом, и в конце концов — завьюжило лютой стужей. Никогда позже Иосиф не вспоминал о том случае Ефиму, не упрекал его.

Да и Ефим вел себя так, будто ничего не случилось...

Вот только непонятно было Иосифу, почему за много лет Ефим так и не сказал ему, что сожалеет о былом. Понял бы его Иосиф, утешил, снял бы тяжесть с его души, сказал бы, что нет у него обиды на друга: было да сплыло.

Да и тогда, когда Иосиф вызвался плыть с ним на хутор, мог бы Ефим взять его с собой. Дорога далекая, день по реке в один конец да день назад, вновь сошлись бы, поняли бы друг друга. Значит, не хотел...

И вот через много лет случилось так, что Антонов хутор напоследок Иосифовой жизни стал тем укромным местом, где он утаился от людей. Только надолго ли?.. Антона нашли, сняли с обжитого места, даже детишек не пожалели. Так что прячась не прячась, земля круглая, и хотя на ней множество дорог и дорожек, рано или поздно все они каким-то образом переплетаются. Значит, нет такого места на земле, где тебя не нашли бы. Найдут кому нужно. И свои дорожки протопчут к твоему укромному месту...

Говорил Ефим, что приплыл он к Кошаре без приключений. Спрятал лодку в камышах в затоке, пошел известным ему путем к хутору. Шел и видел, что трава на кочках, возле которых лежали припрятанные в болоте плахи, примята. Видел на ней следы от сапог к хутору и назад, а также следы от лаптей и лапотков, но уже к реке.

Сердце зашлось от боли, когда никого не застал на хуторе. Длинная низкая Антонова изба встретила его забитыми крест-накрест окнами. И дверь была на защелке, а на ней какая-то печать на шнурках. Что на ней выбито, не разобрать.

В избу Ефим не пошел, побоялся срывать печать. Походил вокруг строений: ворота от гумна отброшены, в засеках пусто, и в кошаре — хоть шаром покати, а жерди загона поломаны...

Домой Ефим вернулся через двое суток. Говорил, что против течения плыть очень тяжело. Был он сам не свой, когда за деревней втайне рассказывал Иосифу о том, что видел на хуторе.

Посочувствовал тогда ему Иосиф и как упрекнул:

— Надо было вдвоем плыть.

— А, — неопределенно махнул рукой Ефим, — чем бы ты мне помог?

Конечно же, не хотел надолго оставаться наедине. А так, в деревне, пожалуйста: встретились, поговорили, разошлись. И никаких тебе воспоминаний о былом.

Порой, когда Иосиф уже обжился здесь, у него появлялась мысль, что когда-нибудь Ефим может приплыть на хутор. Нет, не в поисках его, а по какой своей надобности. Интересно, что они тогда скажут друг другу? И вообще, заговарят ли? Вряд ли, разве если оттают их обледеневшие души. Это на реке лед, придет время, обязательно растает, а на душе... Но сказать друг другу нужно было многое. И вообще, не только Ефиму мог бы многое о себе поведать Иосиф, обреченный судьбой на одиночество, но и Николаю, Михею, Надежде, а Катерине — больше чем кому.

Когда-то Иосиф думал, что придет время, встретит он Катю, одну или с ребенком, и обязательно скажет ей что-то такое, после чего она поймет, как ему все это время было тяжело на душе: его же сын убил ее мужа...

И вот неожиданно встретил ее с сыночком в городе на базаре. И что? Убежал, правда, попросив перед этим, чтобы не кричала, не пугала мальчика. А мальчик, успел заметить Иосиф, очень похож на Петра...

Не мог не убежать. Как бы он объяснил ей, почему просит подаяние, почему не хочет, чтобы именно сейчас она узнала его?

### 13

Иосиф, конечно же знал, что за время, прошедшее после его исчезновения из деревни, он очень сильно изменился, постарел. А вот душа осталась прежней. Она продолжала страдать от обиды на своих бывших односельчан.

И вместе с тем иногда, когда бывал в одиночестве, ему очень хотелось увидеть кого-то из односельчан. Правда, издали, чтобы самому остаться незамеченным, понаблюдать за ними, понять по выражению лица, как им сейчас живется.

Обида его на них со временем не исчезала, даже не притуплялась, по-прежнему жгла болью, а с болью можно жить только свыкнувшись с ней как с чем-то обязательным, от чего не так-то просто отмахнуться.

Чаще всего он думал о встрече с Катей. Встретиться с ней надобно бы лицом к лицу, лучше невзначай: узнают друг друга, это будет как ослепление молнией, помолчат с минуту, а потом он падет перед ней на колени, скажет: “Прости меня...” и больше ничего. И она простит, она добрая, он знает, чувствует это, и ему станет легче...

И вот неожиданная встреча: обожгла, еле сдержался, когда она закричала: “Дядя Иосиф!..” Он чуть не лишился чувств: подкосились ноги, пошатнулся, но устоял, до хруста сжав костыль, на который опирался. Катя закричала, и показалось, что в его выстуженную, опустевшую душу мгновенно ворвалось что-то пусть позабытое, но уж очень дорогое и близкое. Словами это высказать можно разве что так: в темной холодной ночи вдруг дохнуло теплом, озарило вспышкой света. Да, да, дохнуло тем ранним весенним теплом, озарило тем светом, что случается на исходе зимы, — вдруг на мгновение коснется тебя, взбодрит и тут же исчезнет, оставив волнующие воспоминания...

И сразу перед глазами промелькнула затопленная Гуда... Увидел согбенную фигуру Ефима на взгорке (тот, когда чем-то увлечен, горбился) — махал в темноте фонарем: не ему ли светил?.. Если ему, если знал, что он плывет, так зачем было светить, коль затем так жестоко поступил с ним?

Увиделась горящая хата, освещенный отблесками пожара клин бора... К нему, к бору, от взгорка плыл Иосиф. Плыл, как и прежде, на спине, время от времени приподнимая голову, и глядел в сторону сарая, где нашли спасение люди, и не видел там Кати — хотя как во тьме различить. Чувствовал, что нет ее на островке среди односельчан. Встревожился: где она?.. Если в Забродье успели отвезти, тогда слава Богу!.. А если... Нет глупость так думать, здесь она, здесь, с ними, иначе по деревне метались бы, кричали...

Все это, так давно бывшее, на мгновение представилось ему, промелькнуло перед глазами, и вот она, Катя, наяву перед ним, да не одна, а с сыночком, как две капли воды похожим на Петра...

Иосиф, взглянув на Катю с мальчиком, испугался: вдруг их увидят те, за кем он “охотится”, да подумают, что мать и ребенок родные ему. Тогда не миновать беды.

Кое-как уняв волнение, на ее крик: “Это ты, ты!..” ответил нарочито холодно: “Обознались, гражданочка” да “мальчика не пугайте...”

Сказал, будто между собой и нею возвел каменную стену, будто огородил их своеобразным берегом — чужие, незнакомые мне, не трогайте их...

Увидел, как Катерина после его слов будто увяла, а через мгновение, спохватившись, начала успокаивать сыночка. Иосиф быстро перекрестил их и, не дожидаясь, пока Катя вновь направится к нему, поспешил прочь — как можно дальше от них!

Взволнованный, испуганный, он как только мог быстро удалялся от базара, часто стуча костылем по булыжной мостовой, посматривая по сторонам — не преследует ли кто. Поняв, что на улице никому нет до него дела — обычный нищий, каких много, пошел медленнее. И еще боялся Иосиф, что Катя опомнится и бросится вслед за ним, но и ее не было на улице.

Он отошел от базара на квартал, остановился только тогда, когда в конце улицы уперся в большой кирпичный дом. Посмотрел — какое-то важное учреждение, возле крыльца людно, по обеим сторонам улицы стоят легковые автомобили, а недалеко от них прохаживается милиционер.

Отдышавшись, Иосиф перешел на другую сторону улицы, остановился в тени старых лип, осматрелся: нет слежки. И неожиданно сам для себя еле не закричал: “Что же это я?.. Эх, Катя, Катя... Бери на руки малого да скорее беги прочь! Тот, кто присматривался ко мне, может пристать к тебе, чтобы выведать, кто я и откуда, да не связан ли с тобой, не тебе ли отдаю



деньги. И тебя напугает, и ребенка, такие люди ни перед чем не остановятся, если почувствуют свою выгоду”.

То, что за ним следит какой-то крепкий молодой мужик (а ему очень надо было, чтобы за ним следили, чтобы взяли, потащили к той, с которой он рано или поздно обязательно должен встретиться), Иосиф заметил сразу же, как только стал возле ворот...

Понял Иосиф, что напал на их след, ему и надо это. Он долго думал, как найти тех, что издевались над Теклюшкой. И однажды решил: прикинусь ничим, стану на ее место у базарных ворот, обязательно заметят его изверги, к себе потянут... И стал, протянул руку: “Подайте Христа ради...” Стыд сжигал Иосифа, кажется, каждый поданный грош душу насквозь прожигал...

Понял Иосиф, что “клонул” на него парень, как щука на наживку. Клонул, но сразу заглатывать не стал, ушел, не иначе, чтобы посоветоваться, как быть дальше с тем, кто самовольно стал, как говорила Теклюшка, на хлебное место. И в подтверждение, что “клонул”, через некоторое время парень вновь не торопясь прошел возле Иосифа, стал в отдалении и долго смотрел ему в лицо, наверное, чтобы хорошо запомнить. Иосиф сделал вид, что не замечает его, но и он запомнил: лоб широкий, на нем гвозди ровнять, глаза темные, зубы редкие, желтые, посреди, в верхнем ряду — вставной металлический.

Иосиф как ни в чем не бывало продолжал стоять, мужчина исчез. Понимал, к вечеру вернется, чтобы забрать то, что подадут за день, и может быть, поведет туда, где удерживали Теклюшку. Коли так, нужно продолжать просить подавание. Ничего, стыд он выдержит. Только бы никто из гуднянских мужиков не появился, поди, иногда на базар ездят. Могут узнать его. Да и сам Иосиф может себя выдать. Тогда все испортишь: побоятся изверги взять его...

Размышляя так, вдруг ужаснулся: о себе думаю, как же так?... До христа сжав костыль, сорвался с места и бросился к базару. Долгой, бесконечно долгой показалась ему эта, с полверсты, улица. А когда вошел в ворота, на базаре уже не было ни Кати с сынишкой, ни того парня. Подкосились ноги, словно обмяк, еле устоял, потом сорвался с места и бросился на улицу. Но уже в противоположную сторону, к частному сектору. Через него улица ведет к шоссе. Знал, Теклюшка говорила, что где-то в частном секторе ее держали взаперти. Утром отводили на базар просить подавание, вечером возвращали назад.

Задыхаясь пробежал пару кварталов, изнемогая от перенапряжения остановился: вон она, Катерина с сынишкой!.. Идет вниз по улице, направляется к шоссе. По походке, по спине, по одежде узнал, главное, по мальчонке: в коротких штанишках с одной помочью наискосок через спинку.

Катерина одной рукой держала сынишку за ручку, в другой руке у нее была корзинка. Шли быстро. Рядом с мальчиком, с другой стороны, держа его за ручку, шла девочка лет шестнадцати-семнадцати, возле нее — женщина. Так это же Надежда со Светкой!.. Вот какая она уже большая — невеста!

Иосиф спешил за ними, но близко не подходил: не надо, чтобы его видели. Шел и внимательно смотрел по сторонам, и не замечал ничего подозрительного: ходят люди туда-сюда, никто не обращает внимания на Катерину с Надеждой и их детей, и мужчины того не видно.

“Не приснилось же мне, — подумал Иосиф, — был, наблюдал за мной. Где он? Не успел вернуться? Миновали они то место, где удерживали Теклю, или нет?”

Если миновали, так, может быть, пока мужчина увидит, что их нет на базаре, они успеют уехать. А если тот двор впереди и он выйдет им навстречу — Иосиф защитит: костыль у него крепкий.

Но никто не преследовал женщин, и вскоре они вышли за город, направились к мосту через реку.

У последних домов Иосиф остановился. Дальше идти не было смысла. Во-первых, отсюда они еще долго будут видны, да и выдавать себя не надо. Во-вторых, если мужчина, что уже маловероятно, пойдет за ними, Иосиф увидит. А вот некоторое время побыть здесь надо. И чтобы понаблюдать за ними, и немного отдохнуть.

Размышляя так, почувствовал, что очень устал, переволновался. Осмотрелся — стоит возле невысокого заборчика палисада, к заборчику приставлена лавочка. За заборчиком — домик с двумя окнами на улицу.

Иосиф подошел к скамейке, осторожно сел, с трудом вытянул отекающую, тяжелую левую ногу — совсем омертвела, пусть отойдет, потом он решит, как быть дальше.

Подумал: был бы жив Архип, пошел бы к нему переночевать. Это не так уж и далеко отсюда, влево с версту, вдоль берега реки.

Есть здесь еще один знакомый у него — Григорий, Архипов друг. Нет, к тому не пойдет. Не сошлись сразу, когда познакомились, так разве сейчас сойдутся?

Отдохнет немного да пойдет (долго сидел, уже начало смеркаться). Конечно, к этому времени женщины с детишками уже уехали. Пока отдыхал, через мост прошло несколько машин, и не может быть, чтобы среди них не было попутной в сторону Гуды. А ему спешить некуда, да и незачем. Он найдет, где переждать ночь. Летом любой куст приютит, любая копка сена, стожок. О себе какая забота? Главное, что Катерина с сыночком и Надежда с дочерью не заночуют в дороге, сейчас они наверняка где то возле деревни или в деревне. Все у них как и должно быть: обязательно кто-то из мужчин встретит или уже встретил у дороги от шоссе к Гуде. Может, даже Ефим. А что? Он, должно быть, еще в силе, на своих ногах, обходится без костылей. Ефим хотя несколько старше Иосифа, но всегда был здоровее его.

Интересно, скажет ли Катя, что видела его, или нет?

Впрочем, если даже и скажет, так вряд ли Ефим поверит ей. Засомневается: не обозналась ли? Да и односельчане, наверное, уже давно забыли о нем. Наверняка тогда решили, что сгинул. Коль так — туда ему и дорога... Откуда им знать, что в ту ночь, когда разыгрался паводок, когда изгнали его с островка, он смог спастись? А то, что пережил тогда, не каждый молодой выдержит...

Иосиф сидел на лавочке до того времени, пока не начали сгущаться сумерки. Вокруг было тихо, на улице уже не было ни людей, ни машин.

В небе высypали первые звезды, в мягких редких облаках скользил бледно-желтый полужок луны. В домике не зажигали света.

Иосиф почувствовал, что тело начинает пощипывать холодок: старенький, тонкий пиджачок не согревал.

Он подвигал больной ногой — отпустило, можно идти.

Вновь подумал: где бы переночевать?.. Решил, заночует на дугу в стогу. Правда, там, в низине, где стоят стога, недалеко от реки, холоднее, чем в городе. Но это не пугало, дождется утра, не замерзнет. А как только начнет светать, пойдет на шоссе, остановит попутку, вернется на хутор. Пока не отойдет ягодная пора, из Кошары — ни шагу: женщины ездят продавать ягоды, попадаться им на глаза ни в коем случае нельзя! Все разладят. Хуже того, еще беду на себя накличат. А ближе к зиме, когда ни ягодников, ни грибников на базаре нет, вновь поедет в город. Придет на базар, станет на Теклюшкино место — он должен отомстить тем, кто издевался над ней...

Иосиф тяжело, словно нехотя, поднялся с лавки. Постоял, подождал, пока окрепнут ноги. Уже было решил двинуться дальше, как скрипнула калитка, со двора вышла женщина. Она тихо подошла к нему, остановилась в двух шагах и молча посмотрела в лицо.

Растерялся: не из банды ли?.. Неожиданно женщина сказала:

— Добрый вечер, дядюшка. Тебе, наверное, плохо?

Он не сразу понял, откровенно ли спрашивает, а когда понял, что откровенно, пересохшими губами ответил:

— Добрый вечер. Нет, это я так на вашу скамейку присел. Вы уж простите меня. Немного приустал. Не подумайте ничего плохого.

— А я и не думаю, — сказала женщина. — Я тебя через окно увидела. Думаю, откуда-то издалека, не наш. Наших всех знаю, город небольшой, а я здесь давно живу.

— Нет, не ваш, — признался Иосиф. — Но не так уж издалека. Всего вам хорошего.

Он собрался пойти, но женщина остановила его:

— Куда же против ночи? Пошли в дом. Переночуешь, а утром — ступай себе с богом. Я и котомку в дорогу соберу, есть с чего собрать: огородик свой, дочь с зятем работают.

— Нет, нет! — замахал он руками, и свободной, и той, в которой держал костыль, и упал бы, если бы она не поддержала его под локоть. — Какнибудь перебыюсь, не впервой.

— Перебится-то можно, — сказала женщина, осторожно отпуская его локоть. — Но стоит ли, если есть где переночевать? Ты, часом, не один живешь?

Иосиф молчал. Что ей сказать? Что один? Начнет расспрашивать, будет жалеть его. Не надо. Хотел соврать: “Почему же один? Есть хозяйка, и...” Не домыслил, что еще есть у него, не успел произнести слова, как женщина сказала:

— А ко мне внуки сейчас придут. Дочь приведет. Они с мужем работают в ночную смену, детишек не с кем оставить. Сядем разом за стол, поужинаем, поговорим. Может, какую сказку моим внукам расскажешь. У них своего дедушки нет, погиб, а младшенькая все дедушку спрашивает, все сказок ждет. Скажем, вот чей-то дедушка у нас в гостях, и малым будет радость. Только не подумай, что я из-за этого тебя приглашаю, негоже на ночь глядя отпускать человека неизвестно куда.

— Да какая ночь? Лето. Почему куда? Каждый куст... — Иосиф понял, что оговорился, попытался исправиться: — Меня попутка будет ждать. Знакомый шофер...

— Никакого знакомого шофера у тебя нет, — остановила его женщина.

— Ей-богу, есть! — Иосиф уже готов был разозлиться. — Как это нет? Да я с одним человеком только и езжу в город!

— Значит есть, — чуть заметно улыбнулась женщина, и ему показалось, что где-то давно-давно он видел похожую улыбку. Была она мягкая, излучала неподдельную доброту и тепло, он это хорошо видел при свете, падающем из окна, он ощущал это...

— Ну что ж, смотри сам.

Она смолкла. Молчал и Иосиф. Наверное, если бы женщина не сказала о внуках, он, может быть, и согласился бы пойти к ней в дом, и о знакомом шофере не говорил бы. Конечно, она поняла, что он хотел похвастаться — не один! Она чувствовала, что одинок и стесняется этого.

О детишках сказала... Представил, какой необычный для него дух человеческого жилья обитает в этом домике. Представил, как там тепло и уютно, и ему стало завидно: его дом никогда не знал этого. Когда Стас был маленьким, никто из одногодков не приходил к нему играть, боялись Марии, не очень приветливой к чужим детям. И вообще Иосиф уже давно забыл, каков он, дух обычного человеческого жилья. Известно, сейчас жил в чужом доме, оставленном хозяином и хозяйкой, их детьми и внуками, — не по своей воле шли в ссылку. А какой может быть дух от обид, горьких слез, от понимания, что вряд ли когда вернешься к родному порогу, когда неизвестно, выживешь ли там, куда принужден ехать? И когда, случалось, Иосиф задумывался о судьбе хозяина Кошары, о котором однажды услышал от Ефима, ему казалось, что слышит в хате детский плач. И это не тот плач, когда дети плачут, обиженные отцом или матерью, — поплачут да успокоятся, через минуту забыв свои обиды. Этот был жуткий плач: дети видели, что обижают их родителей (а родители для них — все, что связано с понятием жизни), — что же будет...

“Много хорошего видел Антонова хата, — думал Иосиф, — не может быть плохим человеческое жилье, если в нем — дети”. И все это хорошее принадлежало Антоновой семье. А он пришел незванный, переступил чужой порог и остался там. Так что же он скажет хозяину, если вдруг вернется?

Иосиф об этом рассуждал часто и ничего не мог придумать. Действительно, что он скажет, кроме одного: “Прости меня, человек, за самовольство, но если бы не твоя хата, наверное, меня давно бы уже не было. Она приняла меня, спасла от холода, а земля, которую ты полил своим потом, не дала

пухнуть с голоду. Спасибо тебе, твоей хате, твоей земле! Не порушил я ни твоей хаты, ни твоей земли и духа очага твоего не осквернил... Не тронул ни полатей, на которых спали ты и твои семейные, не взял ничего из одежды, которая осталась от тебя, — все сам добыл и полати сам себе сладил в сенах. Правда, печь твою протапливал, ибо если хата долго не отапливается, не чувствует человека, она умирает”.

Думал, если хозяин скажет, чтобы уходил прочь, уйдет. И даже если скажет, чтобы оставался, все равно уйдет — не надо мешать людям жить в своем доме, своею жизнью...

Уйдет куда подальше. Где-нибудь на высоком берегу выроет землянку и будет жить в ней столько, сколько отпущено свыше. А когда поймет, что близок его последний час, выйдет, выползет из землянки — пусть зимой, пусть летом, — ляжет лицом к небу и будет ждать своего последнего мгновения на этой земле, на которой столько страдал...

Иосиф еще раз поблагодарил женщину, сказал, что пойдет к шоссе и поедет домой. Дескать, уж если не получится уехать, тогда вернется, здесь недалеко.

— Смотри сам, — сказала она, — но хоть зайди поужинать.

— Спасибо, я уже ужинал, — соврал он.

— Какой-то ты уж больно стеснительный, — сказала женщина. — Ну что же, иди, легкого тебе пути. Только если что — возвращайся. Сени я не буду закрывать, дом тоже, подожду, как придешь, встречу.

Иосиф пошел за город. Не мог он зайти в дом. Не хотел будоражить душу таким желанным духом человеческого очага, тем духом, который, кажется, чувствовал и знал только в детстве. Было это в ту пору, когда жил в отцовском доме, когда там хозяйничала добрая мачеха-мама...

Он шел за город по пустой улице, слабо освещенной лунным светом. Шел и время от времени оступался, но не падал, шел дальше, и горькой казалась ему легкая вечерняя пыль, поднимающаяся из-под ног. И еще долго слышался ему голос этой женщины, наверное, ненамного моложе его, хорошей и откровенной, заботливой. Он пытался вспомнить лицо мачехи-мамы и никак не мог вспомнить конкретных его черт — просто чувствовал доброту, излучавшуюся из воображаемого им какого-то еле уловимого женского образа. И казалось ему, что голосом женщины, с которой только что расстался, с ним говорила его мачеха-мама...

Он шел, а женщина стояла возле своего дома и смотрела ему вслед до тех пор, пока его фигура не исчезла во тьме. Она знала, сердцем чувствовала, что этот человек не вернется, что он соврал ей, говоря, что не одинокий, чувствовала, что никому не нужен. Знала, что соврать ему было легче, чем признаться в том, какой есть. Понимала, что долгое одиночество забирает у людей право кому-то мешать...

...Не знала она, что это был ее сводный брат. Не знал он, что эта женщина, напомнившая ему мачеху, была ее дочерью, его сводной сестрой...

## 14

Как и полагал Иосиф, ночь он провел в стоге сена на лугу возле реки. Вернее, под стогом. Стога здесь, на заливных лугах, стояли высокие. Прежде чем сметать стог, мужики клали основу — несколько венков из прочных жердей, потом из досок делали площадку. Сооружение было высокое, прочное, на него и метали сено, делая стог. Сено снизу не замокало, не гнило, под стогом всегда было свежо, но сухо.

Иосиф с трудом забрался под стог, лег на спину. Снизу осторожно, чтобы не портить стог, натаскал из щелей между досок сена, подложил под себя, и хотя был очень уставшим, до утра так и не сомкнул глаз.

Лежал в относительно тепле, но холодноватый ветерок все же забирался сюда, и он с нетерпением ждал утра, чтобы, как начнет светать, пойти на шоссе. Ему бы только поскорее добраться до хутора, уединиться там. Успокоиться — уж очень переволновался, когда встретил Катю с сыночком. Да и в город пока не надо ехать. Показал тем, кто удерживал Теклю и кто

на ней зарабатывал, что есть нищий, который сам по себе, ни от кого не зависит, и исчез на некоторое время. А потом осенью, ближе к зиме, вновь появится на базаре, станет на Теклюшкино место и будет стоять там до тех пор, пока они не потащат его к себе. Вот тогда он и найдёт возможность отомстить им за нее, но еще не знал как. Хотя Текля, рассказав о том, как они издевались над ней, просила, чтобы не мстил. Говорила, как всегда говорят люди, прошедшие через страдания: “Бог им судья. Воздастся им”.

Говорить можно. Только воздастся ли? Да и когда? И кто накажет негодяев? Можно ли их простить?.. Они же действуют так, чтобы их не разоблачили. Так что, пусть и дальше издеваются над беззащитными людьми?

Тогда он не сказал это Теклюшке. Вообще ничего ей не ответил, будто не услышал. Затаился, все вглубь себя упрятал. Подумал, боится она за него. Что он против силы? Раздавят, как муху. Но покончить с ними надо. И сделает это он... Опять же не представлял как. Подождет их гнездо?.. Набросится на них с костью?.. Или еще что?..

А как же Текля, если они его прикончат?.. Он даже на минуту не мог оставить ее одну. И как быть? Ответа не было. Но должен же быть!..

Хотя и не говорил Теклюшке о задуманном, но она каким-то своим женским чутьем понимала, что его что-то гнетет. Иногда говорила: “Смотри, Иосифка, умру, в город не иди. В Гуду возвращайся. Не распнут тебя там. В чем ты виноват перед людьми?.. Если не примут, в стороне от них будешь жить, но на своей земле. Без своей земли жить тяжело, по себе знаю. Может, изба твоя уцелела, а нет — так курень какой сладишь”.

— Не говори так, — просил он ее. — Не думай об этом. Нам бы вместе туда пойти, да нельзя. От людей не спрячешься, вдруг кто выдаст тебя...

А думать, безусловно, нужно было. Ведь рано или поздно, а кто-то первым умрет. Как тогда другому быть?..

И случилось, не стало Текли. Похоронил ее. Здесь же, на хуторе... Только не вернется он в деревню. Здесь, возле нее будет... А вот в город еще ходит. Жить там он не собирается, не любит он город. Пожив зимой сорок третьего в городе, поработав там, много чего нехорошего видел. Да и после, как освоился на хуторе, когда изредка приплывал в город, — тоже. Не любил, а понимал, что без города вряд ли выжил бы. Одежду, соль, спички, керосин да что из продуктов можно было добыть только там. Но чтобы все это иметь, нужны деньги или что-то на обмен.

Денег у него не было. Но их можно было заработать, продав рыбу, грибы, орехи, заячьи шкурки, а то и зайчатину. И если грибы и орехи он собирал, а рыбу ловил, ставя верши, так на зайцев еще в первый год своей жизни здесь наделал петель — проволока на селище была.

Раньше в город Иосиф добирался на челне. Он сам его смастерил, в кладовой хозяина был инструмент, без которого крестьянину и полесовщику нельзя. Инструмент, когда раскулачивали, Антон почему-то оставил: то ли не позволили взять его с собой, то ли он сам не взял — с металлом в далекой дороге тяжело. А может, надеялся на скорое возвращение, как знать.

Тогда, добравшись сюда пешком (Иосиф запомнил, что Ефим говорил о хозяине хутора, знал, как туда попасть и как того зовут — Антон), осмотрел оставленную осиротевшую усадьбу и строения. За годы без хозяина постройки обветшали, земля пришла в запустение. Стал потихоньку обживать.

А начал с того, что осторожно, неизвестно кого опасаясь, с осунувшейся, почерневшей и поросшей снизу мхом двери в сени сорвал какой-то истлевший шнурок. Затем нажал на заржавевший язычок защелки, толкнул дверь. Пронзительно скрипнув, она легко поддалась — из темных сеней пахло нежилым, прелью.

Иосиф постоял у порога, раздумывая, входить или нет, потом решительно широко распахнул дверь, в сени упала полоса солнечного света, в ней задрожал шлейф пыли.

Не торопясь вошел в сени, дверь в избу была открыта. По проседающим под ногами доскам подошел к ней, заглянул в избу и отпрянул — на сером полу были опрокинуты два длинных черных креста: тень от досок с заколоченных окон.

Нелегко было Иосифу войти в дом. Когда вошел, понял, что не станет срывать доски с окон, не сможет жить в избе, остановится в сених, а в дом будет заходить только чтобы протопить печь. Понял, что не для него чужое жилье, кресты должен снять тот, кто приколачивал их на окна — хозяин. А что доски приколачивал он, Иосиф не сомневался: в Забродье, в Дубосне, в иных деревнях вокруг Гуды окна заколачивали сами хозяева, те, кого раскулачивали. (В Гуде раскулачивать не было кого, люди жили беднее, земли не ахти какие, да и деревня небольшая).

Живя на хуторе, ничего хозяйского не брал. А вот инструментом пользовался, без него не обойтись. Да и инструмент любит, когда к нему прикасаются руки.

В первый же день, осмотрев сени, нашел дверь в боковушку, а там — несколько топоров, пилу, множество стамесок, рубанки, напильники, ножи — все из хорошей стали.

Переночевал на широкой лаве в сених. На следующий день сладил в них полати: под навесом нашлись почерневшие доски. Поправил ворота в кошару, в сарай, в амбар. Потом направился к роднику на меже между лесом и полем: заметил его, когда шел сюда. Очистил родник от опавшей листвы, осевшей в него за много лет, — зазвенела, побежала к реке прозрачная холодная вода. Сначала — извилистым шнурком, потом прямее, ручейком.

На берегу Дубосны свалил хорошую осину. Долго, почти месяц мастерил долбленку. Получилась легкая, большая, кошны сена на ней можно возить, дно широкое... И конечно же, силел верши, без них возле реки никак нельзя. Сначала жил и ждал, что не сегодня завтра возвратится хозяин или кто чужой нагрянет на хутор. Но время шло, на хуторе никто не появлялся. Было даже удивительно: неужели о Кошаре никто не знает? Да такого не может быть. Есть же лесники, власть. Когда нужно было согнать человека и его семью с обжитого гнезда, так нашли сюда дорогу. Получается, сейчас никому нет дела до этого места в лесной глуши. Но долго ли так будет? А пока Иосиф жил, и никто ему не мешал. Но в его одинокой жизни довольно быстро появилось нечто особенно щемящее, что вскоре начало пугать: а как же быть без человеческой речи, без людского говора?.. Иногда казалось, пройдет еще немного времени, и он, вдали от людей, в глухом одиночестве сам лишится дара речи. Вот смотрит на лес, на реку, на камыш, знает, что это такое, но прежде чем произнести эти слова, долго думает, как их назвать... А вокруг столько самых разных неповторимых звуков — от изменчивого шума леса, птичьего гомона, всплесков воды в крутых берегах до шепота сухой травы и скрипа старого дерева, но человеческого голоса не слышно — пусто без него и невыносимо одиноко.

И в Гуде он был один. Но время от времени слышал человеческую речь, пусть даже прячась за оконной шторой, наблюдая за односельчанами. Волновали его их голоса, он с завистью наблюдал, как Ефим, Николай и Михай возят бревна Кате на сруб, при этом шумят, спорят, потом спокойно разговаривают о своем — живут, как и должны жить люди.

Слышал и как говорят женщины — спокойно, негромко, иногда озабоченно... Слышал и детские голоса — звонкие, веселые, радостные, несмотря на то, что живется им несытно, не очень хорошо.

Слышал голоса людей и в городе, когда работал там, слышал, говорил с кем-нибудь. И никогда раньше не задумывался, что значит слышать человеческую речь, что значит разговаривать с людьми.

А здесь будто оборвана та невидимая нить, что соединяла его с людьми. И обрывки той нити незаметно сплывли, растаяли, не оставив следа, разве что — мысли о людях, воспоминания о них... И каждый раз эти воспоминания, если касались деревни, все больше и больше угнетали его — нет никакой связи с тем, без чего человеку нельзя жить на земле, — связи с людьми.

Понимал Иосиф, что один не выживет. Несмотря даже на то, что у него есть крыша над головой, жилье, еда. Пока ходит по земле, пока стоит на своих ногах, сможет сам согреть место, в котором обитает, пищу добыть сможет. А вот без связи с людьми, прежде всего через речь, пусть через единственное слово, вряд ли выдержишь — усохнешь под тяжестью мыслей о своем былом и настоящем.

Он это знал. Знал, чего иной раз стоит даже одно слово, которого от тебя кто-то ждет, а ты так и не произнесешь его, — судьбы. А если точно, его и ее, Теклюшкиной судьбы.

Своя судьба — так это и есть своя. Она как на ладони. Неподвластна она тебе: смирись с ней, живи, как живется. И он смирился. А вот о ее судьбе ему до сих пор ничего не было известно. Хотя иногда казалось, что Теклюшка, будто бесплотный дух, постоянно возле него. Он идет куда-то, она рядом, не отстает от него ни на шаг. Смотрит на него, и он понимает, что хочет спросить: “Почему же ты, Иосифка, когда просила, не сказал одного слова — останься? Неужто оно такое тяжелое, что произнести не смог? Сказал — осталась бы я с тобой и ничего того, что случилось, не было бы ни в твоей, ни в моей жизни...”

Вообще-то, в городе Иосиф бывал раз пять-шесть в году. И только в теплую пору года, с наступлением лета до наступления осени. И всегда основательно готовился к поездке — с пустыми руками там нечего делать. Поэтому отправлялся в дорогу только тогда, когда было что продать-обменять — весомый мешок свежей рыбы, переложенной крапивой, несколько вязанок сушеных белых грибов, с ведро орехов да еще две-три заячьи шкурки.

Затемно все это переносил в челн, который прятал в затоке. А как только начинало светать, тихо выплывал на стержень Дубосны, пускал свое легкое суденышко по течению, время от времени слегка правя веслом. На дне челна лежал шест. Им он работал, когда плыл против течения назад. Плыть же по течению, Дубосна река быстрая, одно удовольствие. Все забывается: только река и ты. Обычно такой порой над ней клубился легкий туман. Пронзая его, на воду лились золотые солнечные лучи. В траве, в кустах, в лесу слышались птичьи голоса. Прибрежные деревья, а это в основном березы, осины, дубы, изредка сосны, молча смотрелись в воду, сопровождая Иосифа почти до самого пригорода — верст двадцать, если не больше.

Так вышло, что Иосифу повезло сразу же, как пришлыл в город. Там он неожиданно сошелся с одним местным мужчиной примерно его возраста. Домик того стоял недалеко от реки, огород спускался почти к самой воде.

Тогда, выплыв из леса к лугу (река разрезала его на две части, большую слева, дальше от города, меньшую — к городу), Иосиф издали внимательно рассматривал правый берег, выбирая место, где можно было бы причалить.

Известно, челн нужно оставить там, где местные мужики привязывают свои лодки. Существует неписаное правило меж их хозяевами — свое не отдавай, но и чужое не бери. Правило это Иосиф знал. Оно всюду одинаковое. Поэтому, как только заметил плес, а на нем с десятков лодок и лодчонок, направил туда свое суденышко. Под старой большой ольхой, росшей возле воды, нашел для него место. Подплыл к дереву, слева виден песок, справа темно, не иначе яма. Вылез из долбленки на мель — воробью по колено, втащил челн повыше на песок. Пока привязывал его к ольхе, не заметил, как к нему подошел мужчина.

— На базар? — спросил тот, увидев в челне поклажу.

От неожиданности Иосиф ответил не сразу. Голос будто оглушил: к нему обращался человек! О, сколько времени Иосиф не слышал человеческой речи!.. Обычной, разговорной, спокойной, рассудительной, когда кто-то просто говорит о жизни. Последний раз человеческий голос Иосиф слышал в паводок, приплыв на взгорок, но тогда в нем слышалось уничтожающее его: “...Ну, ну...” А здесь...

Прежде чем ответить, Иосиф мучительно начал подбирать слова, а они будто стерлись из памяти. Сначала, как принято, хотел поприветствовать незнакомца: “Добрый день”, а потом уже сказать, почему приехал, но только прохрипел: — Да-а...

— Охрип, простудился, что ли?

— Не-ет...

— Почему такой неразговорчивый?

— А так... Что-то запершило, — Иосиф нарочно прокашлялся.

— Откуда?

— Издалека, — уклонился он от прямого ответа и показал рукой в лес. Произнес одно слово, но почувствовал, что оно будто выкатилось изнутри, значит, еще не разучился говорить.

— А что ты хочешь продать? — спросил мужчина.

— Смотри, — Иосиф снял дерюжку с поклажи, лежавшей на дне челна.

— Н-да, неходовой товарец, — сказал мужчина и продолжил: — Рыбы на базаре и без твоей хватает, река рядом. И все остальное тоже есть. Боюсь, что наторгуешь мало, если вообще кто что у тебя купит. Разве что за бесценок, говорю тебе правду, знаю. Я же здешний. Вон мой дом на взгорке (показал на небольшой деревянный домик, от которого вниз к реке спустился длинный узкий огород). А на базар я хожу каждый день. До войны в лавке торговал. Люди приходят, одному это дай, другому то, третьему еще что... И даешь, если нет — достанешь, и человеку приятно, и тебе.

— Как же мне быть? — Иосиф озабоченно почесал затылок.

— Что ж ты так сразу и испугался? — удивился мужчина. — Как быть... Если хочешь, возьму твой товар. Конечно, на тебе не разбогатею, да и не хочу. Внукам отнесу, а что и на базар. Хотя орех твой, наверное, прощлогдний, усохший, а боровик источен. Да и шкурки...

— Но, — растерялся Иосиф, — а я думал...

— Не расстраивайся. Как тебя зовут?

— Антон, — растерянно ответил Иосиф, впервые назвавшись именем хозяина хутора. Почему он так сделал, и сам не мог бы объяснить: назвал-ся и все. (Позже понял — Иосифа уже нет...)

— А я Архип, — сказал мужчина и подал Иосифу руку. Для человека такого возраста рука была еще довольно крепкая. Иосиф осторожно пожал ее. Он уже и не помнил, кто и когда подавал ему руку. — Ну вот и познакомились, — продолжал мужчина. — Так вот, Антон, видел я, как ты веслом правил. Ловко! На реке вырос?

— На реке.

— Города не знаешь?

— Нет.

— Тогда и не ходи туда. Со мной дело имей, не пропадешь. И мне легче будет. А то...

Он умолк, наверное, понял, что сказал лишнее.

— А что такое? Почему тогда тебе будет легче? — спросил Иосиф, буд-то давно знал Архипа.

— Почему... — вздохнул тот. — И дом есть, и дома не живу.

— Поссорился со своими?

— Если бы только так... Но не будем про это. А ты мне чем-то понравился. Вижу, поладим.

— Почему бы и нет? — сказал Иосиф и поймал себя на мысли, что уже нормально разговаривает, будто не было столько времени молчаливого одиночества. Торговать он не умел, обрадовался, что встретил человека, который согласен забрать его товар.

— Говори, что тебе дать за твое добро, — предложил мужчина.

Иосиф сказал: немного соли, какой-нибудь крупы, спичек, если есть — хлебушка хотя бы с полбуханки.

— Дам, — сказал мужчина и добавил: — Пошли со мной.

Взяли все, что привез Иосиф. Вышли на узкий лужок, усыпанный цветущей душицей, или как называли в Гуде, материнкой. По лужку, по извилистой тропке, ведущей от лодочной пристани к улице, дошли до небольшой деревянной бани. Иосифа удивило, что Архип повел не к дому, а к бане, стоящей у самой воды на высоком берегу в десятке метров от огорода.

— Здесь я и живу, — объяснил Архип. — А в доме (показал рукой вверх) пусть молодые живут.

Он открыл дверь, пригнулся, шагнул в предбанник. Иосиф вошел следом.

Предбанник был тесный. Слева от двери возле маленького окошка стоял узкий откидной столик, накрытый белой домотканой скатертью. На столике в стеклянной баночке красовался букетик лилово-розовых матердушек.

Архип заметил, что Иосиф недоуменно посмотрел на цветы, усмехнулся:



— Внучка приносит. Я ей как-то сказал, что там, где я родился, эти цветы называют матердушками, так ей запало в душу. Говорит: “Деда, как красиво — мамина душа”. Вишь, у самой душа-то еще махонькая (Архип осторожно сжал ладонь, словно там находилось что-то живое), а сколь много вобрала в себя... — Глянул на букетик, продолжил: — Конечно, красивые цветы. Вот, стоят...

— У нас их чаще зовут материнками. Хотя и матердушками тоже, — сказал Иосиф. — Красиво-то как...

— Красиво, — улыбнулся Архип. — Мои родители приехали сюда, когда я еще ребенком был. Здесь же и дом ставили, сейчас он мой. Я смутно помню наше прежнее место, но луг у реки да матердушки на нем — всегда перед глазами. Места-то похожие.

Архип умолк. Молчал и Иосиф, осматривая предбанник. Под столик был задвинут табурет. Справа от двери стояли большие и малые картонные коробки — вот и все, что было в предбаннике. Иосиф понял, что в этих коробках Архип держал все свое богатство...

Отплывал Иосиф примерно через час. За это время они с Архипом познакомились ближе. Даже вместе перекусили. Но не в предбаннике, а на берегу, в тени под ольхой.

Иосиф впервые с того времени, как вернулся из города, ел настоящий хлеб. Долго жевал, незаметно для себя посасывая, будто вытягивал сок, смаковал... Архип это заметил и, провожая его, вдобавок к десятку коробок спичек, увесистому узелку соли, ладному фунтику крупы, бруску сала и буханке хлеба подал нарезанные и несъеденные ломти.

Иосиф взял.

Договорились, что он будет приплывать к Архипу когда захочет. Обычно Архип, если не на базаре, впрочем, там он долго не задерживается, здесь, в своей баньке. И если Антон (Иосиф) не застанет его, то пусть заходит, отдохнет, дверь закрывается только на палочку, вставленную в пробой.

Когда Иосиф сел в свое суденышко и попросил Архипа оттолкнуть его от берега, тот как-то странно засмеялся:

— Сам!.. Силенки, что ли, нет? Я воды боюсь и плавать не умею. А ты, когда причаливал к берегу, не заметил справа от себя яму? Или случайно не угодил в нее? Вон она, воду покручивает, — показал он рукой под берег.

— Заметил, — сказал Иосиф, глянув туда, куда указывал Архип. — Я слева сходил, там мель. Ну что ж, коли так, тогда я сам, — и, взяв шест, оттолкнулся от берега.

Назад плыл против течения. Все время орудовал шестом. Держался ближе к берегу, там, где течения почти нет или очень слабое.

Когда плыл в город, реку хорошо запомнил. Помнил, где в нее упало дерево, где топляки, где глубоко, а где совсем мелко. Препятствия обходил легко и к вечеру был уже возле хутора. Там спрятал челнок в камышах в затоке, где прятал всегда, и еще почти засветло по плахам, лежащим в болоте, вышел на сухое, утомленный, присел на меже.

Была пора вечерней тишины. Дневные птицы смолкли, а ночные еще не подавали голосов. Казалось, воздух можно было потрогать руками, как что-то осязаемое, кристальное, одновременно и золотистое, и синее, еще теплое, но уже начинающее остывать.

Отсюда, из межи меж лесом и длинной, узкой, поросшей травой полосой, когда-то бывшей полем, была видна хата. Приземистая, черная, будто обгоревшая, с прогнувшейся дощатой крышей и заколоченными крест-накрест окнами, сейчас она казалась живым существом, ожидающим своих хозяев, которые вот-вот должны вернуться и вдохнуть в нее прежнюю жизнь.

Иосиф, глядя на хату, думал, что люди неспроста заколачивают крест-накрест окна своих домов, когда оставляют их... Так они сознательно или подсознательно ставят крест на том, чем жили: над своими радостями и горестями, над смехом и плачем детишек, над всеми произнесенными в доме словами, а во всем этом — человеческий дух. А он такой сложный и одновременно беззащитный, и когда люди уходят из дома, уходит и их дух, а без человеческого духа дом умирает...

Иосифу не хотелось, чтобы умер дом неизвестного ему Антона. Не хотел, чтобы умерла хата, давшая ему, чужаку, пристанище, спасшая его от гибели. Вместе с тем он ничего не мог сделать, чтобы вдохнуть в чужое жилье свое дыхание: чужое и есть чужое.

И свой дом, свою хату, свое жилье, в которое он не смог вдохнуть свой дух, наверное, по этой причине и сжег, хотя не собирался сжигать. Хотел очистить от чужого зла, от чужих грехов, а получилось... Вот тебе подтверждение, что и он не без греха... Понимает это, поэтому так страдает. Хотя иной раз кажется, если бы не страдал, то и не жил бы, не понял бы, что такое жизнь.

А она сложная, пусть и твоя, но принадлежит не только тебе. И как на земле переплетаются стежки-дорожки, корни деревьев, как сливаются реки, так переплетаются и сливаются людские жизни и судьбы.

И вот однажды его судьба переплелась с судьбой какого-то Архипа. Хороший он человек. Но по-своему тоже несчастный. Иосиф это почувствовал. Почувствовал, что несмотря на то, что у Архипа есть сын, внуки, дом, ему чего-то очень не хватает в жизни. Не потому ли он и вышел к Иосифу, когда тот приехал в город? Вышел на свежего человека, с которым, как понял, хочет сблизиться да высказать нечто личное, что дальше не может удерживать в своей душе...

## 15

...Конечно, если бы Архип был жив, Иосифу не пришлось бы ночевать под стогом. И вообще, Архип, очень хорошо зная город, базар, где у него было много знакомых, помог бы Иосифу найти ту женщину, которая издевалась над Теклюшкой, не найти которую, как считал, не имел права. И, конечно же, стоять нищим возле входа на базар ему не пришлось бы.

За несколько лет жизни в Кошаре Иосиф очень сблизился с Архипом, но все равно не открыл ему своего настоящего имени. Не открыл по той простой причине, что сам свыкся с чужим именем, сжился с ним так, что иногда казалось, его всегда звали Антоном...

И сейчас утром (ночью не заснул не от холода: под стогом было тепло, не заснул от разных, будто не связанных меж собой мыслей, касающихся только самого себя), как начало светать, проговорил: "Пора, Антон..."

Иосиф осторожно выбрался из-под стога, поежился от холодной влажной свежести, опираясь на костыль, с огромным усилием встал на ноги, зашатался, боясь упасть, но удержался. Ноги долго не слушались, были будто ватные, так с ним случалось по утрам, пока не постоит несколько минут, не пошевелит ступнями, не разомнется. Через некоторое время, почувствовав, что может идти, направился к развилке дорог за городом, к шоссе, проходящему возле дороги, ведущей к Кошаре.

Светало все еще по-летнему, хотя лето уже клонилося к осени. И солнце было не желтое, как неделю тому, а красное. Его лучи уже не слепили, как в начале или в середине лета, на солнце можно было смотреть не щурясь. Роса под ногами не искрилась, как раньше, казалась тяжелой, будто из тусклой бронзы.

Он шел по скошенному лугу, на котором уже заметно отросла еще мягкая осока, и его следы напинали следы двух полозьев.

Вскоре луг остался позади, Иосиф поднялся на мост. Отсюда хорошо была видна окраина города. Дойдя до середины моста, остановился, посмотрел туда, где на берегу реки, не так уж и далеко отсюда, стояло Архипово жилище: бани не было. На ее месте чернела груда бревен, а чуть дальше — гора чего-то белого. Наверное, кирпич, решил Иосиф, видимо, Архипов сын собирался возводить какое-то строение.

Хорошо было Иосифу с Архипом. Сколько раз встречались, сколько времени сидели вместе за столиком, а то и на берегу в тени старой ольхи, говорили о городе, людях, о базаре, благодаря которому, как признавался Архип, он и живет, не зная голода, а в душу Иосифу не лез, не расспрашивал о личном.

Только однажды, будто вскользь, сказал:

— Мы с тобой, Антоне, уже давно знакомы. Просишь, чтобы я добыл тебе то, это... Но почему-то ни разу не попросил что-нибудь для детей, внуков для женщины. Ты один, что ли?

— Один, — махнул рукой Иосиф, дескать, привычно мне одиночество, — всю жизнь один.

— Бывает, — рассудительно сказал Архип. — И я один. Хотя, как знать, и дом у меня есть, и внук с внучкой, да сын со снохой.

То, что дом, стоящий на взгорке, Архипов, Иосиф знал еще с первой их встречи.

— А почему тогда в бане живешь? — спросил Иосиф.

— Потому и живу, что не хочу мешать семье сына. Всю войну жил я в своем доме, жил вместе с невесткой и внуками. Был с ней под одной крышей только ради внучат. Сноха моя, скажу тебе по секрету, втихую гуляла с немцами. В подоле не принесла, но... Может, потому и уцелел мой дом, может быть, потому и внуки не голодали. Она работала у немцев. Многие у них работали, иначе не выжили бы, но — только бы работала.

— Может, брехня? — насторожился Иосиф.

— Никакая не брехня! Если говорю — знаю! А сын вернулся с войны, она ему на шею: “Роденький, дорогой, как же я тебя ждала!.. Как же мне одной с детишками было тяжело. Помощи — ни от кого”.

А я, услышав это, словно окаменел, стою, молчу. Он — на меня, да с такими осуждениями, с такой обидой, что хоть сквозь землю провались. “Что же ты, отец, не помогал им?”

Вот так. А я же все, что только мог, отдавал им. Да оберегал малых, чтобы никто на них пальцем не указал: “Ваша мать — такая-сякая...”

Посмотрел я, как он к ней льнет, а меня просто не замечает, и тихо сошел сюда. Думаю, если им хорошо, так мне вдвойне, пусть живут как знают. Одно утешение, что моя старуха ничего этого не видела, умерла в начале войны. А то не знаю, что бы с ней было...

— А внуки? — спросил Иосиф.

— А что внуки? Как проснутся, так и бегут ко мне: “Деда, деда...” Большие уже,меньшенькой одиннадцать, старшему тринадцать.

— Ну, коли так, крепись, — сказал Иосиф. — Есть внуки, что еще нужно?

— Тем и живу. Стараюсь для них. И очень боюсь, чтобы кто не сболтнул сыну: дескать, живешь с немецкой подстилкой. Тогда семья рассыплется.

— Не скажут. Да и кто об этом знает? Сам говоришь, что втайне было.

— Говорить говорю, а на душе — камень. Так и тянет на дно, иной раз противиться не хочется: топи!..

— Выбрось глупости из головы! — сказал Иосиф. — Может быть, и у меня было немало чего такого, что — в пропасть! А как подумаешь, так нельзя. Нужно прожить то, что предназначено. Надо же кому-то и страдать, не всем же быть счастливыми.

Последнее Иосиф уже говорил не столько Архипу, как себе. Ему хотелось рассказать товарищу, а может быть, и другу, почему он одинок, но что-то сдерживало. Тогда вспоминалась Теклюшка. Казалось, она вновь рядом, бессловесная, бестелесная. А иногда казалось, хочет что-то сказать, но не может... Он уже давно слабо представлял черты ее лица, образ скорее чувствовался, чем виделся, но что это она — ошибки не могло быть.

Однажды, когда в очередной раз говорили об Архипе, его внуках, сыне и снохе, о жене, которую, как было понятно, Архип очень любил, Иосиф не удержался:

— Ты как-то спрашивал, почему не прошу у тебя ничего для детей, внуков, для жены. Нет у меня детей и жены нет. Для той, что была за жену, если бы даже не умерла, ничего не попросил бы — чужая душа. А той, которой все отдал бы, если бы была со мной, — нет. Была такая в молодости, да разошлись наши дорожки. Моя здесь, на этой земле бурьяном зарастает, а ее в коллективизацию потянулась куда-то далеко-далеко...

— Переселенка?

— Да нет, раскулачили. С мужем... И вытравливал я ее из сердца, и выжигал разными мыслями — никак! В молодые годы куда ни гляну — она. Во всем и везде ее ощущал, на все ее глазами смотрел... Это уж потом, со временем, вроде как снежком начало припорошивать... Бывало, займусь чем, отвлекусь от своих мыслей, кажется, забудется ее облик, будто и не было у меня дорогой мне девушки... Но ненадолго: вдруг явится перед глазами ее лицо — всего будто молния обожжет, и снежок тот мгновенно растает... И тогда вновь смотрю на все ее глазами, во всем ее вижу...

— Знакомо, — перебил его Архип, — моя давно умерла, а тоже, глаза закрою...

— И сейчас, какие уже мои годы, к земле гнусь, задумаюсь, вижу ее перед собой, — продолжал Иосиф. — Стоит обиженная, униженная, оскорбленная — я же перед ней так виноват, что и в гробу не успокоюсь... Мне бы ее наяву хоть издали увидеть, а там...

Не договорил, махнул рукой, задумался...

— Ты что, в девичестве обесчестил ее, а потом бросил? — спросил Архип.

Иосиф удивленно, словно не понимая, о чем говорит Архип, посмотрел на него: лицо серое, морщинистое, с неделю не бритое, рыжая щетина подернута седinou, смотрит строго, недоброжелательно.

— Ты что? Да я ее девушкой потерял! Другой с нею потешался... Люди видели.

— Люди, люди, — передразнил его Архип. — А ты?

— А я что? Отвернулся от нее. Больно мне и обидно было, хоть ложись да помирай.

— Больно, обидно... А ты у нее спрашивал, что да как? Может, сплетни?

— Зачем было спрашивать? Какие сплетни? Если бы не хотела, не пошла бы с ним. Значит, хотела... А потом уже, когда венчаться с ним ехала, говорила мне, что со мной хочет быть.

— Ну и дурак же ты, Антон!.. Здесь что-то не так...

— Так, не так, кто сейчас скажет? А если бы и сказал, разве стало бы легче? Она же просила меня, дескать, только слово скажи, с тобой останусь. Говорила, что не люб он ей.

— А ты не сказал того, что и тебе, и ей было нужно. Да-а... Значит, и ей, и себе не поверил. Как ты так мог, если любил? Почему?

— Не сказал... не знаю почему. Может, потому, что от обиды ослеп, от унижения. С того времени и по сей день, как подумую, слепым живу.

— Значит, с большой тяжестью на душе по земле ходишь...

— С большой. Иной раз кажется, что земля подо мной проседает... Но если бы только одна эта тяжесть угнетала меня! Есть еще и иная.

Иосиф смолк, долго молчал. Молчал и Архип. Потом, вздохнув, произнес:

— Не думаю, что ты кого-то убил.

— Перекрестись, Архип! — вздрогнул Иосиф. — Я — нет... — Вновь смолк.

— Тогда больше ничего не говори о себе. Легче будет, — сказал Архип. — А то случается, выговоришься, а на душе еще хуже, разлад с самим собой, не иначе.

— Это точно, — вздохнул Иосиф.

Он так и не сказал ему ни о сыне, ни о Марии. Зачем? Давно нет Марии. Возможно, и Стаса уже нет. Арестовали его, знали, что делал в войну, кто такое простит?

— Знаешь что, — вдруг сказал Архип, — если бы не внуки, ушел бы куда глаза глядят. Бывает, когда посмотрю на сноху, сердце так сожмется, что нет мочи терпеть.

— Уйти-то можно, — сказал Иосиф. — Можно и в мешок завязаться, чтобы ничего не слышать и не видеть, а что с того? Глаза не видят, уши не слышат, а мысли куда спрячешь? Душа, пока жив, не даст покоя, она в теле держится. От себя никуда не спрячешься.

— Выходит, все по себе знаешь...

— Может, и по себе, — неуверенно ответил Иосиф.

Когда начинали разговор, Иосиф, понимая, что Архип ищет у него чувства, что ему очень нелегко, хотел сказать: “Поплыли ко мне. Поживешь, сколько захочешь, а как обида забудется, вернешься домой. Научу не бояться воды, рыбу ловить научу, грибов на зиму засушим, внукам орехов собираешь”. Но не сказал. Не потому, что показал бы Архипу тайные пути к хутору, а потому, что, долго живя вместе, вынужден был бы многое рассказать о себе. Может быть, когда-нибудь и расскажет, в себе все это тяжело носить. Случается, уж очень хочется кому-нибудь открыть свою душу. Но спохватишься: а надо ли? У каждого своя жизнь. У Архипа — тоже. Не хотел, чтобы он в своем горе, пусть даже мысленно прошел по его жизненной дорожке, еще более крутой, чем своя. Ведь Иосиф, в отличие от Архипа, ушел хоть и от близких людей, но от чужих, кровно никак с ним не связанных. Архип, если уйдет, родных оставит. Позор ляжет на сына — отца изгнал, внуков деда лишил. Люди разбираться не будут, да и не надо, чтобы они правду знали.

Понимал, если Архип уйдет, назад не вернется: несправедливую обиду своим простить тяжелее, чем чужим. Обида на своих, словно ржавчина, глубоко въедается в душу, извести ее трудно: не изведешь, махни на себя рукой — пропал человек...

Обижался Иосиф на бывших односельчан, но время от времени будто оттаивал, думая, как они сейчас живут. Ведь не все вернулись с войны, а кто вернулся да не застал в живых родных и близких, остался ли в Гуде? А Надеждин Игнатий? Не дай бог, что с ним случилось, как она двоих детей поднимет?

Да, война давно кончилась, людям нужно жить. Понятно, что уже отстроилась деревня. Может быть, еще не всем поставили дома, но Кате, как и полагается, первой построили. Вдова, ребенка родила. Затем, конечно же, возвели дом и Надежде. Потом — Николаю, Михею, и наверное, в последнюю очередь Ефиму. Тот, какой бы жесткий ни был, а в такой ситуации о себе в последнюю очередь будет думать.

Конечно, если вернулись его Никодим с Иваном, так свой дом должны были ставить немедленно. Мужчины, им нужно обзаводиться семьями. Вот только в Гуде девчат нет, не сами свелись, хотя, наверное, так говорить нельзя, не птичий выводок, а род человеческий, — война свела.

До войны были девчата в Гуде, не столько, как в Забродье, но были. В Забродье хат раза в три больше, чем в Гуде. Идешь вечером по улице, что ни скамейка у дома — на ней невесты. И подневесточки рядом толкуются.

Знал, Ефимовы парни, как и большинство заброденских и гуднянских, на своих девчат не очень заглядывались, к чужим бегали, будто те красивее. А так ли сейчас? Да и сколько парней и девчат там и там?..

И его Стас в соседнюю деревню заглядывал. Обхаживал дочь Кечика. Форсистый, “до носа без фиги не лезь”! Только девушка от него отворачивалась. А в войну исчезла. Ушла с отцом в партизаны. Больше о ней ничего не было слышно, впрочем, у кого Иосиф мог спросить, что с ней случилось? Помнится, в войну пьяный Стас как-то кричал, мол, словит ее, набросит на шею бечевку да, как телушку, приведет в гарнизон, отдаст друзьям на потеху...

Однако не словил...

Часто думал Иосиф и о своем доме. Если бы не сгорел, наверное, односельчане заняли бы его да жили, пока свое строили. Не понадобился дом, а вот лодка его, в этом сомнения нет, пригодилась односельчанам. И зерно, и продукты, которые он оставил в лодке, конечно же, не пропали. И образ... Почему икону им оставил? Он и сейчас не понимает, особо набожных там не было, но оставил. Не хотел с ней лезть в грязную воду? Но тогда еще не знал, что бросится в нее. Помнится, когда подплыл к взгорку, она выскользнула из-под рубахи, и будто кто подсказал: “Отдай им”.

Отдал. Вернее, оставил. А сам, перед тем как лезть в воду, перекрестился — словно кто невидимый водил его рукой.

Вода приняла его. Не замерз. Хотя и было очень холодно, доплыл до бора, выбрался на сухое, стянул с себя тяжелую мокрую одежду, выкрутил, надел, подался выше.

Шел и видел, что среди темного разлива горит его дом. Видел, как ветер бросает огонь в направлении взгорка. В отблесках пожара видел там три человеческие фигурки — метались возле сарая...

Какое-то время стоял и хладнокровно наблюдал, как горит его дом, сарай, навес и, наверное, старый куст сирени. Горело все, что нажил за свою жизнь, больше у него ничего не было.

Иосиф не стал смотреть, пока догорит, пошел дальше, повыше, туда, где начиналась чаща леса. Отсюда не было видно ни взгорка, ни его двора с постройками, охваченных пламенем, — только сполохи в темном небе...

Иосиф постоял несколько минут, подставив ветру руки, чтобы высохли. Затем при тусклом лунном свете наломал елового сушняка, поставил в затишье шалашиком, намереваясь развести костер: спички у него были, да и кремьмень имелся.

Не спеша развязал ремень (перед тем как войти в воду, пережал им сапоги, спрятав в них спички и кремьмень), вытащил сухие портянки, взял спички и вскоре развел костер.

Пламя быстро охватило сушняк. Еловый лапник и березовые ветки сразу же ярко вспыхивали, освещая все вокруг кострища шага на три-четыре. Нарвал мха, разостлал возле костра на таком расстоянии, чтобы не сильно жгло, затем бросил наверх березняка — чем не постель!..

Конечно, все это — хорошо, но прежде всего надо высушить одежду, тело начинала бить дрожь, сейчас заболеть — пиши пропало... Воткнул в землю две рогатинки, бросил на них перекладину, снял одежду, повесил сушить.

Одежда высохла быстро, нигде не прожег, потрогал: горячая, но надевать можно.

Подбросив в костер сушняка, лег на постель из мха и ветвей и мгновенно уснул...

...Тогда он проснулся, кажется, такой же утренней порой, и всего за несколько часов хорошо выспался возле костра. Но в эту ночь даже на минуту не смог заснуть.

Первое, о чем подумал: а что дальше?.. В город? Вновь на станцию? А что там?..

Хотелось в лес, и чтобы рядом была река. На ее берегу в потаенном месте он сладит себе избенку — топор где-нибудь добудет — и станет там жить: одиночество вдали от людей и будет ему спасением от страданий...

“Есть такое место! — вдруг вспыхнуло в сознании. — Кошара! О ней как-то говорил Ефим. До войны это было, в коллективизацию. Хутор без хозяина... Туда, туда, по берегу реки. Через болота, через ручьи, через топи... За пару дней дойдет. Знает, как пробраться к хутору через гиблые места...”

И сейчас Иосиф спешил на хутор, на котором за эти годы неплохо обжился, спешил в то место, которое давно и надежно спрятало его от людей.

Сегодня ему нужно было спастись и от людей, точнее, от тех воспоминаний, которые вызвали встречи с ними, и от самого себя.

В Кошару он добрался только к вечеру. Когда вышел на шоссе, долго не удавалось остановить попутку, прошло несколько грузовых и пару легковых машин, но ни одна не взяла его. Потеряв надежду, двинулся в путь, прошел несколько километров, прежде чем остановился грузовик, хотя он и не поднимал руки.

Шофер, молодой парень, выйдя из кабины, почти втянул его, уже выбившегося из сил, в машину, довез до нужного места. Иосиф попросил остановиться, парень помог вылезти из кабины, а когда признался, что платить нечем, шофер вдруг вложил ему в руку несколько рублей: “Возьми, дядя, и ни о чем не думай”.

Взял машинально, глухо молвил: “Спасибо за все”. Получилось, будто прохрипел, словно перехватило горло. Повернулся, ткнул под левую руку косяк, не спеша двинулся к болоту. Отошел с десяток шагов, как сзади услышал:

— Подождите, подвезу куда надо!

Остановился, повернулся, посмотрел на шофера: молодой, из-под шапки форсисто, выбивается непослушный овсяный чуб, но смотрит на Иосифа растерянно, — прокашлялся, ответил:

— Спасибо, не надо. Добра тебе и всем, кто у тебя есть. Сам еще смогу дойти. А дорога здесь вскоре кончается, ни пройти ни проехать. Только я ее знаю. Сам проложил. Через болото, через зыбь, через трясины. Дурмана там, багульника много. Для того, кто не знает, — гиблые места.

Почему сказал о багульнике, дурно пьянящем голову, если долго среди него находиться, не знал. А то, что сам через болото к хутору дорожку проложил, — правда. Это когда-то, чтобы сплавить в город к Архипу, к своей долбенке ходил иным путем, проложенным еще хозяином. Ефим подсказал тот путь. Долго ходил, привык к нему. А когда постарел и почувствовал, что уже тяжело плыть против течения, решил проложить дорожку от хутора к шоссе через это, еще более гиблое болото: будет легче добираться в город.

Вспомнил: в лихие времена старики сказывали так: “Чтобы следа твоего дурной глаз не видел, сбей из жердочек две небольшие площадки — тебя удерживать должны. Привяжи одну к другой, неси к трясины. Одну брось в нее, другую держи в руках, ступи на ту, что в болоте. Держит тебя? Тогда брось в трясины другую, стань на нее, а первую вытяти, и — наперед. Так и иди”.

Вроде никакой особой хитрости здесь нет. Но такое “бесхитрое” приспособление спасало местных жителей от чужаков-завоевателей: до нужного часа прятались в непроходимых болотах, а потом, собравшись вместе, шли на непрошенных гостей...

Уже давно ходил Иосиф из хутора к шоссе и обратно, используя площадки. И сейчас, бросая их в болото, чередуя, двигался к хутору. Идти было тяжело. Под конец то ли от багульника, то ли от бессонной ночи и усталости сильно кружилась голова. Еле выбрался на сухое, а выбравшись, не стал прятать площадки (кто сюда зайдет?), побрел к хутору. Придя к избе, упал на землю возле порога в сени, застонал: “Что же это за жизнь такая?! Скорее бы умереть, да чтобы сразу, чтоб не лежать в бессилии, зная, что и воды никто не подаст”.

Долго лежал на земле вверх лицом, смотрел в небо, на солнце. Оно опускалось за лес, было красное, как перед осенними холодами. Независтливый по своей природе, завидовал Архипу, с которым так и не смог проститься.

Завидовал Теклюшке: умерла, не поняв, что умирает. Ему бы так. Но пока нельзя, есть у него еще дело на этом свете, есть!.. Злое оно... А как иначе? Они же издевались над ней, пленили ее...

...А пленили те нелюди Теклю в первый же день, как добралась до города...

За несколько дней до этого, ее, обессиленную, с распухшими, побитыми язвами ногами, случайно подобрала незнакомая женщина. Было это где-то в России, ближе к Беларуси. За год скитаний, пройдя множество дорог, Текля настолько выбилась из сил, что идти дальше уже не могла. Порой у нее было такое состояние, что хотелось лечь где-нибудь в затишье, заснуть и не проснуться...

Однажды вечер застал ее недалеко от деревни, размещавшейся близ какой-то железнодорожной станции. Текля шла вдоль рельсов, держа путь на запад, зная, что ее родная земля там, где садится солнце. Окончательно обессилив, увидев деревню, свернула с пути, вошла в перелесок, упала под куст. Здесь ее и обнаружила какая-то женщина — вела с лужка козу.

Женщина подняла Теклю, поддерживая ее под руку, ничего не спрашивая, привела в свой домишко на окраине деревни. Накормила, потом заставила сбросить с себя тряпье, как маленькую, посадила в корыто, вымыла, смазала какой-то мазью язвы на ногах, одела в чистое белье, уложила на кровать у печи: “Отдохни”. Рядом на лавку положила платье, плюшевый жакет в заплатах, теплый вязаный платок, поставила на пол бурки в бахилах, дала ей маленькую стеклянную банку с мазью, сказала:

— Если идешь — обязательно дойдешь. Этой мазью утром и вечером будешь мазать раны, ее должно хватить, чтобы ноги вылечить. Она из травы

молодила и свиного сала. Если не хватит или раны потом откроются, спроси у людей, когда придешь, растет ли там молодило. Растет — бери свежую, разотри со свиным салом и смазывай раны. Если нет — прикладывай подорожник. Он везде растет, долго искать не надо, нагни, поклонись дороге, она сама тебе на подорожник укажет — зеленые листья прямо из земли идут.

— Знаю подорожник, — сказала Текля, — его у нас много...

Говорила Теклюшка, что в маленьком домике той женщины, лежа на мягкой пуховой подушке, накрытая домотканой постилкой, она впервые со времени высылки почувствовала, что чужое жилье может быть таким теплым и уютным, как свое. Лежала в полузабытьи, видела, как при слабом мерцании свечи изо всех уголков низенькой хатки на нее смотрят изображенные на досках лики святых. Видела, что перед образами на коленях стоит ее спасительница и беззвучно молится на каком-то неизвестном Текле языке.

И вдруг старушка повернулась к ней, спросила, как зовут. Ответила Теклюшка, а дальше слышала, что среди не совсем понятных ей слов (не знала она, что молится женщина на старославянском) услышала трижды и свое имя.

Когда ее спасительница кончила молиться, Текля не удержалась, сказала:

— Вы молились и за меня, но я, наверное, не вашей веры. Я не видела, как вы креститесь, у нас же — со лба на грудь, да справа налево, и тремя пальцами. Может быть, вам нельзя мне помогать...

Но услышала Текля совсем иное:

— Давно я живу на этом свете. Всякое повидала. И людей разной веры видела. Только нет такой веры, если она от Бога, чтобы запрещала помогать человеку. Вера на земле через людей держится, в людях живет, так что какой бы ты веры ни была, держись ее, если пришла к ней. А если еще не пришла, верь в добрых людей и через них найдешь свою веру.

— Скажите, — вновь обратилась к ней Текля, — можно ли верить в людей, когда в ином столько зла, что непонятно, как земля его держит? Как разузнать в человеке веру? По его кресту, по молитве?

— Можно креститься, молиться, а веры не иметь. Вера там, где добро. Добро, по моему разумению, и есть вера. Меня так родители учили. Мы пришли сюда чужими, я была маленькой, ничего не помню. Знаю, какая-то беда нас сюда привела. Говорили родители, что здешние люди нас не оттолкнули, приняли. Какой бы ты ни была веры, это твоя вера... Страдалица ты, и вера тебя спасет.

— Почему страдалица? — спросила Текля.

— Ноги о землю только страдальцы ранят... О чужую землю... Своя-то лечит... По чужой земле идешь... И людей сторонись... Да и говор тебя выдает, не здешний, хоть на здешний похож. Он у тебя мягче...

Открылась тогда Текля той женщине, кто она, откуда путь держит, куда возвращается...

— Хорошо, что после всех страданий не с тяжелым сердцем среди людей пошла, — сказала старушка. — Все мы братья и сестры. Когда супостат пришел на нашу землю, так тот, кто и тебя от твоей земли оторвал, кто стольким людям исковеркал жизнь, кто немало людей погубил, с этими святыми словами ко всем обратился: "Братья и сестры..." Не думаю, что опомнился в грехах своих. Думаю, понял, чем можно объединить людей разной веры, говорящих на разных языках, чтобы встали против антихриста, посягнувшего на род людской...

Больше старуха ей ничего не говорила. И Текля больше ничего не спрашивала. Одно помнила: с добром идешь...

Через несколько дней, почувствовав себя лучше, Текля сказала старухе, что ей надо идти. Старуха не отговаривала, собрала ей в дорогу котомку с едой, достала из-за образов какое-то колечко, завязала в рожек своего платка да отвела Теклю на станцию. Подошла с ней к товарняку, который, как оказалось, направлялся в Беларусь, нашла его начальника, кругленького важного мужичонку. Одет он был в диагональные офицерские брюки, в добротный суконный пиджак, на голове — форменная фуражка, на ногах — блестящие хромовые сапоги. Мужчина подозрительно взглянул на Теклю.



Женщина заметила это, строго посмотрела на него, потом молча отвела в сторону, что-то долго говорила, наконец развязала уголок платка и ткнула в его пухлую руку колечко, которое достала из-за иконы...

А через двое суток товарняк довел Теклю в Беларусь. Здесь, на своей земле, начались Теклины новые страдания... Сошла с поезда, осмотрелась, кажется, не с этой станции везли ее в ссылку. Но по названию — с этой. Вон оно, над дверями в то же низенькое кирпичное здание: “Дубосна” — так ее родную реку зовут...

А дальше городские строения — все кирпичные, красные, в несколько этажей. Раньше здесь стояли обычные деревянные домики с небольшими огородами за заборами из досок, где высокими, в рост человека, а где низенькими, поставленными будто для приличия.

Людей много, много телег, машин легковых, а на путях за станцией — паровозы, вагоны, платформы.

Холод пронзил Теклино сердце: куда податься? Домой нельзя. Сразу же в сельсовет потянут, потребуют документы. А что она им покажет? Вернут в район и вновь — дорога туда, откуда сбежала...

Да и отчего дома, старенькой хатки в тени липняка, наверное, уже давно нет. И родители, наверное, умерли: когда прощались с ними, были уже старенькие, слабые. Находясь в ссылке, связи с ними не имела... И того дома, что Авдей купил в Дубосне, не было. Его забрали, когда раскулачивали. Да и война...

Нет, домой Текле путь заказан. Тогда, если бы кто спросил, почему убежала, на что рассчитывала?..

Убежала, ибо не могла дальше жить на чужбине, да и Авдей избивал до полусмерти. Хотелось на своей земле умереть, а перед тем как лечь в нее, Иосифа увидеть. Зачем? В чужом краю много чего передумала и о себе, и о нем, да и как домой шла — тоже.

Вспомнила, что еще задолго до ссылки в городе жила ее подружка Варька. Вместе гуляли в девичестве. Смелая, отчаянная была девушка. Однажды в городе и осталась, потом там замуж вышла...

Решила пойти к базару, вдруг Варьку увидит, помнила, где ее дом. А что? Будет ходить по улице возле ее двора, выйдет Варька из калитки, увидит Теклю, узнает, поможет. А нет — так нет... Тогда будет видно, что делать дальше...

Походила по базару, еще более людному, чем в те времена, когда в молодости бывала здесь, есть захотелось. Узелок с едой, что дала Текле в дорогу старушка, — полдня не проехали, забрал тот человек, который посадил ее в поезд. Увидел узелок, молча забрал и ушел.

Осмотревшись, стала возле ворот, как нищенка, ожидая, что люди подадут, — много где подаяниями спасалась. Недолго стояла, что-то дали, подошел к ней крепкий чернявый парень, нехорошо посмотрел, спросил:

— Ты кто такая? Кто тебя сюда поставил?

Чуть не обомлела Текля: все, окончилась моя дорога, отыскиали, повезут назад...

Простонала:

— Никто, сама стала.

— Тогда за мной тихо иди, не кричи, а то мигом рот заткну! Откуда будешь? Справка есть?

Не ответила. Шла молча. Никакой справки у нее не было. Слышала, справки дают тем, кто отбыл свой тюремный срок, а дают ли раскулаченным, не знала. Наверное, догадался, что беглая: начало лета, а у нее на ногах бурки в бахилах, одежда хоть и чистая, но в заплатках, и сама еле идет.

Шла рядом с этим крепким парнем, молча умывалась слезами. Не боялась, что будут бить, пусть бьют, стона не услышат, но кто помогал сюда добираться, все равно не скажет. Многие помогали, последняя — старушка, святая женщина. Плакала от обиды: столько прошла, почти до дома добралась, и — назад...

Хотела под какую машину броситься, о грехе самоубийцы не думала. Не бросилась, побоялась, что из-за нее будет страдать шофер, невинный че-

ловек. Его вряд ли посадят, но сам будет терзаться: убил... Если бы через реку вел, тогда она с моста — вниз головой: принимай, родная река-реченька!..

Он и вел ее вниз, на окраину города, туда, где Дубосна, куда ей и надо.

Только не суждено ей было броситься в темные воды, суждено было иное — дальше страдать...

Она попала в руки каких-то злых людей и страдала почти два месяца, пока ее не увидел Иосиф. Они знали, что Текля не будет искать спасения у властей, — беглая. Держали взаперти в каком-то сарае на окраине города, на ночь давали кусок хлеба, утром отправляли на базар просить подаяния, а вечером забирали всё, что подавали ей люди.

Текля всегда стояла на одном и том же месте и, как понимала, нищие возле базара, а это были двое мужчин, также “работают” на тех, кто ее приневолил. Поняла однажды, кто всем управляет. Видела через щель в сарае, как во двор вместе с тем крепким парнем, который ее привел сюда, вошла неизвестная ей дородная женщина лет сорока. Видела, как парень заискивающе посматривал на нее. Слышала, как та сказала: “Спроси, есть ли у нее знакомые в городе, да настрого запрети встречаться с ними”. Поняла, что женщина эта непростая, коль мужчинами управляет...

## 16

...Это было два года назад. В ту ночь Иосифу снилась вода.

Снилось, что стоит он на берегу, смотрит вдаль, а там — вода соединяется с небом. Значит, перед ним море, которого он никогда не видел, но слышал когда-то от бывалых сельчан, мол, оно бескрайнее...

Вообще-то, вода часто снилась Иосифу. Знал, если снится чистая вода — к добру. Если же грязная — к неприятностям, а то и к беде. Если же прозрачная, да в ручье, в реке, — неожиданная встреча. Так когда-то люди сказывали.

Какая была вода, чистая или грязная, проснувшись, не помнил. Но, кажется, среди этой воды видел Архипа: он бежал туда, где она соединялась с небом.

Откуда он появился, как проскользнул возле него, Иосиф не помнил. Но заметив Архипа, удаляющегося от него, начал кричать, чтобы тот возвращался: знал, Архип боится воды, не умеет плавать. Кричал, звал к себе на берег и не слышал своего голоса.

А Архип все бежал и бежал, и когда был уже почти у самого горизонта, навстречу ему выплыла какая-то фигурка. Издали она была похожа на большую птицу, только вместо крыльев — руки. Разминувшись с Архипом, то ли плыла, то ли летела прямо к Иосифу.

Иосиф уже не видел Архипа, тот скрылся за горизонтом, и, затаив дыхание, следил за приближающейся к нему фигурой... И когда она была уже совсем близко, увидел, что это девушка, молодая, красивая. Ее красота обожгла, но почему-то, как он ни старался, не мог различить черт ее лица — какой-то неуловимый, завораживающий облик...

Иосиф почувствовал себя молодым, сильным, бесстрашным, взмахнул руками, оторвался от земли, полетел над водой рядом с девушкой, хотел спросить: “Кто ты, как тебя зовут?” — кричал, но не слышал своего голоса и... проснулся.

И сразу же его охватило тревожное предчувствие: неужто Архип заболел? Или, не дай бог, что с ним случилось... В последнее время он говорил, что пошаливает сердце.

Иосиф, не дожидаясь, пока рассветет, даже ничего не прихватив с собой, вышел из сеней и направился через болото к затоке возле реки, где прятал челн.

Спешил, но ни разу не отступился, ступая на плахам, спрятанным в болоте, и вскоре был на месте. Отвязал челн от старой ветлы, сел на корму, несколько раз взмахнул веслом, выплыл на середину реки, направился в город.

Светало. Течение несло суденышко вперед. Ловко правя веслом, держал челн на середине реки, время от времени подгребая то слева, то справа: быстрой, быстрой!..

Время тянулось очень медленно, и путь к городу казался как никогда долгим...

Иосиф думал только об одном: что же могло случиться с Архимом, если он так приснился?.. Заболел, может быть, кто-то его обидел, или, не дай бог...

Допустить можно было что угодно, кроме последнего.

Если заболел, то, хоть и живет отдельно от сына, невестки и внуков, придут на помощь. Знал Иосиф, Архим, перейдя жить в баню, с семьей сына не поссорился — решил человек жить отдельно, чтобы никому не мешать, и только.

Вспомнилось, как однажды Архим говорил ему: “Вдруг приплывешь ко мне, когда не договаривались, не застанешь, то не жди, иди на базар. Там меня все знают. Спросишь, где Архипа-торговца найти, укажут. Случается, я там задерживаюсь. А на базар нужно идти по улице возле моего двора (показывал рукой в направлении домика на взгорке) и нигде не сворачивать. Улица сама доведет до базарных ворот. Не заблудишься, если что — спроси у людей”.

Приплыл Иосиф к пригороду, направил челн к берегу, к ольхе. Привязал его, по еще росной тропке заспешил к бане — на двери замок. Раньше замка не было — деревянный кольшечек на пробое. Еле сдержался Иосиф, чтобы не застонать: неужели и отсюда изгнали? У кого спросить, кто ответит?.. Решил идти на базар. Может, сам замок повесил, чтобы посторонние не лазили? Межой поднялся Иосиф к двору Архипа и вдруг застыл на месте: напротив новых высоких ворот из досок — утоптана земля. А от них по улице через шаг — еловый лапник да ошметья увядшей дерезы...

Все, нет Архипа... Нет того единственного человека, который хоть как-то связывал Иосифа с миром людей... Нет того, из чьих уст слышал человеческую речь, благодаря кому не забыл, как люди произносят слова. Нет друга его тяжелой одинокой старости. Как же пусто сейчас на земле... И как горько — Иосиф так и не открыл Архипу своего настоящего имени...

Он не помнил, сколько времени стоял возле ворот, ничего не видя и не слыша. Опомнился, когда взгляд невзначай скользнул дальше по земле, остановившись на раздавленном чьим-то сапогом букетике угасших лилово-розовых материнок. Подняв растоптанный букетик, не стряхивая налипшую на стебельки и цветочки землю, осторожно положил за пазуху, направился к базару. Прошел несколько шагов и услышал:

— Вижу, Архипа искал.

Остановился, увидел, как по улице к нему шел пожилой мужчина.

— Его. А что? — не понял Иосиф.

— Я его сосед, — сказал тот и неожиданно подал руку. Иосиф пожал.

Крепкая.

— Я возле Архипа был, когда он умирал. А мог бы еще жить да жить!..

— А что случилось? — Иосифа бросило в жар: неужели Архим не выдержал всего, что свалилось на него после ухода из своего дома?.. Пытался руки на себя наложить?.. Или... Что значит “мог бы еще жить да жить”?..

— Сам?..

— Да нет, — мужчина удивленно посмотрел на Иосифа, дескать, странный какой-то вопрос. — Парни с девочками на лодке катались. Шутили, девочки пугали, лодку раскатали, она перевернулась. Девчата — в воду, шум подняли: “Тонем!.. Спасите!..”

Архим с внучкой на берегу был, бросился в воду.

— Так он же не умел плавать! — почти закричал Иосиф.

— Не умел, — подтвердил мужчина. — А воды там — по горло. Наверное, парни это знали, держались за лодку, ногами по воде били, смеялись, пока девочки Архипа не вытянули на берег. А на берегу внучка от плача изводилась. Положили Архипа на землю, а он за сердце схватился: “Умираю...” Внучка в крик: “Деда, деда!” Прибежала сноха, в дом Архипа понесли те оболтусы: ишь, когда опомнились!.. Потом кто-то за врачом бросился, а это далеко, за базаром, там поликлиника. Пока туда-сюда, Архим попросил, чтобы меня позвали. Внучка за мной прибежала, я дома был. Побежал, думал,

что же такое Архип хочет мне сказать?.. А он попросил, чтобы я тебя встретил, когда явишься, да сказал, чтобы ты осторожным в городе был. Говорил, что не знаешь ты города, боялся за тебя... Просил, чтобы я держал с тобой связь. Мы с Архипом с малых лет по-соседски жили. Как только его родители откуда-то сюда приехали, так мы — с ним. Особой дружбы у нас не было, но всегда ладили.

— Что-то раньше я тебя с ним не видел, — сказал Иосиф.

— Зато я тебя видел. У вас было свое, у меня свое. Поэтому и не видел. А вообще, я к нему в баньку, где он жил, не хаживал. Здесь я его не поддерживал — зачем было идти из своего дома?

— Ну, этого я не знаю.

— Ты на базар?

— На базар, — ответил Иосиф, хотя базар ему был не нужен. Решил: пойду подальше от этого человека. Хотя и руку подал, но какой-то чужой, не сойдемся с ним, разные мы... И предлагает, мол, заходи, если хочешь...

— Да не хочу!..

И как Архип мог дружить с ним? Они же такие разные. Но, видишь ли, умирая, Архип думал об Иосифе, переживал, как он будет без него в городе...

Иосиф не помнил, как пришел на базар, — улица привела. Была она не очень шумная, обычная улица небольшого города. Время от времени по булыжной мостовой стучали колеса телег, проезжали грузовики, спешили люди... Ноги сами принесли его к базарным воротам, высоким, металлическим, наверху которых полукругом было написано: "КОЛХОЗНЫЙ РЫНОК".

Вошел в ворота и вздрогнул: в двух шагах от него стояла нищенка. Босая, ступни ног распухшие, будто растоптанные лапти. Одетая в лохмотья — такое тряпье хороший хозяин только в собачью конуру бросает. У ног развернутый холщовый мешочек, в нем несколько мелких монет.

Иосиф посмотрел нищенке в лицо, и его словно обожгло: васильковые, неподвластные времени глаза... Кажется, давно забытые, но какие родные... И облик, когда-то самый дорогой на свете, вдруг вспыхнул перед ним, сбросив с обветренного лица глубокие морщины, — ее, молодое, светлое Теклюно лицо...

— Текля! — простонал он и бросился к нищенке.

— Я, я, Иосифка, — слабо пошевелила она пересохшими губами, не удержавшись на ногах, начала медленно оседать на землю.

Он подхватил ее под мышки, удержал, прильнул лицом к плечу, зашептал:

— Сколько же лет я тебя ждал, Теклюшка...

— И я тоже, — простонала она. Затем, словно опомнившись, выдохнула: — Спасай, беглая я...

## 17

Вечером Иосиф привез Теклю в Кошару...

В то мгновение, когда она произнесла: "Спасай, беглая я...", он вдруг почувствовал вспышку такой силы, какой, кажется, не чувствовал даже в молодые годы.

А Текля, овладев собой, попросила:

— Пошли отсюда. Веди меня под руку. Крепко держи и не оглядывайся.

Иосиф, еще ничего не понимая, крепко держа Теклю под руку, повел ее с базара. Уходя, она даже не взяла мешочек с медью, только тихо повторяла: "Быстрее, быстрее..."

Шли вниз, к реке, туда, где Иосиф оставил свой челн. Текля, ступая по булыжнику, вздрагивала с каждым шагом, будто босая шла по толченому стеклу. Иосиф время от времени поглядывал назад — ничего подозрительного там не замечал: ходят люди, и никому нет дела до них с Теклюшкой. Если она беглая, думал он, то опасаться надо милиции, а милиции здесь не было.

Вскоре, успокоившись, сказал, что надо остановиться, он сбросит сапоги, развернет портянки, обмотает ей ноги.

— Потом, потом, — говорила она, — скорей, скорей...

Так и шли, быстро, как только могли. И через некоторое время миновали Архипову баню, спустились на ярко-зеленый лужок, усыпанный лилово-розовыми цветами матердушек, подошли к челну.

— Скорее! — вдруг почти закричала Текля, показывая рукой на взгорок. Иосиф, не оглядываясь, посадил ее в челн. Сильно дернул старую, наполовину перетертую бечевку, державшую суденышко возле ольхи, бечевка лопнула. Быстро забрался в долбленку, оттолкнулся шестом от берега, и только когда челн подхватило течение, посмотрел туда, куда показывала Текля: на взгорке стоял мужчина, глядел на них.

— Не бойся, это Григорий, — сказал Иосиф, направляя лодку поперек течения к противоположному берегу. — Он дружил с Архипом, моим хорошим знакомым. Архип жил в этой бане, — показал на баню, — недавно умер...

Уже когда заплыли в лес, Текля, чувствуя рядом с Иосифом себя в безопасности, рассказала, как добралась в город, что, пройдя почти полземли, побоялась идти домой, в свою деревню. Мало ли что может случиться...

— Досталось тебе, — сказал он.

— Досталось. Одна бы не выжила. Где шла, там люди и помогали.

— Авдей как? — вдруг спросил он.

— Авдей? — удивилась она. — Авдей там остался. Я убегала не только из ссылки, но и от него. Уходила ночью. По тайге шла, берегом реки. А тайга — это такой лес, в котором редко человека встретишь, чаще — зверя. Только зверя не так боялась, как человека. Зверь что, обойди его стороной — не тронет. А человек если что удумает, да если ему за это деньги посулят, ни перед чем не остановится, не посмотрит, женщина ты или ребенок... Авдей, когда однажды сказала, что уйду, пригрозил: "Из-под земли достану! Живой не оставлю. В тайге ружье далеко метит..." Долго терпела. Но однажды решила: вырвусь отсюда так вырвусь, нет — так нет. И пошла. Не могла дождаться до того, чтобы в чужую землю лечь — своя есть. И не могла умереть, тебя не увидев, не сказав, что напрасно ты от меня отвернулася, — Авдей тогда меня силой взял. Я же тебя, Иосиф, очень любила. Потому и страдания мои. Но скажу тебе, что страдания сами по себе не страшны, любое стерпеть можно. Страшны они, когда от обиды, когда над честью твоей надругаются.

— Я тоже это знаю...

— Бил меня Авдей. Сколько жили, столько и бил. Все упрекал, что тебя любила. Все вспоминал, как я, когда под венец вез, тебя просила, чтобы забрал меня. Не мог простить... И хорошо, что тогда ты не забрал меня, я уже тяжелой была... Все во мне отбил, так и не родила.

— Дурак был, потому не забрал, — глухо сказал Иосиф. — Не отбил бы... А ребеночка вырастили бы, в люди вывели.

— Не твое, чужое.

— Но твое же. Я дитя в обиду не дал бы...

— Может, и так. Только не от любви оно было, но все равно, как ты говоришь, мое... Я же в снопы не сама пошла, Авдей туда затащил. Перед тем каким-то отваром опоил. Знаешь, его мать, моя будущая свекровь, слыла травницей. Она хотела, чтобы он меня взял, — хвалила как работницу. Помнишь, хозяйство у них большое было, я постоянно у них батрачила. Тогда в амбаре упарилась, таская мешки с зерном. Он рядом крутился. Попросила пить, так Авдей и подал кружку с отваром тем. Говорит, на, вышей, хорошо утоляет жажду. Выпила, вскоре в жар бросило, а он и говорит: давай на воздух выйдем. Вышли, вскоре память у меня отшибло, ничего не помню. А как опомнилась — лежу в снопах голая, и бабы на меня пальцами показывают...

— Что же ты не сказала мне об этом? — глухо выдавил Иосиф.

— А ты и не слушал бы. Ты сплетням поверил. Что сейчас об этом говорить? С тобой я, сейчас с тобой. Хоть на час, хоть на два, но с тобой. Сколько с ним жила, столько тебя и вспоминала. Молодая была, глаза закрою — ты... Глаза раскрою — ты... И обида во мне на тебя была такая, что не высказать. И на себя обида: знала же, что Авдей ко мне неравнодушен, а кружку с питвом взяла.

— Откуда ты знала, что там? — пожал плечами Иосиф.

— Не знала, но все равно корю себя до сих пор.

— Ничего, Теклюшка, — вздохнул Иосиф. — Хотя на последок дней, но вместе мы. Сейчас я тебя никому не отдам. Не дай бог что, за тебя на любого руку подниму.

— Сейчас я и сама никому не дамся, — сказала она. — Если надо будет — в омут брошусь. А не успею, сама себя удушю.

— Перекрестись! — сказал Иосиф. — Так даже думать нельзя. Грех.

— Сейчас, конечно, нельзя. А было, руки могла на себя наложить. Родители не давали покоя: “Осрамила перед людьми!..” Но сдерживало, что тогда свою вину перед тобой с собой унесу. Думала, может быть, жизнь так повернется, что когда-нибудь сойдутся наши пути-дорожки, и я все тебе выскажу... И боль свою, и обиду, и правду... Кручинилась, маялась и решила: нет мне иного пути, как за Авдея идти, коль берет...

— Какой же я был дурак! Не тебе, себе не поверил.

— И иное скажу: сейчас, когда ты меня нашел, почувствовала я, что теперь у нас с тобой — один крест... Нелегко мне было с Авдеем. Пусть хоть сейчас легче станет: с тобой я... — Она помолчала и спросила: — Один ты?

— Один, Теклюшка, один. Умерла Мария. Перед войной. И мне с ней нелегко жилось. Матвеевой половинкой она была. Может быть, и ненавидела меня потому, что свою любовь к нему не могла унять. Так что — Бог ей судья... А крест у нас, как ты говоришь, один. Тяжелый он, вместе нести его нам до конца. Вдвоем легче, чем поодиночке.

— Что правда, то правда. Сейчас меня с тобой только смерть разлучит. Всего боюсь, Иосифка, а ее — нет. Но только чтобы не поздняя.

Последнее сказала загадочно, но он понял: боится, вдруг он раньше уйдет, тогда что с ней будет?..

Понял, но сказал об этом:

— Плыдем, а куда — не спрашиваешь.

— Не спрашиваю. Я же с тобой.

— Место одно у меня есть, там никто нас не найдет.

— Дай боже, — сказала она и умолкла, закрыла глаза, осторожно прислонилась спиной к борту челна.

Иосиф, отодвинувшись к корме, снял с тебя старую, потрепанную фуфайку, расстелил на дне суденьшка. Затем достал из-за пазухи раздавленный букетик материнок, отложил в сторону, стащил через голову фланелевую рубашку, сказал:

— Ляг, поспи. Нам еще долго плыть. Я тебя накрою.

Текля заметила букетик, ничего не спрашивая, молча легла на дно челна. Иосиф накрыл ее рубашкой, взял цветы, опустил руку за борт, разжал. Течение подхватило букетик, понесло, туда, где остался город.

— В городе у меня друг был, — сказал Иосиф. — Звали его Архимом. И приснился мне странный сон... Проснулся и понял: с ним что-то случилось. Приплыл в город, а его уже похоронили. Возле его двора я нашел этот букетик. Я поднял цветы, пошел на базар и там тебя встретил... Пусть эти цветы возвращаются туда, где остался мой друг. Я знаю, кто принес ему матердушки, — внуки. Знаю, он очень любил внучку и внука, а они — его...

Говорил он тихо, последние слова уже себе, Текля, как только легла, сразу же и заснула.

Течение распыло букетик, цветы растащило по сторонам, и он, последний раз взглянув на них, подумал: а сон в руку. И об Архиме, и о Теклюшке. Ведь образ, явившийся с горизонта во сне, оттуда, где исчез Архим, — Теклюшка. Иосиф посмотрел на нее. Текля лежала на дне челна на его фуфайке, накрытая его рубашкой. Ее глаза были закрыты, выцветшие ресницы, когда-то темные и длинные, еле заметно вздрагивали...

Иосиф ловко орудовал шестом, стараясь не поднимать шума. Челн скользил возле топляков, валунов, кустов, время от времени попадавших на его пути, и все дальше и дальше уходил от города.

Время от времени поглядывая на сонную Теклюшку, Иосиф думал о том, что и у него, и у нее начинается новая жизнь, их совместная жизнь.

Он не задумывался, сколь долгой она будет, и вообще, долгой ли, в голове пронеслось одно: “Господи, какая же она родная и через столько лет...”

...На следующий день на рассвете Иосиф покинул хутор, и через болото знакомым путем направился к шоссе, проходящему недалеко от его родной деревни. Он спешил, он знал куда идет. В Гуду. К своим односельчанам. Так хотела Теклюшка, когда боялась, что одному ему без нее будет неважно, когда просила никогда ни кому не мстить ни за что: “Воздастся им...” Ведь она сама никому не мстила, хотя ее столько обижали в жизни. Сначала — он, как никто жестоко, не поверив ей, потом другие люди... А она вопреки всему верила в них, и эта вера ее спасла, привела на родную землю и хоть на остаток дней, но соединила с ним...

Она всем простила, и прежде всего ему, своему главному обидчику, однажды не поверившему ей...

И он должен верить людям: в Гуде он все расскажет, что было с ним и с Теклей... Расскажет и о тех, кто помогал ей, и о тех, кто пленил ее. Он верил, что люди поймут его и простят. Ведь, есть за что...

*Перевод с белорусского  
Ольги НИКОЛЬСКОЙ.*

МАКСИМ ЕРШОВ



## ЗАВОДЧАНИН

*Отцу, Сергею Ершову,  
заслуженному работнику  
машиностроения РФ*

### ЗАВОДЧАНИН

Может долго признание стыдливое рдеть,  
может взгляд отзываться тревогой невнятной.  
По стальному закону сыновьих сердец,  
могут таять слова в тишине необъятной.

Это заводь молчанья. Она велика —  
в ней парят облака и стоят пароходы.  
Только жизнь наша долгая так коротка,  
что высоким огнём загораются годы.

Значит, розовый свет колыхнётся в лице,  
никогда, ни за что и никем нестираем!  
Потому я хочу вам сказать об отце,  
о своём трудовом, поседевшем отце, —  
как у Волги над краем...

---

*ЕРШОВ Максим родился в 1977 году в Сызрани. Окончил политехнический техникум, техник-механик автотранспорта. Учился в Литературном институте им. Горького, в семинаре Станислава Куняева. Постоянный автор "Нашего современника", автор книги стихов "Флагшток". Член Союза писателей России.*



Пятилетним ребёнком любил я глядеть  
на него снизу вверх — в такт широкого шага.  
Чтобы не было страшно, давал мне отец  
указательный палец, как древко от флага.

И казалось: как можно так долго идти —  
узнавать в каждой улице сторону света?  
Для себя он избрал трудовые пути,  
как писала о нём городская газета.

Где теперь нам искать её, вспомнить хотя  
чёрно-белое фото, открытие наше?  
Сообщал достопамятный “Красный Октябрь”:  
“Фрезеровщик Ершов. Красный вымпел Тяжмаша.

План сто три и сто пять. Молодой виртуоз...”  
— и ещё пару слов о высоком разряде.  
Мы гордились, мы всё принимали всерьёз,  
мы встречали отца удивленьем во взгляде.

Он входил — молчаливый, усатый мужик,  
в “пирожке”, постоянный, как марка Балтфлота.  
Капля одеколona, особенный шик,  
тот — советский, простой, как большая работа.

На цепочке бесстрастно звенели ключи,  
“Комсомольская правда” ждала неизменно.  
Но когда со второй возвращался в ночи —  
пела “молния”: “вжик! вот и кончена смена”...

Мы ходили в завод. И отца каждый цех —  
(третий, пятый, седьмой?) — всяк по своему дельный,  
без конца узнавал... Был огромнее всех  
девятнадцати метров станок карусельный!

В нашей старенькой “стенке” росли хрустали,  
вымпела хоронились от глаз в антресоли.  
Был станочник примером. Был солью земли  
и, конечно же знал, сколько весит пуд соли.

Он не нажил мехов и высоких палат,  
не скопились червонцы, ни фунты и кроны.  
Только годы. Они, как вагоны, летят,  
и не ловят чинов те, кто “ловит” микроны.

И пока подставлял он под стружку глаза,  
обнажая блестящую душу металла,  
по стране валом слов прокатилась гроза,  
испаря восторг... И Союза не стало.

Стали пасмурны дни. Он остался собой,  
огорчён, как трагический голос завода.  
Мой отец обзавёлся тогда сединой,  
переняв отраженье небесного свода.

Иногда, с чуть заметным движеньем руки,  
отвечал на вопрос:  
“Пап, ну, как там работа?”  
— Да чего там... Опять умирают станки.  
Ползавода стоит. Говорить неохота...

Но отчаянья нет и прощания нет —  
по закону история движется наша.  
И на цехе шестом, через несколько лет,  
в красных буквах воспрянуло имя Тяжмаша.

Символ города виден округам. И вот —  
над Россией светлеют небесные хляби,  
значит, сызранский скоро услышит завод,  
как гудят Петербург, и Донецк, и Челябинск.

Значит, всё-таки есть эта правда труда!  
О которой, на пятом десятке лет стажа,  
постаревший отец никогда-никогда,  
как о тайне великой ни слова не скажет.

Он ответит — с привычным движеньем руки:  
— Есть заказы. Да так, что в две смены не сдюжим.  
Хороши иностранные нынче станки,  
только... я им, наверно, не так уж и нужен...

И конечно, когда-нибудь день настанёт:  
день, в котором усталости звёзды померкли.  
Оставляя рабочее сердце своё,  
заводчане уходят... как будто из церкви.

Он оставит незапертым шкафчик стальной  
и пойдёт, сжав в ладони ключи жигулёнка.  
Но когда обернётся на миг с проходной —  
то взревёт  
и поставит свой голос стеной,  
и сорвётся гудок человечески тонко —

в эту пропасть молчанья...

Она велика,  
по-над ней облаками мостят переходы.  
Ну, а жизнь наша долгая — так коротка,  
что высоким костром загораются годы.

И оранжевый свет открывает в лице,  
словно чудо, простую возможность прозренья.  
И мгновенье сияет, как люстра в кольце...  
Потому я сказал вам, как сын об отце.  
И как требует время.

*2014, Нижний Новгород*

РОМАН СЕНЧИН



КОМПЛЕКС СТАНДАРТОВ

РАССКАЗ

В кармане оставалось сто пятьдесят рублей. В конверте из-под приглашения на премию “Русский Букер”, хранящемся в тумбочке под телевизором, — семейном бюджете — последняя тысяча. Имелась у меня, правда, заначка, три тысячи, но что это? Шпик, пару раз в магазин сходить... А до зарплаты больше недели, до ближайшего гонорарца — почти месяц.

Катило, катило несколько лет, и вот новая чёрная полоса. И она тем более черна, что за эти несколько лет привыкли жить, не экономя на всём, не ужимаясь. Нормально жили, на море летом ездили, в Париже побывали. Расслабились, расплылись, а теперь приходится ужиматься. Не с хлеба, конечно, на воду, но без изысков. Клубника на столе зимой по первому желанию не появляется.

А так казалось всё надёжно и крепко. Однажды написал беспросветную повесть о семье, которая вынужденно переезжает из города в деревню и там гибнет... Такая фабула у меня была и в двух-трех предыдущих вещах, но эта повесть, опубликованная не в самом заметном журнале, вдруг вызвала у московских интеллигентов бурную реакцию, появились рецензии, статьи, возникли дискуссии, выдвижения на премии... Одно из крупнейших издательств заключило со мной договор, издало повесть книгой. Аккуратная такая книга получилась — не тонкая и не толстая — триста с небольшим страниц крупным шрифтом.

Первый тираж, три тысячи экземпляров, разошёлся довольно быстро. Выпустили второй. Заключили договоры ещё на несколько книг. Издали од-

---

*СЕНЧИН Роман Валерьевич родился в 1971 году в городе Кызыл Тувинской АССР. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Первые публикации в Москве — в журнале “Наш современник”. Автор романов “Минус”, “Нубук”, “Ёлтышевы”, “Информация”, сборников рассказов “Иджим”, “День без числа”, “Абсолютное соло” и др. Живёт в Москве.*

ну за другой... Редактор, которая в издательстве меня вела, — есть даже такая должность “ведущий редактор” — однажды твёрдо сказала: “Я буду издавать всё, что вы напишете”.

Новое писалось, правда, туго — ежегодно выдавать новинку не получалось. Но чтобы читатель меня не забывал, выпускали переиздания, меняли местами рассказы в сборниках; я доработал кое-что, лежавшее в архиве, растянул один куцый текст до объёма, пригодного для отдельной книги...

Конечно, было тревожно. Тревожно всегда — в любой момент у любого пишущего может оборваться та ниточка, на которой висит самое главное — способность писать, — и всё! Как говорили раньше: “Муза меня не посещает”. Можно сидеть сутками за столом и понимать — пустота. Но тут тревога была конкретная — книги продавались вяло, критики писали, что планку той своей повести я не преодолел... Хреновато, когда у писателя есть визитная карточка. Тем более если она уже потасканная, несвежая. Бывает, автора и в восемьдесят лет воспринимают по книге, которую он написал лет в двадцать пять. А следующие сорок — довесок к той давней...

Крайняя (“последняя” говорить не принято) книга вышла тиражом полторы тысячи экземпляров, а потом ведущий редактор прислала мне “на мыло” такое письмо: “В дальнейшем предлагаю работать не по факту сдачи текстов (что вы написали, то мы и издаём), а при консультировании на стадии создания. Для успеха важно, чтобы вы советовались со мной в процессе работы. Да, это в какой-то мере ограничение вашего вдохновения и метода, но иначе я не вижу никакой перспективы. В первую очередь, нас интересует роман”.

Я в порыве возмущения ответил резкостью, в том смысле, что не понимаю формулировки “консультирование на стадии создания”, напомнил, что процесс написания произведения — это интимный, сакральный процесс, и тому подобное. Ответа не получил.

Эта переписка случилась с полгода назад. Роман, как назло, не писался, писались рассказы и повестушки объёмом не больше двух авторских листов, а под роман подходит текст листов минимум на восемь... А главное, я не знал, о чём писать. То есть наметок было достаточно — жизнь каждый день даёт пищу для размышлений, — но наметки — это одно, а сюжет хоть какой-нибудь — другое... Да и не в сюжете дело.

Много лет я писал о том, что критики характеризуют как “свинцовые мерзости жизни”, главные герои большинства вещей напоминали меня самого. Но теперь, после периода относительного благополучия, нескольких премий, одна из которых оказалась достаточно денежной, входить в прежнюю реку было как-то стыдно, что ли. Вот, скажут, как сыр в масле катается, а пишет про жизнь впроголодь и прочий мрак. Лицемер!.. И главное, я сам себе говорил подобное, как только задумывался о новой большой вещи, где, естественно, должны были фигурировать *униженные и оскорблённые*. И вспоминалось где-то вычитанное: после премьеры “На дне”, двух часов созерцания людских страданий Максим Горький говорит друзьям и почитателям: “А теперь едем жрать к Тестову! Белугу размером с лошадь!”

Можно было попробовать написать большую вещь не про униженных, но я боялся. Одно дело рассказ, а другое — триста страниц связанного теста... Где найти хоть какой-то конфликт? Где набрать деталей?

В сорок с хвостом лет я понял, что, по существу, ничего про реальную сегодняшнюю жизнь не знаю. Пока, попав в струю, занимался несколько лет выпуском своих прежних вещей, потребности обращать внимания на происходящее вокруг не возникало. И теперь, оказавшись со ста пятьюдесятью рублями в кармане, с очень невесёлой перспективой на ближайшие недели, я лишь растерянно озирался вокруг, пытаюсь понять, как быть и что делать.

Это, конечно, будет воспринято, как литературный приём из разряда беспомощных... Что ж, воспринимайте, но так и случилось: в момент моих грустных раздумий о том, что пора бы начать поиск некоей денежной работы, пришлось письмо... Раздумия были грустные от того, что над ними нависал чёрный жирный вопрос: куда возьмут сорокалетнего человека с дипломом, где в графе “специальность” указано — “литературное творчество”,

и с трудовой книжкой, в которой записано, что я работаю почти пятнадцать лет в специфическом еженедельнике, где изучаются проблемы современной литературы; а интересуется этими проблемами куда меньше людей, чем, скажем, проблемами транзита сжиженного газа?.. Английского языка я не знаю, креативностью не отличаюсь, в экономике, политике, автомобилях, дизайне не разбираюсь...

И тут “на мыло” капнуло послание.

Поначалу я решил, что это спам и чуть не отправил его в корзину, но вчитался, и чёрный жирный вопрос в мозгу стал бледнеть. Послание было следующее:

“Уважаемый Роман Валерьевич,

настоящим письмом мы хотим засвидетельствовать Вам своё почтение и просим рассмотреть предложение о возмездном сотрудничестве в рамках входящего в состав нашей компании центра просвещения, который в настоящее время ведёт работу по созданию всеобъединяющих гуманитарных стандартов.

Мы выбрали Вас как одного из наиболее авторитетных представителей интеллектуального сообщества, человека, который искренне переживает за изменение окружающего нас мира к лучшему. И полагаем, что Вам будет интересно принять участие в работе коллектива, который в настоящее время ведёт работу в данном направлении.

В рамках данного предложения мы хотели бы просить Вас принять приглашение на встречу с главой нашего общества, которая пройдёт по предварительной договоренности с Вами.

Подробнее о нашей деятельности Вы можете узнать из презентации, приложенной к данному письму”.

Дальше — контактные телефоны, адрес... Москва-Сити, башня “Москва”...

Меня, конечно, зацепило слово “возмездное”... Если “безвозмездно” — это бесплатно, то значит “возмездно” — за деньги... Неплохо.

Сходил к мусоропроводу, покурил, а потом стал изучать “презентацию”.

Несколько отсканированных страниц какой-то брошюры напомнили сектантский журнал вроде “Сторожевой Башни” — тоже улыбающиеся лица благообразных людей, некие схемы, стрелочки, следование которым дарует благодать... Вчитываться я не стал, выхватил взглядом несколько фраз. “Необходимые условия успешного развития”, “комплекс личностных и деловых стандартов”, “улучшение человека”, “единая платформа универсальных подходов и методов”, “понятные регуляторы”, “преодоление разного понимания объединяющих ценностей”...

В общем, некая компания, как я понял, хочет создать некий кодекс жизни людей — личной и общественной, — набор правил. Что ж, можно поучаствовать, тем более если это оплачивается... Глянув в интернет, узнал, что глава компании, Игорь Алексеевич Беляев, входит в список русского “Форбс”. Не должен скупиться. И я написал ответ: “Готов к встрече”.

Через несколько минут пришло сообщение, что она состоится через три дня там-то и тогда-то. Пропуск будет заказан...

За эти три дня конвертик с бюджетом опустел окончательно, записка сократилась до тысячи. В карманах у меня была горстка мелочи, пачка сигарет и проездной на метро с десятком поездок... Жена впервые за долгое время спросила: “А как у нас с деньгами?” И я бодро ответил: “На подходе”. Но призрак хлеба и воды становился всё более ощутимым. Бродил где-то поблизости, постукивая сухими костями.

Думать я ни о чем не мог, писать — тем более. На работе тупо сидел за столом, делая вид, что вычитываю вёрстки; в соседнем кабинете директор с главным редактором пытались найти возможность погашения долга за аренду помещения... То и дело я открывал хранящуюся в моём мобильнике эсмэску. “Роман Валерьевич, вас ждет кредит 400 000 рублей под 17% годовых. Ждём вас! Не забудьте паспорт”. И так тянуло поехать в банк и взять эти четыреста тысяч... Дома я поскорее ложился в кровать, отворачивался к стене, и когда жена удивленно спрашивала: “Ты уже спишь?”, — я сонно мычал...

Выехал на встречу за полтора часа до назначенного времени... В Москва-Сити я до этого не бывал — торчащее скопище небоскрёбов пугало, а не притягивало... Вообще, признаюсь, я побаиваюсь Москвы, особенно новых для себя мест; кажется, свернёшь с привычного маршрута, перейдёшь не на свою ветку метро, и что-нибудь случится страшное. А то и вовсе исчезнешь.

Несколько раз у меня случались приступы паники, когда я терялся в лабиринте выходов на станции “Китай-город”, плутал в паутине переулков между Маросейкой и Солянкой, метался в полутьме пустой и тихой “Арбатской” Филёвской линии...

Сегодня геморрой начался ещё в метро. И опять на Филёвской. Мне с этой линией особенно не везёт — какая-то она непостоянная, неустойчивая, как русло реки в пустыне. К тому же у неё появился отросток.

Без осложнений я добрался до “Киевской”-кольцевой, перешёл на “Киевскую” Филевской линии. Увидел стоящий поезд и прыгнул в него. Поехали.

— “Студенческая”, — объявил из динамиков автоматический голос; я не обратил на это внимания, обдумывая своё поведение на встрече: нужно было сразу показать, что я не лох какой-нибудь.

— “Кутузовская”, — ещё через некоторое время сообщил голос, и я забеспокоился.

— А когда “Выставочная”? — спросил соседей.

— Хо-о! — развеселился неинтеллигентный мужчина справа от меня. — Эт ты промахнул. Выгребайся и обратно ехай. На “Киевской” узнаешь.

Я выскочил, сел в обратный поезд. Там уж тщательно изучил путь до нужной мне станции.

Не то чтобы я не знал о переменах на Филёвской линии. Нет, слышал, конечно, радовался открытию новых станций, но не вникал — не надо было. Когда-то давно, правда, ездил на “Пионерскую” к приятелю-поэту, но потом он женился, стал колумнистом с неблизкими мне взглядами, и с тех пор в этом направлении у меня не возникало потребности. А теперь попал...

Поезда по тому отростку, на котором находилась нужная мне “Выставочная”, ходили редко — раз в десять минут, — и я стал понимать, что опаздываю. А пока искал направление к башне “Москва”, кружа по огромному торговому центру, опаздание стало необратимым. Успокаивал себя мыслью, что в Москве почти все опаздывают, пятнадцать минут и опозданием не считается. В крайнем случае, можно сказать “пробки” и, быть может, получить сочувствующий кивок. Они-то не знают, что у меня нет машины...

Почти бежал по бесконечному торговому центру, мимо витрин с одеждой, инмарок, обвязанных подарочными лентами, фонтанов, банкоматов... Ко мне подстроился юноша в клетчатой рубашке и заговорил доверительно:

— Вы знакомы с нашей системой скидок и бонусов?

— А в какой стороне башня “Москва”? — перебил я его вопросом.

Юноша, словно подбитый истребитель, отвалился от меня, ушёл куда-то вправо... Оглядываться на него я не стал.

Оказался, в конце концов, перед нужным небоскрёбом. На мгновение приостановился, задрал голову — башня представляла собой несколько небрежно поставленных друг на друга кубов... Дочки так года в два строили. Кубики у них неизбежно падали. Конечно, тут всё серьезно, небрежность нарочитая, дизайн такой, но всё-таки... Как в таких кубиках чем-то серьёзным заниматься?.. Стало мутно.

Вообще опасаясь я высоты. Точнее, сознания бессилия. Вот начнёт этот небоскрёб рушиться, а я на каком-нибудь этаже. И что?.. На земле надёжней...

Но вбежал внутрь, нашёл *ресэпши*, сунул девушке паспорт, назвал, куда мне надо. Она, как мне показалось, очень долго копалась в компьютере, слишком медленно что-то там набирала. А минуты капали... Доберусь сейчас, а мне: всё-всё, поздно, Игорь Алексеевич занят другими вопросами...

— Лифты правого крыла, пожалуйста. — Девушка мягко положила на стойку паспорт и карту-пропуск.

С лифтами опять чуть не вляпался. Увидел текущую в раскрытые стальные створки стайку, и уже хотел было шмыгнуть следом, но тут заметил, что один мужчина не входит, а тыкает пальцем в экранчик в стене.

— А как тут нужно, чтобы поехать? — спросил я.

— Наберите этаж на дисплее, — без раздражения ответил он, — высветится номер лифта. — И, глянув на меня, зловеще пошутил: — Иначе можно умчаться в бездну.

Может, кстати, и не пошутил.

В офис я вошёл в час двадцать... На двадцать минут опоздал... Это серьёзно...

— Здравствуйте, — обратился к стоящему у дверей огромного роста парню в тёмно-сером с поблескивающими нитями костюме, — а как мне Игоря Алексеевича?..

— Вы Роман Валерьевич? — девичий тонкий голосок сбоку.

— Да.

Я обернулся и увидел миниатюрную симпатичную девушку. Она улыбалась приветливо, и я попытался улыбнуться.

— Очень приятно, — сказала она. — Проходите в переговорную, Игорь Алексеевич скоро подойдёт. Подождёте немножко?

— Конечно.

Я направился куда она указала. Девушка — следом.

— Чай, кофе? — спросила.

— Нет, спасибо, пока не надо.

— Присаживайтесь.

Комната с овальным столом. Стулья. Больше никакой мебели, если не считать мебелью кондиционер... На столе — стопка толстых книг, стационарный телефон... Меня привлекло окно — во всю стену, от потолка до самого пола. Вот так вот — пол, потом стекло, а дальше сразу же пустота. Никакого даже бортика... В американских фильмах разорившиеся бизнесмены разбегаются и вылетают из таких окон. Или успешных выбрасывают конкуренты...

За окном была широкая панорама Москвы. Всего-то пятидесятый этаж, а кажется, что летишь... Панорама, правда, не очень живописная.

Я осторожно посмотрел вниз. Там, почти под стеной башни, несколько рабочих долбили бетон какой-то неудачной пристройки отбойными молотками, экскаватор черпал обломки ковшом и грузил в кузов грузовика... Всё это происходило бесшумно — видимо, стекло было звукопроницаемым... Я отступил от окна и тут же услышал быстрое:

— Здравствуйте!

В комнату вошёл парень в тёмно-красном спортивном костюме, лет двадцати пяти на вид. Я подумал, что это технический работник здания — проводку проверить, ещё что, — и ответил небрежно:

— Здравсте...

Но парень по-хозяйски шлёпнулся на стул, кивком пригласил садиться напротив.

Я кашлянул, сел.

— Вы ознакомились с нашим проектом?

— М-да... в общих чертах...

Парень в спортивке — теперь я понял, что это и есть Игорь Алексеевич, входящий в список “Форбса”, — пристально на меня посмотрел. Один глаз смотрел прямо, а другой чуть — чуть-чуть — сторону. Мне стало не по себе.

— Жаль, что не ознакомились, — сказал Игорь Алексеевич.

— Да нет, презентацию прочитал, внимательно прочитал, — стал убеждать я, и слышал, что говорю не убедительно, — но лучше вот так, в личном общении.

Бизнесмен помолчал несколько секунд. Потом как-то с усилием начал:

— Примитивно говоря, мы пришли к необходимости создания универсальной системы, комплекса стандартов, которые могли бы помочь создавать не только успешные компании, но и изменили бы в целом взаимоотношение между людьми... Я, кстати, много раз говорил об этом в интервью, писал в статьях. Не встречали?

— Ну... — Это проклятое “ну” очень часто высказывает первым из множества более приличных слов, какими можно начать ответ. — Встречал, конечно! Но, понимаете, встречать, это одно, а проникнуться...

— Не прониклись, значит, — досадливо качнул головой Игорь Алексеевич и снова, уже как-то прищурившись, посмотрел на меня, словно готовясь ставить на мне крест.

Я начал внутренне, глубоко внутри, раздражаться... Чего он хочет, действительно? Чтобы я сразу заявил: “На всё готов! Жду заданий!” И каблуками прищёлкнуть.

— Понимаете, — опять не очень удачно заговорил я, — идея, конечно, интересная... Благородная точнее... Но вряд ли её получится в жизнь воплотить.

— Почему?

— Не будут люди следовать комплексу... То есть, одни будут пытаться, а другие не будут... И эти первые тоже в итоге не станут.

Бизнесмен вновь прищурился, теперь как-то угрожающе. Сказал тихо, но внятно:

— Чтобы это заявлять, нужны аргументы.

— В природе человека заложено нарушать законы, что-нибудь пытаться украсть, строить козни, ругаться.

— Вы не верите в людей?

— Н-ну... В общем, да.

Игорь Алексеевич тяжело вздохнул:

— У нас было относительно вас другое мнение. Мои советники доказали мне, что вы болеете за людей, и судя по тому, что я о вас читал, это так. А на деле... Извините, что мы вас пригласили. — Он сделал движение подняться, но не поднялся, а спросил, глядя одним глазом в мои глаза, а другим куда-то в висок: — Вы считаете, что человек изначально порочен? Что он уже рождается вором, скандалистом?

— Ну, не все. Не все, конечно... — Я давным-давно ни с кем не спорил на эти темы; споры о человеке остались где-то в юности, на пороге взрослой жизни, а потом стало не до того, и сейчас, получив возможность высказаться, я увлёкся. — Есть предрасположенность, наследственность. И, по сути, ребёнка уже в три года видно... Видно, каким он будет. И если ребёнок в три года ворует, дерётся, ведёт себя плохо, то ничем его не перевоспитаешь...

— Но ведь это фашизм, — перебил Игорь Алексеевич. — Вы что — фашист?

Я вздрогнул, почувствовал, как меня заливают бешенство. Но отозвался внешне спокойно:

— Зачем вы меня оскорбляете?

— Нет, я не оскорбляю — я констатирую. Есть демократы, есть монархисты, есть фашисты... Если вы готовы отбраковывать людей в трёхлетнем возрасте, то как это назвать?

— Я не отбраковываю. Я принимаю людей с недостатками, даже злодеев, как данность. К тому же, — бешенство пригасло, хотелось продолжать разговаривать, сказать что-то такое, что знакомым людям я не скажу, — к тому же, мне такие люди необходимы.

— Для чего?

— А о ком мне писать, если они исчезнут? Литература держится на том, что описывает человеческие пороки.

Бизнесмен совсем невесело засмеялся:

— Отлично! А мы этого не учли!.. М-да, — оборвав смех, произнес серьёзно, — я готов платить сто тысяч долларов, а найти тех, кто бы сформулировал кодекс, создал комплекс, не могу. Что же это такое происходит с людьми?

Сто тысяч долларов вернули меня из болтовни в неблагоприятную реальность. Неблагополучную для меня и моей семьи... Сто тысяч долларов — это больше самой денежной литпремии России, которая мне не светит...

— Что нужно конкретно делать? — спросил я.

— Обосновать, почему человек должен быть честным, поступать справедливо, думать о других, хорошо делать своё дело. — Игорь Алексеевич взял одну из толстых книг. — Вот “Жизненная конвенция”. В неё входят разделы “Безупречная общность”, “Добродетельное соучастие”, “Внутренняя гармония”...



Чёрт меня дёрнул ляпнуть:

— Вот видите, у вас же всё есть.

— Ничего ещё нет! — вскричал бизнесмен и открыл книгу, полистал — несколько сотен страниц были пусты; увидев мой недоуменный взгляд, он объяснил: — Есть архитектура, а наполнения пока нет. Его и предстоит создать...

Я представил себя сидящим над этой книгой и заполняющим белые страницы умными, безупречно умными и абсолютно правильными мыслями. Создаю обоснование для идеальной общности людей, прочитав которое, миллионы индивидов сольются в этой общности... Внутренняя и внешняя гармония...

Меня замутило. То ли от грандиозности труда, то ли от тяжести его. Бывает, пронесёшь слишком тяжёлую сумку, и начинает подташнивать... Так и сейчас.

— Но ведь, — вспомнил я, — есть ведь Новый Завет, десятки учений, в которых уже сказано, как стать правильным.

— Вы о религии? Нет, это не наш путь. Любое религиозное течение по сути своей агрессивно, Иисус Христос на самом-то деле — очень жестокий человек. Он не терпел компромиссов. Призывал разрушать семьи, если кто-то из членов не следует за ним... Мы этого не хотим.

— Извините, но ведь невозможно, чтобы все люди присоединились к вашему комплексу... конвенции, то есть...

— А мы считаем, что это возможно. Впрочем, мы с вами пошли по второму кругу... Что ж, жаль, что вы не верите в наше дело. К сожалению, мы в вас ошиблись. — И Игорь Алексеевич снова хотел подняться.

— Желаю вам успеха в вашем деле, — сказал я с усмешкой, поняв, что разговор окончен.

Бизнесмен дернул головой.

— Не надо так с нами, — в его голосе послышалась угроза.

— В смысле?

— Не надо иронии. Здесь собрались очень серьёзные ребята.

— Да какая ирония...

— Всё, я вас больше не задерживаю.

Я встал и пошёл к дверям. Игорь Алексеевич поднял трубку телефона и стал нажимать кнопки на корпусе. Мне стало страшно: сейчас скажет там кому-нибудь, что я ему, крутому, из "Форбса", нахамил, велит разобраться. От этих "серьёзных ребят" можно ожидать чего угодно.

Хотел вызвать лифт, но увидел зелёный указатель с бегущим человечком. Спустился по лестнице на два этажа и тогда уж поехал на лифте. Но чувствую, что сейчас меня подхватят под руки и поведут куда-то, усиливалось... Выбежал из здания и, даже не покурив, рванул в торговый центр, чтобы поскорее затеряться...

Убеждал себя, что ничего со мной не сделают, и умом соглашался, а сердце колотилось, ноги дрожали. Пот щипал спину.

— Связался, блин, — шептал я дрожащим голосом. — Сто тысяч долларов... Получай теперь...

Тогда я не мог понять, почему нахожусь в таком состоянии, чего так испугался, до паники. Лишь позже осознал, что это сработала самозащита. За страхом погони я пытался спрятать страх потери такой выгодной работы.

Ну, не сто тысяч, конечно, но за пару тысяч баксов в месяц можно было попытаться чего-то поделать. И хоть я до сих пор не понимаю, чего конкретно от меня хотели, думаю, постепенно разобрался бы, втянулся... А если бы не разобрался, ушёл бы через два-три месяца. Что бы я потерял?

Потерял бы, может быть, время. Да, это самое важное, — время.

Пишущие о жизни, как я заметил, очень боятся в эту самую жизнь всерьёз погружаться. При помощи первой удачной книги человек выныривает из толщи жизни, устраивает рабочее место — письменный стол, удобный стул (первую книгу зачастую пишут на коленке, лихорадочно, в отчаянии) и становятся профессионалом... Какое-то время люди используют багаж личного прошлого, потом — сочиняют, обращаются к истории, некоторые пытаются философствовать, нравоучительствовать... Когда таких людей отры-

вают от их, как они считают, настоящего дела, им это не нравится, их это раздражает, приводит в отчаяние, вызывает протест.

Вот и меня оторвали. Точнее, предложили оторваться на какое-то время. И я ошегинился, запротестовал... Может быть, я бы сам дошёл до идеи писать нечто подобное тому, что предложил мне Игорь Алексеевич. Мой приятель, автор нескольких повестей, не достигнув возраста Христа, издал толстенькую книгу — настоящий трактат под названием “Смягчение нравов” — о том, что власти и оппозиции пора заканчивать враждовать и заняться общим делом: возрождением великой России. Другой знакомый, тоже моложе меня, года два назад выпустил длиннющий, но увлекательный очерк, доказывающий, что человек при социализме во всех отношениях лучше, чем при капитализме... Вообще прозаики всё чаще и дальше уходят в разнообразную публицистику, забывая о прозе. Может, они и правы.

А тут ёрзаешь в своём уголке за шкафом, тупишь, вяло надеясь создать нечто великое. Злишься на жену, которая просит помочь по дому, на требующих внимания детей. На работу идёшь, как на пытку, и там страдаешь от того, что время идёт, а ты не делаешь ничего серьёзного...

Стоит полистать дневники, письма писателей, да вообще так называемых творческих людей, и почти у каждого красной нитью проходит: “...моя жизнь тратится на пустяки, а я ведь предназначен для грандиозного”. У художников даже бриться и мыться не принято: не хотят тратить драгоценные минуты...

И вот я петлял по залам и этажам торгового центра в Москва-Сити, озирался, гадал, кто следит за мной, ожидал, что вот-вот меня схватят, впихнут в туалет или какую-нибудь подсобку, и плакал в душе, горько раскаивался, что клонул на злополучное письмо, приехал, связался... А мог бы сейчас сидеть за письменным столом и писать, писать вдохновенно. Казалось, так вдохновенно, как сейчас, в воспалённом своём воображении, я и не писал...

Оказался перед входом в метро, достал проездную карточку и приложил к кружку на турникете. Дверцы распахнулись, я пошагал к эскалатору. Зло буркнул:

— Ещё и две поездки потратил на ерунду. На бред собачий.  
Оглянулся — за мной никто не следовал.

Поехал не домой, а на работу — в редакцию литературного еженедельника.

Сегодня был творческий день, то есть можно было не появляться, а читать или писать рецензии и статьи дома, посещать библиотеки, архивы... Коллектив этим дружно пользовался, устроив себе дополнительный выходной.

В редакции пусто. Только охранник в будке на входе.

Устроился в своём кабинете, достал из записки последнюю тысячу, включил компьютер. Экран старого лучевого монитора защищал глаза... Скоро совсем зрение с ним потеряю... А зачем я его включил? Машинально — сел за стол, значит, надо включить компьютер...

И тут вспомнил о знакомом владельце одного популярного интернет-издания. Он предлагал мне писать колонки. “Что-нибудь актуальное, но не о политике и не о литературе. Гонорар — пятёра”.

Нашел в мобильнике его номер, коротко рассказал о сегодняшней встрече.

— По-моему, интересно, — добавил, — неплохая статейка должна получиться.

— А по-моему, нет, — отозвался владелец. — Мало ли прожектёров всяких. С ума сходят.

— Ну, он крутой бизнесмен. В списке “Форбс”...

— А такого опасно трогать. Подает в суд, и что делать будем? Или внесудебно... Ты же хочешь постебаться, как я понимаю.

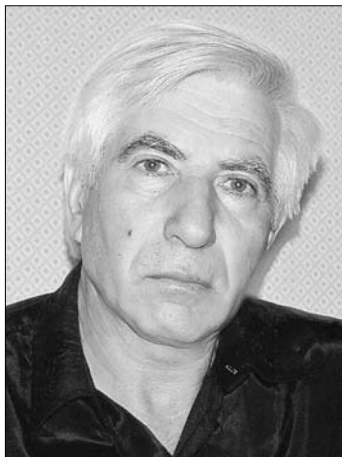
— Ну да, вообще-то...

— Давай не будем рисковать. Теперь столько ранимых... Ты меня понимаешь, надеюсь... А так — для тебя двери в моём портале всегда открыты.

— Спасибо...

И я стал писать рассказ. Может, в этом формате прокатит. Не пропадать же материалу.

ВАСИЛИЙ ЗАБЕЛЛО



## ИЩЕМ ПУТЕВОДНУЮ ЗВЕЗДУ...

*Валентину Распутину*

I

Загребает в небо мощнокрылый,  
Вожаком поставленный судьбой.  
Беспокойный крик его унылый,  
Как маяк в пучине голубой.

Впереди летящему труднее:  
Застят бури, гибелью грозят.  
Потому и выше, и прямее  
Пролегла небесная стезя.

II

Мы вопим, отчаянно метаясь,  
В поисках срываем голоса,  
С прошлым дорогим перекликаясь,  
Как слепые, чертим небеса.

И в тоске, нас давящей безбожно,  
Зачастую с миром не в ладу  
Ищем голос зычный и надёжный,  
Ищем путеводную звезду.

---

*ЗАБЕЛЛО Василий Константинович родился в 1947 году в прибайкальском селе Утулик. Печататься начал в конце 70-х гг. в иркутских газетах и альманахе "Сибирь". Стихи выходили в коллективных сборниках. Автор книг: "Ледостав" (1988), "Возвращение" (1990), "Осенний пал" (2001), "Избранное".*

## СТАРАЯ ШКОЛА

*Петренко Степаниде Андреевне*

...Калитка останавливает взгляд.  
Там тополя тенистые шумят.  
И утопают в зелени густой  
Крыльцо высокое и дом пустой.

Там свеж и вымыт выбеленный класс.  
Там снова детство поджидает нас.  
Войдёшь в него, и вдруг замрёт душа,  
И эхом отзовется каждый шаг.

Далёкая и светлая страна!  
Учительница встанет у окна  
И скажет, взгляды чуткие лоя:  
“На память мы посадим тополя”.

И застучат лопаты и кирки,  
И встанут вокруг школы топольки.

Учительница первая моя,  
Возможно, не узнаете меня.  
Я помню Вас изящной, озорной  
Вы солнышко вносили за собой.

Пусть Вы состарились. И даже не вчера.  
Давно ушли со школьного двора.  
Но с той поры до наших взрослых дум  
Летит печальный тополиный шум.  
И утопают в зелени густой  
Крыльцо высокое и дом пустой.

22 ИЮНЯ 1986 г.

Кружит орёл, ища в реке добычу.  
Вон дети пастуху несут обед.  
Как всё знакомо взгляду, как привычно...  
Давно изжита скорбь военных лет.

И будто вдовы здесь не голосили,  
Не заглушала стёжки лебеда...  
И кажется: в спокойствии и силе  
Пройдут ещё немалые года.

## ЗАБВЕНИЕ

От Урала, Омска и Алтая  
До морских скалистых берегов  
Проскакали кони, пыль взметая,  
На скаку теряя седоков.

Не нагрянут в гости верховые,  
В будущее светлое своё.  
Поистлели знаки верстовые,  
Надо всем качается быльё.

Вымело Иванов и Степанов  
Смутным вихрем с дедовских земель...  
Заглушило выгоны бурьяном,  
Отлетели ставенки с петель.

Оглянусь, в глаза мне свищет память,  
И глядит, прищурившись, лицо...  
Бьётся окровавленное знамя  
О моё забытое крыльцо.

\* \* \*

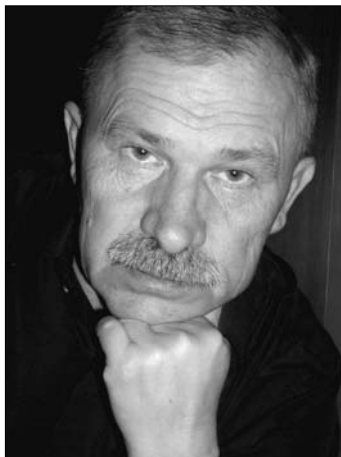
Торчат стволы, объединенные палом,  
Но путника не трогает печаль.  
На месте пепелища в блеске алом  
Цветёт, благоухает иван-чай.

И вновь стогами разродилось поле.  
И вновь зовёт дорожная верста.  
Диктует жизнь свои закон и волю.  
Я покидаю вас, мои места.

Пойду куда? За чем? И сам не знаю.  
Русь велика, не считано дорог.  
И всё же возвращенье загадаю, —  
Монетку закопаю под порог.

И где земля отыщется такая,  
Не страшно на которой умирать,  
И перед смертью, руки простирая,  
Захочешь вдруг её поцеловать...

НИКОЛАЙ ИВЕНШЕВ



## КОШКА ПИФАГОРА

РАССКАЗ

Андрей восклицал это охотничьим тоном, как, допустим, “На уток!” Или — “На зайца”:

— На капусту!

Это значит, что вечером надо прийти к нему домой. С женой или без. С бутылкой молдавской “Фетяски” или так. И первым блюдом на столе у Чесноковых будет квашеная капуста, изготовленная только им, главным инженером крохотной воинской части.

— Капуста, — неизменно сообщал майор Чесноков, — это пища римских патрициев и легионеров. Наверное, он причислял себя к обоим этим условиям. И действительно, Андрей обладал прямым и рельефно очерченным носом латинского вельможи и собачей поджаростью профессионального солдата. Он чётко воспроизводил на старинном немецком пианино небольшие классические эскизы.

Объяснял при том: “Руки сами музыку нащупают”. Случалось, за столом майор Чесноков пренебрегал вилкой, шутя по-воински неуклюже: “Рыбу, дичь и женщин надо брать голыми руками”.

Андрей Филиппович, как потомок легионера, и капусту отправлял в рот сильной своей щепотью.

А капуста и в самом деле была хороша. Она пахла свежими яблоками и той самой Италией с её апельсиновыми рощами.

Но на капусту ли я приходил? И что меня тянуло в дом Чесноковых? А тянуло меня не это по-своему экзотическое блюдо, не бетховенские экзер-

---

*ИВЕНШЕВ Николай Алексеевич родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский пединститут им. А. С. Серафимовича. Автор книг “За кудыкины горы”, “Портрет незнакомки”, “Казачий декамерон” и других. Член Союза писателей России. Живёт в ст. Полтавской Краснодарского края.*

сисы на пианино с клавишинным строем, не “Фетяска” в тонком хрустале, а его жена с экзотическим по тем временам именем Луиза.

Я не осмеливался даже в мыслях иметь связь с ней — ни физическую, ни платоническую. Я глядел на неё замороженно, как дикий человек на костёр.

Луиза, Лаура — все из одной обоймы. У неё было восточное цыганское, нет-нет, скорее, испанское лицо, чуток, в меру припухшие губки, как будто она только встала с постели. Руки её золотились, когда она колдовала за столом, ухаживая за всеми. Если бы подобное сравнение не было пошловатым, то я бы сказал, что руки её чем-то напоминали руки с картин Рембрандта. Как у Данаи. И, конечно, глаза. Да, опять — штамп. Да, господа хорошие. Глаза тёмные, как крупные и влажные оливки. Конечно, она стопроцентно подходила всей своей статью и патрицию, и легионеру.

Сейчас я рассуждаю достаточно холодно, ведь сколько времени ушло и прошло. А тогда?.. Тогда одним из номеров чесноковского капустника были танцы. И я, как какой-нибудь бедный вольнонаёмный кнехт терпеливо ждал, когда же всколыхнёт комнату с мягким ковровым покрытием пряный мотив “Льёт ли тёплый дождь, падает ли снег...” Я знал, что и мой голос сорвётся, лишь только протяну ладонь, чтобы пригласить Луизу.

Майор Чесноков был хронический ревнивец. И я никогда не осмеливался сократить джентльменское расстояние между моим онемевшим телом и волшебным станом Луизы. Но разве только стального цвета глаза Андрея Филипповича были тому виной? Сам я находился в это время в сладком полубреду. Не знаю, что я лепетал. Конечно, какие-нибудь глупости. Она же, как деликатная хозяйка, пыталась меня растормошить, бойко, с какой-то актёрской сноровкой рапортуя о достоинствах мужа. Я все эти достоинства знал назубок. Андрей был честен и прям. Он не выслуживался, не льстил. Он справедливо требовал с подчинённых то, чего требует устав и должностная инструкция.

— Но он никогда не выйдет в командиры! — итожила жена майора Чеснокова. И довольно улыбалась.

Я видел это, — улыбалась. Казалось, что она поощряла подобное несправедливое положение вещей.

— Потому что пришли такие времена, когда достойным людям дороги нет. Им достаётся одна обочина в репьях. — И словно спохватывалась: — Так что это мы всё обо мне и обо мне, а вы ничего не рассказываете?!

Мы всегда были на “вы”.

— Что обо мне рассказывать? Ну, живу... Гхм... Живу...

“Жду, что ты придёшь, а быть может нет”, — изнывал “восточный” певец.

Я тоже изнывал, вдыхая счастье.

— А имя моё мне не нравится, — поддерживала разговор партнёрша, — Луиза! Как луза в бильярде. Уж лучше бы Фёклой или Парашей заклеямили.

Мой голос совсем сел. Я мотал головой, не соглашаясь с женой майора Чеснокова.

Как же всё-таки везёт Андрею, Андрею Филипповичу! Всего-то у него в избытке. Честное продвижение по службе, красавица жена. И вальс Шопена вот звучит для полного счастья отчётливо, по-военному чётко.

Моя жена, моя любимая жена Нада дергала меня за локоть. Тоже, видно, нахваталась солдатского лексикона: “Ты что, очумел?”

Я мотнул головой.

Нет на белом свете женщины лучше и красивее моей жены. Точно знаю. И все же здесь, у Чесноковых, её красота меркнет. И я боюсь признаться в том даже самому себе. Я пугливо дёргаюсь от вопроса Нади и, как рыцарь с заржавленной шеей, отворачиваюсь от блестящих губ хозяйки. Не пойман ли я с поличным?

Капустники у Чесноковых пролетали мгновенно. И завершающим этапом вечера непременно было следующее. Из соседней, смежной комнаты являлся шестилетний сын Чесноковых Славик. Он усаживался рядом с матерью

и клал голову ей на колени. В одиннадцать часов, можно было сверять время, Славик мгновенно засыпал. Любопытно, что если мать была занята каким-нибудь делом, Славик не мешал, а точно в одиннадцать отключался рядом, брыкнувшись под обеденный стол. И если, кроме нас с Надей, были ещё гости, то суматоха начиналась тут же. И великая. Все панически вскакивали из-за стола, втыкали на книжные полки тучные фотоальбомы, хлопали балконной дверью, бычкуют недокуренные сигареты.

Мы же уходили чинно, как существа особого класса, приближенные к императору.

В узкой прихожей я уже становился самим собой. Гипноз покидал меня. Я жал протянутую сухую и сильную руку римского легионера и, осмелев, брал в свою ладонь её пальцы.

Мы жили неподалеку, в том же военном городке.

По дороге моя Надя, мне казалось, возбуждённо общалась со мной, явно не слыша моих “ну, да”.

— Неужели Андрей Филиппович воспитанник детского дома?

— Ну, да.

— Такой интеллигент, не скажешь, что беспризорник. Всё своим умом достиг. Вон вначале на аккордеоне выучился, теперь пианино осваивает, ишь, — Шошена.

— Ну, да. Брамса, — злился я. Мне уже начинало надоедать тотальное обожествление майора Чеснокова.

— Что у него за фамилия такая чудная, — не унималась жена.

— Никакая не чудная. Был такой художник или композитор. Не помню. Что-то духовное сочинял. Да, музыкант. Реквием “Таинство смерти”.

— Жуть. И жену милую себе подобрал, ну, скажи, милую ведь?

— Не в моём вкусе.

— Да она же красавица. Как из индийского фильма. — Терпеть не могу эти “абарая, бродяга я”. И совсем уже невпопад: — Знаешь, родной, я читала, что длинные пальцы пианисту только мешают. У него должны быть короткие пальцы. Вот растяжка, расстояние между большим пальцем и мизинцем должна быть большой. Андрей Филиппович, мне очень нравится. Я бы с ним в разведку пошла.

Жена меня злила. Но за что?

Я ведь тоже не лыком шит:

— Ну и дуй в разведку.

Дома мы миримся, молча пьём чай на кухне и со всей мочи, ничком бухаемся в супружескую кровать.

И не надо мне никаких Луиз. Никакой капусты с яблоками.

## 2

По вечерам мы с майором Чесноковым совершаем “облёт” военного городка. Почему “облёт”? Дело в том, что часть, в которой служит Андрей Филиппович, лётная. У офицеров и солдат голубые погоны, на эмблемах — пропеллеры с крылышками. Но на самом деле солдаты и офицеры этой части занимаются радиолокацией. Служат на РЛСке.

О своей работе Андрей говорит мало, да и что там говорить о транзисторах и резисторах. О сослуживцах же мой собеседник отзывается с кислой улыбкой, даже какой-то пренебрежительной миной.

И поделом. Я давно знаю, что офицерство наше целиком и полностью гнездится под железными каблуками своих жён. Парные лейтенанты под сурдинку внедряются в повальную пьянку, ждут повышения по службе, подличают, предавая друг друга, юлят перед командирами.

Обмыв в граненом стакане новые звездочки, бывшие парные уже начинают не только пьянствовать, но и скромно блудить. Как бы они ни маскировались рыбалкой или сверхсрочной внезапной работой, но частенько приходилось слышать даже из запахнутых окон традиционные звуки битой посуды и отборный мат, переплетающийся с истошным визгом.



Такова изнанка жизни. Блуда больше, чем звёзд на небе.

Что ж, жены офицеров тоже не ударяют в грязь лицом. Они поспешно, с большим мастерством начинают мстить своим главам семейств.

Это вам не золотой девятнадцатый век, пришли другие времена. Правильно или нет, но рогоносец муж не вызывает любовника своей жены на дуэль, а напротив: дружит, ездит с ним в Займище ловить сомов. И после хорошей стопки водки у костра, обнявшись, соперники играют дуэтом вольную песню “По Дону гуляет казак молодой”.

— Я за прежние времена, — резко отрубает майор Чесноков.

Его суровое лицо патриция и legionера густо краснеет.

— Конечно, вызову. Конечно, всажу ему пулю в сердце. Я не потерплю малейшей измены. Да как можно после всего этого жить?! Пить и есть из рук потаскухи. Да и ей достанется на орехи.

Чесноков вытягивал вперёд свою мускулистую, в тёмных венах руку. Он — солдат. А значит, и расправа предполагается физическая, серьёзная.

В это время я верил ему. Так и будет. Будет дуэль и расправа.

Верил — не верил. Такая идеальная пара никогда, ни под каким соусом не может распасться.

У них всё, как в часовом механизме. Шестерёнка к шестерёнке. Шайба к шайбе. Луиза его обожает. А он её боготворит. Остальное немислимо.

Сняв с повестки вечный вопрос, мы с Андреем Филипповичем обсуждаем роман Фёдора Абрамова “Братья и сёстры”. Андрею, воспитаннику Гулькевического детского дома, чрезвычайно нравится то, что русский народ крепится на родственных отношениях. На отцах-матерях, братьях и сёстрах. Андрей — твёрдый поборник домостроевских традиций.

Я супротив них протестую, скорее, из духа противоречия. Человек должен быть свободен, чтобы реализовать себя — в творчестве, в любви. Иначе он — червяк.

— Человек по сути своей скотина, — горячится майор, — его всегда тянет в грязи измазаться.

Мужчина, да и женщина добровольно должны заковать себя, знаешь... Сами себя в своеобразные забрала. В бронжилет. Как в средние века.

— Как у классиков материализма, — иронично шурюсь я.

— Да. Свобода — это осознанная необходимость. Надо воспитывать детей. Крепить семейные узы.

Я соглашаюсь с газетными словами Андрея Филипповича.

— После того, как мы поженились с Луизой, я ей никогда не изменял. — Он испытывающе взглянул на меня. Чего хотел? Ещё подтверждения?

— И правильно, — зачем-то соврал я. Но в мыслях поправился: “Я вроде бы порочен. И не хожу налево лишь потому, что ленив”.

Чесноков инструктировал:

— Ну, надо, само собой цветы ей дарить, жене-то своей. Ласковым быть. Использовать весь мужской боезапас, — он озорно улыбнулся. И подмигнул.

Ну, что ж, не совсем ведь схема майор Чесноков. Что-то есть от династии Чесноковых. Я читал, у этих самых опальных композиторов Павла и Алексея было ещё шестнадцать братьев и сестёр. Вот так пыл в золотом веке!

Чувствовалось, что-то задело Андрея Филипповича, и он разоткровенничался.

— А знаешь, Алёша, кем для меня ещё является жена моя Луиза?

Я обернулся к собеседнику и поднял брови.

— Она — кошка.

— Которая гуляет сама по себе? Редьярд Киплинг.

— Нет, нет. Кошка Пифагора. Ты знаешь, у него были ещё штаны.

Мы смеёмся.

— Которые на все стороны равны.

— Не только брюки. Но и кошка. И он с ней всегда держал совет. Когда Пифагору надо было принимать решение, он всегда искал совета у этого египетского божества. У кошки той пифагоровой были в запасе всего два слова: продолжительное “Мя-яу-у-у”. Это значит “да”. И отрицательное

“Мяу”. Нет... С такой-то кошкой греческий философ жил припеваючи. До нашей эры, а нате вам... Мудрецы. Безошибочно. Так вот и Луиза моя такая. Она безукоризненная советчица. Я по пустякам её советов не спрашиваю. Но вот если серьёзно, кардинально... не ошибалась. Луиза всегда просекала ситуэйшн. Интуиция, что ли, короче говоря, каким-то чудесным свойством обладает.

В это я поверил сразу. Его жена — явление исключительное.

— Да, — смудрил я, — для каждого человека всегда уготованы две вещи в наследство. Это — мельница и кошка. Мне вот мельница попалась. Целый день жернова. — Я нарочито вздохнул — *тяжела шапка Мономаха*.

— Ничего, попадётся и кошка, — успокоил меня военный инженер. — С хорошей кошкой можно и сад посадить, и колодец вырыть, и троих сыновей вырастить.

Надо сказать, что это умозаключение меня изумило. Не ожидал я от праведника Андрея Филипповича такой практичности.

— Слушай, — сказал я тогда майору Чеснокову, — твоя фамилия произошла скорее всего не от “чеснока”, а от слова “честность”.

— Нет, я — врун, — честно ответил майор. — Мне хочется быть правдивым. Не всегда получается.

— И про кошку Пифагора ты соврал.

— Это — миф. Но миф бывает точнее правды.

### 3

Сколько воды вытекло с тех пор из моего крана?.. Я варил на этой воде вначале чай, суп, самогон, кофе, а потом — целебные травы. Сколько воды утекло у недалёких соседей Чесноковых? Со страниц газет, с экранов телевизоров? Вода, вода, кругом вода... И двугорбый верблюд захлебнётся.

Захлебнулась, сошла на “нет” и наша дружба с Чесноковыми.

Кошка Пифагора — бесценный дар. Правильный выбор. Пифагоровы штаны всегда на все стороны равны. И это — развилка. По какому катету ты покатишься. А кошка Пифагора проничательнее дельфийских пифий.

Ведь времена-то меняются. И порой парадоксально. Парадоксально, но заметили честную и принципиальную натуру майора Чеснокова и предложили ему классное место преподавателя электронных методик в лётном училище. А уроки он давал иностранным студентам. Андрею Филипповичу вскоре и очередное воинское звание присвоили. Стал он подполковником. Что-что, а счастье и несчастье привязчивы, верны, как Луиза Чеснокова своему выдающемуся супругу.

У нас на Кубани всё кулигами. Если дожди припущат, то они будут и день, и два лить, пока не затопят, пока не прорвёт плотину, пока не наступит очередной Крымск. А уж если солнце начало жарить, то будь спокоен, спалит не только огурцовую грядку, а всё на свете — кожу, карьеру и даже невызревшую любовь.

Андрей Филиппович приезжал на побывку лишь на выходные, вечером в субботу. Побыв ночь дома, вечером в воскресенье, он опять возвращался в общежитие лётного училища.

Жена же его Луиза, естественно, оставалась здесь — подходящей работы в большом городе как-то не находилось. А здесь она трудилась экономистом в каком то загадочном ПУПе. Она называла своё предприятие “пупком”. И теперь... Теперь Луиза как-то поскучнела. Лицом, правда, была она такой же ослепительной, но грустной. По всей видимости, Луиза так крепко любила своего Андрея, что страдала в отдалении. Я это понимал. И не лез, не набивался в гости к Чесноковым.

Всё же подполковник Чесноков сам меня выловил. И мы опять кружили, выписывали “восьмёрки” меж клумб. “Облёты” возобновились.

Странно, что перевод в город Андрей воспринял оптимистично. И не было на лице его той грусти, которую я зрил на прекрасном смуглом лице Моны Луизы. Теперь, когда мы совершали променады по своей трассе, Андрей Филиппович хватал меня за локоть и с жаром толковал о своих наивных

студентах из какой-нибудь Боливии или Китая. Ему не хватало слов. Подполковник живо обегал меня сзади или спереди, цеплял за другую руку.

Я спросил его о Луизе, деликатно намекнув, что она, мол, здесь скучает, в тоске.

Но редкий мавр Андрей Филиппович отмахнулся. Неужели остыл?

— Она по-прежнему “кошка Пифагора”? — в лоб бухнул я.

— Конечно-конечно, — заторопился Чесноков, — всегда с ней советуясь. И всегда всё выходит хок-кей.

— А ты знаешь, Андрей Филиппович, — иногда я звал его на “ты”, — вы ведь могли ещё большую деньгу зарабатывать.

— Как это? — не понял мой собеседник.

— А так. В азартные игры играть. В карты. В рулетку. Золото рекой бы потекло.

— Советником Президента стать. Или в ООН экспертом.

Он туманно улыбнулся. Кто знает, может, он до конца и не верил в самим собой сочинённый миф.

— Я не люблю карты. Это порок. Ох, Алексей, какую замечательную мне китайский летун ручку подарил с золотым пером.

Андрей Филиппович явно захотел перевести разговор на другую тему.

— Когда у тебя день рождения? Впрочем, зачем ждать?

Он потрепал куртку и выщипнул из внутреннего кармана жёлтый цилиндрик.

— Вот ручка. Золото — на острие.

Я не отказался от подарка. Слишком уж он был красив.

— А насчёт Луизы, я вот тебе что скажу, — теперь говорил прежний Андрей, честный и откровенный. Голос гулкий, с хрипотцой. — У нас по-прежнему всё, как в первые дни. Мы так любим друг друга, что не в сказке сказать. Но я боюсь её брать с собой в большой город. Там столько соблазнов. Знаешь, я не ревнив. Хотя... Хотя... — Он сделал паузу. — Никуда не денешься. Вот обещают квартиру выделить, ну, тогда уж, что делать. Да и Славика надо пристраивать. Школу закончит...

Правильно он всё говорил, мой друг Андрей Филиппович.

Луизу нельзя пускать в город без бронжилета на чреслах.

Икона — телевизионный экран источал сладкую водичку с названием “Наслаждение”. Там ежеминутно облизывали губы, брили ноги, в специальных салфетках катались по перилам. И хотя порой прорывались в студию патлатые и бородатые батюшки, читали нарочито скучными голосами проповеди, всё же они были бесполезны. Как Сизифы. И лица у батюшек были такие, как у деревенского мужика, случайно ворвавшегося в женскую раздевалку, перепуганные.

Нет, Луизе город, как говаривала моя тётка Марья, не личил. Ей по душе и по сердцу было станичное приволье. Относительная тишина. Земляника — в мае, арбузы — в июле. А, может, и мой обожающий взгляд.

Расфантазировался.

Никакого обожающего моего взгляда она не ощущала. Ей, влюблённой в собственного мужа, остальные люди казались просто говорящими вещами, роботами. Кто я для неё?!

И всё же перемещение Луизы Чесноковой в город, к мужу, произошло. Загадка ли это? Мы все живём в загадочнике. Луиза тоже стала ездить в город рейсовым автобусом. Устроилась работать.

И повеселела. Изредка я видел в военгородке её гибкий стан. Два или три раза. В третий раз “чудного виденья” я поймал себя на мысли, что она больше похожа на пантеру, нежели на кошку. Но это только добавляло прелести её роковой фигуре.

Когда Чесноковы уехали вовсе, я затосковал.

— Ты зачем это напился? — посмеялась надо мной жена. — Прямо — зюзя.

К счастью, к спиртному я органически равнодушен. И “Фетяску” у Чесноковых я прихлёбывал для проформы, чтобы сидеть за столом, чтобы любоваться её лакированными волосами, чтобы джентельменски перекачиваться

с ней в танце, чтобы внезапно счастливо остолбенеть при случайном виде её влажного, розового кончика языка.

Но надрался я тогда не вина, а водки.

“Прям — зюзя”, — ласково ворконула жена.

И я провалился в тартарары.

Да, я заболел. Оказывается, абстиненция бывает разной.

Я приехал в этот суетный, сшитый из разных лоскутов город. И нашел Дом быта. И в толпе шагнул на серые, стекловидные ступеньки. И увидел Луизу. Она спускалась по ковровой дорожке. По широкой винтовой лестнице. Я видел это. Кто-то с неба, наверное, специально её продемонстрировал. И одним прыжком я выскочил на улицу.

Шок и темнота в глазах, как после вспышки. Шок был похожим на давнее моё помутнение. Давнее-давнее. Ещё в военгородке.

Тогда я впервые весело шёл на квартиру майора Чеснокова. Один, без жены. Задорно постучал пальцем по кнопке звонка. Открылась дверь. В проёме, в узком полумраке прихожей золотилось лицо и голые плечи, руки... Она нежно улыбалась, как улыбаются доброму знакомому. Луиза приглашала меня, полупририв в ироническом реверансе: “Извольте войти, сударь!”

И я ослеп. Оглух. Окаменел.

Выпрыгнув на крыльцо Дома быта, я сжал глаза. У меня тоже имелось редкое свойство. Сжав веки, я ярко увидел как будто рекламную картину. Луиза — по ковру. Та самая. Глаза успели сфотографировать. Та самая. Никак не изменилась.

Говорят, время лечит. А я бы сказал — оно отупляет память.

Конечно, не то, и всё же я чувствовал живущую в лоскутном городе Луизу. Я ведь всегда мог взять билет на автобус и махануть туда.

Так в театральном городе, в Москве, в Питере, живут интеллигенты, а на спектакли не ходят, бродят по каким-то липким толкучкам. Но эти интеллигенты объясняют: всегда можно купить билет в театр. В черноморской Анапе аборигены не загорают и почти не купаются в море. Зачем? Море под боком.

Как-то я проснулся от дикой мысли, как будто кто-то меня под бок толкнул. “А что, если взять и написать ей письмо. И признаться”. Но холодный голос рассудка остановил меня: “Заткнись, дурак! Кто ты ей есть? Потеха. Не смей честной люд”.

Холодный голос рассудка, где-то вычитанная чушь. Но он всё-таки существует.

Честной же люд тоже не забывал семью Чесноковых. Он, со свойственной ему порочностью, стал мазать чертёжной тушью. И в раже дошёл до такого глупозаключения: “Это она, Луиза, устроила своему Андрею Филипповичу блестящую карьеру. Скоро так Андрей Филиппович и начальником летного училища станет... Как-как устроила?.. Известным образом, как могут устраивать. Красивая, свободная”.

Злые сплетни. Я не верил им не на йоту. Ну и что, что фильм “Анкор, ещё Анкор”. Этот фильм что, Библия? Все так поступают?.. Поступают, да. Но не такие святые женщины, как Луиза, и не такие образцовые мужчины, как Андрей Филиппович. У них другие устои, и они любят друг друга. Парадоксально, что мне, человеку, прямо скажем, платонически влюблённому в жену подполковника Чеснокова, такое было слышать глубоко обидно. И я всегда убегал от пошлых, пустых, злобных разговоров.

#### 4

Но теперь, когда я слышу “Льёт ли тёплый дождь”, то выключаю радио и протестую: “Льёт, ну, и что?”

Однажды, лет этак через пять, мне пришла почтовая открытка от Андрея Филипповича. Аккуратным мелким почерком он сообщал, что живёт хорошо, что получил квартиру на улице Строительной, обустроился. Спрашивал, пишу ли я его презентом. И приглашал “заглядывать” в гости.

Китайской ручкой я не писал. Золотом нельзя это делать. Золото лживо.

Заглянуть в гости на его “Строительную” как-то не получалось. У нас ведь всегда дела: то зонтик отремонтировать, то уколоть этим зонтиком кого-нибудь.

И вот довелось. Мне надо было попасть на двухдневное совещание. Интересно, что никакой гостиницы мои работодатели не давали. Ночуй где хочешь, хоть под забором. И вот тут-то я отыскал жёлтенькую открытку Андрея Филипповича. Обрадовался, естественно. Приглашать-то он приглашал. И я просто жаждал увидеть хоть одним глазом Лауру-Луизу. Но я и боялся уже этого.

Да ещё и ехать просто так, без причины, было как-то неловко.

А тут — везенье само в руку. Есть уважительная причина: переночевать негде.

Нет у меня кошки Пифагора, собаки Архимеда, Буриданова осла. Прежде чем сесть в трамвай и покатиться на улицу Строительную, я почему-то захотел опять взглянуть на тот Дом быта с широкой ковровой лестницей и лакированными ступеньками. Просто взглянуть, невзначай. Наваждение, одним словом.

На маршрутке № 28 я быстро подскочил к желанному месту и осторожно поднялся к стеклянной двери. В вестибюле пустынно. С одной стороны — будка часовщика. С другой — фотографа. Фотограф — армянин с выпуклыми скулами и таким же выпирающим во все стороны торсом. Фотографы и должны быть такими, неординарными. А вот часовщиком оказался плюгавый мужичонка с заискивающе-угоднической улыбкой. И тараканьими усами.

Таракан сам, не дожидаясь, спросил, не поломались ли мои часы. Я постучал по циферблату своего “Ориента” ногтем: “Ходят точно, как у президента”.

И тут же скатился по мрамору вниз. Что-то мне подсказало, что второго явления Луизы не будет. Дома она, небось.

И лишь качаясь в трамвае, я объяснил сам себе этот странный заскок в Дом быта. Скорее всего, я, Буриданов осёл, рехнулся. И развёрнутое моё сознание приказывало объясниться-таки. Пусть всё пойдёт прахом, но зато я окончательно освобожусь от этой, чего там греха таить, странной зависимости.

Купив тяжёлый, выскальзывающийся из рук торт и ещё такой же внушительный букет, мне показалось, китайских цветов, я был уже занят другим делом. Я боялся всё это уронить.

И опасался ещё чего-то другого, неопределённого. Это “то другое” затмило рассудок. Очнулся я лишь на широком диване Чесноковых.

Я стал изучать окружающий мир. Мир — что? Я косился на Луизу. Она не изменилась. И была бесшумна, мила, обходительна, шутлива:

— Что? Опять будем танцевать?

В углу — буроватый клавесин с золотой готической надписью над пиюпитром.

— Увы, — вздохнул Андрей Филиппович, — сохло фоно. Окочурилось. Кастрюля, а не инструмент.

— Шопена-то доучил?

— До середины.

К другому углу просторного зала был приткнут короткий диван, вроде оттоманки. И на нём дышало внушительное косматое, с блеском в шерсти, существо. Хвост величиной с руку свисал до пола. Иногда волосатая гирлянда вздрагивала. Это был, была. Был...

— Кот Пифагора! — Перехватил мой взгляд Андрей Филиппович Чесноков.

А Луиза добавила, изменив кличку:

— Кот Пофигора. Ему всё пофигу... Мужик...

Дальше пошла обыкновенная чехарда с расспросами и ответами. Как я? По какому поводу в городе? Как Надя?

Я отвечал и задавал вопросы на автопилоте. Умело лавировал. Рассудком и сутью своей понимал: “Вот она, и никуда не отвяжешься. Она любит своего мужа. Какая, чёрт возьми, болезненная верность! Прямо Пётр и Хе-

вронья в современном гламуре. Да и Андрей Филиппович так же, как и восемь лет назад, отчаянно ревнив. Я зачем-то вспомнил, как в студенческие времена ездил в Камышин к своему другу Ване Литвину. А у Вани — молодая жена. Так Ваня тот, закадычный дружок, через два дня попросил меня обратиться, а то, мол, смотрят. Жена молодая, а к ним любовник жены явился. Бред, короче. Я успокоил Ваню Литвина, а утром отправился восвояси.

Но тут другое. Тут никогда не попросят, хоть сто лет живи. Тут ревность иная, глубинная.

После двух ледяных рюмок навалились воспоминания. Как красив был военный городок. В розах, в петуньях. И, надо же, какие там замечательные люди живут и служат. Сомы в речке. Брёвна, а не сомы. Станичный пляж с двумя покосившимися грибами, и это — мило. А как там Пискунов? Вот пройдоха и жулик. Молодчина! А Ленка Трофимова, она блондинка или как?.. Всё время ржёт? Ржёт, а?.. Хочется опять туда, в часть. А как полковник Лукошко? Спортзал не достроил? Достроил?.. Что ты говоришь!..

— Я уже там не живу, — сообщаю я, — квартиру дали. Сорок пять метров общей площади.

— Дали? — Андрей переспрашивает с сожалением, словно меня в тюрьму бухнули.

Чесноковы подкладывали друг другу в тарелки всякие салаты. Угощения теснились, как шведы на Ладожском льду. Хозяйева готовились к моему приезду. Икра, правские грузди, редкие для Кубани, сыр с зелёными жилами, таящая во рту чёрная колбаса махан. Салаты. Боржом. Водка. Почему-то “Чайковский”. Бутылка в форме лиры. Жаль, среди разносолов фирменной капусты с яблоками не оказалось.

— Чанахи попробуй, прямо из горшочка, — хлебосольничал хозяин.

То, что надо. Пицца духовная, пицца из духовки. Гармония. Андрей и Луиза заглядывали друг другу в глаза, как делают это напрочь влюблённые люди.

В квартире Чесноковых — тепло, уютно. И мне никуда не хотелось идти. Лишь бы вот так сидеть и поглядывать на хозяйку да на Андрея. Я их обоих любил.

Но Андрей вдруг кликнул меня на лоджию, проветриться.

Он раздвинул стекло. Как в автобусе.

На лоджии тоже уют. Плетёные из ивы качалки. Шахматный стол. Прибамбасы на стене — парус, облака, голубой простор. Майолика.

— Ты, знаешь, Алексей Васильевич, я ведь уже не служу. Вышел по выслуге. А устроился я, — он сделал длинную паузу, так же долго глядя в моё лицо, — устроился я... кхम्म... массажистом.

— Как так? — Я опешил. — Что за чёрт! Массажистом?.. Не может такого...

— Не усмехайся. И не жалей... Знаешь, сколько я сейчас имею? В два раза больше, чем заработок полкана нашего. Из училища. Я в таком салоне крутые бабки зашибаю! И не клят, не мят... Никаких тебе чернорожих рядом. Голова свободна, а руки у меня — сам знаешь. Ну, кто-кто? Глупый вопрос. Опять же кошка Пифагора надоумила. Теперь уже две кошки. Натуральный кот. Ты видел, на диванчике. И Луиза. Так они подсказывают, будь здоров! Всегда — в яблочко. Постой-ка, ты не куришь? Я за сигаретами нырну. Иногда балуюсь.

Андрей Филиппович “нырнул” и явил на подносе не только сигареты, но и оставшуюся водку и блюдо с оливками.

Мы хлебнули ещё по малехонькой.

Я тоже задымил его “Кэмэлом”.

Помолчали.

— А, — махнул рукой бывший подполковник, — расскажу. Тебе можно... — Лицо у Андрея почему-то запрыгало, как при езде по кочкам. — Как ты относишься к моей жене?

Что это он? Пронохал, что ли?

— Гхм... Хорошо... Отлично...

— И я хорошо, отлично. Теперь мы равны.

— Не понима...

Он приложил палец ко лбу:

— В процессе эволюции моя фамилия потеряла букву “т”. “Т” стало рудиментом. А ведь были мы “ЧесТноковы”...

Понятно. Все мы не лошади немножко, а немножко сумасшедшие. Кошка Пифагора из той же оперы. Теперь вот “т” потерялось.

Я только вздёрнул бровь.

— Мы развелись.

Если бы рядом вон в ту пустую песочницу свалился Тунгусский метеорит или неожиданно по центральному телевидению объявили о снижении цен на коммунальные услуги, то и тогда я не был бы так ошарашен. Ошарашен? Не то слово. Язык мой онемел. А гостевые комнатные тапочки прилипли к линолеуму лоджии.

Впрочем, и сам римский патриций видоизменился. Видимо, пожалел о сказанном. Но слово — не воробей...

Массажист и экс-подполковник стал сбивчиво рассказывать:

— Я не знаю, что случилось. Когда это произошло? Кто виноват и что делать?.. Гхм... Вечные вопросы. Она мне изменила... — Он проглотил слюну, потер ладонями седеющие виски. — Изменяла... Стала изменять с часовщиком. У них на работе. Он в вестибюле торчит, как заходишь.

Я сжал веки: “Таракан! Тот таракан... Угодливый часовщик, залезавшие на косою пробор волосы. Окуляр на узкой, аптечной резинке. Мелкий таракан, пустой...”

— Неужели? — Спросил я сам себя.

— Именно! — подтвердил Андрей Филиппович. — Скорее всего, я дурака сваял. Сразу подал заявление и оформил развод. Свобода? Кандаль! То ли ей, то ли себе объяснял, не веря ни ей, ни себе: не могу жить с запятой себя... меня... суп...ругой... Не могу ступить в эту навозную моральную жижу. Честь, честь. Лямку тяну, а уйти не могу. Куда в городе пойдёшь? Угол снимать?.. Может, вот накоплю с прибылей. А вообще-то и квартиру мне дали. От училища.

Андрей вскинул глаза. В них — лихорадочный блеск:

— А мы что, ангелы? Мы что? Ни пылинки, ни соринки на нас? Лжецы и самураи. И она оправдывалась — да, да! — но зачем?.. Оправдывалась истерично. Кругом молнии сыпятся. По столу кулачком стучит, как гвозди колотит... Что я перестал ей дарить цветы и ласковые слова. Они нужны, как воздух... Забыл. Забы-ыл! — Чесноков куснул верхнюю губу: — Что ей — как воздух!.. Без этого — гибель. Часовщик лучше? Лучше... Гораздо... Мразь! Она сказала тогда, что я и ревновать перестал. Было время, было и такое... — Он поднялся со своей качалки и упёрся лбом в стену из голубой майолики. — Я карябал заявление на развод одной рукой, другой держал за потный лоб. Мне никак нельзя было пускать слезу...

Андрей Филиппович остановился. Он остановился. А меня осенило. Я даже очухался:

— А как же кошка Пифагора?

Я-таки сморозил неудачную шутку.

— Одна из них посоветовала мне разойтись. Другая? Другой? Другая посоветовала — не расходиться.

— Какая что?..

— Не помню, Луиза или натуральный кот?

Наверное, на этот раз Андрей лгал. Редко, но и с праведниками такое случается.

Механически мы выпили ещё.

— Так и живёте на одной площади. Год или сколько?

— Больше года. Иногда случаются счастливые мгновения, — легионер жалко улыбнулся, — иногда. — Он сжал костлявый солдатский кулак. — А порой ночью пронсунь и хочется её задушить. Взять и притиснуть. Однако знаю: этого никогда не сделаю... Потому что, потому что... Я понял, что в этом самое главное. Не секс. Его-то найти можно. Я массирую таких красоток, аж озноб берёт. Главное — нахлынувшее одиночество. Какой-то

поэт сказал: “Одиночество — один ночью, одиночество — двое днём”. Может, Светлов, а скорее — Смеляков. — Андрей поёжился: — Всё же айда в хату, ещё треснем по цванциг грамм. Только ты... это... Вида не подавай.

Треснули. Вида я не подал. Мне церемонно постелили на том же диване. Кота Пифагора или Пофигора выгнали в другую комнату, чтобы не мешал. Я долго не мог уснуть. Почему-то тут окончательно убедился, что избавиться от наваждения невозможно. Но я больше сюда ни ногой. Какая бы она, эта Луиза ни была, от этого нет средств. И кому в этой ситуации легче? Мне? Андрею? Луизе?..

Моё ложе было недалеко от кухни. Дверь там была приоткрыта. Из щели сочился тёплый жёлтый свет. Пахло печёным тестом. Пекли пирог на утро, чтобы угостить. А из самой кухни изредка доносился рокочущий баритон Андрея Филипповича. Он посмеивался. Точно — посмеивался. Без бэ. И вторила ему Луиза. Луиза смеялась с редкой естественностью, отчего в животе у меня шевелилось что-то чужое, холодное, вроде медицинского шпателя.



КОНСТАНТИН СКВОРЦОВ



Я НАД СТРАНОЙ ПАРИЛ...

\* \* \*

Я думал, Русь, что ты моя броня,  
Но над полями выжженного хлеба  
Ослепли, нас от недругов храня,  
Твои глаза, взирающие с неба!

Жара, жара. На маревых горах  
Мох поседел и высохли истоки,  
А по степям средь обнищавших трав  
Мышкуют лисы, серые, как волки.

Грачи атаковали сокари,  
Вьют нагло гнёзда в соловьиной роще.  
Доколе это? Матушка, прозри!  
И воскреси оплётанные мощи!

Я понимаю, что мой голос слаб,  
Что лёгкий ветер листьев не колышет.  
Но, Господи, я твой смиренный раб,  
Так почему никто меня не слышит?

---

*СКВОРЦОВ Константин Васильевич родился в 1939 году в Туле. Отрочество и молодость поэта прошли на Урале. Первые книги стихотворений “На четырёх ветрах” (1966 г.), “Стихи. Поэмы” (1970 г.), “Ущелье крылатых коней” (1975 г.) вышли в Челябинске. В разные годы на сценах театров России были поставлены 20 его стихотворных пьес. Живёт в Москве.*

\* \* \*

Зелёная трава. Костёр в тумане млечном...  
Завидев в небесах багряных журавлей,  
Я о любви шептал, и мне казался вечным  
Их благодатный клик, летящий среди полей.

Их поднебесный путь казался бесконечным.  
Под ними полземли!.. Да что там журавли —  
Я над страной парил — от Юрмалы до Керчи,  
И сердце каждый раз взрывалось от любви!

Я радостью своей делился с каждым встречным,  
Восторга не стыдясь, не ведая суда.  
О, почему тогда я был таким беспечным  
И не сберёг страны, мне данной навсегда?!

\* \* \*

Пронеслись мои годы —  
Столбы верстовые.  
Забубённая молодость,  
Ты не права.  
Мы торопимся жить,  
Забывая простые,  
Голубые, как лён,  
Белоснежные наши слова.

Словно память о детстве,  
Висит моя зыбка,  
Как пустое гнездо,  
Где не стало птенца...  
Не взойдёт надо мной  
Моей мамы улыбка,  
Не блеснёт, как росинка,  
Хмельная слеза у отца.

Не вернуть ничего...  
Словно нищий у храма,  
Я, прощенья моля,  
Со слезами шепчу:  
— Не успел я сказать  
Главных слов тебе, мама,  
И во здравье твоё  
Не успел я поставить свечу.  
На холодной земле  
Мы тобою согреты.  
Я кричу  
Через эти шальные года:  
— Золотая моя  
И любимая, где ты?  
...Только ты этих слов  
Не услышишь уже никогда.

Говорите слова!  
Мы беду переселим.  
Пусть ложатся они,  
Как на стол кружева...  
Говорите слова,

Говорите России.  
Говорите России:  
— Да будет Россия жива!..

### ЧИБИС

Над уснувшим заливом,  
над чистой водою Нугу́ша.  
Разрезая беззвучно  
высоких небес синеву,  
Родового закона  
жестоких отцов не нарушив,  
Чёрный ястреб снарядом  
в зелёную падал траву.

На песчаной косе  
слюдяные рассыпались рыбы.  
И, спасаясь от острых когтей,  
у меня на виду  
Из росистой травы  
робко вынырнул раненый чибис  
И у ног моих замер,  
смертельную чуя беду.

Успокойся, мой милый,  
и сбрось с себя мокрую тину.  
С этой смертью крылатой  
ты встретишься в жизни не раз.  
И в ответ мне так нежно  
и так маслянисто светились  
Под весёлыми рожками  
чёрные бусинки глаз.

Сколько было любви  
в хрупком тельце его невеликом...  
По холодным утрам,  
лишь займётся рассвет над рекой,  
Он будил меня резким,  
тревожным, пронзительным криком,  
И душа наливалась  
вдруг болью,  
дарящей покой.

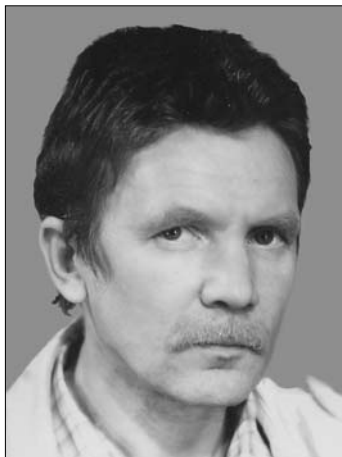
Он спешил мне навстречу,  
хромая по мокрой поляне...  
Но в последнем из дней,  
в настороженном утреннем сне,  
У палатки моей,  
утопающей в белом тумане,  
Я его не услышал...  
И умерло что-то во мне.

Боже! Как же случилось,  
что в мире, где кровь и разбой,  
Где заря увядает,  
ещё не успев расцвести,  
Не хватает не радости нам,  
а пронзительной боли,

Чтобы слиться с природой  
и краткий покой обрести.

И когда я уеду,  
покинув лесное раздолье,  
И последние искры  
погаснут в остывшей золе,  
Прокричи мне, мой чибис,  
пусть сердце сожмётся от боли.  
И я снова поверю,  
что я ещё здесь, на земле.

ВЛАДИМИР УРУСОВ



## “ДЕТСКИЙ ДОМ”

РАССКАЗ

В шестом часу вечернего затишья над Криворожскими прудами распалется янтарное солнце, и катится этот баскетбольный шар заоконный неведомо куда, путается в зарослях крещенского инея на откинутых фрамугах, и в зеленоватых дебрях теней по стенам исползающих из кадок пальм, фикусов и рододендронов, валит тумбы и столбы с роящейся бесшумной пылью на пол, на тусклый восковой паркет. И где-то на Варшавке глухо бренчит деревянными рёбрами блуждающий по шестому древнему маршруту трамвай. Кто его слышит? Рухнув лбами на учебники, класс дремлет, и никому не мнится, будто через четверть века сюда дороеется метро. Нет, нам мерещится только ужин. Прозорливец здесь Мэйсон лишь, воспитатель Моисей наш Иваныч. Он сидит в углу с открытыми глазами и минут через десять должен проснуться и воскликнуть:

— Готовы ли уроки, неучи? Моя аэрокобра просит дозаправки, это всем понятно?

У него семирядная орденская адская планка, чуть приоткрытая лацканом пиджака, точно над сердцем, где догорает целая эскадрилья сбитых некогда бомбовозов, мерцает и почти дымится в розовато-неоновых сумерках, в лианах с тиграми Таможенника Руссо.

— Так точно, господин преподаватель боевой и политической самоподготовки! — должны мы ответить разбойным хором. — Разрешите удалиться. Можно пораньше?

---

*УРУСОВ Владимир Глебович родился в 1947 году в Калининградской области. Окончил Московский горный институт, работал геофизиком на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале. Автор пяти сборников стихотворений, в том числе “Три любви — три степени свободы”, “Всплеск живой воды”, “Медленный ветер”. Член Союза писателей. Живет в Москве.*

— Кто же вас держит? — фосфоресцирует бобровая проседь его кубической головы. — И не опаздывать к столам, даже если наврут куранты! Задание понято, или что, поварам котлеты снова греть?

### Наука поневоле

Кто мы, какие зефира дуновения занесли нас сюда, в Криворожский проезд с детдомовскими корпусами в яблоневом запущенном саду? Мы офицерские недоросли, и отправили нас из Венгрии, Польши и Германии в прошлом году, за чужие грехи: кто-то после выпускного бала в Потсдаме растащил самодельный реквизит солдатского клуба и с примкнутыми штывками, маскарадной колонной промаршировал по террасам Сан-Суси... потревожил дух Барбароссы. Ну, и решили ещё более высокие сферы оставить в гарнизонах одни восьмилетки, успокоить непобедимый дух.

— Полегчало Восточной Европе! — сразу определился Мэйсон, обходя наше выстроенное во дворе каре. — Поздравляю с началом праведной жизни, господа офицеры. Будем из хулиганов людей делать — ангелы получатся...

— Моисей Иванович упрощает проблему, — возразила директриса, дама в плотном, несмотря на сентябрьский зной, жёстком плаще. — Вы пришли сюда из интеллигентной среды, а уйдёте, я надеюсь, операторами по обслуживанию ЭВМ, такова наша специфика, — и, отшатнувшись от микрофона, не глядя, ткнула, отмахнулась журналом переключки от висящей у входа багровой вывески с серебряным тиснением: “Интернат № 72, экспериментально-педагогическое объединение”.

— Вот такой вот на нашу долю выпал недетский дом, — ласково вздохнула в другой шепелявый микрофон завуч Сабрина Борисовна, красotka в фиолетовых чулках и в гладкой юбке с чётким рельефом заблудившихся трусов. Внешность лгала. Через неделю ей присвоили новое звание — Собака Баскервилей.

На всём готовом приживается легко. Уж в спальнях скарб раскидан по этажеркам и шкафам, к обеду форма получена, мохнатые тёмно-стальные балахоны, гимнастёрки с горловыми удавками, но распахнутые широко на груди. И распоясанные отцовскими ремнями, в джинсах и одинаковых китайских кедах, мы почти неотличимы, если взглянуть издалека. Иное дело наши девчонки в своих стандартных чёрно-коричневых кринолинах с бантами, до скромного беспредела укороченных и наспех проглаженных. Откуда утюги, когда успели, какие они, оказывается, разные на первых, ослепляющих коленками порах! И старушка надзирательница — Парка — прядёт бесконечную нить собачьего носка у врат спального корпуса женского № 2... И никто пока не знает, что через чердак по балкам есть пути к нам, в мрак строения № 1, и без стражей... Загадочна наука поневоле.

### Наш спорт

По утрам нас будит бой весёлого бубна.

— Мэйсон, конь парнокопытный! — гудит из кокона яловых одеял Дубровин, — никакого почтения к физической культуре. Что ему баскетбол?

— Брось, Дуб, — говорит Черноусов, — брось-ка лучше ты мне гирию свою, на подушку положу. Скажете — с девушкой он, компоту горячего вечером хлебнул лишку, да и простыл, не дышит...

Но двухметровый Дуб сложился, опять вытянулся, и словно как-то приседая и шаря по стене ладонями, метнул штрафную гирию в далёкое кольцо. Сладок сон на рассвете. Кто бы поверил? Года через полтора он будет играть за сборную МИФИ.

— А мне опять снились верблюды, — загадывает загадку Сергачёв, — к чему бы?

И косящие зелёные глаза Серого вспыхнули, когда он обернулся и открыл нам лисью свою личину с крапинами веснушек. Небо в зашторенном закулисье будто померкло.

— Ну и как, вляпались в источник? — задирается, смеётся Черноусов — Будда в тельнике, с бурятским плосконосым профилем, и шут с вечно подтянутым на перевязи, якобы вывихнутым предплечьем.

Но юмор — скорость перебора вариантов, и тут за Серым не угонится никакая ЭВМ, хотя и видно, что блистать ему сегодня и всегда просто лень, лень:

*Откуда я взялся, откуда  
в той жёлтой пустыне, куда  
коричневого верблюда  
вела золотая звезда...*

Увы, Будда только шурится — ослепить его невозможно, поздно, если коридорный гвалт сменяется задверным перезоном бубенцов:

— Эй, офицерё! Запертое, на свободу выле-зай! Разнесу опочивальню!

В нашей комнате подобралась сплошь баскетболисты, маята на улице ужасна без мяча — и пауза опасно затягивается...

— А у нас больной, зараза прицепилась! — стонет Дуб. — И где мои штаны?

Через тридцать секунд мы уже на плацу, машем рукавами перед парадным подъездом, зеваем и скрипим хребтами в ритме маршей из кабинета Собаки Баскервилей. Садистка торжествует:

— Три-четыре, три-четыре, шаг на месте, раз-два! Теперь наклоны с подскоками. Догоняем музыку, обгоняем!

Лечь бы набок да и заснуть тут под чугунной скамейкой, или влезть на пожарную лестницу и свеситься боксёрской грушей над гривой гипсового Сфинкса... О, как хотелось бы там сейчас очнуться!.. И пусть нас заклюют взбесившиеся соловьи...

— А Черноусов почему в тельняшке?! — блистая круглыми очками, рычит динамик. Где форма № 3 или хотя бы № 2, спортивный костюм или халат с кроссовками... Босиком нельзя!

Будда падает на колени и оглядывается на бурые пятки:

— В толк не возьму! — кричит он, воздев руки. — Меня обули ещё в среду, а сегодня вторник. Что делать?

— Ну ладно, ладно, — измазанным в патоке и киселе голосом возбуждает нас итальянский балкон. — Иди в медпункт, смени бинты, надень брюки и... до пятницы от художественной гимнастики мы тебя асс-вабаждаем!

— Мы? — приветает задремавший верхом на Сфинксе Мэйсон. — До какой пятницы! Завтра все голые сюда заявятся. Девушки могут обидеться...

— Это мне с медсестрой дело решать, пятниц на неделе много, — удаляясь, через поражённое плечо цедит Будда, — не сбивайте народ с ритма. Народное здоровье выше личных интересов, для меня во всяком случае.

В столовой он будет ворчать, как Кощей с костью в глотке:

— Душа пицци не принимает, измучилась душа! — но затем нехотя проглотит тефтелину, дожждётся, пока мы напьёмся чаю, и уж тогда отодвинет стакан и улетит на раздачу за добавкой. — Коты мои в котельной совсем оголодали, отощали на мышах, никакого аппетита! Так что сметаны, масла и баранины, сырой, естественно... Па-прашу не жалеть! Сабрина Борисовна наказала.

Вечером вместо ужина мы жарим мясо в костре на задворках котельной, беседуем о кошках.

— Удивительные животные, — сообщает Будда, — видят в темноте, грызунов душат да плюс ко всему плодятся раз в 62 дня. Не успеешь моргнуть, а кочегар уже докладывает: "Есть три штуки!" Бывало, и по пять залпом выбрасывало, но реже.

— И где они сейчас, котята твои? — спрашивает Светка Васнецова на подходе с охапкой сена. — Никто почему-то не мяукает.

— В зоомагазине на Арбате, где ж им быть? Сегодня семерых сдал, я ведь на больничном, а за ними уход нужен, вода, например.

— А остальные почему молчат? Ты говорил, дюжина скопилась. Неужели утопил?

— Всех не утопишь. Невыгодно.

— И всё-таки, — не отстаёт Светка, — признавайся давай. Ты всю Москву своими кошками задолбал, они же не просто так размножаются, а в геометрической прогрессии. Кому продал?

— Ну, хорошо. У Сабрины они, вся корзина. Оптом взяла.

— Купила?! — удивляется Дуб.

— А что бы мы жарили, — кивает на костёр Будда, — тигров? Клянусь хомьяками — подарил! С хомьяками проще, они травоядные...

Вдали зудит Варшавка, запредельная промзона курится дымами, будто подпыхивая амарантовое облако, нависающее над нами, и протяжное, похожее на карту Союза с задыхающимися в безветрии окраинами, оно парит и колеблется по ускользающим в чернь границам своим в чаше опрокинутого неба. И на западе магма заката колыхнется над прудами, и в дрожащем воздухе серебрится крыльями загадочный планер, возносимый волнами тепла над застывшей и заброшенной с весны, багровой котельной. Как он попал туда, на битумную крышу к грибам вентиляторов... Но потом об этом.

— А здорово, что мы сегодня посетили вашу идиотскую физзарядку, — отвечает Дуб для Светки могучий комплимент, — иному организму без встряски просто скучно. Общение с прекрасным полом облагораживает человека. Не знаю — Серый так говорил.

Серый настраивает обезображенную казеином свою гитару, лиру с грифом, захватанным пальцами и на винтах крепежа. Ему петь нельзя бы давать, есть охота. Но поздно — рот раскрыт.

*Только струны стальные потрогай,  
прозвелят и напомнят они  
небо в звёздной траве за дорогой,  
где горят золотые огни.*

*Так легко этим светом согреться,  
жизнь прекрасна и, значит, проста  
на тропе, что биением сердца  
пролегла от костра до костра...*

И кажется вдруг, что такого дотлевающего костра нет нигде.

Но шрамы на овечьей ляжке уже не сочатся пондерозовой пеной, и картошка дозрела, не выворачивается на вытек из-под лезвия с наборной рукояткой ножа. Первый портвейн, первые сигареты, и девчонки наши, совсем пьяные, объелись печёных яблок жгучих, нечаянно осоловели, не пришлось бы волочить их на закорках по темницам погребов, недоцелованных и сонных, а если подвал подло заперт изнутри на кол осиновый — блуждать с драгоценной ношей по малоизвестным чердакам... подобно голубям, изображая Ангелов Хранителей. Теперь они — наш спорт!

### Слова любви

Урок третий, пара по-институтски вторая: нас посвящают в премудрости радиоэлектроники на полную вместимость пробуждающихся мозгов. Это сверхпрограммы и с университетским доцентом на подработке Евгением Гавриловичем, для которого в его сорок преклонных лет мы *молодые люди, судари и барышни*. Двубортный костюм и хрустальные запонки, и малахитовый мольберт, вдавленный в стену солнечной балкой, консолью запрокинутый в Эдем.

Соблазн потусторонний невелик, но стоит лишь оглянуться на шкаф, на призму плазмы с Васнецовой, и она поджигает пухлые губы, щёки в ясном зеркале горят, но израненная комарами шея бледна, как валик выщипанной белоснежной ваты. Или нежная шаль стекает по-змеиному на пол. Так, стоп, никаких фантазий, это не корона, а пшеничная коса, и на груди — не узлы муаровых скомканных лент, а взволнованный воланами учебнический передник. И что нам с этими сокровищами делать?



Записку надо сочинить, вот что! Слова? Нет, здесь слова ничего не значат, есть и неприносимые слова...

И тени рододендронов струятся, муринами ползут на чистый лист, и катятся в прищуре, сохнут рыбы слёзы.

И оживает кукольный под зонтом пентод с лавиной катионов, выбитых из сетки, создается ловушка с тупиком для отфильтрованных помех, всплеск мысли с каплей крови, является на призывный минус стоячий обессточенный, но вероятный плюс, и главная точка на выходе, клемма сердца пронзается из-за угла вчера ещё насвистанной стрелой... Но где же паразитные сигналы?

Схема проста — поймёт, если не дура!

О, если бы не вперенный в мучительное творчество звонок, немалых дел большая перемена. Спросить что ли у Гаврилыча, куда воткнуть рубильник...

— Отчего бы вам не объясниться лоб в лоб, — проследив путь плясущей синусоиды, — насоветовал Дуб. — Дерзни и наслаждайся.

— Не смею, но хочу и не умею. Голые провода мерещатся. Убьёт.

— Потренируйся! — предложил Будда. — Обожги чужой горшок. Для старта... да хоть Тиганину прощупай, шесть пудов удовольствия.

— Эх, Надюха, мечта Ремарка! — встрял Серый. — А черепки мы склеим. Ты же не амфора.

— С чего начать? Дело серьёзное, понадобится галстук. И если клюнет — что потом? Посыпятся упрёки...

— Её заставит плакать только лук! — ревниво заметил Дуб. — *Пред нами суд и правда — всё молчи.* Следи, чтобы не заставили жениться.

— Ладно, буду осторожен.

— И верно, галстук ни к чему, придушит, — задумался Сергачёв. — Попытайся спеть для заправки. Что-нибудь задушевное, блатное...

— Да у меня и слуха нет. Ни голоса, ни слуха.

— Страсть есть страсть, ей гимн нужен, а не вокал, — пошутил напоследок Будда, и отправили меня в актёрский зал с камертоном рояль проверить, пока драмкружок Сабрины на качели не взобрался, Гамлета рапирами щекотать и ядами шкуры свои в трико исполаскивать.

Тут она мне и встретила с колбой бутафорской цикуты!

— Ровно в полночь тебя ждут в холле напротив библиотеки, — а кто и зачем, сама сообрази, здесь не детский сад, — назначил я свидание. — Что в банке? Сколько граммов? Прощай, Тиганина.

И она удивилась. Ещё больше её удивило позже моё пение. Я почти не врал на первом куплете:

*Когда тебя я встретил, черёмуха цвела,  
и в парке тихо музыка играла,  
и было мне тогда ещё совсем немного лет,  
но дел успел наделать я немало...*

Второй скомкался в батистовых кружевах её воротника. Темно было, да и страшновато. Всё казалось, что в библиотеке читатели ночные в засаде сидят, выскочить могут.

Минут через десять я уже валялся на своей панцирной койке, делился опытом.

— Ну как, отдалась? Быстро обернулся, — встретил меня шестиглазый Серафим недрёманный.

— Сдаться-то может и не успела, но ерзала метлой своей изрядно.

— А ты? Сказал, что хотел, получил урок?

— Урок не урок, а... прижал я к батарее у подоконника её всю, несильно, не слабо, пою себе, а она — “отпусти, мол, мне жарко, я вся горю”. Уши однако прохладные. Нонсенс!

— Эх вас раскочегарило, — удивился Дуб. — Вот и пойми их!

— Можешь проверить, там всё, как было.

— Откуда нам знать, как там было всё?

— Тут и гадать нечего, — догадался Сергачёв. — Сбежала Надежда?

— А вы будто и топот не слышали. Трубы до сих пор вибрируют. Ду-майте — почему...

— На твою беду отопление сегодня включили. Суши носки, и в другой раз будь к дамам повнимательнее.

Интересно, что через пару месяцев, когда гиря Дубровина покроется юной плесенью, — с чего бы? — Тиганина ужарится поровну на две половины и перевоплотится в Барби... Где ты теперь порхаешь, прекрасная медуница? Счастливая батарея!

В ряду остальных совра-превращений везение изменило мне.

Возможен заговор, но вот варианты ответов на стандартное предложение “Меня никто не любит. Хочешь стать первой?” Итак:

“Запросто, но некогда, мы ещё химию на завтра не сделали” — это Гусятина, комсомолка озабоченная, и через минуту сестра её, такая же тупая отличница. Биологию бы сюда ещё приплели!

“Тебе рано. Катись в свой спортзал, пока груша не лопнула, побоксируй там” — не понял кто, в полотенце из душа шла.

“А как это? Что надо делать?” Глупый вопрос. Если бы я знал, не приставал бы.

“Ох смотри, Васнецовой расскажу!” Ну и что? Пошутить нельзя.

“Светку не боишься? А зря, бойся” Далась им эта Васнецова.

“Ты уже это говорил на той неделе. Сказано — не хочу пока!” Память, грешным делом, подвела — опять Гусятина подвернулась.

“Руку — убери. Убери, говорю, руки! Они холодные”. Ну, так и согрела бы их там. В перчатках, что ли, смысл извлекать оттуда.

“У меня уже есть... друг. Опоздал”. Ха-ха-ха! Одним другом больше, другим меньше. Речь не о дружбе, балда.

“Тебя Будда подослал? Отелло... Привет хоякам, Яго!” Рудименты животного инстинкта, жертва психофизических проблем. А в списке значится как завучева дочка. Вычеркнуть, доложить Будде и забыть!

“А что мы скажем Васнецовой? Ничего?” Вот! Сорок капель старого портвейна. И нет в таблице чувств просвета, кроме одного, хоть заново начинай разбалтывать дремучую бодягу, тот алавастр, тягучий твой нектар...

— Тебя никто не любит. Хочешь, я буду первым? — слова любви я вспоминал, слова любви.

### Битва за честь

После обеда — часы свободы, и Сергачёв ложится с Брокгаузом на диван, надеясь к весне узнать всё ни о чём, а мы наваливаемся животами на подоконники и смотрим на стадион, на легконогих наших атлетов, вернее, на атлеток с бантами в волосах и попутным ветром в шортах. Разминка увлекает, зрелище бодрит. Видят ли они нас, готовых выпасть в окна? О, да! Мы строгие тренеры!

— Метательницам, — говорит Будда, — нужно иметь небольшую, желательно увесистую грудь. И тогда при резком торможении может возникнуть резонанс, и ядро что? Приобретает крылья. Пойти объяснить?

— Потом скажешь. А для удачного прыжка я бы сместил им центр тяжести на правую стопу. С подошвой оптимального размера.

— А если я левша, — задумывается Дуб, — наоборот не выйдет?

— Трудно предугадать. Тебе это не надо... — продолжается разговор о вещах, нас мало интересующих.

И бегуны, мастерски вскидывая озябшие коленки, наворачивают километраж футбольного овала, пинают в гаревой осыпи антоновские в крапе плака яблоки, и если идёт дождь, извлекают микрорадуги из всыхивающих луж, словно там тлеют солнечные брызги. И на взлёте над сбитой планкой, подстреленные будто, больно падают в пучину набитых стружками матрасов наши чемпионки Гусятины, русалка Вероника и Барбара, премудрая змея...

— Эй, чтец, что там про баскетбол? Полистай Эфрона.

— Не дошёл пока. Бас-гитары почему-то нет, но есть графиня... Баскервилей. Озвучить, Ваше Сиятельство?

Будда в бешенстве. Но прикрыв окно и превозмогая “боль”, он закладывает длань за борт пижамы и склоняется над шахматной доской, выстраивает наши шашки в зонную защиту перед пешками противника, раздавленными блюдцем его лунного лика:

— Французы сразу не сдадутся. В сумме они выше нас на две-три головы, а на кону, напоминаю, каникулярная поездка в Ленинград. Поэтому предлагаю...

— Не жалеть полиглотов! Вырубить всех в первом периоде, — подсказывает Дуб, — а потом...

— А потом ты нахватаешь фолов и тебя вышвырнут в раздевалку. И пешота всё испортит, это не футбол.

— Тактически Москва за нами, деваться некуда, — язвит Серый, — но есть стратегия, выработанная за предыдущие века. Её-то мы слегка и позабыли!

— *Чужие изорвать мундиры о русские штыки?* — переспрашиваю я.

— Вот именно, но не сразу! Сперва мазать, хромать, падать и лежать, — сметает Будда мою шашку со стола и с треском переворачивает свою, — глядишь, так кто-нибудь в дамки и пробьётся!

Что ж, дельный план, тут он спец, — и мы срываемся в спортзал, ловить удачу на штрафных и дальних бросках у самой Победы под подолом... Лишь бы урочные учебники не мусолить — сегодня дело это несвятое для нас: честь — наш долг.

Назавтра можно и вообще с кроватей не сползать, еду нам приносят из трапезной учительского отсека, на мельхиоровых блюдах с отечеканенными Купидонами.

— Кому варенье и блины, а мне так сало и бобы. Люблю калории.

— Проглажена ли форма? Благодарю за рукава. И номера пришиты?

— Нет-нет, спасибо, сами обумемся.

И бесхвостый планер с рёбрами лонжеронов рвётся с закопчёной крыши в клумбы с лебедой, и бури ждёт скелет летучей мыши, дрожа хребтом в заплатанном чехле. А мы сидим, как куры на насесте, бобы с вареньем нехотя клюём...

И вот в пятом часу рывкает на подъезде облупленный ЛиАЗ с интеллектуалами, прибывшими из такого же подопытного интерната с академическим, но инъязовским уклоном.

— Мытищам от Варшавки физкульт... — басит оглушительный Мэйсон. — Гвардии офицерам запада...

— Привет! — хрипит из динамика звучная Сабрина. — Слава финалу! Да здравствует Аврора.

Приходится делать вид, будто мы и не знакомы совсем: в случае проигрыша нас убьют, а черепа перешлют в Кунсткамеру или в Эрмитаж.

И выходят из автобуса исполины эпохи ископаемых кожаных мячей — Лейпциг, Будапешт, Вюнсдорф и Вена. Полузабытые школы, клубы, гарнизоны, в пыли развейные стадионы, утраченные времена... Парад беспамятства — и гаснут наши оскаленные тени по обе стороны берлинского забора, где замурована колючая звезда...

Осталась фотография — купол запавшего в небо потолка, стрельчатые окна за рабицей, периметр балюстрады с колоннадой обложенных матами столбов, канаты, кольца, брусья, и подкошенный свинцовым солнцем, нависающий над душой гостевой балкон с почтенным педсоветом в прорехах пустот между обшарпанных балясин.

И в центре зала — подкрашенные серебрянкой оловянные солдаты неизвестного полка. Они нас ждут, следы не гаснут. Это арена, и мы твои клоуны, здесь цирк, и надраенный восковой паркет тускнеет в глубине фотоальбома. Позеленели бляхи ремней, давно обношена мышьяная униформа, и день в день вдетая золотая нить прошлого потемнела, обволоклась узловатой паутиной застывшего в своде заоблачного паука. Где зрители? За прозрачным декором театральной сети глушат они или торопят судейскую трель стартовой свирели...

Короче, мяч в игре, но игры нет, на площадке крабы в банданах и водолазных башмаках... Пятый у нас — очередной пехотинец, гоппит, вынужденный за три минуты причастия, извините, к Большому спорту, выжать из футбольных своих бёдер ведро пота и в броуновской беготне вдруг сдуру и по-бабы от груди ударом в щит вывести траекторию броска на подсуетившегося Будду. Отскок подхвачен — счёт открыт!

Второй маэстро после серии кульбитов и пируэтов сползает разгвазданной амёбой с шведской стенки. Пока останки собирают в урну и возвращают на скамью запасных, Дуб зарабатывает на секундах умолчания ещё пару очков.

— Паду ли, выживу ли я? — выходит в поле следующая жертва, летучий страус с недоношенным яйцом.

— К чему сомнения? — уверенно рубит ему просеку в чащобе верзил, зачарованных такой наглостью, сам Серый. И продавленный в бездонное гнездо корзины мяч издаёт резиновый победный звон, а лингвистам достаётся желток без скорлупы с откушенным обрывком пуповины — молчат перепелиные сердца...

— Башка плохо варит! — и катится крученный пас мой, посланный в зенит.

— Если бы она соображала, тебя бы там не было.

Где там и почему не здесь? И прирастают огненные цифры из тьмы живой в загадочном табло...

Между тем на все наши акробатические фокусы с вознесением под локти над кольцом несчастных подкидьшей, перетягиванием в засадах рваных шнурков, избавлением от хромоты на запуске в галоп кентавров, зингеровский механизм штопал в ответ всё более слаженные строчки. В протоколе после перерыва значилось 43:44. И снова чернильная синева за окнами гус-тела и зияли зигзагами молниеносных передач растянутые фланги.

— Держитесь до последнего броска, — подзуживал Мейсон, — экскурсия на грани срыва.

Кому сверкнёт блудливая удача из бездны окончательных секунд? И загнанный в угол вызолоченный заводной павлин с торца Александрийского столпа, накрытый щупальцами рослых полиглотов, внезапно вздымает в белоснежных бинтах растерзанные крылья... Они пусты, мы в ауте, матч дан — и отступают в россыпь великаны, ломается обманутый конвой.

Осталось полмгновенья! И зажатый между коленями Будды мяч опять в игре, и вечность на прицеле, и тает на излёте солнечный жаркий шар, и медлит, длится до неясного исхода там далеко и в сердце где-то здесь наша по праву славная битва за честь.

## Правила поведения

Однажды в среду директриса наша, Антонина Соломоновна, или попросту Мадонна, вызвала меня в свой облицованный сучковатой фанерой кабинет и вместо завтрака предложила покаяться.

— На тебе уже навешано полдюжины разных грехов, но они, к сожалению, несмертные, и значит покончить с ними сразу невозможно, — огорчился Никсон, — поэтому замри и наслаждайся. Говорят, для диссертации ей нужна фотография Предтечи. Не бойся, котлеты с макаронами я постерегу...

— Узнаёшь? — указала Мадонна на диван в красном углу, где лежал Макаренко, известный всему миру педагог. — Почему он такой круглый?

— Разряд шаровой молнии, а может, крупный град, — объяснил я. — Не надо было человека на клумбах по ночам удерживать. Вот брюки на ветру и прохудились! Хорошо бы ему уши и портфель отциклевать.

— Ну, так и займись. С меня 4 полтонны гипса.

Далее диалог транслировался по радио: “А если я не справлюсь?” — взревели коридоры. “Эскиз прост, как поза Сфинкса. Руки — отцепи”. — “Это усложнит художественный образ бюста. Где сапоги?” — “Были в моде”. — “Мы не одни?” — “Расслабься, соавторов от уроков я избавлю”.

Допив свой кофе и пообещав не жечь больших костров в саду ни днём, ни по ночам, я встал и сказал: “Тогда согласен...”

— Выбери — я или она! — затеяла разборку Васнецова.

— Конечно, ты, о его Муза! — воскликнули хором Дуб, Серый и Будда. — Мы будем месить раствор и стряпать кирпичи, а ты обдумай стрижку, педикюр и макияж. Вот тебе тушь и сахарная пудра.

К вечеру статуя была отредактирована с упором на предмет литературы из колоссальных, толстовского размера глиняных лаптей. Складно читался под твердью накрахмаленной футболки булгаковский клетчатый пластрон, в сумерках реяли густые бакенбарды тургеневского качества и сходства, искали бури в каламбуре босяцкие усы и в линзах затуманенных пенсне менялись русла беспокойных рек. Кумир был прозрачен и благосклонен:

*Приштопав ширь полей к туземной феске,  
всех ближних нас возлюбит ли Господь...  
Кто умыкнет ключи от хлеборезки?  
Изголодалась мыслящая плоть!*

— Эко вас развезло, — удивился Мэйсон, — стихами заговорили.

— Эту педагогическую поэму надо установить на приличное место, — сказала Мадонна, — с научной точки зрения мне видится воздушная подушка. Во-первых, мягко, во-вторых, красиво, а в-третьих, как всегда, созвучно и пуху, и перу, и вообще.

От четвёртого измерения нам достался бич, бухтой намотанный на рукава халата. Пастух — это был Пастух! — нашёл приют в библиотеке.

— Она сама того хотела! — ловко увернулся Моисей Иванович от всполоха разящего кнута, когда в ответ на вызовы судьбы Антонина Соломонова обременилась мудростью в декрете. — Что ей до классиков? Они всегда правы...

А по садам разоблачались тени, и ветер нашёптывал слова, сладко отравленные лживой оболочкой, и над котельной содрогался вечерний дым, и задуманный в ладонях пепел бабочки смешивался с инеем хрустящей золотой травы, стлался по следу беглого трамвая, и замирал слепой вагон любви, немея от ужаса, если вечность есть где-нибудь в бездне сердца, тающей на излёте. Вся музыка — под клавишами шпал.

Случалось, пасторальный страж ну прямо вырастал на наших кривообразных тропах, топтался в смородиновых кустах аллей или просто мерещился, ускользя из дождя в дождь с своей семихвостой плетью:

— Нет у вас веры в Бога, вот что я вам скажу! — И на досуге заставлял самых ловких отступников сочинять послания родителям. — Кропите правду, легче заживёте.

— Но ведь мы не ведаем, что творим, и значит, грешим не мы, а только души, отставшие в сопровождении вранья...

Как трудно накропать донос без пафоса на трусость, собственную жадность или злопамятство преданного и вездесущего конвоя, кочующего в раю перед шатрами яблоневых ветвей. И чтобы совесть мимо пронесло, как пробку, вышибленную из опечатанной сургучом бутылки!

И тогда бродячий идол свешивался с пьедестала, словно он действительный членкор Академии наших эпизодических художеств:

— Где тот конверт? И почтальона не найти... — и диктовал свои мифические, в меру соблюдаемые и незыблемые правила поведения.

### **Неуязвимый планерист**

Издалека планер похож на комара, пресыщенного испарениями вентиляционных шахт; вблизи это измазанный смолой головастый змей, готовый вляпаться в историю с полётом, и если позволит ветер, дотянуть до Криворожского пруда и там воткнуться в безопасные сугробы. Осталось лишь дожидаться снегопада и бросить жребий: на кого падёт беда?

Будда вытянул короткую спичку и задумался:

— По холодам возможна и ангина. Нужны дублёры.

Главным дублёром стал Сергачёв, в запасные пилоты загремел Дуб, а мне из опустевшего коробка досталась слава, занозой выпорхнувшая в облака.

— Надеемся на резину катапульти, — сказал я, — она доставит вас в любой овраг...

И вот на рассвете 7 или 8 ноября над лысой кровлей котельной, где я смазывал маргарином разгонные лыжи, шестерни лебёдки и заодно пеньковый, выкрашенный охрой крешкий трос, внезапно пронеслось дуновение метели:

— Если он уцелеет, ты получишь всё, что хочешь, — заняли северные запоздалые ветры, — поверь обещанному, внемли и дерзай!

— Не мешай работать, — попробовал я отшутиться, — у нас, у воздухоплатателей, шансы выжить обычно не всегда равны нулю. Бывают и внушительные цифры.

— Тем более рискни, мир не перевернётся. И на прудах туман уйдёт под лёд...

Понятное дело, речь шла о феодальном коммунизме, кто-то зубрил учебный материал.

Ристалище под навесом разгрузочных ворот притихло, зрелище грозило стать казнью, снежные заряды раскачивали остолбенелый фонарь и конус его назойливо усиливал скрипучий плач весталок.

— Абстрактный бред. Но в каком именно аспекте? Он при вас?

— У нас больше и нет ничего, приходи ночью кроликов кормить, договоримся.

И пока Дуб в тулупе сторожа и Будда в подпоясанной эспандером телогрейке кочегара нахлобучивали на Сергачёва велосипедный шлем, последний гвоздь был вбит в помост — в трамплин из горбыля.

Время раздваивается, высекает на встречных трассах искры прозрения. Кто запалил дымовую шашку? Перерубил пеньгу? Вооружил стрельца тупой секирой?

Планер взвизгнул лыжами и, вспорхнув над ареной для битв за передел чужих колоний, штопором ввинтился в пирамиду плака! Когда в клубах гиперболических страстей завеса отчалела, зрительницы взялись за лопаты и возвели над кабиной скифский курган для падшего ангела. Увы, там никого не было...

Ровно в полночь я очутился в предбаннике у зооуголка.

— О! Твой кентавр притопал, — услышал я сквозь забелённую дверь контрольно Тиганиной.

— А мы, дуры, думали, он в клинике, — удивилась одна из сестёр Гусятиных.

— Впустить или да ну его? — прошипела завучева дочка. — Решил проверить, тут мы или нет.

А куда им деться? И я вошёл походкой астронавта, подволакивая голенистопы, обутые в гипс и мейсоновы башмаки после затыжного прыжка с крыши в бокс с кратером лунного вулкана. В аквариуме урчал компрессор, и хомяки в клетках догрызали сухари.

— С чем пожаловал? — обернулась Васнецова, обмахиваясь веером карт. — Принёс морковь?

— Надеюсь, звери сыты. Меня привело сюда чувство вины.

— Каламбур! Сыграем в кости на его костях, — свесился попугай с пальмовой ветви на перламутровом когте, — ха, ха. Кости скачут в гости, каламбуррр... Дуры думали, он в клинике.

— Так вот о чём вы здесь трубили. Очень остроумно, — обиделся я, распечатав заряженную колоду. — Постеснялись бы голодных птиц.

— Он только что доел перловку, перл в томате. Только без шулерства, без козырей в рукавах — присоединяйся.

— И не слушай попугая. Пусть врёт, не для того мы собрались!

Это была странная, суровая и по всем правилам дурацкая игра. Всем хотелось победить, чтобы я ушёл, а когда мелочишься, по словам Наполеона, многое кажется крупным, как, например, мои бахилы, расставленные вокруг стола. В них-то и были спрятаны тройки и семёрки для перебора, если опять

окажется, что кому-то вдруг придут десятки на мои тузы. Манжеты мне Васнецова засучила от локтей до воротника и оборвала пуговицы — действуй, мол, аэрокобра.

Первой в коридор с погонами на плечах вынесло Тиганину. За ней, одёргивая юбку и роняя фразы в духе: “Откуда, в прикупе шестая дама?” — или: “Всё матери расскажу!” — исчезла завучева дочка, а там и сестёр Гусятинных отправило в изгнание моё неисполнимое желание, накрытое бубновым королём. Таким образом, барбусы, попутай и Васнецова — весь призовой фонд достался мне.

*Погоняй коней, возница, правь на замок из песка,  
желтоглазая волчица нас уводит в облака,  
снег по следу серебрится, и летит сквозь сон теней  
бег коней моих, коней моих, коней...*

— Не надо было соваться в лисьи норы, мы в стоворе, — уверяла она, — ведь ты не волкодав.

И судьбы уходящих ненадолго смещаются в пространстве: “Я вернусь...” Взгляни в глаза, там ветер, и он чист, пепел алмазный в пустыне раззолочённой, и когда-нибудь они обязательно встретятся в лабиринтах учебного корпуса — тот странствующий поневоле рыцарь и твой неуязвимый планерист.

### Обыкновенная измена

Всё это было осенью, а зимой мы плясали с шайбой на прудах, дотемна и жёстко тренируя футболистов, чтобы в столовой погордиться битыми лбами и ореолами подглазных фонарей и уйти в актальный зал страусиной поступью одереженевших в седлах всадников из “Великолепной семёрки”. Там пели вокалистки, и хормейстером при дуэте с недавних пор состоял узурпатор Сергачёв.

— Как вы гитары держите? Инструмент должен висеть ниже пояса, на уровне подкола, — командовал он, развалиясь в режиссёрском кресле, — изящнее двигайтесь. Скелетов не беречь!

— Зря ты возишься с этими Гусятинными. У них и слуха-то никогда не прорезалось, одни звуки, да и те без усилителя до Варшавки не дойдут, сопреют, — судил наш худсовет. — А кто услышит ваши голоса, тотчас лишится воли и покоя.

— Мне ли не знать! Но они такие разные...

Мы ошиблись. Нужны были слова — и он подобрал слова, искал мелодию — и она пришла сама, когда сёстры поочерёдно дули в хобот саксофона, извлекая из клапанов шумы и паузы сытно и ненавязчиво сдобренных Ливерпульским ливером прудеч. С чудесным привкусом винила, да — пришлось смириться, талант предполагает доброту.

И был апрель, пасмурный дым апреля, в какую-то субботу собирали мусор и жгли костры под самодельную эту музыку в саду, и надрывались соловьи, умело засвистывая долбёж въедливого магнитофона, выставленного на подоконник фотолаборатории, в краповое закулисье атласных штор. Вспоминается разлив тепла под солнечный сплетением, когда она приближалась с грузом в чешуе мха обнятых мёртвых веток, гадала, отклоняясь на сторону, куда ступить, смотрела вниз на глиняное русло серого тонкого ручья, выщегося в чёрной луже.

— Найди какое-нибудь дело, не следи за мной. Хочешь, будем белить яблони?

И мимо прошла колонна убийц невинных древоточцев с блистающими оцинкованными ведрами — Сабрина дирижировала лыковым помелом, Мадонна волокла мешок с известью, погоняя студию “бально-вокального мастерства”, выряженную в пачки и трико с джурабами, а во главе процессии, поддерживаемый под локти музами, вратарём и трубочистами из кочегарки, ехал на велосипеде сам филармонист.

— Любите ли вы гасить известь так, как это делаю я, — в корыте?

— Да! — указала Васнецова, усевшись боком на багажник. — Следующая остановка рядом, у помойки. Можно я дотуда поруплю?

— Нельзя, — возразила Мадонна. — Но если планерист нас уважает... И если привязать этот матрас с белилами к седлу...

Кончилось тем, что я был послан на каток — катать асфальт на теннисной площадке. Разметку рисовал Дуб, а сетку ограждения штопал Будда. Они-то мне в глаза и начадили!

— Представь: иду как-то во тьме египетской, переступаю с пятки на носок, чтобы сторож кастрюлю с компотом спросонья не изъял, а они — понятно, о ком я, — затаились в холле за фикусами и болтают о своих платонических чувствах: “Жара, как в аду на сковородке, не батарея, а электроплита...” Раздвигаю листья — и что вижу? Холодны: диск луны, и вихрь, столб пудры! Заметь, старт точно такой, как с колеса сегодня.

— Не в оперу, но схожий эпизод. В ту памятную ночь ловили мы сверчков в оранжерее для пресноводных жаб и черепах. И вдруг в зарослях мелькает ведьма, за ней другая, третья: “Мы думали, он в поликлинике!” Легко предположить, чья швабра двинула их в бега без жалости и вздоха.

— Земфира неверна, и это плохо, — согласился я, — воистину грех есть. Но что ей до Платона?

— Эффект новизны, например. Кроме всего прочего, важны и габариты, база любви у каждого своя.

А тут ещё Мэйсон часть корта укатал под серенаду: “Сердце красавицы... как ветер мая...”

— Вызвать, что ли, этого Моцарта на дуэль? Сушите порох, Моисей Иванович, пускай судьба зачтёт нам приговор!

— Но как же немецкие каникулы? Оставляют за безобразное поведение на второй год — в Сибири живо повзрослеешь.

К счастью, берданка сторожа исчезла.

— Очень кстати, — рассеялась Васнецова, узнав, что ствол зарыт на чердаке, — страхни с души опилки, рыцарь...

И проблесками через всю жизнь мерцает жемчуг в розовом оскале, цветущих яблонь огненная пена. Кто знает, почему слова сошлись, зачем мелькнёт в пустыне где-нибудь теней обыкновенная измена?

### Немецкие каникулы

После Бреста переставленные под западную колею колеса постукивают бдительней, глухо отзываясь в фермах моста, закинутого за Буг.

— Войско польско уцелело? Уланов пруссакам не обогнать!

И пограничник возвращает паспорт, гербовый бланк вызова с чернильной блямбой — и швыряет два пальца к четырёхугольной крыше боевого картуза:

— Пше проше, пан, Варшава не сгинела...

Дорога до Франкфурта кажется невыносимо долгой, хутора среди картофельных полей ничуть не богаче белорусских хижин, но таможня с республиканскими орлами на клапанах чужих мундиров резко разворачивает состав на север, и пожарная борозда выпрямляется, провода перестают так глубоко нырять в орешник, и хромой “Трабант” с приводом на заднее правое колесо гудит из вырубок на переездах: “Недалека небесная верста”.

— Как добрался? — спрашивает отец, и танковая его куртка пахнет материнскими пирогами. Нас ждут.

Шверин по-вечернему пуст, и стартовав от вокзала, разъездной Газ-67 петляет в теснинах улиц, хлопает парусиной обтяжки и, словно листовые страницы истории двух мировых войн, сдвигает в небо куб опечатанного набрызг-бетоном собора, дворцовый Офицерский клуб, русскую школу в корпусах артиллерийского училища, госпиталь и смежный мемориал в громоотводных шпилях чёрныхobelisks.

Слева брусчатка набережной внаклон сползает вдоль холма и открывает гигантское, до Висмара расстеленное озеро и насыпную дамбу к острову с гирляндами музейных фонарей, где отражённый в рябой воде зияет марк-



графский замок, окаменевшее чудовище, не тронутое фугасами бомбливых англичан.

И дальше — всё ближе из дыхания туманов выступает располованный просеками лес, и за провалами в буграх сонной равнины полигон с лунными пустырями и контр-эскарпами танкодрома: “Верboten!” — отпугивают туземцев деревянные, расстрелянные картечью строгие щиты на съездах. “Что именно запрещено? Прогуляться на мотоцикле за грибами, например, или пальнуть пару раз у тебя на стенде по тарелкам — тоже, получается, нельзя?” — “Это иногда можно”, — соглашается отец.

Казармы Автобата прерывистой скобой охватывают стадион и парадную площадь в заслоне дубов, чинар и тополей, срезанных вровень с вышками лабазов и хранилищ ГСМ. И уже внятен марш, хор ветеранов на финише выслуженных лет: “Под солнцем Родины мы крепнем год от года...” — и беспечален щебет птенцов апрельского призыва, высекающих стальными подмётками искры из кремниевго щебня, утоптанного на плацу:

*Я салага, лысый гусь, я торжественно клянусь  
сало с мясом не рубать, старикам всё отдавать!*

Под барабанную дробь ворота распахнутся и фистулы флейт умолкнут: мы в раю!

Утром проснуться в гамаке, и павлины витражей скользнут из веранды под гофрированный бок стянутой обручами коридорной печки, улягутся на клеточный паркет гостиной, и выкатится, перья растеряв в отцовском кабинете, разболтанный и осевший на сдутых шинах солнечный велосипед. Качнуть колыбель — и снайперский зрачок калейдоскопа напомнит бликами искажений детский дом, убежище младенцев.

Солнце катится на запад, а приходит на восток, и я вижу сквозь жёлтый пух шпалерами стриженных акаций багровые спины потных пушкарей, тяготящих шомпола с пыжками в жерлах пушек, синий столб дыма над ангаром кузницы, развод блистающего штыками караула, пыхтящий у сарая с брикетным торфом грузовик и курилку в ромбе лакированных лавок, где политрук чертит нерушимые контуры Союза. Куда влачит он посох ясновидца над пропастью в песке?.. Бог знает...

— Не по трюму судить конечно, — примерился спросонья суконный китель, галифе и яловые сапоги плюс кухонный тесак за голенищем слева, — немчура зауважает!

— Присягу можно схлопотать и ложкой, — предупредил отец, — поменьше форса, тут не Сан-Суси, майн фюрер.

— Не горбись и сними полковничьи погоны, — скомандовал материнский голос. — Спесь солдафону не к лицу...

Разжалованный и нагруженный снопом удилиц, в полдень я выехал к озеру. Лес расступался и смыкался, велосипед встряхивало над рёбрами корней, перекачанные шины елозили в колее тропы и в развороченных окопах мелькали по сторонам пулёмётные станки, лафеты минометов, чуть тронутые ржавчиной лобастые вермахтовские каски с коронами кожаных подшлемников и плесенью, ползущей изнутри. Кривой ручей всхлипывал в овраге, и мерещилось, что это чавкают в глине кабаны, приручённые егерями в месяц май.

— Другой войны не будет! — перекликались с рулевым звонком чёрные пучеглазые противогазы.

Солдаты ошибаются всегда.

Дикая лесополоа взбирается на холм и валится по уступам взлохмаченного ежевикой серпантина к необъятному озеру, к рощам южного залива, где обводкой в дубовые плахи вправленный канал лоснится чешуёй кипучей верхоплавки. И зыбь чеканит римские монеты настоянных на торфе карасей.

Город затаился в омуте за мысом, никто не видит стражу в бойницах замка, не ловит в солнечные сети битую черепицу тлеющих окраин, шпиль собора и кресты антенн затопленного в синеве Шверина. И дремлет в низине подмятая обрывом пристань, теснится к устью шлюза стройная часовня, мельница и одинокая лодка на цепи и без замка.

Пустыня ублажённого безлюдья — совсем как в кабинете у отца в подробностях на штабном макете с пятнами обрызганных зелёнкой парков и урочищ, йодистых болот и выкройками шахматных полей. И крепость Автобата на три роты, сверкающая тьмой колючих звёзд!

— Парус морскому волку нужен? — выносит мельник вёсла. — Был бы ветер.

— Доннер ветер, — отдаю я патронташ с заказными латунными гильзами редкого 24-го калибра, — их мехте швер дредноут, вольфмарин.

Чем меньше болтовни, тем правильнее мы друг друга понимаем, можно и без слов счищать репей, нахватунный в бурьяне спуска, — пусть говорит старик...

И я слушаю, как плещется колесо, взведённое черпаками водосброса, наваясь на шаткие перила, часами слежу за стадами красноперых окуней. И в жутких водорослях вкапываются в ил бревенчатые, тронутые острогой, отупевшие от счастья щуки: вот они, зимние бесплотные мечты, растравленные ходкой, высмоленной варом плоскодонкой с причальной цепью в сердце мукомола.

*Ах, зачем, ах, зачем  
проплывают века,  
собирая солдат  
нулевого полка?*

И глаза его, словно гравировальные иголки, впивались в меня так, словно он молился на пластину льда, растаявшую далеко от Родины на Волге.

Закат меняет снасти на мачтах опалённых сосен, и духовой оркестр играет сбор в казарменных аллеях гарнизона. Там я гуляю по вечерам, сдвинув на лоб пилотку-невидимку, в свежей рубаше и в шлёпанцах, подбивающих на марше пижамные интернатские штаны. Европа не Европа, а русской пехоте выправка нужна! И под сухое щёлканье шаров, загоняемых в лузы клубного бильярда, в щетине газонов кувыркаются самбисты, терпеливо перенося укусы осоки или муравьиных жал, в спортказемате гремят железом усыпанные тальком штангисты, наращивая к штангам неподъёмные блины, и тархатят перчатками по грушам неуёмные боксёры, а отзывается над стадионом грозный, морковного цвета Марс. Разуйся, пни этот мяч, но так, чтобы он вырвал клоч пеньковой, распяленной на воротах сетки — и ты уже не франт, а футболист!

И в библиотеке вдруг задышит, вольфрамом ламп иссушит жар ланит визави осеннего призыва юнкер Пушкин, писарь Достоевский и артиллерист Толстой. Бог есть, а если нет — кто же там пишет письма из ГДР в Империю, домой?

В 9 часов по батальонному времени на континент снисходит тишина, свищут лишь соловьи, имитируя виолончели офицерских стульев в клетке обвитого люпином летнего кинотеатра. Свободных табуреток нет.

— Сапожника на мыло! — рошнут ряды солдатских лавок, выстроенных в сидячее каре, — включай вентилятор, резкость смыло.

— Курили бы в рукава! — путается с бобинами киномеханик. — Чадить в экран махрой запрещено!

И дробятся в гофре мембран складских ангаров динамические подголоски красавиц, ведьм, пиратов, палачей, героев, Мефистофелей и принцев, рокочет музыка над шифером хранилищ ГСМ, и в паузах на смене десятиминутных лент звякают и вкрадчиво булькают крутой заваркой остывающие фляги, и сапожных дел маэстро опять вырубает электро-лампаду на шнуре, будто гасит луну, подвешенную на пожарном шланге и погружённую в мосфильмовский сюжет, укомплектованный печалью разлук и свадеб, битв гладиаторов, пожаров и пустынных миражей с повесткой уходящим вдаль: “Распяты их!”

Наличие ада придаёт смысл жизни даже грешникам в раю.

И всё там по-детски чёрно-белое, своё и почти родное, продлённое туда, где эха нет и где так дружно хлопнут у лейтенантских жён беззащитные зонты, когда покажется, что это звёзды брызнули, а дождь не начинался.

Ночью лодка с клином паруса исчезнет в стороне канала и тысячу раз дрогнет наискось в омут сна уведённый поплавок. Бредом обернётся пурпурная пена, с крапами подгнившей валлиснери и студенистой тускороры в хрустящих жабрах всхлипывающих в садке лещей.

Что вышестует из сотни беглых дней впряжённый в колесницу венценосный август? Мотоцикл, в токах тепла заглохший перед рвом водозабора, туманы в тропях скошенного вровень с пристанью иглистого тростника, и торфяные острова, и башни замка, цепью огней прикованные к дамбе, куда врасплеск осаживались кочевые утки на перепонках шлёпающих по ряске троесперстых ласт. И как отец приучал меня к правильной охоте, вращая над углями ножом выбритую, насаженную на шомпол тушу свинья:

— Нельзя стрелять по цели на плаву. Когда-нибудь обернётся рикошетом такая неразборчивая дробь.

— Можно пальнуть и наугад, мечь ничего не значит, — всматривался я в зулевские, уязвлённые пороховой гарью серые стволы, и виделась там будто стая полуслепых подранков, собранных из Талдомских болот.

— Этого нам не надо, — повторяет он, и каскадами от кубической глыбы собора над чашей озера разносится органний, из семи нот составленный безумный отзвук, вмещённый ангелами в безмятежный круг. Другая академия заоблачных наук...

И я уходил к загонщикам хлестать еловым лапником заспанных, пресыщенных желудями обалдевших кабанов. С плетью в чехле, без вычищенного дробовика и в свойском камуфляже. По крайней мере, страсть здесь была оправдана, горн ликовал: мы были равны!

И помнится тяжесть угольной корзины, рывком вскинутой на плечо под сводами бомбоубежища, обвешанного гроздьями летучих упырей, их плакучий щебет в УКВ эфир об ужасах глухого мира: “Мене, текел, фарес, мы жертвы Валтасаровых пиров”.

И ход рысью мимо офицерской компании, после воскресной русско-германской дружбы играющей в курилке в отрезвляющее домино:

— Стоп, истопник! Присоединяйся, — и ржаной вкус коричневого пива ростокского разлива в мелких бутылках с фарфоровыми пробками на проволочных рычагах. Чистейший квас!

*Нас извлекут из-под обломков,  
поднимут на руки каркас,  
и залпы башенных орудий  
в последний путь проводят нас...*

И зарево над городом, цветастые за полигоном гирлянды салютующих ракет с приветом Автобату от гаубиц иноплемённого дивизиона: “Арийцы уважают евразийцев. К чему сомнения? Их нет!”

Дома дым из колодца выложенных в руст на колосниках брикетов вытянет колониальные оазисы папоротников и отпечатки сплюснутых хвощей, и сквозь орнамент дна ивового короба пеленой угара вспыхнет в глазницах ящуров плазменная глубина. Мудр и беспечен зуд янтарной эскадрильи, штурмующей атомные бусы, засыпанные в солнечный плафон: “Жизнь — цепь случайных совпадений, второй любви не надо мотылькам...”

В среду бригада Москонцерта воздвигла на стадионе балаган по-македонски.

— А может, по-индейски, — заметил повар, — весь бундесвер, элита ФРГ!

В программе значилась нанайская борьба, танцы с кинжалами на куче стеклобоя, фокусы с керосином вплоть до извержения огня, массовый гипноз, тотальная раздача внеочередных нарядов и укрощение кобр кордебалета и удава, наступяющего клоуном в каптёрке, в самоволке. Он думал — там буфет. Чем валерьянка хуже брома? Поиск каптенармуса, ставшего кроликом, переместился в штаб, к ориентирам щучьей икры и клоквенного спирта.

Солдаты уже спали, когда банкет был прерван воем сирены и дребезгом полушарий электровзвонка: “Рыбный четверг отставить, раздать патроны,

круглый стол закрыть!” То был посыл Главкома из Потсдама. Рёв боевой техники потряс воображение вампиров и мышей, очнувшихся в подполье. Поднятый по тревоге Автобат восстал и вышел в ночь.

— Учения, и не более того, — поймал радист три бдительные точки, — не посраим штывки ГСВГ...

И на глазах павших на колени гостей армада скрылась за холмами танкодрома. Вспаханный лязгающими траками горизонт померк, и на распустье где-то обрёл координаты край земли, встали стеной другие перевалы, звёздная пыль, уступы снежных гор.

И никому знать не дано, что видит оловянный барабанщик.

*Не вернётся обратно ни молитва, ни клятва,  
на воздушной дороге, далеко на востоке  
облака и знамена — это наша колонна,  
посмотри на небо — с нами Бог!*

Крадётся ли осенняя прохлада по отрывным листам календаря, павлины ли гелиотропные промокли, слетав на переправу через Буг... Эх, сборы, эти сборы! И материнские заботы: “Арменал достанется таможене. У Польши лисий нюх”.

Пришлось, по отцовскому велению, расстаться с бельгийской ракетницей непонятного калибра и заодно вернуть мельнику пехотный Люгер в сандаловой прикладной кобуре.

— Пока Самсон вращает жернова? — переспросил он и предложил взамен клинок с ромбической рукояткой. — Месть филистимлянам.

Не поместился в сундуке и корт, укатанный минным тралом для дочки коменданта полигона.

— Что ж, уезжай, — взвился лысый мяч на резаной подаче. — К чему слова? Они известны всем.

— А вот я возьму и выучу турецкий! Сам Пушкин некогда хаживал в Арзум.

— Зачем Шверину турки?

Дельная мысль! И вздрагивают на лиственницах слюдяные лепестки, будто мелькают за лесопосадками эфебовские шапки с волчьими хвостами или не гаснут скифские костры, растрёпанные всполохами дыма...

И в стыках рельс предсказанно и глухо пульсируют бескровные узлы, эпохи славной русские предания, немецкие каникулы.

### Повестка уходящим

Сентябрь на старте. И снова для питомцев интерната играет заказной оркестр. Все окна главного корпуса разъяты и стоглавая гидра нависает над карнизом с парусной растяжкой: “Ученье свет, найди свой путь, источник знаний не забудь!” — и Мэйсон, будто вкопанный на клумбе в смесь опилок, торфа и песка перед шестиликим литмонстром, мнёт резеду. Мы держим корректуру:

*Не глаза, а оловянные рубли,  
на перстах не бриллианты — бездна звёзд.  
В золотом тумане скрылись корабли,  
и растаял сладкий дым твоих волос.*

— Соавторство — наша общинная беда... — задумчиво переставляет Моисей Иванович холодные по осени слова. — И пусть плывёт, махни ей вслед фуражкой.

Флаги легучих сухогрузов видятся нам за трубой котельной. Но там лишь очередной трамвай мучает душу брэнчанием трёхкопеечных монет, и пуст на сцепке прицепной вагон, и на подаче — механическая скука: бросок, крик с разворотом в хлёсткое кольцо, щит содрогается, и лето по траектории Криворожского проезда дробится на необитаемые острова под радугой на горизонте с крыльями жар-птицы. Где она была?

Вечером за решётками спортзала отдыхает тишина, и мы бродим по периметру придушенного крапивой сада. Накрапывает дождь, и вощёные яблоки блестят в тоннелях с чёрными стволами опор, расколотых тяжестью мшистых ветвей. И отсыревшая гитара дребезжит.

*Садовое кольцо — двенадцать вёрст,  
поехали красотка, покатаю,  
мне кажется, среди кабацких звёзд —  
святая ты, святая ты, святая...*

— Выпей портвейна, — встряхивает флягу Дуб, — отсюда до Кракова все дамы одинаковы.

— Пора к костру, — подхватывает Будда, — время обнаружит, что кроется под складками коварства.

— Мне вы предлагаете уйти в загул, а сами думаете о своих матронах...

Кого могут согреть мыльные оболочки радужной луны? И воображение рисует сидует марионетки, цапли на 5-дюймовых каблуках, вздёрнутой стропами выюнов, нагих стеблей. И рядом Демон, сотканный из молний. Не сей, развей ты солнечные капли, закат их пылью обернёт.

— Кто скажет наконец, где Серый! И Васнецовой вроде бы как нет...

— А ты будто и не знаешь. Теперь у них три разных букваря, наука по неволе.

— Представь, перевелись к лингвистам.

— Что вы несёте? — на секунду притворяется ежом мерцающая аритмия сбитого с толку сердца. — Не поверю никогда.

Неделю я сидел на молоке, ел мясо с фруктами и отмечал на костылях уколы,

— Смирись, — требовал Моисей Иванович, — зачем гуманитарию травить кислотой фольгированный гетинакс? Призвание подобно укусу энцефалитного клеща — оно неумолимо!

— Табула воспитанника нашей школы для меня священна, рок поразит пропащих беглецов.

— Нам полиглоты не родня, — щипала виноград Сабрина Борисовна, привнося в меню горох, шоколад, кисель и макароны. — Диагноз фельдшера рассмотрен педсоветом. Пиявок хватит только на два дня...

— Сомнения одолели, — жаловался я Мадонне, упиваясь рыбьим жиром, добытым из эстонской банки шпрот, — лежу и думаю, в чем смысл любви. В душе он или в теле? С каких лекарств меня так разнесло?

— Выписать его! — возмущался сторож. — Нехорошо бродить по крышам при луне. Тулуп не по сезону.

— Ищет, откуда сбросить лишний вес? — гадал Дуб.

— Высота не позволяет, — сочувствовал Будда. И это друзья? Трагедия комедиантов дель-Арте.

А прошлое отодвигалось, сад золотой тускнел, и в стёклах рассыпалась листва, зола безадресных конвертов: “Не забывай...” Нет, я не забываю. Сейчас там дождь, и светятся сквозь годы летейских вод пустые зеркала.

Мы ещё встретимся на ярмарке Арбата, скрашенной сменой эпох и чехардой генсеков... “Ты ли это, Будда?” — и коробейник училища искусственных художеств вскинет берет, отороченный леонардовской панбархатной тесьмой:

*Бывало, пот или слеза  
стечёт с купеческих зальсин —  
и снова шума нет из-за  
железных наших закулисин.*

— Купите кошку персиянского помёта. В этом животном есть менталитет, удивительнейшее свой-ство инте-лигента современного разлива.

— Она жи-вая? — Раззаикались зеваки, опера по валюте и по талонам на водку и табак. — Пройдёмте в КПЗ, подлечим от холеры, лишняя клизма дезавуирует насморк, гипервитаминоз, охоту к переменам и чуму!

— Нам не нужны врачи. Мы из фарфора.

И — чудо! В недрах подворотен взбесится сквозняк, обременённый столбняком, и в прорезь в проблесках монетного трезвона устремятся менялы, мытари, посредники, подставки, биржевики, банкиры, политологи, фигляры и шарманщики свободы, новые бояре, филеры и кроты.

— Это наш спорт, — вывернут недра тайну окаянной погремушки, — собственность священна, и грушу вашу трясли не мы, поэтому приберите под собой, не разбазаривайте народное достояние.

Процветал в те благом обусловленные годы и Дуб, настойчиво преследуемый химерами успеха: аспирант МФТИ, начальник сектора дефектоскопии ИФЗ, инспектор ТБ эксплуатации АЭС, автор монографии “Теория катастроф” и, наконец, — директор НИИ где-то в Протвино, почтенный ученик в окаменевшей даче...

Уже мы подались в бомбилы на извоз, а он блистательно вращался в интеллектуальной мясорубке, в битвах с шайками зомбированных экономов и бандами арендаторов, спрессованных в клейкой скорлупе расхожей новизны. И счётчик Гейгера ритмично считывал его путь к подножию Припятского саркофага. Позже Орден Ликвидатора отметит и отделит его от тех, кто рылся в требухе казны с победитовыми свёрлами. Раб стал совладельцем мечты.

И снова тлеет ночь выпускного бала, свечи излучают нити пульса, и сквозь воск паркета заглазно выступают наши близнецы. На лестнице нет никого, один с неугасимой трубкой дремлет в кресле вещей Моисей Иванович: “Никто сюда уж не вернётся”.

О чём старик бормочет, и кого мы ждём? Путеукладчик с грузовой лёбдкой давно отстал от вечного трамвая. Наверно, движение в Криворожском туннике было перекрыто только до рассвета, а оказалось — просто навсегда.

Лет через двадцать эпоха округлит взаимный перехлест десятилетий, и глинобитные лабиринты, сокрытые кипарисами, виноградом и айвой, впишутся в афганский праздник месячной командировки.

— Чаения застольных крыс! — порадуетея Москвитин, испуганно следя за тенью Антея, рыскающей по отрогам Гиндукуша.

— Не вляпаться бы в затяжной прыжок без парашюта. Это огорчит дирекцию Литфонда.

— Чем больше риск, тем меньше творческие муки, ведущие беллетриста из ада Поварской в армейский рай, прямиком в окопы.

— Там наши очерки не пропадут, чтецы найдутся.

— Панама из газеты — прекрасная мишень, — уткнулся Москвитин лбом в иллюминатор, — слова любви неуязвимы...

— И графоманам Божья милость, благодать, — сказал кто-то, когда наш ангел с рёвом вывернулся на посадку, и складки снежной простыни окутали лик рыцаря, выцарапанный обломком шпаги в гончарне ассирийского жреца: шоры седых висков, ключущий птичий профиль и взгляд подслеповатого ясновидца на город, искажённый миражами лачуг, мечетей, злчных лавок и дворцов.

Разбавленный верблюжьим молоком туман аэродрома осложнил позиции уставной литературы, застрявшей в упаковочных сетях. Трап рухнул на помост, и мозолистой походкой охотников за караванами мы вышли из мрачного трюма в зной, в строй собранных для перекладки новобранцев.

— Где тут у вас штрафные батальоны? — спросил Москвитин.

— Свободных мест на гауптвахте нет, — ответил повар, — прошу пройти в буфет. Графин холодного компота скрасит досуг, не утоляя жажды, пока не прибудет прокурор...

Нас приняли за беглых арестантов.

Навьюченные тюками с униформой, почтой и медициной, разъехались грузовики, затмив весь горизонт угарной пылью. Или вечер примерил чёрные очки, и мы отперились в столовую, стараясь не ступать на вихри песка, где рылись ящерицы и извивались змеи, завербованные нуждой на ловлю содержанок в норах пищеблока. Мыши сомнения — что же они грызли в той стороне, где ты не побывал?

Надеялись увидеть во льдах громокипящий океан, мерещилась битва за честь Непримиримых станов и в безднах затаённая война с фугасами на выброс сверх программы. И что же нам подкинула Москва по своему приказанному плану? Лишь марево над щебнем взлётной полосы, шахматный караван-сарай бараков, кумпол в бризе забывшего про бури ветряного клобука, шлакбаум и бойницы блокпоста, налитые глухими сквозняками и мыло трафаретных лун над дальними жердями минаретов.

И сварщик в маске, в декорациях сумрачной мастерской, меняя электроды в трёхпалом держаке, неумоимо сращивает швы на жестяных коробах, синеющих от плавки; ртуть брызжет в краплённый дробью окалины песок, лёгкий дым желтеет, проволочная сетка выгородки истлевает, и золото волн стихает, исчезает, исчезает...

Никто уж не шаманит над расшифровкой азбуки радиста: “Здесь торопиться некуда, Вас ждут”, — и вдруг медлительная официантка с медными глубинными глазами извлекает из клавиатуры кассы лирический пассаж на тему расставанья и расплаты за компот:

— Спасайтесь — конвоиры у ворот!

Восточный блеск базара пёстрого, верблужья шерсть горбатых переулков и вскрики зывал из подозрительных витрин пушных, москательных, фруктовых и бижутерийных лавок, высланных багровой чернью растоптанных до пролысин в ворсе вековых ковров, и наш с клёпанными крыльями безбамперный УАЗ, лязгающий обрывком буксировочного троса и выхлестывающий искры из бордюров и колдобин, из встречных тойот и мулами запряжённых телег — вот все аттракционы ознакомительной прогулки по курсу светофорной карусели, распатанной вразброд и наугад.

Раздваивалось вытесненное солнце, в полнеба и неведомо когда, змеиной лентой на хребте Европы ползла колониальная орда, оба потока отсвета земного, бесплотная река иных времён.

И словно оперением жар-птицы, в кострах набегов разметались облака, и пожар заката отделился от зарева взвихрённых гирлянд оазисных фонарей над королевским замком. Заслоны караульных будок вывели нас на армейский штаб, в кущи с фонтанами, клумбами и грядами подстриженных секирой полумесяца люпинов и магнолий.

— Вам нужен лазарет или банкет? — спросил шофёр, осадив свою трясучую колесницу возле тумбы с дирижёром, воткнувшим шомпол в правый верхний угол нотного листа. — Подзасиделись? Фронтальной синдром, осталось выяснить, работает ли карцер...

И тотчас грянули пронзительные флейты, и грубое славянское “Ур-ра!..” заглохло в мерной поступи охранных рот пехоты.

*Дым черёмухи ползёт в ночной овраг  
на крови и по следам простых бродяг.  
Ну, а вам какое дело?  
Пуля та, что песню спела,  
объяснит кому-то, друг он или враг!*

— Однако журналистика в чести... — молвил сметённый с пути колон и пылью поперхнувшийся Москвитин. — Парад могли бы и перенести!

Эхо оркестра ускакало в горы, и автоматическое, словно на ассирийских фризах, торжественное шествие сомкнутых шеренг распалось по окрестностям Кабула. Впрочем, если не думать, правду говоря, то было построение на ужин.

Выданное наутро солдатское обмундирование уточнило боевые, рождённые в каптёрке у зеркал, планы на август, фирменные планы — с первой строки заглавного листа быть честным, как Лука Евангелист в растрёпанном блокноте! И не расшири ли золотом погоны?

— Нет, — возразил майор политотдела. — Бойцам дух Бонапарта ни к чему. Снайпер заметит — живо нафранцузит!

Так мы попали к чтецам в агитбригаду чеховского МХТ, затем с обозом продовольствия в Газни — узбекский рис, тамбовская мука и киевское

сало, — и далее в ездe на подогретой любопытством ледяной броне по пунктам скомканного списка; за перевалом — пропасть... Что блистает самоцветами на дне? Сточенные штгики британской экспедиции, паучья рама бензовоза или пульс креста в оптическом прицеле, отсчитанный недрогнувшим стрелком... В обрывках памяти все свяжутся узлы.

Заснуть у костра в валунах под механический бред зевающей радистки и вдруг очнуться в отеле “Континенталь” в кулисах балдахина, нащупать под подушкой прохладный пистолет, отречься от обеда и прямо из мраморной ванны с пластмассовыми подделками вызолоченных вентилях перенестись в распяленный на миномётных трубах брезентовый бассейн с парной водой, настоящей на колыхающихся над пустыней звёздах. И на марше утром примерять подаренную десантурой каску взамен тюрбана, пинком отправленного духам за дувал:

— А как же вы без лишней головы?

— А мы найдём другую...

Кундуз, Логар или Герат — где это было? И, свесясь с седла нанятого за персидские гроши прогулочного мула, болтать с рыночными кузнецами, не торгуясь о цене прекрасного кинжала, которым ты будешь вскрывать, слепо уставясь в законный мрак Арбата, кромсать конверт с прозорливой воужбой Гардезовской, в палатке рассмеявшейся радистки:

*Нет печальнее картины — на штаны излив бальзам,  
креативные кретины хлорку месят по тазам,  
и над Сколковым, вбок скоком, опыляют хромосом  
Дарвин Чарльз с чертополохом и Мичурин с упырём!  
Как слышите, что пишете? Приём, приём...*

И время глушит лязгающий ход мотопехоты и вертолёт, в переломах курса стерегущий обозначенную гарью, рыскающую в скалах трассу, оправленную чеками рисовых болот, где восставшие илоты не сдаются, вымаливая у Аллаха венец судьбы, достойный вечной славы.

И тянется в ущелье высеченная по шаблону мгла дымной завесы солнечного диска, скошенного на вираже форсажем его рваных в рубке лопастей. Что обещает истуканам Бамиама борт с номером Баграмского полка? Подранок обязательно найдётся...

*По своим метелям тьма разведена,  
белый свет поделим — кончится война.*

Ещё осталась в ранце фотоплёнка и холодок в груди: прощай, Гардез...

В Логаре изрытый траншеями гребень холма со штабными блиндажами немо торжествовал. Мятежники ушли из муравейников в киризы, в ад свой, и на картах между синих стрел в мире уживались розовые пятна.

— Алювий и деловий, — втоптал Москвитин в бруствер мундштук трофейной, добытой у саперов эквадорской сигары, — полный комплект осадочных пород.

Правила поведения в окопах не позволяют бестолку сорить.

— Взгляните в перископ, — предлагает начальствующий за спиной неведомо чей голос. — Что скажет русская литература на предмет отвода сухопутных войск? Море забот, сэ нон э веро, э бен тровато.

Мы обернулись — рядом никого, лишь семь полковников за мохнатой сеткой в солдатских буплатах вылавливали из наушников радиоволны, насыщенные хаосом шипящей тишины. И глубоко внизу, на плоскости гигантской котловины, упорядоченно заполненной шпалерами танков, тральщиков, самоходок и монстрами артиллерийских тягачей, вяло догорали предзакатные малиновые костры. Жгли снарядные ящики, но мерещились в отпотевших окулярах стрел кремниевые наконечники и бронзовые топоры...

Наконец в слезящихся линзах искры отпелели, или сигнальные ракеты согласованной расцветки разметались над ареной сонного вулкана, и сороковая армия стала отходить, будто распяленная скрепами воловья шкура, тор-



ба сыромятная выворачивалась наизнанку и сдувалась. Тысячи моторов на регистрах воющей волынки свелись в органичный зуд, и враскачку, хлопая потасканными тентами прицепов, уполз в распадок тыловой обоз, подгоняемый бронетранспортёрами с пехотой, промчался дивизион пушкарей и арьергард кивающих стволами на ухабах приотставших танков. Мелькнули за штриховкой дальномёра пешие стрелки охраны с винтовками, обмотанными разлохмаченным тряпьем, и на запоздалом старте мотоциклист, заливающий в бак бензин и озирающийся на командные высоты. Когда прикрытый тойгой из ивановского кнопа он закурил и удалился, долина опустела.

— Не поздно ли выступить и нам? — спросил Москвитин.

— Догоняйте, — последовал приказ, и прихватив рогатую улитку с треногой в коленкоровом чехле, мы углубились в расщелину с тропой в терновнике.

На чьей ладони Парки довьют веретено, всеведущему Богу безразлично...

Внизу у заведённого Т-72 главком Кондратьев, старший генерал, кормил из котелка свою овчарку:

— Чуй духов, Ника, чуй.

— Так она видит, что свои, потому и не рычит.

— Ну, ладно, ладно. Загружайтесь.

О, гусениц скользят подковы, стальные с перезвоном стремяна! И в сёдлах из одеяльных скаток, холодный расстегнув бронезилет, плыть бы и плыть сквозь зыбь пустыни, в семи кругах, распластанных луной.

*Ну, а если, а если  
допёт пуля песню,  
честь и долг — наша слава,  
пропасть слева и справа.  
Ах зачем, я не знаю,  
пыль звенит ледяная,  
посмотри на небо:  
с нами Бог!*

Следом угасали зрачки бойниц и башенных орудий, снимались у мостов окаменевшие заставы и рассыпались в скобах плитняка вразброс открытые пещеры бастионов. Чьи души там терялись, оставались, теперь ты не узнаешь никогда, под дулами бедуинских карабинов, мечтая от Логара до Кабула добраться до казармы, найти свой угол, выпить водки, и сколько можно — спать, спать...

Мировоззрение на таком скаку меняется мгновенно, но лишь в пределах совершенства с газетной вялостью разрозненных тьмы слов, и Бог здесь никому не верит, на ущербе солнца пружинной поджимая к перевалу сборную колонну, влача из древности пострадавших границ Союз и его шагреневую карту, запавшую на траверз беззвучной тени заблудившегося вертолёта. И в облачении Икара неуязвимый планерист витал над колыбелью серого тумана, сверяя с радиопомехами истоки эха, бряцание внахлёт рессорных рычагов и траковых стержней, скрежет фрикционов и хруст в древесине на спусках катковых шин, шквалы трассирующих зарниц в кимвалах отдалённых перестрелок и спорадические хороводы в жажде зрелищ закамуфлированные под нукеров Ахмат-шаха огородных жаб, брыкающихся в ложах из маисовых стеблей.

— Музыка движенья, услышь концерт, Аллах! — переждав визг самодейтельной трёхдюймовой мины, запущенной из аула за оскаленной грядой, разговорился Москвитин. — Мажор мой глух, минор совсем контужен.

— Если понадобится, запоёт и Бах, — откликнулся Кондратьев.

— Продлите нам командировку до Фиалты. Доскачет до индусов Буцефал? Здоров ли Македонский?

— По мне так лучше в Ялту по асфальту. Генштаб на Фрунзенской сосредоточился на обороне, траву жуют соломенные кони...

Мой Бог, они ещё смеялись! Куда вела в извилинах дорога, где залегла страны моей стрела? Путь её необычен, и спутница она неверная, обычно

венная измена с кинжалом в спину зрела в льдах Саланга, в белых тюльпанах с коричневыми пчёлами, пьющими яд и мёд на пике февраля. Над Волгой спят прозрачные метели, и мы уйдём за листьями в метель.

*Никто не знает часа. Но когда  
растает снег, и в грудах изумрудных  
прильнёт к груди колючая звезда...*

Сентябрь не может продолжаться вечно, оглянешься — все ведьмы в ступах и потные балерины в пышных пачках отплясывают свой канкан балаганного репертуара, во весь свой с лунной изнанки опилками декорированный лживый экран.

Мораль от Лафонтена вытоптана — в баснях!

Опять в повивальной книге судеб отметится аэродром, притихший после рейда лагерь ВДВ, хутор хозблоков и шатёр под шифером, уют отпускиков и пилигримов ГРУ. Гул в улье упарился, и никто уж не маршировал гусиным шагом перед завалинками медицинского барака с медсёстрами в туго расправленных на коленях юбках. Зря разбухала сочная малина, не проникал под сердце холодок из ниоткуда — о Союзе грезил караван-сарай.

Утром туман спустился с гор, будто раскуривая кальян с махрой из дряблой конопли, или сверкнули сточенные басмачами плоские штыки — и рейс Антея придержали.

Москвитин донимал аккумуляторчиков спиритическими сеансами с преобразованием жидких сред в устойчивую фазу:

— Итак, закладываем в бак ведро забродившей сахарной свёклы, включаем примус, и через 22 минуты вместо дистиллята на выходе получаем средство для расширения сосудов. Хотите — пробуйте.

— Неужели спирт? Можно ли использовать другие овощи?

— Да нам хоть фрукты. Что в химии главное?

— Продуть змеёвике!

Уж солнце воздвигало эшафот в привратничкой рабочей зоне, и жестянщики правили киянками зазоры, источая пот лица над покровом трафаретного железа, когда из размашистого веера тепловых ракет свалилась, впилась когтями в гравий пучеглазая, с латаными рёбрами стрекоза. Скинулся трап, и стремительный майор вразинку обежал квадрат забора, ошибочно козырнул и аккуратно, словно игрушечную бомбу, извлёк из подсумка мятую гильзу ДШК:

— Прошу оформить сдачу и приём по форме вот такого документа, — и встряхнул на ладони капсулу с комком золы. — Думали, он живой. Дотронулись — рассыпался...

— Просто пепел? — протрезвел Москвитин. — Начальникам видней.

— Не понимаю, как он вытолкнул меня, — подошёл второй пилот, — и рука, чёрная без перчатки, тыкает в плечо: “Я догораю, догораю...” Кругом огонь, и больше ничего!

Не видел он ни пережатой смуты в лощине ледниковой балки с пеной остановленного перекатами ручья, ни сам ручей под настом обгоревшей ежевики, голой глицинии и пунцовых в саже тускорор. Не слышал осторожного подхода повеселевших после спуска на канатах Бамамских егерей, их вздохов перед дюралевым скелетом осевшего в канкане вертолётца, распятого крещением лопастей. “Топливо на нуле”. — “Эрэсов в гнёздах нет?” — “Огненный ангел...” — “А кому-то Зевс”. — “Потянуло к бесам”. — “Сам нарвался”.

На другом берегу в вязаных и по-басурмански закатанных на лбах берегах стихали, склонясь над перламутром замасленных волн, устилали колыбель свою длинными до пят рубахами безмолвные абреки. Они лежали, обнявшись, словно братья, с тубусами разряженных гранатомётов и упиливались алой тьмой в рябой воде, заполненной золотой и сказочной форелью.

— Что они искали? — Вспомнились вдруг немецкие каникулы, лес, озеро и облака, и лодка над косяками невозмутимой рыбы, тускнеющей у береговой черты.

— Ростов загружен, — отдал майор портсигар с лебединым клином в оттиске мельхиоровых небес. — Заменяем адрес? Бланк есть.

Крышка отомкнулась, и время ослепляюще поджалось, изморозь проявилась в оперении пропадающих без вести оранжерейных пальм в чужих садах, в испелённых глазах. Фотография, сложенная по линии надрыва пополам, зияла глянецом. Имена не совпадали?

— Сделаем, как надо, — наобещали сварщики, разлив по кружкам лиловый спирт, — стружек добавим, гильзу запрессуем. Пусть успокоится его душа.

— Должно стать, в замысле Создателя пристроен мир, а не травля или спокон веку двухсотая война, — обошёл Москвитин кордон смоляных, складированных для просушки досок. — Колодец не имеет дна. Где же тогда здесь русская дорога?

*Они проходят в сумерках заката,  
одни среди теней воздушных ив,  
и слышится утерянный когда-то  
далёкий и навязчивый мотив.*

*И снится нам, и видится порою,  
глядя в окно, в узорах серебра  
исчадьё это, чудо неземное  
на чёрных крыльях звёздного костра.*

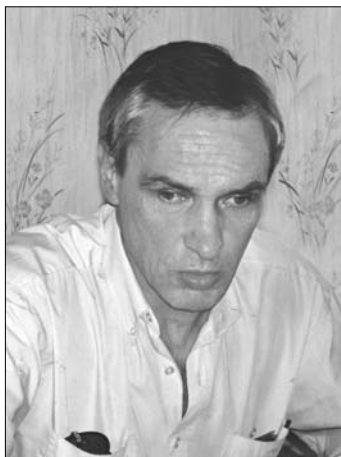
Кабул притих, за эмалью лакированных дворцов пропали бедняки, фарисеи и купцы, и в шпильях с гребнями лун запутался вздох метели. На свободной полосе создалось оживление, осой ветрепенулся конус ветряка, прошмыгнул озабоченный заправщик, и проволокалась в вихрях забвения водовозка, вознося на дугах радуг дождь, снег, ложь...

И потянулись к трапам советники и прорицатели Главпура, атлеты и атланты ГРУ, отпускники и казначеи, лекари и маркитанты, толмачи и музы агитбригад, подранки обречённого Союза, великий и немой бесценный груз.

Моторы захлебнулись воем, и на трёх столбах караульной вышки, закованный в стальные латы, махнул рукавом кому-то вечный солдат.

И тает удаляющийся гром, гаснет в снегах тоннельный зев портала, и светится фанерная пластина — печать, повестка уходящим в детский дом.

ЛЕВ КОТЮКОВ



## НО Я СЕЙЧАС — НЕПОБЕЖДЁННЫЙ...

### ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Хватит домыслов разных!  
Набрехали сполна...  
Нам навек этот праздник  
Подарила война.

Гул крылатого света —  
Громоносный обвал!..  
Нам с войной праздник этот  
Сам Господь даровал.

Даровал Свою Ярость  
На последнем краю,  
Даровал, чтоб равнялись  
На Победу свою.

И пред силою адской  
Дал нам Веры Святой.  
И не зря рядом с Пасхой  
Этот день золотой.

---

*КОТЮКОВ Лев Константинович родился в 1947 году в г. Орле. Окончил Литературный институт им. Горького. Автор более тридцати книг стихотворений и прозы, лауреат многих литературных премий. Живёт в Подмосковье.*

До конца и без меры  
Нас Господь одарил...  
Нет Победы без веры!  
Веры нет без могил!..

## ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ

*Летят перелётные птицы  
В осенней дали голубой...*  
Михаил Исаковский

Пора с этой жизнью проститься,  
Но слышу во тьме ледяной:  
“Летят перелётные птицы  
В осенней дали голубой...”

Летят перелётные птицы,  
Летят в неземные края,  
И скопом последние листья  
Уносятся в дым октября.

Листва отлетает с откосов.  
Дрожит золотая межа.  
И словно бессрочная осень,  
Себя повторяет душа.

Душа, словно осень, без края.  
И что ей родная страна?!  
Она в этом мире чужая,  
Она только Богу нужна.

Взлетает душа одиноко  
За вольными птицами в высь...  
И, может, узнает до срока  
Зачем ей бессмертная жизнь?..

Я знаю, что всё повторится,  
Но все не вернутся назад...  
Летят перелётные птицы,  
И листья, как птицы, летят.

Во тьме — перелётные птицы,  
В огне — неземная стезя...  
Нельзя с этой жизнью проститься,  
И с Богом проститься нельзя!

## СЕГОДНЯ

Дверь кому-то впотьмах открываю,  
Но встречать никого не хочу...  
И, как пень, головою киваю,  
И согласное что-то мычу.

И, томясь в напряжённом согласье,  
Улыбаюсь незнамо чему...  
Но своё ожидание счастья  
Не хочу отдавать никому.

И во тьме, на обрыве дыханья,  
Уходя по забытым садам,  
Не отдам никому ожиданье  
И разлуку вовек не отдам.

Остальное — кто хочет! — берите!  
Всё берите, без счёта, как есть...  
Только в двери мои не стучите —  
Я сегодня — не там и не здесь...

Я за всё только Богу отвечу!  
Я сегодня в себе наяву!..  
И разлуку храню, будто встречу,  
И разлукой, как встречей, живу...

### НЕПОБЕЖДЁННЫЙ

Колоннами, как на войне,  
Из сумрака выходят сосны.  
И словно знамя на холме,  
Над облаком трепещет солнце.

И в поле светится жнивьё,  
И реет знамя надо мною,  
И вечный свет берёт своё  
В сраженье с бесконечной тьмою.

И прочь, тоска небытия!  
И здравствуй, мир преображённый!  
Пусть нынче победил не я,  
Но я сейчас — непобеждённый...

Я верю вновь земным словам,  
Презрев все неземные беды,  
И миг сей вечный не отдам  
За все грядущие победы.

\* \* \*

Я знаю, что прельстив сердца,  
В кулак собрав  
  все скверны мира,  
Царь бездны будет до конца  
Владыкой тёмного эфира.

Но знаю: нет небытия,  
И верю в Истину Завета.  
Но жизнь моя, как не моя,  
Как пустота, без тьмы и света.

Внимаю числам, точно зверь,  
Но не число с числом сойдётся,  
А жизнь исчезнет, словно смерть,  
И словно смерть —  
  ко мне вернётся...

\* \* \*

Где лица родные?!  
Все в Боге навек!  
И падшее не что  
И сгинет в последнем

Где светлые лица?!  
И навеки во мгле.  
в ничто обратится —  
Вселенском огне.

Но век беспощадный  
И тайны последней не ведает век:  
Что жизнь обратится  
Что время в любовь

погряз в круговерти,  
не ведает век:  
в живое бессмертье,  
обратится навек.

И в страшных аллеях  
Вдруг вспомню,  
И жизни не жалко,  
Но жалко погибших навек

полночного парка  
как пели во тьме соловьи...  
и смерти не жалко,  
в нелюбви...

### БЕСПОЩАДНЫЙ ВЕК

Век электронный, беспощадный,  
Воистину небожий век!  
Отвратный, мелочный и жадный,  
Где человек — не человек.

Никто не слышит голос Неба!  
И на Земле, как вне Земли,  
Рабы безумного ущерба  
В грехе свободу обрели.

И бытие без человека —  
Залог бессмертья сатаны!  
И будто сломанная ветка —  
Душа в преддверии весны...

И как затмение — полнолуние...  
И я в отеческом краю,  
В тупом компьютерном безумье,  
В лицо себя не узнаю.

И с верой в неземное чудо,  
И о любви своей скорбя,  
Я сам себя навек — забуду,  
И вспомню вдруг... но не себя!..

\* \* \*

Нас, как бездна, любовь породила,  
Нас, как небо, любовь вознесла!  
И влечёт нас незримая сила,  
И поют ледяные крыла.

И восходят из мрака столетий  
Солнце чёрное с чёрной Луной,  
И уносит нас время, как ветер,  
И выносит на берег иной.

Нас не знает никто, кроме Бога,  
Наши души, как розы, в крови,  
И очнувшись у тёплого стога,  
Мы навеки исчезнем в любви.

И у края бескрайнего лета,  
В тихом сумраке ангельских глаз  
Никого, кроме Бога и Света,  
Никого, никого, кроме нас!..

### СТАРАЯ МЕЛОДИЯ

Где золотые мои вечера?  
Кажется, всё это было вчера.

Берег закатный, тёплое море...  
Кажется, всё это сбудется вскоре.

Где вы, мои вечера золотые?  
Бездна вздымает воды седые.

И не вчера, не вчера, не вчера  
Тьма поглотила мои вечера.

Тьма поглотила, время сожгло,  
Но отчего нынче сердцу светло?

Но отчего шепчут губы сухие:  
— Где вы, ответьте, мои золотые?

— Там, где твоя золотая пора,  
Там, где вовеки не будет вчера...

### ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ

*Моему другу Ивану Переверзину*

I

В незримой тьме глаза закрою,  
И, кажется: схожу с ума.  
Во мне, за мной и предо мною —  
Такая тьма, такая тьма!!  
И мысль подбросит голос ложный,  
Как бы крепя глухую тьму:  
“Всё что я делаю — ничтожно,  
Да и не нужно никому!”



Неужто здесь, в глухой юдоли,  
Господь навек меня забыл?  
Неужто не по Божьей Воле  
Я жил порою, как не жил?  
Но Воле Божьей нет предела,  
И пусть весь мир во тьме лежит...  
Господь простит за то, что сделал,  
Но что не сделал — не простит!

## II

Полночной, немощной порою  
Тьма подступает, словно враг.  
И кажется, — глаза закрою! —  
Она совсем забудет страх.  
И обратится вечной бездной,  
И враз прижмёт меня к стене,  
И всё моё во мне исчезнет,  
Как наяву, так и во сне.

Но всё моё в Господней Власти,  
Мне даже в немощах светло...  
А если сдохну, то от счастья —  
Тупым завистникам назло.  
Что не от Бога — всё ничтожно,  
И наяву, и в тёмном сне...  
И бесконечна Воля Божья,  
Как свет бессмертия во мне.

## СЕРЕБРЯНЫМ ЛЕТОМ

С печалью и болью,  
и в неповторимом —  
Душа обратится  
серебряным дымом.  
Серебряным дымом,  
серебряным светом,  
Серебряной ночью,  
серебряным летом.

Душа не прозреет  
своё отраженье,  
Ведь Промысел Господа —  
в неповторенье.  
И станет навеки  
в пространстве незримом  
Моё повторимое —  
неповторимым.

О, Боже, прости мне —  
моё откровенье,  
Но жаждет душа,  
как любви, повторенья...

## НАСТОЯЩИЙ КЕЙНСИАНЕЦ

*Комментарий к публикации статьи С. Дзарасова*

Американский журнал *Post Keynesian economics* опубликовал концептуальную статью российского экономиста Солтана Дзарасова “Посткейнсианская альтернатива российской экономической системы”. Примечательно, что это единственная публикация российского автора-политэконома в этом уважаемом издании.

Статья Дзарасова содержит девять теоретических тезисов, доказывающих несостоятельность неолиберального мейнстрима на опыте монетаристских реформ в нашем отечестве, равно как и бесплодность англосаксонской модели капитализма, перенесённой на российскую почву. Вывод автора: “Единственный в истории прецедент создания рынка и капитализма по чертежам либерализма провалился”.

Солтан Сафарбиевич Дзарасов – человек удивительной судьбы. В молодые годы выпускнику экономического факультета довелось возглавить отстающий колхоз в родном осетинском селении Чикола, а в зрелые – по-английски читать лекции в университете Кембриджа.

Солтан Дзарасов – из “последних могикиан” отечественной политической экономии. Автор прагматичного проекта конвертируемости рубля, получившего одну из первых премий конкурса Фонда Ферса (1989). Известный американский предприниматель-филантроп привлёк к мозговому штурму сотни экономистов, приславших свои проекты из разных стран. Увы, в атмосфере “перестроечной” стерилии проект Дзарасова не был востребован. Весь содержательный “банк идей” Фонда Ферса оказался обузой “новомышленцам” Старой площади. Мнимые их оппоненты из “демократов” тоже были себе на уме. В “Известиях” и других “прогрессивных” СМИ инициатива “стороннего” фонда и компетентность жюри конкурса во главе с Нобелевским лауреатом Василием Леонтьевым были ошельмованы записными “рыночниками” как “уличными”, так и с академическими званиями.

По иронии судьбы, впоследствии прорвавшаяся во власть ватага “младореформаторов” – служек *Вашингтонского консенсуса* – сподобилась одним махом убить рубль и разрушить доставшуюся в наследство от СССР денежно-кредитную систему.

По мнению многих коллег-экономистов, Солтан Дзарасов воплощал присущий отечественной традиции склад личности учёного, для которого совесть, убеждения и свободомыслие – ценности, которыми нельзя поступиться. Неспроста вместе с видными интеллектуалами демократических убеждений Дзарасов создавал “Московскую трибуну”, которая на заре перестройки была у всех на слуху. Символ веры идеологов “Московской трибуны” – идеи конвергенции как способа выхода противоборствующих сверхдержав из тупика ядерного “равновесия страха”. Концепция конвергенции исходила из необходимости и гипотетической возможности сближения двух конкурирующих общественных систем. В сфере экономики подразумевалось соединение сильных сторон рыночного и планового хозяйства. Среди поборников конвергенции были выдающиеся экономисты Джон Кеннет Гэлбрейт и Станислав Меншиков.

Однако в реальности изнанка *большой политики* оказалась слишком непрезентабельной. Верх одержали вероломство, политиканство и ренегатство... Солтан Дзарасов оказался единственным из известных авторов политических памфлетов “культового” сборника “Иного не дано!” (1988), кто решительно размежевался со вчерашними сподвижниками. Сахаровский “социализм с человеческим лицом” обернулся фантазмагорией воскресшего на российской

почве мрачного “манчестерского капитализма”, меж тем как идеи конвергенции куда-то улетучились.

“Западнизм”, по определению Александра Зиновьева, ненароком стал новым исповеданием расстриг из цэковской партноменклатуры. Соблазны “общества потребления” восторжествовали над идеализмом “шестидесятников”. “Адам Смит шагает по Москве” — ярмарочный завлекательный посыл американской идеологической интервенции нарасхват. Янки при дворе царя Бориса распоясались не на шутку, ловко переставляя ноги “младореформаторам”.

В Белокаменную нагрянули, к восторгу неофитов, “либерализм” и химерические идеи “свободного рынка” в духе Августа фон Хайека. Благие порывы горбачёвской “перестройки” оказались осмеяны и позабыты. Бывшие партийные издания и академические институты под конец смуты впали в раж антикоммунизма. И великая страна пошла в разнос... Вчерашние ревнители марксизма наперегонки перебежали на сторону нового буржуазного “мейнстрима”.

Горская пословица гласит: в чьей арбе едешь, того песни и пой. Напротив, Солтан Дзарасов шёл своей дорогой. Он зорко распознал идеологическую подмену, профанацию рыночной реформы и гибельные последствия *Вашингтонского консенсуса*. Задолго до августовской катастрофы 1991 года учёный предупредил, что дело идёт к сносу не “тоталитарного режима”, а самой государственности. И снова очутился в “еретиках”, на этот раз в стане “демократов”, справлявших тризну по “Капиталу” Карла Маркса.

Антикоммунистический переворот 1991–1993 годов на острый, пронизывающий взгляд Дзарасова-экономиста, явился не чем иным, как “восстанием криминального сектора (“теневики”) экономики СССР, переживавшей кризис, против государства”. Остриём он был направлен не только против плановой экономики, а именно против государства! Нелицеприятную правоту этого обличения оспорить мудрено. И впрямь восстановление институтов российской государственности даже сегодня, после крымского разворота, далеко ещё не завершено...

В одной из своих научных работ Дзарасов по-своему определил сущность ельцинизма, назвав его анархо-либерализмом. Ущербное “институциональное” наследие этого исторического зигзага не изжито, несмотря на державную риторику Кремля и прочие строгости “властной вертикали”. Государство в нынешнем его состоянии не “исполнительный комитет буржуазии”, а скорее совокупность вотчин “сырьевиков”, банкиров с их ростовщической маржой и бенефициаров пресловутой “административной ренты”. По жёсткому определению Дзарасова, это и есть образчик “периферийного капитализма”. Такое незавидное, навязанное России место в мировом разделении труда несовместимо с идеей развития и модернизации экономики.

В Кембридже — оплоте британских неокейсианцев — профессор Дзарасов на протяжении ряда лет участвовал в научных дискуссиях экономистов, занимающих позиции по ту сторону либерального мейнстрима на Западе. Труды Маркса, Кейнса, Калицкого — первоисточники теоретических построений Дзарасова, глубоко и нелицеприятно осмыслившего и противоречия советского социализма, и сокрушительные последствия неолиберальной псевдореформации новой России. Его выстраданные, неотразимые девять тезисов статьи в американском посткейнсианском журнале созвучны мыслям многих наших соотечественников, чуждых ультралиберальной, лукавой и беспомощной “казённой” ортодоксии.

“Куда Кейнс зовёт Россию?” — название последней книги, вышедшей при жизни Дзарасова, макроэкономиста и публициста. Она написана на злобу дня, но содержит глубокие и недвусмысленные выводы и уроки из безвременья 90-х и обольщений “тучных” нулевых.

Солтан Дзарасов длительное время возглавлял кафедру политической экономики Российской Академии Наук. На этом поприще он последовательно отстаивал и творчески развивал идейное наследие экономической школы Московского университета. Теоретические основы её создал его наставник Николай Александрович Цаголов. Выдающийся учёный, но широко известный как автор “Курса политической экономики”. Не одно поколение студентов экономических факультетов постигали марксову теорию стоимости по этому учебнику. Н. А. Цаголов подвергался неистовым нападкам догматиков от марксизма, уличавших его в “ревизионизме”. На самом деле учёный всецело посвятил себя поиску “экономической клеточки социализма” подобно тому, как Маркс раскрыл природу товарного хозяйства и прибавочной стоимости

при капитализме. Цаголов ратовал за разработку “зрелой” политэкономии социализма в коренном отличии её от “описательной”, безмерно идеологизированной. Теоретические поиски Н. А. Цаголова опередили его время...

Солтан Дзарасов продолжил дело своего учителя в новых исторических обстоятельствах, когда “Капитал” Маркса, по сути, был вытеснен из образовательных программ. Увы, заёмный, вульгарный рыночный фундаментализм, который Джон Гэлбрейт в насмешку прозвал “выгодным верованием”, причинил немалый урон экономическому образованию в высшей школе. Чтобы восполнить этот урон, отстоять достоинство и достоверность научного знания об экономике, Дзарасов задумал и написал новый учебник политэкономии. В нём изложены современные концепции мировых экономических систем и научных школ. Завершённая рукопись труда учёного-подвижника ещё ждёт своего издателя.

Солтан Дзарасов и в преклонные годы сохранял остроту ума и полемический дар. Судьба распорядилась так, что в последние часы своей жизни он участвовал в острой дискуссии коллег-экономистов в стенах Государственной Думы. И вновь отстаивал свою непреклонную позицию, альтернативную “либеральному” мейнстриму.

Девять основополагающих тезисов, которые Дзарасов опубликовал в журнале американских неокейнсианцев, воспринимаются так, словно они написаны сегодня, хотя прошли годы.

Солтан Дзарасов досадовал, что “Трактат о деньгах” Джона Мейнарда Кейнса до сих пор не переведён на русский язык. Неокейнсианство, развитое и влиятельное на Западе направление экономической мысли и политики, в сегодняшней России находится в тени. Не ко двору оно пришлось тем, кто вверг экономику в очередной кризис, и не чают они, как из него выбраться...

Когда читаешь книги и публицистику Солтана Дзарасова, подмечаешь, что он не стремится непременно обратить самостоятельно мыслящего читателя в свою веру. Он всегда был привержен научной этике, присущей настоящим неокейнсианцам. Вот он и предлагает нам рассудить по-своему, самостоятельно осмыслить и разрешить дилемму: *“неолиберальная ортодоксия настолько лучше (или хуже) марксистской ортодоксии, насколько советский социализм лучше (или хуже) сложившегося у нас капитализма”*.

**Валерий Бадов, Владимир Попов**

## СОЛТАН ДЗАРАСОВ

# БАНКРОТСТВО ЛИБЕРАЛИЗМА, “КОТОРОМУ НЕЧЕГО СКАЗАТЬ”...

*Посткейнсианская альтернатива российской экономической системы*

### I.

В декабре 1971 года на 84-ой ежегодной встрече Американской ассоциации экономистов известный профессор Кембриджского университета (Великобритания) Дж. Робинсон выступила с докладом на тему: “Второй кризис экономической теории”. Она утверждала, что неспособность предсказать и объяснить Великую депрессию 1929–1933 годов показала **первый кризис** экономической теории, а тогдашняя (имелось в виду начало 70-х годов) неспособность неолиберальной (неоклассической) ортодоксии постичь ход и перспективы современного общества кладёт начало **второму кризису**. “Вероятно, это приведёт к кризису т. н. экономики свободного предпринимательства”.

тельства... Я говорю об очевидном банкротстве экономической теории, которой во второй раз нечего сказать по вопросам, в ответах на которые все, за исключением экономистов, нуждаются самым настоятельным образом” (J. Robinson, 1972, p. 9-10).

Годы спустя то же самое утверждал другой известный представитель посткейнсианского направления – американский профессор П. Давидсон – в работе 1990 года. Его предсказание оказалось пророческим. В наши дни очевидна ответственность неолиберальной ортодоксии за то, что теорией общего равновесия и так называемой “оптимальностью по Парето” она закрывала глаза на возможность наступления современного кризиса.

### **Неолиберальная ортодоксия пуще марксистской...**

Однако при всей значимости этих предсказаний, у проблемы “теория – кризис” есть ещё другая, ещё более важная сторона, которая не привлекает внимания западных экономистов. Это последствия применения неолиберальной ортодоксии и модели рынка в государствах бывшего СССР. Нигде раньше капитализм не создавался по заранее разработанным чертежам. Нигде раньше неолиберальная теория не прошла такую экспериментальную проверку, как у нас. Капитализм везде возник спонтанно в начале у одних, затем у других народов. Этот естественно длившийся на протяжении столетий процесс был предметом анализа различных школ экономической мысли, каждая из которых претендовала на то, что именно она наиболее адекватно отражает реальность.

Уникальность российского опыта – в единственном в истории прецеденте создания рынка и капитализма по чертежам неолиберализма. Неокейнсианская теория прошла у нас проверку экспериментом на живом теле экономики. И каков же результат?.. Факты и цифры говорят сами за себя. На мой взгляд, они дают основание для недвусмысленного исторического приговора. **Неолиберальная ортодоксия настолько лучше (или хуже) марксистской ортодоксии, насколько советский социализм лучше (или хуже) сложившегося у нас капитализма.**

Вопрос – ребром. Если вынести его на суд российской общественности, то уверен, что подавляющее большинство скажет, что такого пошиба капитализмом оно разочаровано ещё больше, чем ушедшим социализмом. Вину за постигшее нас горькое разочарование я нахожу в неолиберальной теории. Мы приняли этот залежалый товар лишь из-за обманчиво завлекательной упаковки. Между тем, мировая экономическая мысль чрезвычайно богата и разнолика. За фасадом сомнительных экономических моделей, что рекламируются для сбыта за рубеж, остаются бесценные идейные бриллианты. Чтобы их найти, пытливому уму надо просеять немало теоретической “руды”. К сожалению, в России эту нелёгкую работу над альтернативной экономической теорией никто не финансирует. Её приходится вести на свой страх и риск учёным, движимым профессиональным интересом и чувством гражданской ответственности.

Наряду с сохранением всего лучшего из творческого наследия советской политекономии, нам следует более разборчиво подходить к тому, что принимать из мировой науки. Имеется в виду экономическая теория, отвечающая интересам не только олигархической верхушки, но и всей страны и всего народа. Таковым мне представляется **посткейнсианский подход**. Разумеется, он будет продуктивен лишь при условии дополнения его отечественными разработками, обобщающими наш собственный опыт.

В советской практике государственного регулирования и планирования было много негативного, но, как теперь ясно, – и немало и позитивного. Требуется работа, подобная той, которую в агротехнике принято называть “районированием сорта” – приспособлением его к иным почвенно-климатическим условиям. Российская почва глубоко отлична от англо-американской, следовательно, приспособление посткейнсианства к нашим условиям является серьёзной самостоятельной проблемой, которой и посвящена данная статья.

### **Рай находится за углом...**

Финансово-экономический кризис лета 2008 года свалился на нас как снег на голову. После того как с помпой проводились либеральные реформы, породившие ожидания райского будущего, его мало кто ожидал. Ведь ложным

был признан путь планового ведения экономики, а переход к рынку был объявлен благом возвратом России в лоно западной цивилизации. Кризис в таких условиях был исключён.

В начале 90-х годов растерявшиеся после краха коммунизма правительства постсоветских государств обратились за помощью в проведении экономических реформ к администрации США и МВФ. Наставники неофитов либерализма в правительстве Ельцина предложили нам неолиберальную концепцию реформ, которая должна была гарантировать быстрое достижение западного уровня экономического развития и уровня жизни.

Дело было передано в руки заместителя министра финансов США Лоуренса Саммерса. Под его началом был предпринят крестовый поход ортодоксии в наши страны. В Россию была направлена армада западных “миссионеров”, мало знавших о её экономике, но исполненных решимости обратить нас из плановой в рыночную “веру”. При этом *крестоносцев новой веры* мнение российских граждан, их согласие или несогласие расстаться со своими правами нисколько не интересовало.

Прыжок к англо-саксонской модели рынка в гигантской стране с разнообразными условиями, народами и расами, веками жившими без развитых рыночных традиций, было решено совершить одним махом в считанные дни (программа “500 дней”). “Прыжок” через воображаемую пропасть получил кодовое название “шоковой терапии”. На поверку эта авантюра означала насильственный способ утверждения рынка по принципам *laissez-faire*.

Возражения, что навязывание не подходящей нам модели экономики, да ещё с такой заполошностью приведёт к плачевному результату, встречались в штыки и отвергались как проявление марксистского догматизма. Ссылки на опыт кейнсианского регулирования экономики в первые десятилетия после войны, заглушались барабанным боем пропагандистской кампании, в которой рынок изображали волшебной лампой Алладина, способной в кратчайший срок поднять экономику и благосостояние народа на самый высокий уровень. Будущее рисовалось так, что рай находится буквально за углом. Чтобы оказаться там, уверяли публику, особого труда не нужно, кроме как отказаться от всего советского наследия — идей, традиций, ценностей, сбережений — и без оглядки уверовать в либеральные рыночные премудрости.

На Западе либерализацию России изображали как искупительное цивилизованное благо. При этом напрочь игнорировалась совместимость “либерализма” самого крайнего толка с культурно-историческими основами страны. Дело в том, что в отечественной культуре нет традиций цивилизованного рынка и частного предпринимательства, и это наложило свой отпечаток на то, как мы оценивали существовавшие у нас институты. У нас глубоко укоренилось отношение к общественной собственности как к неприкосновенной основе общего блага. Всякое посягательство на неё считалось преступлением. Рядовые граждане были шокированы тем, что спевшаяся с криминалом бывшая советская бюрократия беспардонно растаскивала то, что вчера мы все вместе считали неприкосновенным. Нужно было решиться на Великий Отказ и без оглядки уверовать в него.

Что уж там, мы всегда завидовали западной демократии и хотели создать её у себя. Но это никак не относилось к частной собственности — её мы отвергали как зло. Все оппозиционные группировки внутри правящей Коммунистической партии возникали с требованиями демократии. Диссиденты брежневского периода требовали соблюдения конституционных прав граждан. А. Сахаров говорил о необходимости конвергенции двух систем, соединении советского планирования с западной парламентской демократией. Но никто не требовал восстановления института частной собственности. Лишь в разгар “горбачёвской перестройки” это требование уже проклюнулось. Но никто не мог себе представить, чтобы созданные трудом многих поколений богатства росчерком пера одного сидящего в Кремле самодура могут быть отданы кому попало. Общественное мнение стало прозревать... Российский парламент был расстрелян в октябре 1993 года. Именно потому, что демократически избранные представители народа воспротивились криминальной приватизации.

Российские олигархи, всего несколько кланов, прибравшие к рукам национальное богатство России, — это совсем другой социальный типаж, нежели те частные собственники, о которых писал И. Шумпетер как о новаторах

и “движителей прогресса”. В итоге их почти двадцатилетнего хозяйничанья российская экономика оказались в трясине самого глубокого и длительного кризиса за всю свою историю. По признанию одного из новых собственников обвальная приватизация, национальная экономика их интересовала не более, “чем поле для охоты и сбора трофеев”.

### **Морок Вашингтонского консенсуса**

В последнее время либеральные масс-медиа и целый сонм прислуживающих олигархии экономистов предприняли новую атаку на общественное мнение, оправдывая “прекрасные и мучительные лихие 90-е”. Дескать, грехи отчаянных голов–реформаторов” искуплены, национальные преобразования наконец-то принесли плоды. Эта концепция начисто лишена оснований. Практика показывает разительный контраст между динамикой экономического роста стран, принявших условия *Вашингтонского консенсуса* (Россия, Украина, Грузия, Киргизстан), и стран, которые не приняли эти условия, а пошли по пути разработки и осуществления собственной модели развития (Китай, Индия, Вьетнам).

Мы отмечаем стремительный подъём экономики стран, развивающихся в рамках альтернативной нелиберальной модели. Так, к 2007 году по сравнению с 1990 годом ВВП вырос в Китае в 3,5, Вьетнаме в 3, Индии 2,4 раза.

Возникший у нас капитализм внешне сходен с оригиналом, но глубоко отличается от него приобретёнными свойствами. Он носит ярко выраженный мафиозный характер. Созданные на пустом месте частные собственники никаких предпринимательских, а тем более новаторских талантов не обнаружили. Наши нувориши выказали проворство в искусстве махинаций и насильственных способов захвата чужого добра. Они чуждаются западных ноу-хау в менеджменте, им более по душе то, что называется “авантюрный бизнес” (gamble business).

Конечно, в России тоже есть честные предприниматели, трудом и смекалкой поддерживающие бизнес и законно получающие свой доход. Но число их невелико. В основном же крупные российские фирмы – государства в государстве, над которыми федеральный центр имеет ограниченный контроль. Происходящее внутри ограждено от внешнего мира железным занавесом. Каждая крупная фирма имеет вооружённую охрану, похожую на дружины средневековых феодалов. Много раз мы были свидетелями насильственных захватов вооружённой охраной олигархов имущества других компаний, которые прикрывались фиговым листком купленного за взятку судебного решения.

Есть ли способ обуздать “дикий капитализм”, выйти в парадигму не грабежа природных богатств, а действительного экономического роста? Да. На мой взгляд, такое средство существует. Сегодня нет ничего важнее, чем альтернативная теоретическая концепция, адекватно объясняющая нашу ситуацию и выдвигающая иную парадигму экономического роста.

### **Во власти “длинношеих жирафов”**

Типичный русский не верит, что собственным трудом можно нажить очень большое состояние, а нетрудовые способы наживы он считает злом. Такова неискоренимая из нашего сознания православная и мусульманская этика. Какие бы благоденствия ни приписывали неолиберальные теоретики’ принципу *laissez-faire*, большинством нашего населения он воспринимается как требование свободы зла и насилия над людьми. Коммунизм нам импонировал тем, что был альтернативой несправедливому распределению богатства в капиталистическом обществе. Коммунизма теперь нет, но мы остались со своим, отличным от западного понимания того, что справедливо, а что нет. В этом, на мой взгляд, причина того, что основанная на неприемлемых для нас ценностях система ведения хозяйства не могла и не может у нас прижиться. Это стало особенно ясно в свете последнего мирового кризиса. На мой взгляд, он явился результатом отказа правящих классов западных стран от кейнсианской модели регулирования экономики и перехода к одиозной практике всё дозволяющего рейганизма и тэтчеризма, вновь восславивших “золотого тельца”.

Следуя устаревшему принципу *laissez-faire*, капитализм не только не способен поддерживать равновесие и стабильность, но будет впадать в состояние постоянной неустойчивости. В *Общей теории* Кейнс утверждал, что определённые различия в имущественном положении людей являются естественными, но добавлял: “не столь большие, как сейчас”. Он подчёркивал необходимость уменьшения таких неравенств и ослабления социальной напряжённости в обществе.

В высшей степени интересно рассмотреть, что побудило Кейнса прийти к этому выводу. Задолго до *Общей теории* эта идея получила фундаментальное обоснование в его работе “Конец лессе фер”, написанной после первого посещения Кейнсом СССР в 1925 году. Помимо встреч в академических кругах, Кейнс имел также в СССР встречи с рядом высших руководителей страны и выступал в советском Госплане с докладом об экономических преобразованиях в Англии.

Как бы теперь ни оценивался советский опыт, он был альтернативой капитализму, и в то время вызывал восхищение многих выдающихся деятелей мира, в том числе из окружения Кейнса: Герберта Уэллса, Бернарда Шоу, супругов Вэбб. Их впечатления впоследствии вылились в английской печати в дискуссию на тему: “Является ли советский коммунизм новой цивилизацией?” Кейнс тоже не мог не задумываться над этим, и ответ его был отрицательным. Свои впечатления от пребывания в СССР он изложил в специальной работе “Близкий взгляд на Россию”. Между этим очерком и написанной вслед за ним “Конец лессе фер” я нахожу непосредственную связь. Кейнс более тонко, чем другие, указал Западу на двоякую опасность, исходящую от советского коммунизма.

“Мы так ненавидим коммунизм, — говорил Кейнс, — что рассматриваем его как религию, а находясь под впечатлением его неэффективности, недооцениваем как религию”. Не могу сказать, насколько сам Кейнс был свободен от такой предвзятости, но опасность для Запада советской практики ликвидации имущественного неравенства, как видно, он в полной мере осознал. Во всяком случае, при чтении его работ этот мотив чётко просматривается. Обобщая опыт русской революции под углом зрения западных интересов, Кейнс писал: “Теоретически, по крайней мере, я не верю, что есть какое-либо улучшение экономики, для которого революция является необходимым инструментом. С другой стороны, мы можем всё потерять методом насильственных изменений. В условиях западного индустриального общества тактика красной революции свергла бы всё население в бездну нищеты и гибели”.

На мой взгляд, этим объясняется решительная позиция Кейнса по щекотливому для капитализма вопросу о распределении национального богатства. За несколько лет до Великой депрессии 1929–1933 годов он образно показал, какую опасность несёт капитализму усиление имущественного неравенства и обострение не этой почве социальной напряжённости. Имея в виду теорию *laissez-faire*, Кейнс писал: “Идеальное распределение производственных ресурсов, которые движутся в ложном направлении, может быть осуществлено через независимую деятельность. Это подразумевает, что не должно быть жалости или защиты для тех, кто направил свой капитал или свой труд по ложному пути. Этот метод выдвижения наверх удачливых охотников за прибылью в ходе безжалостной борьбы за существование, которая отбирает самых эффективных за счёт банкротства менее эффективных. Он не принимает во внимание цену борьбы, а видит только выгоды конечного результата, которые предполагаются всегда постоянными”. Кейнс для иллюстрации своей концепции прибегает к метафоре: “Если целью жизни является обрезание листьев с веток на наибольшей высоте, самый подходящий путь достижения этого — предоставить самым длинношеим жирафам возможность умерить голодом тех, чьи шеи короче”.

Если рынок оставить во власти произвола “длинношеих жирафов”, то процветание одних достигается за счёт гибели других. Таков капитализм по определению. Либеральные теоретики отстаивают, увы, именно такое образно выраженное Кейнсом понимание капитализма. “Длинношеи жирафы” должны иметь волю поживиться сколько влезет, а “короткошеих” можно топтать ногами. Потому-то современные либералы против того, чтобы в джунглях конкуренции кто-то посторонний строил какие-либо приспособления, позволяющие “короткошеим жирафам” получить равный с “длинношеими” доступ к источни-



кам существования. Под этими вмешательствами в стихию рынка подразумеваются государственные и иные институты регулирования экономики в интересах общества в целом. Либералы ожесточены против перераспределения, в особенности – распределения национального продукта.

## II.

### Посткейнсианство за семью печатями...

Главная причина, по которой посткейнсианство, на мой взгляд, заслуживает нашего внимания, состоит в том, что учение это исходит из допустимости иной модели экономики, нежели та, которая известна как англо-американская и рассматривается неолиберальной ортодоксией в качестве классической. Ортодоксия основывается на том, что рисуемый ею капитализм настолько хорош и совершенен, что альтернативы никакой быть не может по определению. Посткейнсианство не считает капитализм настолько совершенным, что в нём ничего не надо менять.

Предвзятости либерального мейнстрима посткейнсианство противопоставляет объективный анализ реальной ситуации. Для этого оно разработало особый экономико-философский подход – **методологию критического реализма**, которой коснёмся ниже. Пока отметим только, что с его помощью посткейнсианство даёт решения, альтернативные как рыночному фундаментализму, так и бюрократическому централизму плановой экономики. Посткейнсианство, таким образом, является теорией Третьего пути. В этом и ценность его в нашем независимом положении.

В *Общей теории* Кейнса обосновывается необходимость регулирования экономики. Ещё большее значение для нас имеет то, что она является невольным признанием **ценности нашего собственного опыта**. В рамках кейнсианского регулирования капитализм заимствовал определённые черты социализма. Своейственному социализму непрерывного роста экономики, конечно, не было, фазы спада даже участились, но перестали быть глубокими (что немаловажно!), а занятость хотя и не стала всеобщей, но по кейнсианским рецептам поддерживалась на необычном для капитализма высоком уровне. На основе повышения доходов населения возросла доля среднего слоя, а стимулирование экономического роста путём накачивания совокупного спроса было общим свойством кейнсианского капитализма и планового социализма.

То, что посткейнсианство сегодня не принадлежит мейнстриму, а выступает его альтернативой, в наших глазах является несомненным достоинством. Во-первых, потому что оно опирается на унаследованный от прошлого богатый теоретический потенциал классической политической экономии; во-вторых, потому что, благодаря своей неангажированности, сохранило способность критически оценивать и наиболее реалистично освещать происходящие социально-экономические явления.

Для понимания потенциала посткейнсианства важно учесть, что, хотя его связь с Кейнсом является так сказать первородной, но в процессе развития оно вышло далеко за пределы наследия основателя. Это стало тем более необходимым, что Кейнс не был до конца последовательным в своём новаторстве. Его трактовка, например, таких важных проблем, как цена и деньги сильно отдаёт духом неоклассической теории.

В этой связи большой интерес представляет данная Бадури оценка вклада М. Калецкого в кейнсианскую теорию: “Отталкиваясь от Маркса, Калецкий не только независимо открыл большинство основных положений кейнсианской теории, но также изложил их с поразительной ясностью вплоть до такой группы проблем, интерпретации которых предпочитало избегать общепринятое кейнсианство. Последнее было удовлетворено той идеей, что государство может управлять экономикой, и распространяло подход с позиций государственно управляемого капитализма, предполагающий сотрудничество, а не конфликт соперничающих классов. В работах Калецкого не было места подобному прекрасному доводу. Он осознавал, что концепция капитализма, основанная на сотрудничестве, была чревата появлением проблем в долгосрочном периоде времени, по мере проявления классовых конфликтов. Он предупредил нас об этом в своей теории политического бизнес-цикла”.

В том же духе высказывается Дж. Робинсон: “Мы теперь имеем основную концепцию долгосрочного и краткосрочного анализа, которая даёт нам возможность связать воедино Маркса, Кейнса и Калецкого и применить это к современной ситуации”.

Преимущества дополнения потенциала посткейнсианства за счёт Маркса и Калецкого стали особенно ясными в ходе развернувшейся в 60-е и 70-е годы дискуссии по теории капитала, которая вращалась вокруг проблем природы прибыли и сущности технологического выбора. В ходе дискуссии посткейнсианцы ощутили себя не только самостоятельным, но и обладающим большим потенциалом теоретическим течением. Известный историк этой школы экономической мысли Дж. Кинг отмечал: “70-е годы были решающей декадой для посткейнсианцев. В те годы они определили себя в качестве отдельной школы мысли с собственной исследовательской программой или парадигмой и выстроили свои силы для прямого столкновения с ортодоксальной теорией”. В самом деле, методология, разработанная посткейнсианской школой, содержит альтернативные решения по коренным проблемам социально-экономического развития. В целостном виде они получили обозначение *критического реализма*. Посткейнсианская концепция характеризуется регулируемым распределением национального продукта, политикой смягчения существующего разрыва между богатыми и бедными, выдвиганием на первый план задачи поддержания высокого уровня занятости и обеспечения каждому достойного заработка и достойной жизни.

Ничего подобного либеральная ортодоксия предложить не может, так как она замкнута в раз и навсегда принятую систему неизменных аксиом. Посткейнсианство, напротив, открыто для притока новых идей и питается различными теоретическими источниками, которые сливаются в единый поток, образующий его потенциал. Большое число учёных разных стран внесли свой творческий вклад в посткейнсианскую экономическую теорию. Однако российских имён в этом списке нет. Посткейнсианство остаётся для нас за семью печатями. За исключением небольшой книги Сраффы, мало какая другая принадлежащая представителям этого направления работа переведена на русский язык. Можно сказать, что пока российские экономисты не знакомы с посткейнсианским направлением экономической мысли.

### Утопия гомо экономикуса

В посткейнсианском экономическом учении имеется большой ряд фундаментальных подходов и положений, которые соответствуют нашим условиям куда больше, чем заимствованные из неолиберальных “святцев”. Поэтому необходимо хотя бы коротко показать, в чём правота и большая уверенность посткейнсианских принципов в сопоставлении с догмами неолиберальной (неоклассической) ортодоксии.

**Первое.** В основе неоклассической теории лежит гипотеза рационального экономического человека – гомо экономикус. Согласно ей, человек обладает исключительными вычислительными способностями и всегда максимизирует функцию полезности. Домашние хозяйства максимизируют стоимость приобретаемых благ, а фирмы – прибыль. Данная теория предполагает, что будущее всегда более или менее предсказуемо и достижимо. На этом, похоже, и покоились наши беспочвенные ожидания лучшего будущего с переходом к рынку.

Посткейнсианство утверждает другое. Будущее характеризуется **фундаментальной неопределённостью**, то есть в основе своей является непредсказуемым. Человек не обладает фантастическими вычислительными способностями и решения принимает между неизвестным будущим и безвозвратно ушедшим прошлым. Стало быть, в лучшем случае решения более или менее приближены к действительности, но не могут быть полностью адекватны ей.

Господство крупных корпораций и ожесточение конкуренции между ними, утверждают посткейнсианцы, изменили ситуацию. Основной целью добродетельной фирмы стала теперь не столько максимизация краткосрочной прибыли, сколько максимизация долгосрочного роста, что существенно меняет стратегию её развития. Аналогии максимизации прибыли посткейнсианство противопоставляет концепцию государства всеобщего благосостояния (welfare state).

**Второе.** Неоклассическая ортодоксия исходит из позитивистской методологии и рассматривает экономику как закрытую систему, связи которой, подобно явлениям природы, носят жёстко фиксированный характер, а потому анализирует её в логическом времени с помощью математически формализованных ограничений и допущений. Вследствие этого неоклассический мейнстрим впадает в виртуальный мир иллюзорных предположений и отрывается от реальности. Неоклассические модели состоят из замкнутого круга одновременных уравнений. В любой момент логического времени будущее предопределено точно так же, как и прошлое.

По методологии же критического реализма экономика рассматривается в историческом времени как открытая социальная система. Связи в ней носят подвижной характер и требуют учёта обстоятельств и времени. Профессор Оксфорда Р. Баскар по этому поводу пишет: “Согласно этой концепции, постоянное совпадение событий не является необходимым и достаточным условием признания действия закона причинности”. Согласно такому подходу, берущему своё начало у Маркса, познание окружающей реальности не сводится к констатации эмпирических фактов, а предполагает раскрытие лежащих в их основе внутренних механизмов. Как мне уже приходилось утверждать в “Кембриджском экономическом журнале”, критический реализм западных учёных очень близок, во многом даже повторяет разработки школы политической экономии Московского университета, возглавлявшейся видным политэкономом Цаголовым. Как показала история ещё раз, в российских условиях социальный конфликт играет столь большую роль, что неолиберальное сведение экономических проблем к техническим факторам сильно уступает традиционному для нас методу социального анализа.

**Третье.** По неоклассической концепции распределение в капиталистическом хозяйстве происходит следующим образом: прибыль выступает как предельный продукт капитала, а заработная плата – предельный продукт труда. Согласно же посткейнсианской концепции, распределение национального продукта определяется соотношением социально-классовых сил и осуществляется не по предельной производительности факторов, а по силе капитала одновременно с формированием цен на товары и услуги. Чем выше власть корпорации над рынком, утверждал М. Калецкий, тем большую надбавку на издержки они устанавливают, а значит, и получают большую прибыль.

Верность этой идеи полностью подтверждается российской практикой. С ростом цен и инфляции правительство борется так, как рекомендует ортодоксия – путём сдерживания денежного предложения, – однако успеха это не приносит. Инфляция всё время измеряется двухзначной цифрой. Почему? Потому что главная причина нашей инфляции не столько в избытке денег, сколько в господстве монополий, которые устанавливают такие цены на рынке, чтобы извлекать максимальную краткосрочную прибыль, а бессильный покупатель вынужден мириться с этим. Так, после снижения мировых цен на нефть ожидали, что цены на бензин у нас снизятся, как это было в других странах. Но этого не произошло, поскольку ни на каком другом рынке нефтяные монополии не имеют такой власти, как у нас.

### **Монетаристы “сливают масло из двигателя”**

**Четвёртое.** Неолиберальная ортодоксия утверждает, что современная экономика так же, как и в эпоху *laissez-faire*, функционирует в соответствии с рыночными сигналами, универсальным носителем которых являются цены. Определяясь соотношением спроса и предложения, они якобы позволяют сопоставлять потребности рынка с возможностями их удовлетворения и, регулируя величину прибыли в разных отраслях, обеспечивают наиболее эффективное распределение ресурсов в экономике.

Посткейнсианство доказательно утверждает, что такой рыночный механизм действует лишь в краткосрочном периоде. Цены в долгосрочном периоде определяются условиями производства, социальными факторами и распределением вновь созданной стоимости между трудом и капиталом, а также между различными группировками капиталистов. В современной экономике лишь меньшая доля цен складывается в результате конкуренции, а в основном они **устанавливаются** ведущими корпорациями по формуле: издержки

производства плюс надбавка, образующая прибыль. Когда меняется спрос, то, скорее всего, меняется не цена, а объём товарного предложения.

**Пятое.** Рыночная экономика, предоставленная самой себе, утверждает мейнстрим, стремится к равновесию и, подобно движению планет по орбитам, развивается по заданной благоприятной траектории. Так что экономика пребывает в равновесии, а всякое вмешательство в хозяйственную жизнь вредно.

Посткейнсианство, напротив, считает, что предоставленная своим внутренним силам рыночная экономика рано или поздно отклоняется от равновесия и вступает в кризис. Путём регулирования экономики государство способно если не исключить, то значительно ослабить негативные последствия кризисного спада.

**Шестое.** Неоклассическая трактовка денег, основанная на количественной теории, предполагает, что они нейтральны и их предложение определяется государством. В противоположность этому, посткейнсианцы считают, что природа денег имеет эндогенный характер. Этот подход вытекает из понимания денег Дж. Кейнсом как института, страхующего благосостояние индивида перед лицом неопределённого будущего. Посткейнсианцы развили антилиберальный потенциал кейнсианского подхода, создав целостную альтернативную теорию. Их природа трактуется как эндогенная, то есть внутренне присущая экономике. Спрос на деньги рассматривается как порождаемый финансовыми потребностями фирм, вытекающими из их инвестиционной деятельности. Для финансирования капиталовложений выпускаются долговые обязательства и предоставляются банкам. Последние создают кредитные деньги, чтобы покрыть потребности бизнеса. С этой точки зрения, остроумно заметил посткейнсианец Рейнольдс: "...пытаться уменьшить инфляцию, ограничивая предложение денег, это всё равно, что пытаться притормозить автомобиль, сливая масло из его двигателя. В конечном счёте, это может сработать, но какой ценой!"

Этот саркастический довод вполне подходит к оценке негодных методов "монетаристов", заправляющих в российском Минфине и Центробанке.

Крайне негативный скандальный монетаристский раж российских властей вызвал отповедь даже со стороны самого Милтона Фридмана, который протестовал против отождествления политики российских властей с его учением (Friedman, 1999). Тем не менее, урок истории (если таковой вообще существует) в данном случае вполне очевиден: предложение денег носит эндогенный характер. Если бы это посткейнсианское положение было вовремя усвоено нашими властями, значительный ущерб нашей экономике мог быть предотвращён, и бремя нашего народа могло бы быть во многом облегчено.

### **Дурной сон олигарха: контролируемая собственность**

**Седьмой.** Особый интерес для нас представляет концепция децентрализованного (индикативного) планирования, предложенная американским учёным А. Эйхнером. Он сформулировал стоимостное условие роста, под которым понимается группа цен, возмещающих стоимость как текущих издержек, так и издержек расширения. Таким образом, совокупность надбавок на издержки определяет распределение в экономике инвестиционных ресурсов и величину совокупного спроса. Вот почему необходим социальный контроль над крупным капиталом. Он осуществляется в форме индикативного планирования. В странах Запада отраслевые плановые комиссии, объединяющие представителей государства, управленцев фирм и профсоюзов, образуют основу этого механизма. Их целью является согласование таких ключевых параметров экономического роста, как **цены, заработная плата и инвестиции**. Правительство сводит вместе и обеспечивает макроэкономическую сбалансированность планов и решений отдельных компаний. В качестве вознаграждения за подчинение "плановой дисциплине" корпорации получают различные существенные привилегии, такие, например, как благоприятный налоговый режим, льготные кредиты, помощь в подготовке персонала и т. д.

Современный российский опыт не оставляет места для механизма спонтанной конкуренции, что подрывает неолиберальную теорию рыночного равновесия. Обосновываемое посткейнсианством естественное сочетание рынка и плановых механизмов представляется наиболее эффективным. Огромным преимуществом этой модели является её соответствие историческому опыту

и отечественному наследию экономической мысли, например, идеям координации плана и рынка, централизма и самостоятельности предприятий и корпораций.

**Восьмое.** Исходя из теории факторов производства и конкуренции за рабочие места, неолиберальная ортодоксия считает безработицу, во-первых, добровольной, ибо не работают якобы лишь те, кто требует больше своего трудового вклада; во-вторых, положительной чертой саморегулирующегося рынка, поскольку позволяет держать заработную плату на уровне предельного продукта труда.

Посткейнсианство решительно не согласно с такой трактовкой, позволяющей предпринимателям увековечить безработицу и поддерживать зарплату на уровне крайнего минимума. И то, и другое, утверждает оно, ведёт к усилению социального неравенства и несправедливости. Оно, наоборот, рассматривает умеренный рост заработной платы, во-первых, как условие смягчения социальной напряжённости в обществе; во-вторых, условие роста совокупного спроса как основного стимула экономики. Расход одного есть доход другого, и эта взаимозависимость запускает мультипликатор накачивания совокупного спроса и, тем самым, стимулы экономического роста.

**Девятое.** В соответствии с неоклассической концепцией факторов производства, в России сложилась такая система налогообложения, при которой тяжесть бремени одинаково ложится как на высокодоходные, так и на низкодоходные фирмы и домохозяйства. Для всех установлена одна и та же 13%-ная ставка подоходного налога и 20%-ная налога на прибыль.

Разработанная посткейнсианцами система налогообложения позволяет учитывать степень монополизма и другие факторы, благодаря которым может быть обеспечено, с одной стороны, социально более справедливое распределение налогового бремени, а с другой – более эффективное стимулирование экономического роста. На микроэкономическом уровне уровень монополизма определяет распределение доходов между работниками (зарплата рабочих, оклады служащих) и капиталистами (прибыль, рента, дивиденды). При таком подходе основное бремя налогообложения от малоимущих переносится к тому слою общества, который и без того неплохо богатеет.

Основным фактором, побуждающим предпринимателей к инвестициям, неоклассическая теория считает уровень процентной ставки. Чем она ниже, тем выше может быть ожидаемая доходность от инвестиций. Но реальность не подтверждает такую зависимость. Так, в первые годы реформ в России процентная ставка поднялась до небывалых высот, и этим объяснялось тогда отсутствие необходимых инвестиций. Но затем проценты за кредиты пошли на снижение, а инвестиций как не было, так и нет.

Посткейнсианство существенно дополнило график предельной эффективности капитала (инвестиций) Кейнса, и ставит инвестиции в зависимость от регулируемой цены в том виде, в каком она представлена формулой польского экономиста М. Калецкого. В ней размер надбавки над издержками увязывается с потребностями фирмы в инвестициях, а они – с экономическим ростом. Подобный принцип ценообразования гарантирует фирмам источник инвестиций и расширения производства. Это особенно важно для сегодняшней России, в которой реальный сектор задыхается от отсутствия инвестиций.

Наконец, посткейнсианство стоит на позициях признания разнообразия форм собственности, эффективность которой оно ставит в зависимость не от её формы – частной или государственной, – но от достигаемых ею результатов. Оно смыкается с социал-демократической концепцией контролируемой собственности, используемой не только для личного, но и для общественного благосостояния. Поэтому к осуществленному у нас массовому возврату к частной собственности, но при отсутствии эффективных собственников посткейнсианцы отнеслись с настороженностью. Для них важно не то, как она называется, а то, как она служит не только частному, но и общему благу.

\* \* \*

К сожалению, предложенные экономистами посткейнсианского направления альтернативные разработки записным либералам во власти пришлось не ко двору. В то же время разочарование в неоклассической ортодоксии и её

отвержение породило в нашей академической среде предвзятое отношение ко всей западной экономической мысли как к чему-то чуждому и не подходящему для нас. Однако, как утверждалось в начале статьи, это справедливо отнести лишь к либеральному мейнстриму, за пределами которого имеется много интересного и крайне необходимого для нас. Поэтому нам не следует тратить силы на изобретение велосипеда, а надо воспользоваться жемчужинами западной экономической мысли, сочетая их с нашей спецификой и содержательными разработками отечественных экономистов, не присягнувших монетаризму.

**Краткое резюме.** Статья посвящена альтернативному взгляду на проблемы российской экономики с позиций посткейнсовской экономической теории. Анализируются неоклассические основы радикальных экономических реформ в бывшем СССР и демонстрируются их пагубные последствия. Посткейнсовство рассматривается как жизнеспособная и целостная альтернатива неоклассической ортодоксии. Демонстрируется вклад в это направление мысли Кейнса, Калецкого, Робинсона, Сраффы и некоторых других авторов. Исторические, культурные и социо-экономические условия, присущие России, трактуются как непреодолимое препятствие для любой стратегии неоклассических реформ. В работе рассматриваются девять теоретических моделей посткейнсовства, которые соответствуют российским условиям, особенно когда они синтезируются с некоторыми идеями отечественных экономистов. Взятый в целом, российский опыт построения капитализма понимается как уникальный эксперимент, тестирующий жизнеспособность неоклассической экономической теории. Разрушительные последствия этого теста подтверждают посткейнсовскую альтернативу.

ТАТЬЯНА ШИШОВА

## ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ — СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

*Нравственность и психика... Как это связано? К каким последствиям для психического здоровья приводит пересмотр традиционных нравственных ценностей и как это отражается на жизни общества? Эти вопросы представляют сейчас не только научный, но и практический интерес, затрагивая каждого человека, каждую семью. Беседа с выдающимся детским психиатром Галиной Вячеславовной КОЗЛОВСКОЙ, имеющей за плечами более 50 лет опыта работы в сфере охраны психического здоровья детей и подростков, помогает прояснить ситуацию и наметить пути выхода из кризиса.*

**Галина Козловская:** Психическое здоровье — одна из важнейших общечеловеческих ценностей, потому что именно оно является основой благополучия и гармонии человеческой цивилизации. Практически всё, что происходит в человеческой цивилизации, связано с психическим здоровьем. Оно позволяет человечеству двигаться вперёд, раскрывать свой потенциал, свои творческие возможности, заниматься самоусовершенствованием. Всё это возможно только при сохранении психического здоровья. В противном случае начинается процесс деградации. Разрушается психика людей — разрушается и цивилизация.

**Корр.:** Исторические факты, да, впрочем, и современность ярко свидетельствуют о том, что бывают люди разрушительного склада.

**Г. К.:** Да, их деятельность направлена на приобретение для себя богатств и власти ценой убийства, разрушения, осквернения чужих трудов, чужого творчества. Сейчас высказывается мнение, что подобные разрушители якобы тоже имеют право постулировать свои принципы в противоположность тем, кто совершает подвиги и самопожертвование во имя нашего общего блага. Однако ни с точки зрения Божественных предписаний и традиционной нравственности, ни в рамках обычной, прагматической жизненной логики таких деструкторов психически здоровыми назвать нельзя. Люди, сознательно отвергающие нормальную, созидательную, гармоничную жизнь и тянущиеся к криминальной среде, люди, способные ради каких-то собственных выгод и обогащения своих патронов грабить и убивать, безусловно, имеют психические отклонения. Что, впрочем, не снимает с них ответственности за совершённые злодеяния: судебная экспертиза, как правило, признаёт их вменяемыми. Возможность открыто пропагандировать их деструктивные «ценности», закономерно ведёт к криминализации общества, росту преступности, нарко-

мании, проституции, самоубийств и убийств, к хаосу и анархии. Сохранение психического здоровья населения – важная государственная задача. Казалось бы, это не вызывает сомнения. Однако XXI век ознаменовался тем, что человечество отступило от этих принципов. Идёт активный подрыв психического здоровья.

**Корр.:** В чём это выражается?

**Г. К.:** Прежде всего, в дискредитации и даже порой в ликвидации устойчивых критериев духовно-нравственного здоровья общества. Проституцию, к примеру, пытаются объявить частным делом и оправдать. Дескать, у женщины должно быть право распоряжаться собственным телом.

**Корр.:** В некоторых странах уже существуют профсоюзы “секс-работниц”...

**Г. К.:** Даже снижение возраста людей, занимающихся проституцией, – причём людей обоёго пола, и мальчиков, и девочек! – не воспринимается в определённых кругах как трагедия. Это, видите ли, тоже право выбора... А проблема самоубийств?! Что такое эвтаназия как не опосредованное самоубийство? Человек не сам накладывает на себя руки, но даёт согласие на своё умерщвление. Во многих случаях в принятии такого решения участвуют и его родственники. То есть убийство провозглашается вполне правомочным, законным и, более того, гуманным действием. А такие страшные явления, как работорговля, изъятие органов у людей, которые ещё не успели умереть, но которых признали не имеющими права на жизнь?! Например, раненых на поле боя. Такие зверства практикуются в современных формах ведения войны. Раненых лишают жизненно важных органов и передают их больным, нуждающимся в органопластике. А средства массовой информации уверяют нас, что эти нуждающиеся не только имеют право на подобные операции, но и должны вызывать у нас жалость, поскольку им приходится какое-то время ждать жертвы, у которой этот орган отнимут. И многих пациентов не волнует, как был изъят орган для пересадки: у мёртвого или у ещё живого человека. Главное, что сам пациент получил такой ценой ещё какой-то кусочек жизни. Практически узаконена наркомания, особенно потребление так называемых “лёгких” наркотиков, которые якобы не вызывают зависимости, а являются всего лишь способом улучшения настроения. Торговля “лёгкими” наркотиками очень мало наказуема, потому что она часто ведётся школьниками. Кроме того, в обществе распространяются такие пороки, как педофилия и гомосексуализм, который, что бы там ни говорили защитники прав сексуальных меньшинств, является антиприродным явлением. В природе существуют два пола: мужской и женский, которые предопределяют возможность продолжения рода. А гомосексуализм такой задачи перед своими субъектами не ставит. Здесь цель иная – гедонизм, удовольствие любой ценой, в том числе и таким противоземельным способом. И это в современном обществе тоже считается вполне допустимым и законным. Причём многие страны мирятся даже с тем, что гомосексуалисты агрессивно навязывают свой образ жизни, вовлекая в свои занятия людей, у которых нет половой дезориентации. В том числе детей! А ведь чем младше ребёнок, тем легче на него воздействовать и привлечь на свою сторону.

**Корр.:** Недаром в западном мире вызвал крайнее недовольство запрет гей-пропаганды среди детей, принятый в России. Сколько политиков и разного рода знаменитостей осудили эту меру, направленную на защиту нравственности подрастающего поколения! И Комитет по правам ребёнка при ООН, который, казалось бы, призван защищать “малых сих”, настоятельно рекомендует России отменить запрет.

**Г. К.:** Можно было бы привести ещё много примеров, свидетельствующих о том, что духовно-нравственное здоровье современного общества стремительно деградирует, но думаю, и так всё понятно. А ведь перечисленные выше факторы ведут к безусловному подрыву психического здоровья. Стать на путь педофилии, наркомании и проституции легко, причём на первых порах может показаться, что ничего особо страшного не происходит. Но следование по пути порока неизбежно приводит к социальной и психической деградации и, в конце концов, к распаду психики. С сожалением можно констатировать, что XXI век принял на себя явные угрозы распаду психического здоровья. Не укрепляет психическое здоровье и подрыв семьи, базовой ячейки общества. Настойчивая пропаганда индивидуальной свободы как высшей ценности



жизни приводит к отчуждению, атомизации членов семьи. Старшее поколение всё больше уклоняется от помощи по воспитанию внуков, стремясь пожить остаток лет “для себя”. Искусственно подогревается конфликт отцов и детей, хотя проблема эта в значительной степени надумана, поскольку в гармоничных семьях такого конфликта или вообще не бывает, или он проходит в очень сглаженной форме. Если отношения между родителями и детьми основаны на взаимном уважении и любви, то на свободу выбора членов семьи никто и не посягает.

**Корр.:** Это с одной стороны, а с другой – молодёжь в таких семьях не выбирает асоциальные формы поведения, против которых так часто возражают родители.

**Г. К.:** Конечно! Если молодёжь не выбирает опасные для себя тенденции, то кто же их будет ограничивать? Когда у ребёнка нормальные установки на будущее, когда он хочет создать крепкую семью и совершить что-то значительное, а для этого старается получать знания и укреплять своё здоровье, родные не будут ему препятствовать. Они, наоборот, будут счастливы, что у ребёнка такие благие устремления.

**Корр.:** Бытует мнение, что талант без сумасшествия невозможен. Якобы все талантливые люди психически ненормальны. Или они, наоборот, талантливы вопреки психическому заболеванию? Что вы на это скажете?

**Г. К.:** То, что гений – не средняя норма, это действительно так. Гении конечно, люди своеобразные. Скажем, про Эйнштейна говорят, что в детстве он страдал аутизмом. У Достоевского были редкие приступы эпилепсии. Многие знаменитые актёры были одиночками, не создавали семью, потому что целиком и полностью посвящали себя игре в театре или кино. Но, конечно, из этого не следует вывод, что каждый выдающийся человек психически болен. Наоборот, он здоров, потому что психически больной человек, прежде всего, теряет волю. Психическая болезнь поражает одно из главнейших человеческих свойств – стремление трудиться. Для душевнобольного характерно эмоциональное уплощение, которое приводит к тому, что человек становится очень эгоистичным, живёт в своей скорлупе, часто нелепой по содержанию, создавая большие трудности для окружающих. Поражается его воля. Он может долго заниматься какой-то псевдодеятельностью, но ему крайне трудно выполнять свои производственные, учебные, профессиональные обязанности. Он может строить маниловские планы, которые потом, естественно, не реализуются. Психически больной человек постепенно деградирует, лично обедняется. У него страдает память, снижается психическая активность, комбинаторика, изобретательность, пропадает душевная мягкость, сострадателность, способность к солидарности. А раз так, то и творческая активность тоже страдает. Другое дело, что в преддверии болезни, пока она не перешла в тяжёлую форму, может даже наблюдаться некоторый творческий подъём. Так было, например, с Виктором Кандинским, троюродным братом известного художника Кандинского. Виктор Кандинский страдал психическим заболеванием и в одном из приступов душевной болезни покончил с собой. Но пока это психическое заболевание не развилось в тяжёлую форму, он занимался самонаблюдением и написал интересную с научной точки зрения книгу, в которой впервые описан психический автоматизм, так называемый синдром Кандинского-Клерамбо, который он наблюдал у себя. Но когда болезнь начала прогрессировать, творческие способности его иссякли.

**Корр.:** Значит, не надо культивировать в себе “сумасшедшинку”? А то, бывает, молодёжь к этому стремится, поскольку так хочется быть творческой личностью...

**Г. К.:** Конечно, не надо. Это истерические установки. Душевная болезнь никакого творческого порыва не создаёт. Бывают даже такие случаи, что в надежде повысить свою творческую активность некоторые люди применяют препараты, которые вызывают психозы. Например, лизергиновую кислоту, галлюциногенные грибы или какие-то другие наркотики. Возможно, в состоянии наркотического опьянения они пару раз и добьются желаемого результата. Но в дальнейшем мозг под влиянием психостимуляторов начнёт разрушаться, и творческие способности угаснут. Гений – это, безусловно, талант плюс труд. Тогда совершаются творческие подвиги. Никакого знака равенства между гениальностью и помешательством поставить нельзя. В состоянии психоза творческой активности нет.

**Корр.:** Высказывается мнение, что Пушкин страдал маниакально-депрессивным психозом.

**Г. К.:** Вряд ли. Скорее всего, это были всего лишь лёгкие проявления циклотимии: осенью эмоциональный подъём, а весной – упадок. Но это не душевное заболевание, а особенность характера. Если бы наш гениальный поэт страдал душевным заболеванием, то он не был бы способен создавать такие великие произведения.

**Корр.:** Тем более что с годами он становился всё более зрелым, глубоким, серьёзным писателем.

**Г. К.:** Да, никакого угасания в его творчестве не наблюдалось. Наоборот, было явное развитие.

**Корр.:** Во всём мире, особенно в так называемых развитых странах в последние десятилетия наблюдается выраженный рост психической патологии. Не связано ли это с тем, что люди в массе своей всё больше отходят от Бога, от выполнения религиозных предписаний и норм традиционной морали?

**Г. К.:** Психика – механизм совершенный, но в то же время очень хрупкий. Заповеди – это предписания, данные нам Богом, чтобы мы жили правильно, в мире и согласии друг с другом. Если мы не придерживаемся этих законов, то мы вступаем на путь саморазрушения. Поэтому распад определённых религиозных скреп, безусловно, придаёт человеку необузданность, нелепость и провоцирует тягу к смерти. Человеку становится не для чего жить. Он быстро разочаровывается в своем разгульном образе жизни, опускается всё ниже и ниже и, в конце концов, обречён на жалкое умирание. Именно об этом повествуют такие известные литературные произведения, как “Портрет” Гоголя или “Портрет Дориана Грея” Оскара Уайльда. Когда человек отказывается от Божественных установлений, это заканчивается однозначно.

**Корр.:** Насколько ухудшилось психическое здоровье детей и подростков в нашей стране?

**Г. К.:** Очень значительно. В 80-е годы XX века психическая патология среди детей от 0 до 3 лет ограничивалась 8–9%, а в 2000 году она уже составляла 20%. Среди дошкольников старше 3 лет эти цифры продолжают расти, достигая к 5–6 годам 70–80%. По свидетельству педиатров, лишь 7 детей из 100 не нуждаются в психоневрологической помощи. Количество психосоматических расстройств типа полиартрита, диабета, астмы и так далее выросло за последние 5 лет в три раза. У 80% детей, являющихся пациентами педиатрического стационара, обнаруживают нервно-психические расстройства. 100% неуспевающих и трудных подростков нуждается в помощи психиатра. За последние десятилетия в 10 раз выросло количество инвалидов среди детского населения!

**Корр.:** В десять раз?!

**Г. К.:** Да. Причём 25% из них составляют дети с психическими отклонениями, получившие инвалидность по психическому заболеванию. Из 50% юношей, призванных негодными к службе в армии, 10% – то есть пятая часть – комиссованы по психическому заболеванию. А ведь освобождают от службы в армии по такому психическому заболеванию, которое совершенно очевидно для призывной комиссии. То есть речь идет о явных отклонениях, поскольку по пустякам никого не освобождают. А ещё примерно столько же призывников имеет скрытые психические отклонения и, попав в армию, как раз и пополняют статистику дедовщины, суицидов, самострелов, побегов и прочих печальных явлений, которые, к сожалению, до сих пор не удаётся искоренить. Такова картина на настоящий момент: общество, можно сказать, подвержено эпидемии психических расстройств. Среди них, конечно, встречаются искажения характера. Впрочем, это не делает нашу жизнь легче, ведь люди с искажённым характером живут среди нас, они нетерпимы, возбудимы, легко идут на оскорбление окружающих, плохо управляют собой, не умеют терпеть и преодолевать трудности. Но есть и много тяжёлых заболеваний, которые требуют настоящего психиатрического лечения. К примеру, невероятно выросло число больных аутизмом. По зарубежным данным, раньше было 30 случаев на 100 тысяч населения. А сейчас – 60. И говорят, что данные занижены, так как многим больным ставят другие диагнозы. Но поскольку ситуация с аутизмом в мире перешла все возможные границы, об этом стали говорить очень широко. Некоторые специалисты утверждают, что уже чуть ли не 3 ребенка из 100 поражено этой страшной болезнью.

**Корр.:** Я не ослышалась? Не из ста тысяч, а из ста?

**Г. К.:** Да. Представляете, во сколько раз увеличилось количество заболеваний?! Это, кстати сказать, американские данные. В России достоверной статистики по аутизму нет, поэтому мы можем ссылаться только на зарубежные источники. Но то, что у нас в последние годы на психиатрическом приёме наблюдается буквально вал аутистических расстройств, об этом тоже невозможно молчать.

**Корр.:** Что же делать?

**Г. К.:** Вопрос, как предотвратить надвигающуюся катастрофу, стоит ребром. Причём, полагаю, мы ещё до конца не осознаём её размеры и возможные последствия. Ответ для многих прозвучит парадоксально. Для начала стоит хотя бы обратить внимание на такую дисциплину, как психиатрия, которая снова, как в эпоху перестройки, подвергается шельмованию. Во всяком случае, исподволь ведётся разрушение психиатрической службы и основ психиатрии. Предпринимаются попытки пересмотреть труды выдающихся учёных, основоположников психиатрии, которую я бы назвала наукою наук.

**Корр.:** Почему?

**Г. К.:** Потому что она касается всех других медицинских наук, поскольку в основе любого соматического заболевания лежит психическая дисфункция. Скажем, прежде чем лечить инфаркт миокарда или угрозу инфаркта миокарда, надо обратить внимание на психическое здоровье пациента. Неслучайно человечество придумало такие замечательные средства, как корвалол, валокордин и валидол, в основу которых положена валерьянка. Эти препараты, прежде всего, успокаивают нервную систему, и уже во-вторых, могут расширить сосуды и предотвратить развитие сердечной катастрофы.

**Корр.:** В чём же выражаются попытки ревизии трудов знаменитых психиатров?

**Г. К.:** В том, что этих авторов либо отодвигают на второй план, либо вообще забывают, придумывают новые критерии, пересматривают сами диагнозы, само наличие той или иной болезни. К примеру, шизофрении. В последней медицинской классификации – а надо сказать, что она уже в который раз приходит к нам от американских специалистов, – шизофрения выведена за скобки.

**Корр.:** Как будто такого заболевания вовсе нет?

**Г. К.:** Да. Ну, или если оно и существует, то в каких-то исключительно редких случаях. А у подавляющего большинства пациентов это якобы не болезнь, а особенности характера или поведенческие реакции. Хотя на самом деле шизофрения – заболевание очень грозное, требующее постоянного медицинского наблюдения и серьёзного лечения. Оно приводит к выраженному ухудшению психического здоровья и увяданию личности как таковой. Игнорировать такие страшное заболевание и лишать человека лечения антигуманно. Это отнюдь не является соблюдением его человеческих прав, которые якобы отстаивают противники психиатрии. Дескать, если шизофренику диагноз не ставится, то он не ограничен в социальных правах. Так ведь он ограничен в социальных правах не потому, что врач ему поставил такой диагноз, а потому что у него такая болезнь! Это она ограничивает его в социальных правах. Скажем, больному с бредом преследования нельзя работать хирургом. Или человеку, страдающему эпилептическими припадками, нельзя садиться за руль автомобиля, работать на высоте. Вынести заболевание за скобки классификатора – это не решение проблемы. Надо, наоборот, дать больным возможность реабилитации в других областях человеческой деятельности. На свете много профессий, в которых они вполне могут преуспеть, не подвергая опасности свою жизнь и жизнь окружающих людей.

**Корр.:** Да и лечить таких больных просто необходимо...

**Г. К.:** Безусловно, надо искать способы лечения. Не свёртывать программы по поиску лекарств, а наоборот – расширять их. Хотя медицина и сейчас располагает достаточно большим арсеналом средств, которые во многом смягчают психозы. И человек, особенно на начальных этапах шизофрении, вполне может выйти в нормальное состояние, вернуться к активной профессиональной деятельности. К примеру, к исследовательской работе, в которой он способен достичь очень хороших результатов.

**Корр.:** Пересмотр диагнозов касается только шизофрении?

**Г. К.:** Нет. Расширяются и критерии установления умственной отсталости, а также границы педагогической запущенности. Хотя есть много объективных критериев, которые определяют уровень интеллекта, и людей с ограниченными интеллектуальными возможностями тоже нельзя допускать к определённым сферам профессиональной деятельности, поскольку от этого может пострадать общество. А закрывать глаза на проблему, снижать планку и таким образом как бы решать проблему умственной отсталости – значит лишь усугублять ситуацию.

**Корр.:** Сейчас уже говорят, что и неврозов якобы не существует.

**Г. К.:** Да, якобы это не болезнь, а всего лишь капризы... Но ведь эти “капризы” не дают нормально жить ни человеку, ни обществу. Без лечения невроза навязчивых состояний, когда человек часами занимается выполнением неких ритуалов: прыгает на одном месте, крутит веревочку, перекладывает предметы, перепроверяет какие-то уже сделанные шаги, нередко заставляя участвовать в этом своих близких, – жизнь больного и его семьи становится крайне затруднительной. От того, что мы назовём это не болезнью, а капризами, легче ни больному, ни его родным не станет.

**Корр.:** Недавно мне рассказывала мама подростка, что он, выйдя из электрички, обязательно должен потом вернуться именно в этот вагон, ещё раз зайти и выйти. Порой бывает, что они уже прошли немного по платформе, а потом он вдруг спохватывается и требует вернуться. А они с мамой забыли, из какого вагона вышли или поезд уехал. И двенадцатилетний мальчик впадает в страшное беспокойство, вплоть до истерики. Разве можно назвать такое состояние просто капризом?

**Г. К.:** Нет, конечно. Так можно поступать только при легкомысленном, непрофессиональном отношении к медицине и при наплевательском отношении к больным людям.

**Корр.:** А как наши либералы шельмовали профессора Снежневского за диагноз “вялотекущая шизофрения”? Дескать, нет такого, это только в угоду советской власти придумано, чтобы сажать диссидентов в психушку!

**Г. К.:** Снежневский был великим учёным. Что же касается диагноза, то любое заболевание может протекать в острой форме, а может иметь вялотекущую форму. Возьмём, к примеру, туберкулёз. Он бывает в виде вяло текущего заболевания или даже всего лишь первичного комплекса, который мы все претерпеваем в раннем детстве при соприкосновении с туберкулёзной инфекцией, после чего у нас остается маленький шрамик в лёгких. А может быть и острая форма туберкулёза. Так и шизофрения порой имеет вялое течение, а порой приобретает тяжёлую форму токсического психического расстройства. Нелепо спорить с очевидными вещами. Это говорит о полном непрофессионализме. О том, что спор ведётся на уровне обывателей.

**Корр.:** Вернёмся к вопросу о том, как предотвратить катастрофу. Итак, первое, что необходимо сделать, это восстановить статус психиатрии...

**Г. К.:** Да, но этого мало. Надо восстановить те структуры, которые составляли медицинскую основу психиатрии: стационары, амбулаторную службу, дневные стационары, лечебно-трудовые мастерские и множество других реабилитационных центров, которые позволяли человеку с определёнными отклонениями найти себе место в обществе. Если у него не было тяжёлой формы заболевания, он мог обходиться дневным стационаром.

**Корр.:** Как это выглядело?

**Г. К.:** Он приходил туда на несколько часов или ночевал в этом лечебном учреждении, а утром шёл на работу. Люди же, которые в результате психического заболевания потеряли трудоспособность, успешно находили своё место в лечебно-трудовых мастерских. Конечно, занятия там были довольно примитивными: больные клеили коробочки и выполняли ряд других простейших функций. Но упрямднть под этим предлогом такое важное реабилитационное заведение совершенно неправильно! Пожалуйста, расширяйте виды труда, делайте его более современным. В Кемерово, например, эти мастерские так были модернизированы, что помогали содержать больницу, теплицы, позволяли снабжать больных овощами и фруктами, одеждой. Труд больных дал возможность благоустроить отделения, особенно санаторные, которые стали представлять собой прямо-таки цветущие сады. Так что всё в руках человеческих, всё зависит от отношения к своей профессии и к людям.

**Корр.:** Каково положение дел в детской психиатрии?

**Г. К.:** Ещё более удручающее, чем во взрослой. Детский контингент подвергся особенно яростной атаке со стороны борцов с психиатрией. Количество стационаров снизилось. Причём равнозначной замены закрытых стационаров амбулаторными службами нет. Уменьшилось количество психиатров. Ограничены возможности обучения детской психиатрии. Даже сама специальность “детский психиатр” исключена из списка медицинских специальностей, курирующих детский возраст! Отсутствует и такая специальность, как “детский нарколог”, хотя детей, страдающих наркотической зависимостью, у нас много, особенно маленьких токсикоманов. Отсутствует психологическая служба, которая в какой-то мере должна была бы предварять поступление детского контингента к психиатру. На заре перестройки в поликлиники были введены ставки психологов, но теперь они убраны. Убирают психологов и из школ, хотя следовало бы, наоборот, укреплять штат школьных психологов, потому что нагрузка на таких специалистов в школе была непомерной: пятьсот и более детей. А ведь психолог не просто должен обследовать контингент, но и работать с теми, кто нуждается в помощи. Все эти факты свидетельствуют об отрицательном отношении к психическому здоровью, к психиатрам и психологам. Якобы надобность в таких специалистах отпадает. И последний удар по психиатрии — это ликвидация психологических центров сопровождения. В своё время в Москве таких центров было открыто более 50, сейчас они либо ликвидированы, либо перепрофилированы. Врачебные ставки из них убраны. А ведь эти центры выполняли важнейшую работу. В них приводили детей, у которых ещё не было серьёзных психических расстройств, а лишь намечались психические проблемы. Но они могли получить там квалифицированную психиатрическую, психотерапевтическую, неврологическую и психологическую помощь. Причём совершенно бесплатно!

**Корр.:** Эти центры были созданы как бы вне психиатрической службы, но при этом способствовали улучшению психического здоровья детей и подростков?

**Г. К.:** Да. Они были созданы на стыке психологии, медицины и социальной помощи и назывались психолого-медико-социальными центрами. Сделано это было намеренно, поскольку многие люди боятся обращаться к психиатрам. Бытуют мифы, что психиатры могут здорового человека сделать сумасшедшим...

**Корр.:** “Залечить”...

**Г. К.:** Вот именно! Залечить, запереть за железные решётки, надеть смирительную рубашку... Хотя на самом деле психиатры, пожалуй, самые гуманные из всех врачей, ведь им приходится терпеть очень трудных, порой опасных пациентов, которые не относятся к врачу с уважением, а, скорее, наоборот. И, тем не менее, психиатр терпит их выходки, подчас очень оскорбительные, и старается помочь. И лишь потом, выйдя из психоза, пациент понимает, из какой пропасти его вытащили, и начинает испытывать чувство благодарности. Поэтому, создавая центры помощи семье и детям, — а мы с моими коллегами стояли у истоков их создания в Москве! — мы постарались учесть страх многих людей перед психиатрией. Ценность этих центров была в том, что там как бы не было психиатров. Это было некое промежуточное звено между настоящей психиатрической и обычной амбулаторной службой. В центрах имелся большой набор специалистов, с которыми можно было побеседовать о своих проблемах, посетить занятия психологов, логопедов, игротерапевтов. Оказывавшаяся помощь была комплексной, глубоко продуманной, скоординированной и, что очень важно, анонимной. И вдруг эти центры повсеместно закрылись!

**Корр.:** А количество психически больных детей, между тем, увеличилось?

**Г. К.:** Не просто увеличилось, а стало опасно велико! Необходимо восстановить эти утраченные структуры. Тем более что возникли эти структуры не просто так. Они были выработаны на основе колоссального опыта, накопленного в нашей стране за последние сто лет.

**Корр.:** Вы сказали, что стояли у истоков создания таких центров в Москве...

**Г. К.:** Да. В 1995 году Центр охраны психического здоровья, а конкретно — отдел психиатрии раннего возраста, который я возглавляла, — вышел с предложением к тогдашнему мэру Москвы Ю. М. Лужкову создать такие центры. В конце концов, удалось достичь соглашения с администрацией го-

рода, и психолого-медико-социальные центры были открыты во всех московских округах. И вдруг теперь их почему-то позакрывали. Очень удручает и закрытие специализированных дошкольных детских учреждений, а также курс на интегративное школьное образование.

**Корр.:** Вы имеете в виду закрытие коррекционных групп в детских садах?

**Г. К.:** Нет. Коррекционные группы ещё сохраняются, хотя сами коррекционные сады практически ликвидированы. Во всяком случае, их количество резко сокращено. Помощь, которая всегда оказывалась детям бесплатно, вдруг стала платной. К примеру, если у ребёнка логопедические проблемы, будь добр – плати.

**Корр.:** Одна моя знакомая взяла под опеку сироту из Дома ребёнка. У него задержка развития, ему нужно заниматься с разными специалистами, в частности, с дефектологом и логопедом. И, несмотря на декларированную поддержку сирот, эта мама сейчас вынуждена выкладывать кучу денег на оплату лечения и занятий, потому что получить бесплатную помощь крайне затруднительно. Если такое творится в Москве, то что тогда говорить о других городах?!

**Г. К.:** Да, тенденции последнего времени вызывают очень большую тревогу. Это какая-то тихая, подковёрная практика, направленная на разрушение психического здоровья.

**Корр.:** Поясните, пожалуйста, в чём минусы интегративного образования.

**Г. К.:** Присутствие в обычном классе тяжело психически больного инвалида отнюдь не будет способствовать гармонизации отношений между детьми. Да и для его обучения это далеко не лучшие условия. Какой толк от того, что он будет присутствовать в классе, мало понимая, что там происходит? Он нуждается совсем в другом подходе и другом тренинге.

**Корр.:** В Москве сейчас закрывают школы здоровья, которые были созданы специально для детей-инвалидов, школы с малой наполняемостью классов, облегченной программой и учителями, хорошо понимавшими особенности таких детей. Родители бьют тревогу и собирают подписи. Они считают, что это страшное нарушение прав детей-инвалидов, нуждающихся в особом подходе и попечении.

**Г. К.:** Они совершенно правы. Это одна из составляющих разрушения социальной структуры. У нас была очень развитая социальная структура помощи детям с психическими отклонениями. Причём структура с очень большой градацией: от глубокой умственной отсталости до лёгкой умственной отсталости и каких-то пограничных психических расстройств. Были даже учебные заведения для практически здоровых детей, которые, однако, нуждались в коррекционной программе. Всё это было продумано, было подготовлено много специалистов, производился обмен опытом. И вдруг сейчас эта система подвергается реорганизации, причём делают это люди, компетентность которых у меня как у специалиста вызывает большие сомнения. Их действия противоречат элементарной логике и профессиональному опыту. Ещё один яркий пример такой некомпетентности: в своё время в педиатрических клиниках была проведена большая работа по открытию психосоматических отделений. Теперь психиатры убраны. Даже консультантов – и тех намереваются убрать! Создавать психосоматические отделения вообще не планируется, хотя, как уже говорилось, 80% больных в детских клиниках нуждаются в помощи психиатров. Без лечения психики невозможно полноценно выправить здоровье таких детей! А с другой стороны, психиатрам ставят палки в колеса, неуклонно сужая список лекарств, разрешенных для лечения детей. Говорить об этом очень горестно...

**Корр.:** Но все равно необходимо! Люди должны знать, с чем они могут столкнуться, если, не дай Бог, у ребёнка обнаружатся какие-то психические проблемы.

**Г. К.:** Вы правы. У меня врачебный опыт более 50 лет. Я уже работала в области детской психиатрии, когда только начали появляться лекарства из разряда психотропных, которые произвели настоящий переворот в лечении невротических состояний, психозов и других заболеваний, позволили заметно улучшить результаты лечения. Лекарства эти применялись к детям всех возрастов, разница была только в дозировке. И вдруг сейчас даже те препараты, которые мы раньше применяли, выведены за скобки. В нашем распоряжении остаются средства, которые применялись более 50 лет назад. Это наиболее

токсичные, вредные, тяжёлые препараты. Но их, согласно новым инструкциям Минздрава, можно применять, а более современные и менее вредные – никак нельзя. Теперь они разрешены к применению только с 12, а то и с 18 лет. А в более раннем возрасте, когда мы как раз можем по-настоящему помочь, нам детей эффективно лечить запретили. Это чисто американская установка, потому что у них психически больными признаются лица после 12–15 и более лет.

**Корр.:** А до этого?

**Г. К.:** До этого их больными не признают, считают просто “особыми” и говорят, что они должны учиться, посещать специальные курсы адаптации. Да и потом, в США существует установка на то, что общество должно к ним приравниваться. Поэтому в школе можно не ставить отметок, с учителями можно общаться как с приятелями, хамить, угрожать... Короче говоря, в последнее время психиатрическое лечение больных детей в нашей стране невероятно затруднено. Теперь врачи только на свой страх и риск выписывают больным лекарства, которые они применяли десятилетиями, но которые вдруг одним росчерком чиновничьего пера оказались под запретом. Спрашивается, почему мы должны отказываться от апробированных препаратов, которые, как показал многолетний опыт, оказывают положительное воздействие? Почему нас заставляют переводить пациентов на более вредные вещества? Распоряжения чиновников отдаются без согласования со специалистами. Наоборот, специалистам диктуется, как они должны жить.

**Корр.:** Да, крайне странно, что в обстановке ухудшения психического здоровья детей происходит системное ограничение психиатрической помощи.

**Г. К.:** Увы, ситуация на сегодняшний день весьма тревожна. И всё-таки, как говорится, жизнь берёт своё. Есть множество энтузиастов, которые, тем не менее, открывают центры психологической помощи, центры реабилитации наркоманов, лечения трудных подростков и маленьких детей с проблемами. Очень большую роль в этом играет Православная Церковь. Общество даёт свой ответ на вызовы времени. Но, конечно, только таким образом проблему не решить. Нужна очень серьёзная государственная политика, направленная на прекращение бездумного, а может, в какой-то степени и вредительского реформирования медицинской помощи.

ТАТЬЯНА МИРОНОВА

доктор филологических наук

## НАД ЧЕМ СМЕЮТСЯ РУССКИЕ

Одной из причин нашей национальной стойкости справедливо называют способность русского человека смеяться в трудные минуты жизни. Это свойство поражает иностранцев, не понимающих, почему в бедах и невзгодах мы непременно говорим: *“Ничего!”* – и начинаем искать, и находим смешные стороны в безысходном, казалось бы, трагичном положении. У русских даже плач смехом прёт. Умудряемся, к изумлению других народов, смеяться над самими собой и ещё чисто по-русски умеем *“валить дурака”*.

Слово **смех** в русском языке сопряжено с глаголом *сместь*, от него смех берёт своё начало. По-русски смеётся тот, кто посмел, смелый человек, преодолевающий смехом неправду, горе, страх. А ощущение собственной смелости всегда рождает радость, укрепляет достоинство и дух.

Понять своеобычность русского смеха важно потому, что это костяк национального мужества и веры в свои силы. Мы смеёмся, чтобы быть сильными, чтобы преодолеть беду, чтобы пересилить горе. Но вместе с тем мы понимаем и помним, что *не всякий смех до добра доводит*. Сегодня Россия переживает нашествие чуждой нам смеховой культуры, развращающей народ, истончающей его нравственную крепь.

### РАДОСТЬ И ВЕСЕЛЬЕ – РУССКАЯ ПОТЕХА

Весёлый характер нашего народа с древних времён складывался в ритуальных празднествах Святков, встречи весны, Светлой седмицы, троицких и купальских гуляний. В эти дни народный обычай предписывал радоваться и веселиться. Слово **веселье**, исконно имевшее тот же смысл, что и санскритское *vasu* – “хорошо”, этимологически связано с весной как календарным началом благоденствия. Славяне в своей картине мира делили год на радостное и печальное время, где “весёлый час” – пора веселья и радости – начинался с Нового года и Рождества и длился вплоть до окончания сбора урожая, а “смутный час” – печальная, мрачная пора – так именовали холод да тьму промозглой поздней осени и долгих зимних вечеров.

В дни ритуального народного веселья никто никого не упрощивал веселиться. Радость охватывала людей сама собой, она затаённо пробивалась в душах женщин, шивших праздничные наряды, полагавшиеся к торжествам. Она предвкушалась в приготовлении праздничных угощений и ритуальных блюд. Она являлась в ожидании гуляний, игрищ и хороводов. Пришедший праздник выплескивал радость в застолья и гульбища, что сопровождалось неотступным весельем, у которого и не было никакой иной причины, кроме радости наступления весёлой поры года – тёплой, сытной для всех сородичей.



По современным представлениям то веселье порой и весельем-то назвать трудно – уж больно суровым оно выглядело, ведь потехой на Руси считались медвежьи и кулачные бои. Вот как описывает медвежий бой иноземец Флетчер в XVII веке: “Особенная потеха есть бой с дикими медведями, которых ловят в ямах и тенётами и держат в железных клетках. Бой с медведем происходит следующим образом: в круг, обнесённый стеною, ставят человека, который должен возиться с медведем, как умеет, потому что бежать некуда. Когда отпустят медведя, то он прямо идёт на своего противника с отверстою пастью. Если человек с первого раза даст промах и подпустит к себе медведя, то подвергается большой опасности; но как дикий медведь весьма свиреп, то это свойство даёт перевес над ним охотнику. Нападая на человека, медведь поднимается обыкновенно на задние лапы и идёт к нему с рёвом и разинутую пастью. В это время если охотник успеет ему всадить рогатину в грудь между двумя передними лапами (в чём обыкновенно успеваает) и утвердить другой конец её у ноги так, чтобы держать его по направлению к рылу медведя, то, обыкновенно, с одного разу сшибает его”.

Впрочем, бойца с медведем, как правило, не оставляли без страховки. На помощь ему, в случае явной угрозы жизни, приходили охотники с вилами. Век спустя медведей специально дрессировали для подобной потехи. На сельских ярмарках, в больших и малых городах сшибки с медведями долго ещё оставались любимым развлечением русского народа на Масленицу и на Святках. Обычай этот хранился в России вплоть до первых десятилетий XIX века. Местами же – на русском Севере, в Верхнем и Среднем Поволжье, в восточной Белоруссии – потешные медвежьи бои продержались до начала XX века.

Удалой потехой почитались русские кулачные бои, что затевались по праздникам со Святков до Петрова дня. Разгул боёв начинался во время Масленицы – *“на добром морозце друг другу бока погреть да носы поддурмянить”*. Про кулачную потеху говаривали: *кулачный бой – душе разгул*. Сходились *“улица на улицу”, “деревня на деревню”, “слобода на слободу”*. Весной и летом бились на площадях, зимой – на льду замерзших рек и озёр. Наиболее популярные из кулачных боёв – *“один на один”, “стенка на стенку”* и *“сцеплялка-свалка”*, где дрались без соблюдения строя, каждый сам за себя против всех.

Первенствовала наиболее популярная и любимая схватка *“стенка на стенку”*. Бой начинался дракой мальчишек, после них сходились неженатые парни, под конец в *“стенку”* становились взрослые мужики. Не разрешалось бить лежачего или присевшего, запрещалось хватать за одежду. Каждая *“стенка”* стремилась обратить другую в бегство или хотя бы заставить противника отступить. Побеждённой считалась *“стенка”*, проигравшая *“поле”* битвы. Каждая *“стенка”* возглавлялась атаманом или боевым старостой, который командовал боем, определял тактику. Среди тактических приёмов излюбленным был обычай разорвать строй противника, вытащив из него нескольких бойцов. Против такого приёма использовался свой контрприём: *“стенка”* размыкалась, втягивая внутрь разгорячённых бойцов – авангард противника – и тут же смыкалась. А уж в глубине *“стенки”* отсечённых воинов поджидали опытные бойцы *“один на один”*.

Схватка *“один на один”* велась по праздникам в любом месте, где собирался народ. Дрались только кулаками, имитируя удары оружием: удары головками пястных костей – как удары штыком, удар основанием кулака со стороны мизинца – как рубящий удар шашкой, удар головками основных фаланг напоминал удар обухом. Бить разрешалось хоть куда, но только выше пояса, мастерскими считались удары в голову, в солнечное сплетение – *“в душу”* – и под рёбра – *“под микитки”*. Упавшего и окровавленного бить запрещалось. Запрещалось применять любое оружие, драться можно было только голыми руками. На то она и потеха, чтобы показать силушку да удаль молодецкую, но не увечить, не убивать.

Среди особых русских дней всеобщей радости и веселья этнографы описывают *праздницу*. В каждом большом селе широко отмечали день именин села, как правило, в престольный праздник местной церкви. Такой день и называлась *праздницей*. Со всех соседских деревень собирались крестьяне, шли к обедне, причащались, празднично обедали, а после выходили на улицу, заводили гулянья да пение. Каждый *“гурт”* пел по-своему. У каждой деревни

свои напевы. Одежда у всех яркая — цветные понёвы или сарафаны, белые рубахи с расшитыми рукавами, золотые и жемчужные головные уборы — *сороки*. Красота праздника сказывалась во всём — и в уборах, и в песнях.

Радость с весельем неотлучно пребывали и на семейных праздниках. На свадьбах и именинах повелевалось непременно веселиться. Само действие свадьбы в украинских, белорусских и польских говорах именуется *весельем*. Все: дружки, родители и гости — должны были веселиться на свадьбе, чтобы молодая семья была наделена здоровьем и благополучием. Свадебные веселье, смех, шутки и песни имели ритуальный смысл.

Во время больших застолий люди и по сей день поминают поверье предков — веселье одаряет здоровьем, силой, жадной жизни.

Слово **веселье** искони являлось священным символом притока жизненных сил. Веселиться на праздниках для славян значило благодарить Бога за радость жизни, являть ему своё довольство и благодарность за всё, что даровано нам на этой земле.

Исследуя природу русского веселья, мы видим, что оно было неотъемлемой частью славяно-русского праздника, календарного ли, семейного ли — не суть важно. Важно, что праздник на Руси издревле был ритуальным священнодействием, которое с принятием христианства лишь отодвинули на окраину народной культуры. Но как прежде, так и поныне в празднике живёт священная радостная благодарность человека Богу за свое житьё-бытьё. Наши народные праздники и сегодня несут этот архетип всеобщей радости и веселья, заложенный издревле. Из того, что свято празднуется в России, назовём Новый год и Рождество, которые по-русски надо встречать непременно весело, чтобы год был счастливым. Вспомним и Масленицу — потешную встречу весны с её поклонением блину как образу солнца, олицетворяющему веселье. Почтём и Светлую Седмицу — седмицу глубокой духовной радости и любви, и вместе с тем неделю весёлых гуляний и объедения. В наших праздниках и поныне хранятся осколками архетипы древнейших ритуалов, собиравших семьи и роды в общинный круг, чтобы возблагодарить Вышний мир за продолжение жизни на земле.

Семейные радость и веселье по сей день царят на русских свадьбах и именинах. В эти праздничные дни мы возвращаемся к ритуальному благодарению Бога за оказанную семье милость жить и размножаться.

Во всех праздниках, что календарных, что семейных, всполохами светится радость, всплесками взвизгивает веселье, раскатами грохочет неудержимый задорный смех. И потому праздники народные — семейные и календарные — обязательно сопровождаются русской потехой — удалой, развесёлой гулянкой, где серьёзный и обстоятельный русский человек вдруг становится скоморохом и веселится от души. Потеха есть утешение, развлечение души, замученной тяготами нелёгкой трудовой жизни. Потешая себя, каждый хоть на миг становится весёлым, а значит, согласно исконному смыслу этого слова, — хорошим, благополучным, счастливым.

Существует немало слов, употребляемых для русского праздничного веселья. Главное среди них — *балагур*, обозначающее человека, имеющего талант рассмешить, повеселить народ. Балагурство выражает особое русское добродушие, незлобивость и умение подбодрить себя и других смехом. Такой смех, ритуально заклинающий *“Отвяжись, худая жизнь, привяжись хорошая!”*, возносится к Вышнему миру с благодарностью общинного круга за сохранение народа в здравии и достатке. Так что веселье всегда означало общее довольство целостностью и здоровьем общины.

Выражение *радость и веселье* свидетельствует об общем настроении, которым дышит народ по праздникам, когда обычаем запрещено трудиться, предписано балагурством разгонять скуку и монотонность повседневной работы. *“Мешай дело с бездельем, дольше с ума не сойдёшь”*. *“Мешай дело с бездельем, проживёшь век с весельем”*. Знаменательно, что широко известная формула *“делу — время, потехе — час”* есть одна из основ нашего быта, где тяжесть и изнурительность труда обязательно скрашивались развесёлым праздничным гуляньем. Такой порядок жизни присущ русскому человеку и сейчас, таков склад русского характера.

Показательно сетование предпринимателя, изучавшего японские и китайские промышленные конвейеры, где юноши и девушки, не поднимая голов, трудятся над одной и той же операцией по восемь часов в день с единствен-

ным перерывом на обед. “У нас же на конвейере, — жаловался бизнесмен на русскую непоседливость в труде, — приходится каждые два часа сажать девушек за другую работу, менять операцию, иначе они начинают кричать”. Но кричат они не потому, что ленивы, ведь русский народ к труду охоч, и о том свидетельствуют пословицы “Скучен день до вечера, коли делать нечего”, “Не то забота, что много работы, а то забота, что нет её”, “Без дела жить — только небо коптить”. Монотонность в любом деле противна русской душе.

При обязательном нелёгком труде должен быть у русского человека праздник. Тот светлый потешный час, когда можно и на людей поглядеть, и себя показать, когда веселиться, петь, плясать, шутить обязывает обычай. Такова наша русская традиция по сей день. Радость и веселье сами собой приходят в праздники, и коротким потешным часом мы потчует, насыщаем душу в преддверии долгих рабочих дней.

Русский уклад “мешай дело с бездельем” отражается в народных песнях. Именно поэтому на Руси живёт не только праздничная, но и трудовая песня — в стремлении украсить и разнообразить тяжёлую, монотонную работу. Протяжными песнями сопровождали работу и в поле, и на сенокосе, и на огороде, и при сборе ягод, и за ткацким станом или прялкой. Пели на помочах, когда помогали ставить избу или косить сено, пели, возвращаясь с работ. На заготовках и славе леса пели трудовые артельные припевки, свои песни были у бурлаков, у солдат, у плотников.

А уж в праздники песням не было конца. Каждая деревня имела свой набор обязательных свадебных песен, их набиралось около тридцати, дружки на свадьбе обязательно должны были быть песельниками. Хороводные песни молодёжи на гуляньях слушало всё село. Песен русские люди знали несчётное количество. Взять Курский край. В начале двадцатого века сельская учительница Резанова опрашивала местных женщин о петых ими песнях. Тридцатисемилетняя крестьянка знала 152 песни, которые выучила, по её словам, “на вулице”. Её дочь тринадцати лет знала 71 песню, часть выучила от матери, часть “на вулице” и на подённой работе у помещика. Другая крестьянка девятнадцати лет служила в няньках и на подённой работе и знала 144 песни, большую часть из того, что пели соседи, а восемь песен выучила в чужих сёлах. Из 913 жителей деревни Саломыково, в которой жили эти певицы, насчитывалось 77 певиц и 31 певец. Это те, кто мог запевать и солировать. Каждый из них знал не менее 50 песен. Многие жители деревни участвовали в хорошем пении.

Так что наши праздничные радость и веселье, произрастая из древнего обычая благодарить Вышние силы за дарование тепла, здоровья и благоденствия, держатся на русской привычке мешать дело с бездельем, а труд с весельем, чтобы сверхнапряжённая работа, какой славится наш народ, не истощала силы, чтобы праздники дарили нам утешение.

## РУССКАЯ НАСМЕШКА

Настаивая на том, что **смех** происходит от слова **сметь**, разберёмся, над чем осмеливаются смеяться русские. Русские не любят того, что называется кривдой, а это всё, что противоположно правде и истине. Но что есть кривда в представлении русского народа? Какие пороки вырастают в характерах тех, кто кривит душой? И, наконец, от каких душевных недугов русские избавляют своих одноплеменников при помощи насмешки?

**Насмешка** — слово, важное в осмыслении человеческих пороков и недостатков. Приставка *на-* означает здесь взгляд сверху, с высоты правды. Насмешка у нас в чести, потому что именно она — одна из основ русского воспитания, которое в России зиждется не на наравоучении или нотации. Высмеять недостаток — значит поучаствовать в исправлении недостатка, ведь насмешка обидна, она обычно говорится прилюдно, как правило, в глаза, а правда всегда глаза колет. Вот и получается, что насмехаться, насмешничать, высмеивать ближних — значит воспитывать их в русских идеалах, приучая стесняться пороков и стыдиться страстей, для нас отвратительных.

Так, русский идеал щедрости и бескорыстия воспитывается жёстким обличением зависти и жадности. Завистникам пеняют: “Господи! Господи! Убий того до смерти, у кого денег много да жена хороша”. В насмешках обличают

всю тщетность зависти: “Позавидовал-де плешивый шелудивому”. Желчь ревнивого соперничества словно растворяется смехом: “Что, сосед спать не даёт – хорошо живёт?”.

Насмешка делает постыдной жадность, ещё один презираемый русскими порок. Жадин в семье дразнят: “Ложка–то узка, таскает по три куска. Надо её развести, чтоб таскала по шести”. Над обжорами, а это одна из форм жадности, лукаво подшучивают: “Горе наше – гречневая каша! Есть не хочется, а покинуть жаль”. И жадин-соседей есть чем попотчевать: “Съел-де волк кобылу, да дровнями подавился”.

Глаза завидующие, руки загребушие всегда вызывали насмешливый отпор, коренящийся в убеждении: “Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой”.

Воспитывая своих ближних в идеалах скромности, русские изводили насмешками из своей среды нахальство, чванство и хвастливость. Чванливых и спесивых высмеивали в глаза: “Руки в боки, глаза в потолок, вздулся, как тесто на опаре”, “Так зазнался, что и чёрту не брат”. Урезонивали баб, забывших своё бабье место: “Нашла на кошку спесь – не хочет с печи слезть”. А особо заносчивых величали: “И курице не тётка, и свинье не сестра”.

На нахалов тоже находилось насмешливое слово: “Назови мужика братом, а он норовит и в отцы”, – вышучивали: “Пустили погреться, а он уж и детей крестить”. А уж на женскую бесцеремонность и подавно находилось острое словцо: “Пусти бабу в рай, а она и корову за собой ведёт”.

Насмешка отучала упоённого самовеличанием гордеца от неуёмной гордыни, его резко осекали: “Не чванься, квас, не лучше нас”, “Не дуйся, горох, не лучше бобов”. А то и оскорбляли обидным: “Раздайся, грязь, навоз плывёт”. Воспитание скромности насмешкой – вот цель таких поговорок, убеждавших простой премудростью любого, не в меру возгордившегося: “Выше носа плюнешь – себя заплюёшь”.

А как не привечали на Руси хвастунов! Их вышучивали пустозвонами: “Пустая бочка пуще гремит”, “Медные деньги звонче золотых”. Их унижали насмешливой похвалой: “Удалось картавому крикнуть”, “Получилось у пьяного свистнуть”. Жёстко пресекали неуёмных врунов и фантазёров: “Кочет-де яичко снёс, а ворона раскудаhtалась”. Женскую повадку прилгнуть, хвастаясь, высмеивали так: “У больших господ в кормилицах была, козлёнка выкормила”. А гордячек, норовивших самодовольно возвыситься над другими, останавливали презрительным: “Пришла свинья к коню и говорит: “И ноги-де кривы, и шерсть не хороша”.

Хвастовство мужиков пресекали едко: “Сказывали, не богат Тимошка, а у него собака да кошка”. А то и вовсе оскорбительно: “Я ли не молодец! У меня ли дети не воры!”.

Знал русский человек неудобство хвастовства и никчёмность гордыни, ибо с детства его учили “Едят хлеб не в одном вашем дворе”. Наставляли предупредительно: “От гусей отстанешь, а к павам не пристанешь – с кем будешь жить?”.

Русский идеал трудолюбия рождал убийственную насмешку над ленью, ведь ленивец был несчастьем трудовой семьи. Над лентяем шутили: “Чай ты устал, на мне сидючи?”. Нерасторопного корили: “Тебя хорошо за смертью посылать”. Неработь обличали: “У тебя лень за пазухой гнездо свила”. Даже целые побасёнки бытовали: “Что делаешь? – Ничего. – А он что делает? – Мне помогает”, “Тит, иди молотить. – Спина болит. – Тит, иди кашу есть. – Где моя большая ложка?” Ленивым бабам крепко доставалось: “Шила и мыла, гладила и катала, пряла и латала – и все языком”.

Среди бездельников особо выделяли гуляк, что чайничали да бражничали. Про таких говорили: “Что мне соха – была бы балалайка”. О таких балагурили: “За дело не мы, за работу не мы, а поесть, поплясать – против нас не сыскать”. Побасёнки про бражников не сходили с уст: “Пойдём в церковь! – Грязно. – Ну, так в кабак. – Уж разве как-нибудь под забором пройти”.

О бездельных гуляках говаривали с грустной усмешкой: “У Бога небо коптит, у царя земного землю топчет”, “Ни Богу свечка, ни чёрту кочерга”, “Ни вам, ни нам, ни добрым людям”. Особо задиристым и драчливым шалопаям шутивно грозили: “Не хватай за бороду! Сорвёшься – убьёшься!”. Их иронично кляли: “Забубённая головушка!”, “У него в голове одни бубны!”, “Чтоб тебе ни дна, ни покрывки!”. За глаза и в глаза ворчали: “Сорвался-де с виселицы”.

В одном ряду с ленью и бездельем высмеивалась глупость. Этого требовало воспитание в русских идеалах ума-разума. Недаром велось шутовское поучение: *“Голова не колышек, не шапку на неё вешать”*. Был в ходу насмешливый приговор: *“Лоб широк, а мозгу мало”*. Даже утешали глуповатого, мешая смех с жалостью: *“Всяк умён – кто сперва, кто опосля”*. А то и шутовски завидовали: *“Без ума житьё – рай!”*.

Но в целом к глупости относились жестоко, вынося глупцу приговор: *“Глуп, как дубина”* (как пень, как пробка, как печка...). Насмешка над глупостью – самая частая среди шутовских упрёков в русской среде, и не потому что на Руси много дураков, а потому что жизнь требовала от русского человека ума и разума, вот и воспитывали смолоду подрастающие поколения, изживая в детях дурость. А если это не удавалось, утешались ироничной премудростью: *“Дураки и нищие не родом ведутся, а кому Бог даст”*.

Зато особым уважением на Руси пользовались правдолюбцы. Русский идеал искренности воспитывался в обличении ханжества, насмешке над притворством и фарисейством. Фарисеям пеняли: *“Нам не гоже, так вот тебе, Боже”*. Или так: *“Мы кого обидим, тому зла не помним”*. Притворщиков судили: *“Спереди – блажен муж, а сзади – вскую шаташася”*. Или так: *“Ох, мой Бог, болит мой бок девятым год, не знаю, которое место!”*. Ханжей дразнили: *“Ну-ка, порося, оборотись в караса”*. Или так: *“Добрый вор без молитвы не украдёт”*. Над прохиндеями смеялись: *“Утаи, Боже, так, чтобы и чёрт не узнал”*. Или так: *“Господи, прости, в чужую клеть пусти, пособи нагрести да и вынести!”*

Всё это называлось дразнить и задирать, то есть буквально сдирать с человека ложь и очищать его от накипи пороков. В современном русском языке правда, что всегда глаза колет, получила новый словесный образ. Насмешничая, мы теперь подкалываем человека или прикалываемся над ним. Словесные уколы или – чаще – приколы есть продолжение древней насмешки-дразнилки. Та нещадно сдирала с человека гадкие черты, а нынешние приколы заставляют вздрогнуть от болезненной обиды и опомниться. Но по-прежнему наша насмешка жестка и даже жестока к зависти и жадности, к лени и безделью, к хвастовству и хвастовству, к лицемерию и ханжеству. Насмешка по сию пору сохраняет русские идеалы щедрости и бескорыстия, трудолюбия, скромности и искренности.

## МАЛ СМЕХ, ДА ВЕЛИК ГРЕХ

Поскольку **смех** происходит от глагола *сметь*, и он является преодолением запретного, то его могут вызвать так называемые “неприличные” вещи, то, что в русской культуре нельзя называть и обнажать. Запретными для названия в русском представлении всегда были предметы и понятия “ниже пояса”. Напомню, что в нашей иерархии хорошего и плохого верх и низ человеческого тела соотносились с добром и злом. Граница между ними проходила по чреслам человека, на которые ритуально налагался пояс. В старину неподпоясанный был всё равно, что неодетый.

Всё, что ниже пояса, считалось срамным, и обнажать эти части человеческого тела почиталось великим грехом. И даже говорить об этом считалось греховным, ведь название частей тела “ниже пояса” тоже являлось своего рода обнажением их, а значит, делом стыдным. Срамные понятия табуировали, но и новые слова, заменявшие запретные речения, скоро становились неприличными. Те же запреты распространялись и на плотские отношения, и на физические отправления человека. Все слова, что описывали действия “ниже пояса”, были запретными, их разрешалось упоминать при необходимости только во время болезни или родов, да и то в среде родных и врачей.

В русском языке к смеху “ниже пояса” применимы понятия издеваться, изгаляться и измываться, что по сути означает срывать одежды, покрывающие запретные телесные места, срывать покровы с недопустимых к обозрению плотских действий. Человек издевающийся будто “раздевает” словами окружающих и себя самого, и потому его называют **наглым**, то есть бесстыдно скинувшим с себя одежду, нагим, неодетым. А смех такого рода рождает стыд, исконно звучащий как *студ*, буквально “озноб от наготы, открыто выставленной на всеобщее посмешище”. Стыд – чувство того, кто подвергается наглому осмеянию. Семья же и род, где завёлся наглый смех, подвергается

лись сраму – публичному осуждению бесстыдства. Выражение *стыд и срам* очень точно передаёт впечатление от наглого смеха как человека, так и всего общества.

Всё это именовалось на Руси нечистым и бесовским, а подобный смех считался великим грехом, своего рода беснованием. Русский язык не случайно соединил слова “смех” и “грех”, поставил рядом с греховной, бесстыдной шуткой чувство вины за согрешение. Именно от нечистого, бесстыдного смеха предостерегают русские пословицы: “Где смех, там и грех”, “Мал смех, да велик грех”, “Навели на смех, да и покинули на грех”.

Нечистая сила и бесстыдный смех идут рука об руку. В народе это хорошо понимали, на этот счёт существовали отговорки и предупреждения: “Шутил бы чёрт с бесом, водяной с лешим”, “С чёртом не шути: перетянет”, “Леший пошутит – домой не пустит; водяной пошутит – утопит”, “Не шути с чёртом: из дубинки выпалит – убьёт”, “Чем чёрт не шути”, “Шутить бы чёрту со своим братом!”. Чёрт порой в присловьях заменяется словом шут: “Шут его знает!” или дядя: “Шутил бы дядя, на себя глядя”. Срамной смех осуждался церковью, за него требовалось принести покаяние.

Смех и грех – наиболее распространённая сегодня модель смеховой культуры, прежде запретной и осуждавшейся в благочестивом русском народе. Этот вид смеха, выражаясь языком психиатров, вызывает ощущение эйфории – чувство удовольствия и наслаждения, мотивированное наглой смелостью поругания запретов. Словесные матрицы неприличного смеха энергично внушаются массам через бесчисленные “развлекаловки” и “хохмы” – юмористические программы жванецких, хазановых, петросянов, винокуров... Люди, собирающиеся на эти зрелища в огромных залах и у телеэкранов, жаждут одного: “поржать”, хотя прекрасно понимают, что “ржачка” эта непристойна. Жаждут не посмеяться, не улыбнуться тонкой шутке, игре слов, доброй иронии, едкой насмешке, а именно ржать, гоготать, фыркать, хрюкать... Какие ещё животные термины приложить к этим звукам, которые издают зрители, хватаясь за животы, икая, обливаясь слезами и захлёбываясь смехом на подлых сеансах бесстыдства и наглости? Сами “панорамы смеха” нацелены на слушателей и зрителей с “гусиным разумом и свиным хрюкальцем”. В русской культуре такой смех ещё называли **пошлым**. Слово это обозначает бесстыдные действия, что вызывают животную похоть, не подобающую человеку. Пошлый анекдот, пошлая шутка смешны окружающим, но они смешны лишь в силу взлома запретов изгаляться, издеваться, наглеть.

Бесстыдный смех ненормален, он является разновидностью психоза эйфории, а рождает его эпидемическая искра глумления над запретным, передающаяся от одного зрителя к другому. Состояние, в которое впадают пришедшие за удовольствием люди на “сеансах смеха”, и вправду сродни психически болезненному состоянию эйфории, когда “деятельность больных расторможена, наблюдается дурашливое поведение и расстройство критического мышления”. Главная опасность подобных смеховых развлечений – в стремлении создавать у зрителя потребность в бесстыдстве и удовольствии от срамоты. Бесстыдный смех, открыто называющий запрещённые к прилюдному наименованию непристойности, разрушает границы добра и зла, явная скверна вдруг предстаёт дозволенной и даже весьма привлекательной, ибо, переступая через запрет, человек чувствует себя смелым и испытывает от этого удовольствие. К тому же психоз эйфории не позволяет человеку, одержимому им, адекватно воспринимать и здраво оценивать происходящее. Так и формируют ныне наглое человеческое быдло, приученное к бесстыдству, не понимающее, что такое *стыд и срам*.

Греховный, пошлый, наглый смех безоговорочно осуждался русским народом, но в семье не без урода, и он существовал исподволь в некоторых чёрных душах. Теперь этот непристойный смех пытаются сделать первейшим средством искоренения в нас стыда и приличия, а главное – понятий о добре и зле, являющихся нравственной крепью русского народа.

## КОГДА ПЛАЧ СМЕХОМ ПРЁТ

Русские смеются даже тогда, когда должно быть страшно. У нас, к изумлению многих народов, *когда есть нечего, то жить весело*. Если же плакать при этом мы не смеем, а тужить не велят, то остаётся только смеяться. Смех

освобождает нас от страха благодаря тому, что русские умеют смеяться в лицо врагу. Мы действительно смеем смеяться, преодолевая страх, какой бы природы он ни был, смехом мы перебарываем опаску перед могуществом богачей и власть имущих. Такой смех называют ещё смехом *сквозь слёзы*, он, как правило, обличает подлость наших врагов. **Подлость**, а это слово по смыслу сродни низости, — зло, что украшает себя масками добра, справедливости, величия, но на самом деле несёт пагубу и разорение. Высмеять подлость для русских — значит сохранить достоинство человека, не унизиться перед богатым и знатным, не согнуться перед властями предержажими. Если же ты не страшишься таковых, а об этом открыто свидетельствует твой смех, то ты достоин человеческого звания во мнении людей и в собственных глазах.

Русский человек всегда умел сохранять достоинство, смеясь над социальным неравенством: *“Мы и на том свете будем на бар служить: они будут в котле кипеть, а мы — дрова подкладывать”*. Высокомерие господ осаживали резко и метко: *“Ты — сударь, я — сударь, а кто же присударивать будет?”* О ненасытности богачей говорит язвительная поговорка: *“Сыта свинья, а всё жрёт”*. Доставалось и лихоимцам-банкаирам: *“Ростовщики на том свете калёные пятаки голыми руками считают”*.

Вот как посмеивались крестьяне над господами, понимая, что барский почёт не по заслугам: *“Паны что дурни: что захотят, то и делают”*. А ещё ворчали мужики, напоротившись на заносчивость барина: *“По всему видно, что не из простых, а из вислоухих”*. Осаживали и своих, вырвавшихся из грязи в князи, едко напоминая им о “социальном происхождении”: *“Не мешайся деревенская собака промеж городских!”*

Насмешка над уродствами, отличавшими высшие сословия, была для русского человека способом сохранить собственное достоинство. Крестьяне осмеливались насмехаться над изнеженными барями, дерзким смехом осуждали алчных попов, глумились над вороватыми купцами и тем возвышались над ними, доказывая сами себе, что они люди более высокого полёта и правильного уклада.

Подобный смех над богатыми в ходу и в наше время. Так называемые анекдоты “про новых русских” есть продолжение древнего смеха над алчностью и кичливостью богатеев. Анекдоты новейшего времени повторяют эту матрицу один в один: “Сынок “нового русского” спрашивает у отца: “Слышь, пап, а что такое “бьющая в глаза роскошь?” — “Это, сынок, когда мы твою золотую рогатку инкрустируем бриллиантами”. Такие анекдоты злы и презрительны, в них содержится откровенное пожелание всяческих кар на головы неправедно наживших свои богатства: “Новый русский” приходит к гадалке и спрашивает: “Мне вчера ночью картошка приснилась, к чему бы это?” — “Очень просто, — отвечает та. — Или весной посадят, или осенью уберут”.

Сегодня сохраняется в народе достойная черта не ронять чести перед деньгами имущими, этот древний архетип сквозит в большинстве современных анекдотов: “Заходит в офис “новый русский” с огромной цепью на шее. Роняет свысока: “Где хозяин?” Охранник, не задумываясь: “Что, хозяина потерял? Так погавкай!”

Спасает смех от трепета и перед властью имущими. Царь с боярами да приказными, Генеральный секретарь с членами Политбюро, Президент с Государственной Думой из века в век неизменно оказываются под прицелом смеха. Так мы сохраняем собственное достоинство перед лицом властителей, если они злоупотребляют властью. Вот где плач народный и впрямь смехом прёт. Известно русскому человеку сызмала, что *слезами горю не поможешь*, вот и приходится помогать горю смехом, перебарывая в показном, нарочитом веселье страх перед могуществом властей. Бытовала горькая усмешка в давние времена: *“Милует царь, да не жалует псарь”*. Клеймили бесчинства приказных и чиновников: *“В земле — черви, в воде — черти, в лесу — сучки, в суде — крючки!”* Эта древняя матрица читается и в анекдотах про Хрущёва, Брежнева, Горбачёва, Ельцина, Путина. В такой форме, к примеру: “Хватит ругать Президента! Дайте ему срок, и все наладится”. И уж, конечно, наши люди не жалеют остроот в адрес новых приказных: “В Государственной Думе принимали закон “Народ должен жить хорошо”. Внесли поправки ко второму чтению: “Народ должен жить”. В окончательном, третьем чтении приняли: “Народ должен”.

Смех над правителями — явное свидетельство падения их авторитета в глазах подданных, в озорных и образных призывах рисующих перспективу

смены правящего режима: *“Русский лес без чурок и сучков”*. Тот, кто сегодня так смеётся, чувствует себя представителем угнетённого народа, достоинство которого он защищает. И по мере распространения подобных шуток и острот, анекдотов и призывов ширится народный протест и возвышается народный голос. Мы смехом опрокидываем уверенность правителей, что им удастся сидеть на народной шее вечно. Достоинство народа как носителя суверенной власти – вот что отстаивает наш русский смех.

Есть ещё одна причина преодолевать страх смехом. Именно так мы подавляем ужас перед чужаками, особенно когда их слишком много и они нам явно угрожают.

Истоки этого смеха коренятся в преодолении древнего страха перед чужими. Перебарывая боязливую неприязнь к незнакомому народу, русские искали в чужаках смешное, а смешным казалось всё то, чем они были не похожи на нас. Это и непонятный нам язык, воспринимаемый как звериный рык или птичий клёкот. И внешний облик, отличающийся от русских и потому подчас представляющийся нам уродством. Обычаи и повадки, которые не свойственны русским, которые кажутся нам поэтому дикими. Такой смех служит достойным способом защиты от иноплеменников. Высмеивая чужаков, мы не только преодолеваем страх перед ними, но и воспитываем в своих соплеменниках любовь к родному, а следовательно, сохраняем и возвышаем в собственных глазах своё национальное достоинство.

Начнём с того, что всякого иноземца в старину насмешливо называли *немцем*, то есть немым: поскольку иностранная речь была русским не понятна, любой чужак представлялся нам глухим и немым.

По-прежнему дика нам речь иностранцев, и сегодняшний анекдот продолжает древнее смешливое поверье, согласно которому иноземцы не говорят, а рычат, регочут, гогочут. Оно живо и поныне: *“Чтобы научиться говорить по-китайски, нужно положить в рот горячую картофелину и произносить любые слова”*. Наша же речь во всех её проявлениях нам представляется лучшей в мире, что проявляется в иронических, даже не без некоторого хвастовства заявлениях: *“Как чуден и глубок русский язык. Попробуйте, не потеряв красоты и душевности, перевести на любой язык фразу “маленько многовато выпил”*. А вот ещё одно ироническое утверждение: *“Только в России “угу” означает “спасибо”, “ой” переводится как “извините”, “эй” трактуется как “подойдите, пожалуйста”, а кусочек хлеба является вторым столовым прибором”*. Любовь к родному языку и собственным традициям – вот что отстаивалось и отстаивается таким смехом.

Как и прежде, русские находят много смешного в повадках иноземцев, в их привычках, нам не свойственных. И, разумеется, сами мы на этом фоне стоим в собственных глазах очень высоко. Вот старинные поговорки, они смешны и одновременно насторожены по отношению к разным народам, с которыми мы имели дело в истории: *“Что русскому здорово, то немцу смерть”, “Незванный гость хуже татарина”, “Цыгану без обмана дня не прожить”, “Голодный француз и вороне рад”*.

А вот новые басни, именуемые ныне анекдотами. Они по сути своей ничем не отличаются от прежних – всё так же отстаивают наше национальное достоинство: *“Переехал в Германию. Всё хорошо. Живу уже десять лет, по привык. Вот только, бывает, проснёшься утром, а в городе – немцы”*. Герои анекдотов – инородцы, с которыми сталкивает нас современная жизнь: *“Популай дублёнку! Мамой клянусь, кожа молодого дерматина!”* Иронизируем над иностранцами, отстаивая своё превосходство: *“Когда надо что-то сделать во что бы то ни стало, американцы говорят: “Сделай или умри!” У русских подругому: “Умри, но сделай!” Тот же пафос: “На Западе принято сжимать кулак и разжимать пальцы по одному: во-первых, во-вторых... А у нас наоборот: сначала пальцы растопыривают, а потом сгибают их по одному в кулак. Это чтобы, если кто не понял, сразу пятью аргументами в рыло”*.

О том, что только русским свойственно смеяться сквозь слёзы, свидетельствует парадоксальная, на первый взгляд, но всем нам понятная поговорка *“В весёлый час и смерть не страшна”*.

Смех сквозь слёзы является проявлением особой русской удали, тех самых *“авось”, “небось”* и *“как-нибудь”*, на которых стоит русский характер. *Авось* означает *“а вот так!”* *Небось* – *“нет, не так!”* *Как-нибудь* – знак того, что как бы там ни было, но дело будет сделано любой ценой! Вот откуда на-



ше выражение *смеяться в лицо врагу*. Оно отражает особое русское упорство на краю гибели. В русской тюрьме и на русской каторге, по свидетельству тех, кто там побывал, много смеются. Это позволяет не умереть от отчаянья. Смеются, шутят, балагурят и на войне, и оттого воевать не страшно. Смеяться в лицо врагу есть сгусток особой русской дерзости и крайней смелости, доставляющей смеющемуся на краю пропасти человеку прощальную, а то и предсмертную радость – радость, что он не сдаётся, держится до последнего, что ему всё ничоём. Формулами смеха здесь издревле являлись слова “Держись!” и “Ничего!” – мол, и это переживём, и это одолеем.

Смех сквозь слёзы укрепляет, человек доказывает сам себе, что он не трус, что смеет переломить свой страх даже в смертный час. Это позволяет русским пережить любое несчастье, это укрепляет нас в непереносимых невзгодах.

Русский смех, преодолевающий страх, – способ сохранения, восстановления нашего достоинства. Мы сохраняем уважение к себе, когда высмеиваем подлость богачей. Мы берегаем народное достоинство, когда смеёмся над низостью правителей. Мы укрепляем национальную гордость и отстаиваем своё превосходство, когда потешаемся над чужаками и пришлыми. Мы даже на краю гибели смеёмся в лицо врагу. Такой смех присущ смелому народу, которому, как это ни удивительно для других племён, *популярна беда со смехами, но невмочь беда со слезами*.

### ЧТО ТАКОЕ “ВАЛЯТЬ ДУРАКА”

Умение смеяться свойственно, очевидно, всем народам. Но чувство смешного обусловлено национальным мировоззрением. Англичане, к примеру, тонко воспринимают ироническую игру слов, их смех чаще всего выражает превосходство над окружающими, которые не понимают изысков английского юмора. Французы предпочитают смеяться над другими народами, непохожими на них самих. Немцы вообще не склонны видеть смешное вокруг, и лишь фарсовые, нелепые ситуации, выходящие за рамки общепринятого, могут вызвать у них смех. Русские же отличаются от всех уникальным умением *смеяться над собой*, которое у нас обычно называется *валять дурака*. В нашей культуре это умение ценится весьма высоко, считается признаком ума-разума. И вот почему.

*Дурак* по-русски не всегда означает глупца. Глупый в истоках языка стыкуется с понятиями глух и глум, глупый, подобно глухому, не слышит слов разума и потому глумится, то есть рассуждает неразумно. В синонимах к слову *глупец* в русском языке бытуют слова иностранные. *Идиот* происходит от греческого *чужой*, и это оправданное сближение глупца с чужаком, ведь чужой так же не понимает нас, как и глупец. Слова *болван* и *балбес* тюркского происхождения, у наших соседей-кочевников *болван* означал “борец, силач”, а *балбес* (*bilmas*) буквально переводится с тюркских языков “он не знает”. И то, и другое слово оправданно обозначали глупцов.

А вот слово *дурак* стоит на особицу. **Дурак** – слово с индоевропейским корнем \*DR. Этот корень находим в латинском *dura*, что значит крепкий, твёрдый, а также *dura* по-латыни – “верхняя мозговая оболочка”. Исходное значение корня \*DR – нечто крепкое, твёрдое, трудно пробиваемое, оттого в нашем языке возникли слова *дыра*, *драть*, *древо*, *дрын*, а также *дразнить*, *задирать*, *раззадоривать*, то есть пытаться пробить крепость неразумения. Так что для нас дурак – не только и не столько глупец, болван, идиот и балбес, сколько непонятливый, малоумный, а то и вовсе безумный человек, дурак по-русски – крепкоголовый, твердолобый, непробиваемый. А крепость головы и твёрдость лба осмысливается по-разному.

В каждом из нас живо сочувствие глупцу – дураку безумному, ибо каждый сам себя не раз и не два упрекает в недостатке ума: “Вот же я дурак! Над безумным дураком смеются чаще всего по-доброму: “Дураку счастье, а умному Бог даст”, “Пьяный проспится, а дурак никогда”, “Когда дурак умён бывает? – Когда молчит”, “Дурак не дурак, а с роду так”. Особо тупого раздражённо именуют: “Дурак дураком”, “Круглый дурак”, “Сплошной дурак”, “Набитый дурак”, “Законченный дурак”, “Отпетый дурак”. Про такого говорят: “Чердак без верха”, “У него шариков не хватает”, “У него не все дома”, “У него от думы голова не болит”, “У него из голубятни все голуби улетели”.

Как бы то ни было, глупость нами принимается со снисходительным упреком: *“Ты бы наперёд подумал. — Пробовал, братец, ещё хуже получается”*.

В то же время на Руси презирали дураков бесстыдных, кому неведомо чувство стеснения, и они срамились на всю округу, вызывая брезгливый смех. Таких безоговорочно осуждали: *“Посади дурака за стол, а он и ноги на стол”*, *“Чужой дурак — смех, а свой дурак — стыд”*, *“Дурак стыда не знает”*.

Но иных дураков у нас привечали и даже любили. Ценили простоту дурака бесхитростного, кто благодаря своей твердолобости не понимал людских ухищрений и лепил напрямик в глаза всё, что о ком думает. Такой человек, по нашим представлениям, вовсе не болван и не идиот, и уж тем более не бесстыдник. Он простодушен, и за своё простодушие всеми любим. Дурость такого рода была почитаема в народе: *“Дурак — Божий человек”*, *“Временем и дурак правду скажет”*.

Русский бесхитростный дурак способен обличать и силу, и власть, вот о чём гласит поговорка *“Простота хуже воровства”*. Это по сути прямота, которая сильнее разбоя. Бесхитростный дурак называется у нас юродивым — обличитель, принимающий подвиг юродства для того, чтобы сметь говорить людям правду в глаза, обличая их грехи без различия чинов и богатств. Поэтому *“не только попу, но и дураку — место в красном углу”*.

И уж вовсе не глуп в наших глазах дурак бесстрашный. Просто он неподвластен чувству страха, его голова слишком крепка, чтобы страх пробился в неё. В народе неизменно живо уважение к дураку бесстрашному, у нас их величают либо героями, либо юродивыми. Мы так и говорим о всяком, кто очертя голову кидается первым в схватку, уважительно вздыхая: *“Во дурак!”* А ещё бормочем не без зависти к чужой решимости биться со злом, кивая на тех, кто не боится силы и власти: *“Дуракам закон не писан”*.

И вправду, наш бесстрашный дурак не знает меры ни в чём: *“Дурак времени не знает”*, *“Дай дураку лошадь, он на ней и к чёрту ускачет”*, *“Дай дураку волю, он две возьмёт”*. Особенно важно, что *“в таком дураке и царь не волен”*. Не говоря уже о прочих господах и начальниках: *“Дураку, что большому чину, — везде простор”*. Ведь *“от чёрта — крестом, от медведя — песком, а от дурака — ничем”*.

Дурость дурака бесстрашного или бесхитростного — это освобождение ума от всех условностей, от всех привычек, запретов и страхов. Поэтому-то говорят и видят правду чаще всего дураки. Они честны, правдивы, смелы. Они правдолюбцы, почти святые, но только “наизнанку”. Широко известна поговорка *“Дуракам везёт”*. Но у неё есть более образный вариант: *“Дурак спит, а счастье у него в головах стоит”*. В народе ещё считалось, что *“дураку помогает Бог”*: *“Бог дурака поваля кормит”*, *“Дурак стреляет, Бог пули носит”*, *“Умный сам по себе, а дураку Бог на помощь”*, *“На дурака у Бога милости много”*. В сказках дураку вообще доставалось полцарства с царевной в придачу. Иван-дурак из сказок — типичный любимый герой русского народа, которому за его простоту и прямоту Бог посылает счастье: *“Дурак и в бочке сидя волка за хвост поймал”*.

Так что если русского человека называли дураком — это вовсе не означает, что он непроходимый глупец. Просто таких не пронять кого — стыдом, кого — хитростью, кого — страхом, благодаря непробиваемой крепости, твёрдости, а подчас и тупости их голов. Именно потому и привечают на Руси дураков повсюду: и хорошо, и плохо, ибо: *“Дурь на дурь не придодится”*, *“И дурак дураку розь”*, *“У всякого своя дурь в голове”*. Так что русская традиция в основном выносит о дураках благожелательный приговор: *“Без дураков скучно жить”*, *“Без дураков и умным скучно”*, *“На дураках белый свет держится”*.

В роли такого дурака — бесхитростного или бесстрашного — хоть раз в жизни бывает каждый русский человек. Именно так каждый из нас не только легко может оказаться в дураках, но и сам иной раз готов валять дурака, придуриваться, то есть разыгрывать из себя придурка, как бы дурака, прикидываться дураком, потешаясь над самим собой. В таких случаях говорят: *“Он на себя дурь напустил”*.

Почему по-русски дурака именно “валяют”? Да потому что дурак в нашем представлении — это низшая ступень человеческого бытия, он внизу, он у всех под ногами, не зря говорят *“упасть в чьих-то глазах”*, *“уронить себя перед всеми”*, и в таком положении, как это ни странно, в таком унижительном положении русский человек чувствует себя очень удобно, если, валяя дурака,

может сказать в лицо правду, вымолвить обиду, обличить злодея. Ведь он *валяет дурака*, а лежачего на Руси не бьют, а дурака бесхитростного и бесстрашного ещё и слушают. Но чтобы *валять дурака*, нужно обязательно уметь смеяться над собой, быть способным умалить и принизить себя, тогда и другим, над тобой как бы возвышающимся, слушать твои шутки и обличения не обидно.

Вот классическое валяние дурака в запорожской прибаутке: *“Родился мал, вырос глуп, помер стар, ничего не знаю. А потому слушай, что скажу”*. По русским представлениям, смех над собой – самый необходимый для окружающих, и на него способен только разумный человек. *Валять дурака* – чисто русская традиция, и смех над собой свидетельствует об уме русского человека, который способен взглянуть на себя иронически.

Над чем же мы смеем смеяться, когда, валяя дурака, хохочем, иронизируем, подтруниваем, улыбаемся над самими собой? Такой смех разрывает оболочку привычного для окружающих образа, взламывает неприкосновенное у других народов личное пространство – ограду приличия, в которую каждый человек вселяет себя, как в кокон. И то, что иноземец почтёт за безумие, с русской точки зрения – верх ума-разума. Очень разумно, и даже свято – посмеяться над условностями собственного бытия, вырвавшись из житейских пут ради вольной волюшки, простодушно резать правду-матку и бесстрашно переть напролом.

## БУДУЩЕЕ У РОССИИ ЕСТЬ

*Беседа с Председателем Союза писателей В. Н. Ганичевым*

– Валерий Николаевич, вашими предшественниками на посту председателя Союза были Леонид Соболев, Сергей Михалков, Юрий Бондарев. У вас от высоты не захватывало дух?

– Для меня это место служения. У людей моего поколения выработалась потребность служить России. До этого я работал в издательстве “Молодая гвардия”, был главным редактором “Комсомольской правды”, возглавлял журнал “Роман-газета”

– Вам принадлежат слова: “История Союза писателей России – это история сбережения России”. Но вот вопрос, что бережет страну: штык или слово?

– Я не думаю, что тут надо противопоставлять, потому что бывают моменты, когда последнее слово остаётся за штыком, но ведь войско вдохновляется словом.

– Главный редактор журнала “Наш современник” Станислав Куняев в беседе с вами не без волнения говорит: “Разве забудется, как от имени писателей-фронтовиков легендарный 94-летний балтийский моряк Михаил Годенко за мужество и героизм в отстаивании отечественной истории и литературы вручил копию памятного знамени Победы Союзу писателей России и вы коленапреклоненно приняли его.”

Скажите, это был для вас какой-то знак?

– Знаете, это было для нас признанием той позиции, которую мы удерживали и продолжали, в общем, дело наших фронтовиков. Поэтому я стал на колени и поцеловал знамя, как положено по армейскому ритуалу. И это вручение можно отнести к ряду славных дат в истории Союза писателей России.

– Сколько сегодня фронтовиков в писательском строю?

– Их можно пересчитать по пальцам, но мы старались всегда, чтобы писатели-фронтовики были отмечены. В этом году перед 9 мая на встречу в Союз писателей пришли только двое: Михаил Годенко и Владимир Бушин. Юрий Бондарев, Михаил Лобанов, Семён Борзунов – я с ними говорил – в силу обстоятельств и состояния здоровья не смогли прийти.

– Копию знамени Победы фронтовики вручили вам в том числе за оборону Дома Союза писателей России, и оборона эта, думаю, войдёт когда-нибудь в историю, как оборона Дома Павлова в распятом Сталинграде.

– В нашем писательском Доме всегда кипела жизнь, проводились встречи, семинары, чествования юбиляров. Но после развала СССР на дом положили глаз жирные коты нашей жизни: то какие-то коммерческие структуры, то чиновники, решившие что-то отхватить в силу своих властных полномочий.

Однажды сюда вторгся вооружённый отряд во главе с чиновником мэрии, который потребовал здание освободить. Тогда Станислав Куняев сказал: “Покажите документы, на основании которых вы вторгаетесь в наш дом”. Ему

протянули какую-то бумажку, он, не читая, разорвал её и бросил им: “Вон отсюда!” Они оторопели и убрались восвояси. А писатели забаррикадировали окна и двери, в ход пошли стулья и столы. Помню, Василий Белов тогда сказал: “Какое варварство начинается!” И это был не последний приступ и не последний налёт на Союз писателей России. Много посягательств было. Вызывали меня в министерство культуры и увещевали, что здание надо уступить.

– *Во имя чего?! Это сродни тому, как отбирали церкви и монастыри. Союз писателей России славен многими людьми, здесь даже воздух в здании намолен!*

– Нечего греха таить, многие из тех, кто так упорно добивался, чтобы нас отсюда выселили, уже уехали за границу: кто в Израиль, кто в Германию, кто в США.

Я обращался к святейшему патриарху Алексию II, и он написал письмо в нашу защиту. Потом и новый патриарх Кирилл нас поддержал. С нами было доброе высокое слово двух духовных пастырей России, и это слово превозмогло силы ополчившихся на нас.

– *Русская культура в мировой истории представлена великими и признанными именами, и меня всегда коробило, когда министерство культуры возглавляли люди, далёкие от искусства.*

– Знаете, я прожил большую жизнь, мне уже за 80 лет, и я видел, что не только в министерстве культуры, но даже во главе страны стояли люди, которые не соответствовали своему назначению.

– *Вам принадлежат слова: “Можно как угодно относиться к эпохе всемогущего флорентийского олигарха Медичи, но даже и олигарх, если он является частью своего народа, предпочтёт иметь дело с лучшим национальным художником Микеланджело, а не с каким-то примитивным дельцом”.*

Вопрос: судя по тому, что Союз писателей сегодня бедствует, в России таких олигархов нет?

– Их до безобразия мало. Они очень далеки от страны. Кто-то нас поддерживает, и я им очень благодарен, но боюсь называть имена, потому что, может быть, им это навредит. Сегодня безопасней давать деньги на футбол или на шоу, чем поддерживать духовные своды страны. Необходимые средства мы вынуждены собирать всем миром.

– *Ваши слова бьют не в бровь, а в глаз: “Был у нас когда-то и голодомор, и война. Было так, что картофелину делили на троих, а сапоги носили на четверых. Но – не вымирали. А сегодня, пока мы будем надеяться на нефтяную или газовую трубу, на нацпроекты, не затрагивающие главного – качества нашей духовной жизни, – Россия не будет иметь будущего”. Скажите откровенно, на ваш взгляд, есть у России будущее? Мне всё больше кажется, что нет.*

– Будущее у России есть, но не в таком, конечно, уродливом виде, как сейчас. Сейчас, по-моему, остался один фактор, который держит в единстве наш народ, – это великая Победа, 70 лет которой мы только что отмечали. И я скажу, что это самый важный фактор единения страны. “Бессмертный полк” своим грандиозным маршем это показал.

Качество духовной жизни составляется из веры, когда она является внутренним содержанием, а дальше идут культура и слово, почерпнутое не из словаря Элочки-Людоедки, а из языка Пушкина и Достоевского, Тургенева и Толстого, Чехова и Блока, Шолохова и Твардовского.

– *А из социальной справедливости качество духовной жизни составляется?*

– Обязательно, конечно, составляется. И это не только вопрос социализма, а вопрос трезвого ума и сердца.

– *Вам сказочно везло на встречи с людьми знаковыми: тут и маршал Жуков, и Гагарин, и Шолохов. Это всё государствообразующие имена. Приведу ваши слова: “Помню хорошую шутку Гагарина. Летели мы на не очень большом самолёте. На первых сидениях – Гагарин с Павловым (это секретарь ЦК ВЛКСМ), за ними сидел я. И тут, смотрю, стюардессы вокруг меня стали виться, столики свои подкатывают, все яства предлагают. Оказалось, они сначала, конечно, к Гагарину, понятно – кумир всей планеты. А он им: “Да ладно, девушки, что я! Вот за мной человек сидит, видите? На Луну готовится! Первым полетит!”*

*Вопрос: Каким вам запомнился Юрий Гагарин, какими штрихами можно набросать его портрет?*

– Я думаю, что это в каком-то смысле ещё недосыгаемо. Вот когда мы были у скульптора Сергея Конёнкова, он назвал Гагарина небожителем. Вот это ёмкая, простая формула. Конечно, это человек, который уже ушёл в века, и он, слава Богу, стал нашей опорой. Это живой весёлый человек и в то же время человек духовный. В 1965 году, прошу запомнить дату, в 1965 году, только что ушёл Хрущёв, не где-нибудь на кухне, а на пленуме ЦК ВЛКСМ Гагарин заявил, что надо восстановить храм Христа Спасителя, потому что он поставлен в честь победы над Наполеоном. И этот первый призыв к восстановлению храма прозвучал из уст Гагарина. Вот каким он был!

– Приведу фрагмент вашей беседы с маршалом Жуковым. На ваш вопрос: “Почему мы всё же победили?” – военачальник отвечал: “Действительно, почему? Немецкие генералы – лучшие. Мы у них учились. Прусские офицеры – военная кость, отборная каста. Немецкий солдат уже несколько лет приучен был воевать и побеждать... Но мы победили потому, что у нас был идейный духовный солдат”. На ваш взгляд, контрактная армия, которая сегодня формируется или сформирована, может быть идейной и духовной?

– Жуков был, как вы знаете, очень осторожен в формулировках, но ответил он именно так. А сегодняшняя армия, по-видимому, требует контракта, потому что на вооружении стоит высокотехнологичное оружие, и призывник не в состоянии всем овладеть. Но в то же время необходимо, чтобы призыв в армию сохранился и на службу призывали. Это обязанность каждого гражданина страны.

– *Икона мировой литературы – Шолохов. Ваши встречи, ваши впечатления?*

– Вы знаете, это, конечно, образное слово – икона, но сам Шолохов иконой не хотел быть, не хотел быть идолом и человеком для подражания.

Я знал его с 1967 года, бывал у него дома десятки раз, и никогда не возникало впечатления монументальности. Это было распахнутое поле. Сплав простоты и мудрости. Это отметил и Василий Шукшин. За десять дней до своей гибели он приезжал к нему после съёмки фильма и потом мне говорил: “Меня поразило Шолохов. Это мудрец, великий мудрец, и как видит зорко!”

Шолохов многогранен. Я уже не говорю, что это гений и создатель лучшего романа XX века.

– *Вы историк по образованию, доктор исторических наук. Как вы оцениваете роль Петра I в истории России?*

– Я лично считаю роль Петра I положительной при всех издержках и при том, что он всё делал через колено.

– *Замшелых бояр Пётр I учил уму-разуму, молодёжь отправлял учиться за границу, сам облачился в фартук, взял в руки плотницкий топор и стал прорубать окно в Европу. А сегодня это окно заложили мешками с песком и превратили в амбразуру.*

– А что нам перенимать сегодня у Европы – гомосексуализм и однополые браки?

– Я думаю, по этим вопросам мы можем фору дать Европе. У нас своих гомосексуалистов хоть отбавляй и голубое лобби существует, только это всё не на виду, а разреши им проводить парады, и под радужные знамена стекутся тысячи, десятки тысяч человек. И хрен с ними, мне до них нет дела. Угрозу для страны представляют социальная несправедливость, ложь, бюрократия, коррупция, засилье оборотней, осуждение невиновных людей, вынесение неправосудных приговоров... В трясине этой вязнет вся страна.

– Грехи наши, конечно, надо изживать. Грехи у нас есть, их много. И бахвальства тут не может быть никакого. Никогда Россия себя от всего мира не отгораживала. Русский человек – это всечеловек, как говорил Достоевский. Но Европа – это Европа, а мы – это мы. У нас есть своя сущность, своя вера, своя история, своя культура, и нам из этого надо исходить.

– *“Слово о полку Игореве” называют памятником русской литературы, но мне кажется, что это не памятник, а кодовое послание, глас вопиющего в пустыне, который дошёл до нас через века и свидетельствует о невозмож-*

ности русского объединения или о возможности такового лишь тогда, когда уже земля развзрзается под ногами. Спросите у любого, кто служил в армии, и он подтвердит, что у них в роте десять кавказцев объединялись и верховодили сотней разрозненных русских. И это не потому, что русские малодушны, а потому, думаю, что не русское, а российское преобладает у народа, он себя воспринимает некой глиной, которой лепится и крепится страна. Вы, видный представитель русской партии в России, что вы на это скажете?

— Мы думали об этом и раньше, когда у нас были какие-то попытки соединиться, а соединения русских людей не произошло. Гоголь в своё время отмечал, что на Руси любое дело должно получить одобрение Церкви. И вот Всемирный Русский Народный Собор, главой которого является Патриарх Московский и всея Руси, объединил людей. Он образовался в 1993 году, а уже на следующий год под эгидой Собора в Свято-Даниловом монастыре собрались представители 25 партий, и это было крайне важно для страны после того, как общество было расколото событиями 1993 года.

Собор всегда в истории России играл значительную роль, и сегодня эта роль будет только возрастать. Я в этом убеждён.

— Вы скромно умалчиваете о своей роли, между тем в дни проведения Всемирного Русского Народного Собора занимаете место рядом с Патриархом. Патриарх Русской Православной Церкви и патриарх литературы... В этом скрыт какой-то смысл.

— Вы знаете, кто-то уходил, кого-то уходили, а я, наверно, единственный, кто с первых дней существования Собора до настоящего времени был и остаюсь заместителем его главы. Более того, соучредителями Русского Народного Собора стали Православная Церковь, Союз писателей России и журнал “Роман-газета”, главным редактором которого я был. При этом Патриарх всегда подчёркивал, что Собор — это общественная, а не церковная организация. И вот со дня формирования Собора, мне, я думаю, выпала честь быть заместителем его главы.

— В книге “Росс непобедимый” вы себя проявили в органичном сочетании историка и художника. Книга это заняла по праву свою нишу в отечественной литературе. Можно назвать её вашей главной книгой?

— Я бы, скорее, назвал её ключевой в моём творчестве. Впрочем, как и роман “Флотоводец”. Работая над ними, я глубоко изучил XVIII век, и с этого потом пошло создание других произведений. Вот так бы я ответил на ваш вопрос.

— Идея о канонизации адмирала Ушакова принадлежит вам?

— Наверно, эта идея носилась в воздухе, а я первым высказался об этом в письме к Патриарху. Оно было написано в 1995 году. До этого долго, больше четверти века я работал над образом Ушакова, изучал его во всех проявлениях и ипостасях и пришёл к выводу, что это подвижник веры. Он закончил свою жизнь в келье Санакарского монастыря, раздав свои богатства солдатам и инвалидам, “сырым, бедным и убогим”, как писал один из епархиальных владык. Помимо этого, оказывал помощь вдовам офицеров, выделял деньги на строительство госпиталей. Я говорил с монахами монастыря, и они меня укрепили в моих мыслях.

В 2000 году Синод и Патриарх приняли решение прославить в чине святого Русской Православной Церкви адмирала Фёдора Ушакова. И сегодня Санакарский монастырь — единственное место в мире, где покоятся мощи святого “в погонах”, хотя не за погоны возводили его в ранг святых.

Не все знают, но мощи Ушакова обладают целительной силой. Об этом говорил настоятель монастыря. И что особенно удивительно, помогают женщинам, страдающим бесплодием. Это даже трудно себе представить, почему, как, но это Святая сила. Адмирал ведь в браке никогда не состоял, у него не было семьи, не было детей, но поклонение его мощам избавляет женщин от бесплодия. И это, конечно, чудо.

— Вашу книгу “Росс непобедимый” я читал в трудных обстоятельствах. Я был незаконно осуждён по сфабрикованному от начала до конца делу. Мне было страшно горько, солнце не светило для меня в самый знойный день, но я хорошо помню живительную силу вашей книги. Вы знали, что книга бу-

*дет этой силой обладать или тут уместно вспомнить Тютчева: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется...”?*

– Правда тут за Фёдором Ивановичем Тютчевым. Я работал над книгой с 1981-го по 1987 год, вкладывал душу, ведь писал действительно о человеке необыкновенном, но я не знал, как отнесутся к ней и как примут книгу.

– *Два слова о своей семье, Валерий Николаевич.*

– Мне, конечно, повезло с семьёй. Была жена Светлана, моя Света, мне казалось, что она будет всегда, а сейчас, когда она умерла, я не верю, что такая красота была со мной... Да нет, я не хочу про Свету говорить, не могу, не буду.

– *А про Марину, дочку вашу, про неё грех не сказать.*

– Про Маришку можно. Это любимая дочь. Она мой соратник, мой друг, мой товарищ. Она окончила, как и я, исторический факультет университета и, может, мы не представляем какой-то богатый клан, но нас знают в России. Мы несли служение ей и не помышляли о наживе.

– *Зря вы прибедняетесь, Валерий Николаевич. Вы сколотили состояние, над которым не дрожат, ибо сказано: ни моль, ни ржа не истребляют, ни вор сокровище такого рода не крадёт. Спасибо вам за ваше делание и спасибо за беседу.*

*Беседу вёл Владимир Смирнов*



НАТАЛЬЯ ИРТЕНИНА

## ПРАВО РОССИИ НА АРКТИКУ

### *Как не состоялась европейская колонизация русского Севера и Сибири*

В последние годы Арктика стала стратегическим регионом, за богатства которого жестко борются немало стран. Россия также озвучила свои интересы в этой северной кладовой планеты. Возвращение нашей страны в свои арктические владения после временного отступления и возрождение её Северного флота усиливают накал страстей в международном дележе приполярных недр. Государства-конкуренты нацеливаются в том числе и на те участки шельфа, которые Россия рассматривает как исконно свои.

Конкуренция эта началась не в XX и не в XIX веке, а в ту эпоху, когда вдоль северных берегов Евразии плавали на Шпицберген, Новую Землю, на Печору, Обь и Енисей небольшие, но способные противостоять льдам кочи промысловиков-поморов. Уже на рубеже XVI и XVII веков русское правительство осознало необходимость защиты своих северных морских путей и рубежей от европейских мореплавателей, разведывавших земли, пригодные для колонизации. Итак...

В мае 1553 года от берегов Англии пустились в плавание три корабля. Экспедиция во главе с сэром Хью Уиллоуби и капитаном Ричардом Ченслером, снаряжённая для поисков пути в Китай, взяла курс на северо-восток, в обход Скандинавии. Управляющий морскими делами Британии Себастьян Кабот в инструкции для моряков выражал надежду, что им удастся “успешно осуществить это замечательное предприятие, которое... будет иметь не меньший успех и принесёт не меньшую прибыль, чем та, которую восточная и западная Индия принесли императору (королю Испании и императору Священной Римской империи Карлу V – Авт.) и королям Португалии”.

Англия в те времена имела крепкий флот и много товаров для экспортной торговли, но не владела рынками сбыта и путями беспопытной торговли с другими странами. Южные морские маршруты находились в руках испанцев и португальцев. Кабот в своё время безуспешно искал северо-западный путь до Китая и Индии, в обход Северной Америки. Новый его проект северо-восточного пути к китайским богатствам был охотно принят купеческим сообществом Британии. Специально под это и будущие подобные предприятия организовалось “Общество купцов-предпринимателей для открытия стран, земель, островов, государств и владений неведомых и даже доселе морским путём не посещаемых”...

Европейская география XVI столетия знала о существовании пролива между Азией и Америкой. Ему даже дали название – пролив Аниан, хотя ни-

кто его не видел и не представлял пути к нему. Это знание было чисто теоретическим. Мечтой доплыть до Китая северными морями, обогнув Европу, Московию и Татарию, Кабота заразил шведский историк и картограф Олай Магнус. В свою очередь Магнуса вдохновило сочинение итальянца Павла Иовия Новокомского “Книга о посольстве Василия, великого государя Московского к Папе Клименту VII. . .”. Русское посольство посетило Рим в 1525 году, книга была издана тогда же.

Описание Московского государства в этом трактате выполнено Иовием по рассказам его русского собеседника в Риме. Посольский переводчик Дмитрий Герасимов был высокообразованным профессионалом, “весьма искушённым в человеческих делах”, как его характеризует Иовий. Одним из его интересов была география: он описывал Иовию самые отдалённые владения великого князя Московского, простиравшиеся на север и восток, за Уральские горы, до земли Югры и низовой Оби. “Достаточно известно, – записал Иовий за Герасимовым, – что Двина, увлекая бесчисленные реки, несётся в стремительном течении к северу и что море там имеет такое огромное протяжение, что, по весьма вероятному предположению, держась правого берега, оттуда можно добраться на кораблях до страны Китая, если в промежутке не встретится какой-нибудь земли”.

Сибирскими землями, а также знанием о них Московское государство начало прирастать за столетие до похода Ермака. Великий князь Иван III в конце XV века дважды посылал на Югру и Обь походные рати. Предположение Герасимова о северном пути в Китай – довольно смелое для той эпохи, но ничуть не фантастическое. В глубинах Азии русские побывали ещё в Батыевы времена. С описанием кругосветного плавания Магеллана Герасимов познакомился в том же посольстве в 1525 году. Русский же Север – Поморье, Двинская земля, Мурман – был известен ему не понаслышке.

С конца XV века русские посольства не раз плавали из Белого моря, от устья Северной Двины, в Западную Европу. Этим путём пользовались в основном для отправки дипломатических миссий в Данию (в одной из них побывал Герасимов). А задолго до того здесь ходили в Норвегию боевые ладьи новгородцев.

Московские послы плавали по Студёному морю-океану на ладьях местных жителей – поморов. Потомки новгородцев, поморы стали хозяевами арктического побережья России, отлично знали морские пути на запад, восток и север. Регулярные промысловые маршруты для добычи морского и пушного зверя (тюленей, моржей, соболя и др.) назывались у поморов ходами. С XV века был освоен Груманланский ход (на Грумант-Шпицберген). Одновременно или чуть позже появился Новоземельский ход (на Новую Землю). Во второй половине XVI века поморы проложили Мангазейский (в Обскую губу) и Енисейский ходы.

Есть сведения, что русские знали и путь до Гренландии, прочно забытый к тому времени скандинавами – первооткрывателями острова. До издания карты Олая Магнуса в 1539 году (базирувавшейся на сведениях Герасимова) в Западной Европе были уверены, что Гренландия – это полуостров, соединённый с материком в районе Лапландии и препятствующий любым попыткам проникнуть дальше на восток. Экспедиция Уиллоуби – Ченслера опровергла этот миф.

Но, как известно, англичане обнаружили путь не в Китай, а в Московию. Команды двух кораблей погибли во время зимовки на Кольском полуострове. Третий, “Эдуард – Благое Начинание” достиг устья Северной Двины в Белом море. Капитан Ченслер был доставлен в Москву, ко двору Ивана Грозного. Вскоре основанная в Англии “Московская компания” получила от английской королевы и русского царя право на монопольную и беспошлинную торговлю с русскими в Холмогорах на Двине.

С. Кабот напутствовал членов первой английской экспедиции “в Китай”: “Постоянно помните о великом значении путешествия, о чести, славе, хвале и выгодах, связанных с ним. . .”. А вот английский поэт и политический деятель Джон Мильтон в своей “Истории Московии” отзывался об этом плавании довольно резко: “Открытие России со стороны северного океана. . . могло бы казаться подвигом почти геройским, если бы предприятие это было внушено более высоким побуждением, чем чрезмерная любовь к корысти и торгов-

ле”. Писал он это более чем век спустя и потому неплохо знал, какие мотивы движут его соотечественниками, какими средствами выжимались богатства из растущих колониальных владений Британии.

На судне с говорящим названием “Ищи наживы” в 1556 году отправился на поиски пути в Китай Стивен Барроу, бывший штурман с корабля Ченслера. Это была вторая экспедиция англичан в северо-восточном направлении. В прибрежном плавании у Кольского полуострова британцам встретились русские промысловые суда. Поморы, шедшие к Новой Земле, показали англичанам путь. Промежуточными целями Барроу было достижение устья Оби и обследование берегов на всем протяжении пути, как в географическом плане, так и в этнографическом. Но пройти дальше острова Вайгач (к югу от Новой Земли), разделяющего Баренцево и Карское моря, британскому кораблю не удалось – не пустили льды. Результатом экспедиции стала карта берегов Баренцева моря.

Интересно одно наблюдение, сделанное Барроу. После зимовки в Холмогорах англичане обследовали мурманский берег Кольского полуострова и на самой северной его точке – мысе Кегор полуострова Рыбачий – обнаружили международную торговую площадку. Барроу выяснил, что сюда уже несколько лет приходят на судах норвежцы и голландцы для торговли с русскими, карелами и автохтонными лопарями. То есть существует ещё одно русское “окно в Европу” на севере помимо того, которое распахнули на Двине англичане. Для “Московской компании” в Лондоне это стало малоприятным сюрпризом.

На протяжении почти трёх десятков лет, до середины 1580-х годов, торговля на Мурмане росла и ширилась. Этому помогала активная хозяйственная деятельность монастыря на реке Печенга (недалеко от Рыбачьего полуострова), основанного в 1530-х годах святым Трифоном Печенгским. В 1570-х годах крупным международным торговым центром стала Кола (ныне пригород Мурманска). Конкуренцию “Московской компании” здесь составляли уже не только голландцы, но и французы, датчане и даже купцы других английских компаний. Тогда же голландцы сумели проникнуть на Двину, получив от Ивана Грозного разрешение торговать в Холмогорах.

Пытаясь спасти свою монополию, “Московская компания” подключила к делу сильный “административный ресурс” – королеву английскую. В 1583 году в Москву отправился королевский посол и изложил царю требовательное пожелание Елизаветы I: “Чтоб государь позволил ходить на Русь торговать одним англичанам, а из иных бы земель купцам и англичанам, у которых не будет королевских грамот, к Колмогорским пристаням и к Двинским устьям, ни на Обь-реку... ни на Печору, ни в Колу, ни на Мезень, ни к Печенге, ни к Соловкам, ни в Исленди... и ни к которому месту по-за Двиной к северной стороне... на кораблях... ходить не велел”.

Река “Ислендь” – это Енисей. Каким образом англичане собирались торговать там, непонятно. Путь туда едва был разведан поморами, никаких пристаней на Енисее не существовало. Тем не менее британцы заранее заявили претензии на торговое освоение этих абсолютно неизведанных краев. Иван Грозный пообещал частично удовлетворить их желания, но претензии на Печору, Обь и Енисей решительно отверг. А смерть царя в 1584 году и во все оставила королевского посла ни с чем.

Этот английский размах вплоть до Енисея немного удивляет ещё и потому, что за три года до того, в 1580 году из Англии стартовала очередная экспедиция на двух кораблях. Возглавляли её Артур Пэт и Чарльз Джекман. Им удалось продвинуться ненамного дальше С. Барроу: оба судна уперлись во льды на выходе из Югорского Шара, пролива между материком и всё тем же о. Вайгач. Не то что в Енисейскую губу (ещё тысяча верст ледяным морем!), англичанам снова не удалось добраться даже до желанной Оби.

Инструкции, выданные Пэту и Джекману, довольно любопытный документ. В составлении этих наказов принимали участие придворный астролог и философ Джон Ди и знаменитый фламандский географ Герард Меркатор. Экспедиции предписывалось достичь устья Оби и либо сразу, либо после зимовки плыть дальше на восток в поисках пролива Аниан, за которым к югу лежат “владения могущественного государя, императора китайского”. Причём открытие пролива следовало держать в тайне из опасения международ-

ной конкуренции: “Все моряки должны присягнуть в том, что они... будут молчать, чтобы другие государи не могли предупредить нас в этом деле”. Рекомендовалось обследовать и саму Обь, продвинувшись как можно дальше в глубь материка, по возможности до главного в тех землях города Сибирь (так называли ханский Кашлык).

Об истинной протяжённости материка на восток ни у русских, ни у европейцев тогда не имелось представления. Меркатор был уверен, что “плавание в Китай по восточному пути — очень короткое и лёгкое”. Однако он всё же советовал сосредоточить основное внимание не на поиске пролива Аниан, а на сибирских реках. Европейские географы, сведения которым поставляли “сухопутные” путешественники в Московию (послы, торговые агенты, авантюристы на русской службе и пр.), были уверены, что за островом Вайгач лежит громадный залив, замыкаемый с востока обширным мысом Табин. В этот залив впадают реки, пересекающие весь азиатский материк вместе с Китаем. Они, по словам Меркатора, “позволяют легчайшим образом перевозить любые товары из Китая... и других окрестных государств в Англию”. Например, считалось, что Обь берёт начало в легендарном Катайском озере, на берегу которого расположена столица Китая город Камбалу (Ханбалык, Пекин). На какой-нибудь из рек Меркатор советовал отыскать удобную для английских купцов гавань.

На морских путях Пэту и Джекману предписывалось внимательно замечать, “какое количество там китов и всякой другой рыбы для того, чтобы нам оказалось возможным... перенести туда наши рыбные ловли... и наш китобойный промысел”. На островах и материке рекомендовалось изучать, какие там есть водные источники, звери, какие растут деревья, “чтобы мы могли знать, пригодны ли они для гонки смолы и дегтя, для выделки мачт, для мелких поделок, для деревообделочных работ, для бочарного дела, для кораблестроения или для стройки домов, ибо в таком случае, если местные люди не пользуются лесами, то мы, может быть, могли бы начать их разрабатывать”.

“Если на протяжении Новой Земли можно найти умеренный климат, землю, производящую лес, пресную воду, посевы и траву, и море, в котором водятся рыбы, то мы можем селить на этом материке излишки нашего народа, как это делают португальцы в Бразилии; эти переселенцы при нашей рыбной ловле и при наших путешествиях в Китай будут снабжать нас своими произведениями, питать и давать пристанище”.

Следовало подумать и о том, какими способами получать выгоду из отношений с туземцами, которые встретятся по пути. Если это дикари, живущие бедно, то “вы должны подумать об их почве — не может ли она каким-нибудь образом способствовать их обогащению настолько, чтобы они могли потом получить с неё нечто, чтобы приобретать” английские товары.

Интересна рекомендация, касающаяся туземцев, живущих вокруг Обской губы: “...будь то самоеды, югра или малгомзеи, обходитесь с ними мягко... и если узнаете, что у них есть государь или верховный правитель, то вручите ему одну из грамот её величества и получите от него соответственный ответ. Постарайтесь также устроить с этим народом обмен товаров, которые вы повезёте с собой, на такие, которые можно было бы там приобрести”. О том, что самоеды и югра (остяки, вогулы) — данники московского царя, в Европе было известно. Титулатура русского государя с конца XV века включала статусы “князя югорского, обдорского и кондинского” (Конда — приток Оби). Ещё в 1565 году в Европе вышла книга итальянца Р. Барберини “Путешествие в Московию”, где чётко сказано: “За этими же Рифейскими (Уральскими. — Авт.) горами находится царство сибирских татар (вогулчей); народ этот покорён Московиею и находится у неё в подданничестве”. Иными словами, англичане планировали завязать отношения с местными народами в обход Ивана IV Васильевича.

Нетрудно заметить в этих инструкциях проект начальной колонизации мало- и вовсе неосвоенных земель Арктики и Сибири. С какими гигантскими проблемами пришлось бы при этом столкнуться, англичане не подозревали.

Однако после плавания Пэта и Джекмана Англия не отправляла экспедиций в Китай через Арктику почти столетие. С 1580-х годов поисками северовосточного прохода занялись нидерландцы. Инициатива принадлежала Оливеру Брюнелю, который несколько лет жил в России, находясь на службе

у купцов Строгановых. По их заданию он ездил на Обь и плавал вниз по Печоре, а затем разрабатывал проект исследования арктических берегов Сибири. Этот русский проект не был осуществлён, но состоялась голландская экспедиция, возглавленная Брюнелем. В 1584 году его корабль достиг Новой Земли, но (уже традиционно для европейских плаваний) не смог выйти в Карское море. На обратном пути судно потерпело крушение.

Десять лет спустя последовали ещё три северные голландские экспедиции. Первая – в 1594 году, под командованием Б. Ная и К. Тотталеса, всё же сумела выйти за “Вайгачский рубеж”, но ошибочно приняла Байдарацкую губу у западного берега полуострова Ямал за устье Оби. После этого оба корабля повернули назад. Часть материка (Югорский полуостров) у Байдарацкой губы европейцы красноречиво назвали Новой Голландией. В этой экспедиции участвовал Виллем Баренц. Две следующие, в 1595 и 1596 годах, проходили уже под его руководством. Вторая не имела особого успеха, в ходе последней Баренц решил обогнуть Новую Землю с севера. Это ему удалось, но во время зимовки на архипелаге Баренц погиб.

Перед уходом к Новой Земле экспедиция 1596 года открыла для Европы архипелаг Шпицберген – давно знакомый русским поморам Грумант. Море, известное со времен вольного Новгорода как Мурманское, а позднее Северное, Московское, Ледовитое, в XIX веке европейцы назвали Баренцевым.

В следующем столетии голландцы организовали ещё несколько арктических плаваний, имея те же цели – поиск северо-восточного прохода и коммерческое освоение северных земель. Все они застревали там же, у западных пределов Карского моря. Во второй половине XVII столетия в Европе пришли к выводу, что Новая Земля соединена с материком и с Гренландией перешейком и что северного морского пути в Китай не существует.

Промысловые богатства Русского Севера, особенно Поморья (беломорский регион) будоражили воображение европейцев. Очень быстро проекты торговой колонизации сменились идеями силового захвата русских земель. Зачинателем серии подобных планов стал немец Г. Штаден, авантюрист, долгое время живший в России и хорошо знавший страну. В его проекте конца 1570-х годов, предложенном нескольким европейским правителям, Поморье должно было стать воротами для завоевания всего Московского царства. “Чтобы захватить, занять и удержать страну, достаточно 200 кораблей, хорошо снабжённых провиантом, 200 полевых орудий или железных мортир и 100 тысяч человек”. Оккупировав северные берега страны, эта 100-тысячная орда должна была продвигаться на юг, занимая и грабя города, монастыри, села.

Степень исполнимости подобных планов показала русско-шведская война 1590-х годов. Шведско-финские отряды несколько раз пытались взять штурмом Колу, но укреплённый острог давал жёсткий отпор. Нападать на только что построенную мощную крепость Соловецкого монастыря шведы вовсе не решились.

Проект Штадена был похоронен в Германии и воскрешён англичанами в годы русской Смуты. Ещё в 1603 году в Британии появился план военной операции по захвату Соловецкого монастыря. В 1612 году, когда русский престол был пуст, Москва находилась в руках поляков, а государства как такового не существовало, английская “Московская компания” строила далеко идущие планы. Королю Якову I был представлен проект, разработанный главным агентом в России и управляющим “Московской компании” Дж. Мерриком и Т. Смитом. Их соавтором выступил капитан Т. Чемберлен, воевавший в России в числе европейских наемников.

Во многом проект повторял мысли Штадена. Предполагалось, что от России будет отторгнут и превращён в английскую колонию весь север и восток по Волге вплоть до Каспийского моря. Авторы документа уверяли короля, что русские охотно примут британское покровительство и что некоторые из них уже выразили согласие. “Пусть его величество соизволит дать полномочия одному или нескольким доверенным особам, которые и отправятся с будущей флотилией в мае месяце для переговоров с русскими... и для постановления с ними решения на условиях или подданства, или покровительства, смотря по данному в наставлениях его величества наказу”. При этом оплачивать войско конкистадоров-колонизаторов должны были “казной и то-

варами” сами русские, подписавшие соглашение (то есть ренегаты-изменники), “какими бы именами и титулами они ни назывались”.

Его величество соизволил. Весной 1613 года в Россию отправились деятели “Московской компании” во главе с Дж. Мерриком. Там они узнали об избрании на трон Михаила Романова. Неудавшимся покорителям Московии оставалось лишь поздравить от имени Якова I нового русского царя и уверить его, что они прибыли для восстановления торговых отношений между обеими странами.

Наверное, англичанам было гораздо обиднее лишиться такой удобной и лёгкой, по их мнению, возможности присоединить к короне лакомую часть России, чем шведам. Последние хотя бы на практике попытались военными действиями в 1611 году осуществить свою геополитическую грёзу по захвату Карелии, Мурмана и Поморья. Но получив сильный партизанский отпор местного населения, осознали трудновыполнимость задачи. Британцы же долго не расставались со своими мечтательными планами. Сведения о подготовке английской военно-морского вторжения на Русский Север приходили в Москву даже в середине XVII столетия.

Слишком активный интерес европейцев к сибирской Арктике вынудил русское правительство пристальнее наблюдать за происходящим. Едва в государстве после Смуты водворился некоторый порядок, власть начала собирать подробные сведения о плаваниях поморов и европейцев в северных морях. Особенное внимание вызывали Мангазейский и Енисейский ходы в богатые пушниной земли Западной Сибири.

Но ещё раньше, в XVI веке эти ходы считались у поморов заповедными, секретными. Государство также обеспечивало эту тайну запретом передавать иностранцам сведения о морских путях в Сибирь. За разглашение грозила смертная казнь. Впрочем, охотники пооткровенничать с иноземцами всё же находились. В 1612 году голландец Исаак Масса опубликовал карту северных берегов России, полученную им в Москве. Карта изображала как раз маршруты Мангазейского и Енисейского ходов. Имя своего осведомителя Масса утаил: “Если это станет известно, этот москвитянин должен будет за всё заплатиться головой”. Однако этот случай скорее исключение.

В записках Я. Г. ван Линсхотена, участника экспедиции В. Баренца, есть свидетельство, что поморы при общении с иностранными моряками хитрили. Голландец описал путь до Оби, сведениями о котором европейцев снабдили поморы: морем вокруг полуострова Ямал. Сами русские промысловики этим маршрутом не пользовались – он был непроходим из-за льдов, море там лишь изредка очищалось. Заповедный поморский путь на Обь лежал поперёк Ямала – по рекам, а между реками – волоком. Точно так же, речным и волоковым путем ходили к Енисею и дальше на восток.

“Немецкие люди в Монгазее не бывали, и впредь торговые и промышленные люди и самоедь (туземцы. – Авт.) немецких людей в Монгазее никакими судами приходу не чают” из-за “великих и непроходимых льдов”, – отчитывался в Москву местный воевода. Тем не менее, в 1619 году царский указ запретил морские плавания в Мангазее. С одной стороны, это было вызвано желанием поставить под административный контроль освоение сибирских земель и путей (прокладывались новые сибирские маршруты по материку). С другой – правительство тем самым препятствовало попыткам иностранцев проникнуть в эти богатейшие края. К угрозе западноевропейской колонизации Сибири в Москве отнеслись серьёзно, пожертвовав при этом экономическими интересами своих же поморов, развитием русского арктического мореходства и приполярных городов. (В 1670-х годах “златокопящая Мангазея”, единственный тогдашний морской порт в сибирской Арктике, была вовсе упразднена царским указом.)

Дополнительными мерами обережения от “немецких людей” было возведение деревянной крепости на ямальском волоке и уничтожение поморских путеводных знаков – традиционных крестов по берегам. “И те признаки велели мы... сжечь, чтобы однолично в Сибирь, в Мангазее, немецкие люди водяным путём и сухими дорогами ходу не приискали”, – докладывал царю тобольский воевода в 1626 году. За нарушение указа, если “которые русские люди пойдут в Монгазее большим морем и учнут с немцы торговать мимо нашего указа, а тем их непослушанием и воровством и изменю нем-

цы или иные какие иноземцы в Сибирь дорогу отыщут”, полагалась смертная казнь с разрушением жилища виновного.

Впрочем, у европейских путешественников не было никаких шансов следовать путями поморов на восток. Их крупные суда с глубокой осадкой не были приспособлены к плаваниям в ледяных морях, тем более к волоковой тяге. Конкуренцию с поморскими и сибирскими ладьями-кочами они не выдерживали. Кочи, имевшие круглый яйцеобразный корпус и дополнительную защитную обшивку – “ледяную шубу”, могли спорить со льдами. При попадании в ледовое поле их не ломало в щепы, а выжимало на поверхность льда, по которому суда можно было тянуть канатами.

В те же самые годы, когда европейцы, не сумев выйти за пределы Баренцева моря, почти уверились в том, что ходу дальше на восток нет, Семён Дежнёв, Федот Попов и Герасим Анкудинов на трёх кочах прошли по легендарному “проливу Аниан” между Азией и Америкой. Был 1647 год. . .

Право России на Русскую Арктику не упало ей в руки само – оно было завоевано в честном соревновании.

ВЛАДИМИР РУГА, АНДРЕЙ КОКОРЕВ

## МОСКОВСКИЕ КУПЦЫ

*Купцы галдят, мощной звенят,  
На счётах звонкий счёт ведут,  
Костяшкой щёлк — и рубль на стол.  
Другую щёлк — другой пришёл!*

К. М. Фофанов

Известный московский предприниматель С. И. Четвериков, родившийся в середине XIX века, так характеризовал сформировавшую его среду:

“Хотя уже в моём поколении многое в жизни и обиходе семьи Самгиных было неприемлемо, но всё же в ней чувствовались какие-то незабываемые устои, фамильные традиции, семейная дисциплина и стремление к жизненной правде, то есть то, что, к сожалению, в теперешних русских семьях также уходит в невозвратное прошлое”.

Иначе говоря, московское купечество вступило в новую эпоху, сохраняя старый жизненный уклад, имевший специфические черты. Постепенно под напором изменений общественных условий менялся и сам этот уклад, менялось поведение целого сословия.

Как же это проявлялось в повседневной жизни?

Начнём с портрета купца старой формации. В романе “Замоскворецкие тузы” авторитетный знаток купеческого быта Д. И. Стахеев наделил своего главного героя типичными чертами:

“Хомутильников Захар Прохорович — купец обстоятельный, в вере твёрд, в торговых делах аккуратен и в семье своей глава самодержавный. День он проводит “в городе”, куда отправляется после утреннего чая, завтракает “в линии” с лотка, обедает в трактире “с покупателем”, чай пьёт с ним же и домой возвращается поздним вечером.

Росту он крупного, в плечах широк, ликом благообразен, одевается по-купечески, не то чтобы уж очень по-старинному, но и не в короткополые сюрту-

---

*РУГА Владимир Эдуардович и КОКОРЕВ Андрей Олегович — известные историки московской жизни XIX — начала XX веков. Журнал продолжает публикацию их увлекательных материалов. Предыдущие были в №9 за 2008 г., №9 за 2009 г., №11 за 2010 г., №10 за 2011 г., №2 за 2013 г., №9 за 2014 г.*



ки, и каждый раз при заказе платья внушает портному строго-настрою: “Гляди, ты не окургузь меня, и ни в каком разе, чтобы сюртук выше колен не был”.

Борода у него густая, тёмно-русая, которую он время от времени подстригает.

— Борода, ежели апостольская, — замечает он иногда, стоя перед зеркалом с ножницами, — это очень, можно сказать, хорошо и придаёт человеку са новитость, но мне ещё она не по годам, и потому я не должен давать ей воли, то есть чтобы распространяться безо время.

Речь у него твёрдая, ясная, голос звучный, движения смелые и взгляд ка рих глаз при оживлённом разговоре дышит умом и энергией”.

Главной средой обитания коренного московского купечества, местом компактного проживания и привычного соседства друг с другом были Замо скворечье, Таганка и Рогожская слобода. И везде была одна и та же карти на, подобная изображённой А. М. Пазухиным в романе “Лунные ночи”:

“Спит пустынная купеческая улица.

Кое-где в окна мелькают трепетные огоньки лампад, и почти во всех до мах уже спят после длинного дня, разве где-нибудь именинная вечеринка, или молодая купеческая жена сидит у огонька, ожидая загулявшего за горо дом муженька.

Крепко заперты массивные ворота, и дворников, вышедших на дежурст во, немного, но и без дворников неопасно в этих домах, защищённых огром ными тяжёлыми воротами и оберегаемых злыми псами, спущенными с цепей и наполняющими пустынную улицу злобным, угрожающим лаем”.

А художник и писатель А. П. Сухов в небольшой зарисовке отметил осо бенность жизни Замоскворечья в дневное время:

“Между улицами Серпуховской и Зацепой с незапамятных времён суще ствует переулок, названный почему-то Остолоповым. Тянется он и вкривь, и вкось без малого на версту. В продолжение целого дня по этому переулку пройдёт никак не больше двух или трёх пешеходов, проедет не больше одно го или двух извозчиков с нетуземными обитателями. Только по утрам да по сумеркам, когда почтенному купечеству приходится ехать на биржу иль воз вращаться с неё, Остолопов переулок на несколько времени оживляется. Крупной и мелкой рысью едут по нему на откормленных рысаках отъезжиеся коммерсанты; там и сям с тугим скрипом растворяются тяжёлые ворота, не привыкшие растворяться чаще двух раз в сутки и, поглотив в себя людей и лошадей с экипажами, опять захлопываются на целую ночь”.

Типичный купец, описанный Д. И. Стахеевым, обитал в типичном для “замоскворецкого туза” жилище:

“Дом у Захара Прохоровича деревянный, на высоком каменном фунда менте, двухэтажный, построенный покойным отцом его из толстых восьми вершковых<sup>1</sup> бревен, какие теперь можно, пожалуй, показывать за деньги как редкость. В то давно прошедшее время такие сосновые бревна сплавлялись по Москве-реке в большом количестве, подобно тому как теперь сплавляются четырёхвершковые. Теперь московский обыватель и на шестивершковое бревно смотрит уже, так сказать, с чувством благоговения и дивится, как это, мол, ты, голубчик, мог достигнуть такой толщины в наши дни.

Архитектура дома простая, без всяких фигурных украшений, нет ни ко лонн, ни балконов с затейливой резьбой, ни парадного подъезда с улицы, ни деревянных львов с разинутыми пастьями, каких любили помещать на во ротах сановитые домовладельцы прежнего времени, разъезжавшие когда-то по Москве в огромных колымагах на четвёрках цугом, с лакеями, стоявшими по двое на запятках в обшитых галунами ливреях.

Всё было в доме хозяйственно и прочно. В верхнем этаже помещался сам Захар Прохорович с семьей, в нижнем две комнаты занимала контора, а в ос тальных жили “молодцы”<sup>2</sup>.

Дом, где жили герои романа А. М. Пазухина “Буря в стоячих водах”, — ку печеская семья из четырёх человек, — был устроен примерно по такому же “стандарту”:

“Немногочисленное семейство это занимало десять комнат бельэтажа и три комнаты мезонина, так что дом выглядел пустоватым, и большая часть

<sup>1</sup> 35,5 см.

<sup>2</sup> Молодёц — так купцы называли приказчика.

его парадных светлых комнат была необитаема и отворялась только в большие праздники да в дни семейных торжеств, остальное же время семейство довольствовалось пятью-шестью комнатами.

Нижний этаж был оживлённее, там помещались контора, квартира главного приказчика и “молодцовские” комнаты”.

Традиция предоставления приказчикам жилья в хозяйском доме существовала довольно долго. Например, П. И. Щукин, в 1891 году обосновавшись в новом владении на Малой Грузинской улице, помимо переделки особняка под свой вкус, приказал построить на участке каменный двухэтажный дом для своих служащих.

Приказчикам, жившим в доме своего работодателя, не приходилось задумываться о решении квартирного вопроса, и к тому же их обеспечивали питанием с хозяйской кухни. С другой стороны, они находились практически на казарменном положении или, как выразилась героиня романа “Замоскворецкие тузы”, “нет ни входу, ни выходу из дому. В тюрьмах и в крепостях военных даже нет таких строгостей. . .”

Под такой же плотной опекой находились приказчики, жившие в семье С. И. Четверикова:

“Владимир Семёнович, наследовавший своему отцу Семёну Алексеевичу, очень тщательно наблюдал за поведением своих служащих. Ворота запирались в 10 часов вечера, и о каждом не только отсутствующем, но и опоздавшем неизменно докладывалось Владимиру Семёновичу. Он имел обыкновение, прежде чем произнести какую-либо фразу, дуть себе в кулак, издавая звук “пу, пу, пу”. Когда такой провинившийся объявлялся к утреннему чаю, прежде с конца стола раздавалось предупреждающее “пу, пу, пу” и вслед за тем – вопрос: “А позвольте-с узнать-с, в какой части<sup>1</sup> ночевать изволили-с?” Мало находилось любителей подвергать себя такому осмеянию, и жизнь в общем текла безмятежно”.

Вот нарисованная Д. И. Стахеевым довольно типичная картина взаимоотношений между купцом и живущими у него приказчиками:

“В летние месяцы, в особенности в июне и июле, когда торговая московская жизнь несколько затихает, как бы утомлённая усиленной деятельностью во время зимы и весны, молодцы, возвратившись “из города”, болтались после вечернего чая по двору, не зная, куда девать свободное время. Встретив иногда хозяина, вышедшего во двор “для воздуха”, они просили разрешения “пройтись по бульвару”.

– Ну-ну! Опять!.. Сидите дома, нечего слоны-то слонять. . .

– Погода, Захар Прохорович, такая. . . очень замечательная. . . И время свободное. . . Позвольте от скуки пройтись. . .

Захар Прохорович хмурил брови и сердито отвечал.

– Выдумали что! Читайте акафист, вот и скука пройдёт”.

И чтобы не идти наперекор хозяйской воле (а это было чревато потерей места с “волчьим билетом”), приказчики практиковались в духовном песнопении.

“Молодцы” Захара Прохоровича, собравшись летним вечером под навесом, где стояли экипажи, иногда певали хором, но не песни, а что-нибудь “божественное”, и не громко, а вполголоса. Бывало, Захар Прохорович с Анной Фёдоровной, тоже подобно молодцам коротавшие летние вечера чаще всего дома, растворят в зале окно и слушают их пение.

– “Ужасошася вся-я-чeskая. . . о божественной славе Твоей!..” – доносятся оттуда голоса, слышится и басок, и тенорки, и даже видно Захару Прохоровичу, как один из молодцов размахивает обеими руками, давая такт хору.

– А ведь ничего, Анна Фёдоровна, – замечает Захар Прохорович, – складно у них выходит. . .

– Не больно складно, а слушать можно. . .

– Ребята! Эй!.. Митрий! Слышь! – зовёт Захар Прохорович, выглянув в окно.

Под навесом происходит некоторое замешательство, пение прекращается, и кто-то оробевшим голосом спрашивает:

– Что угодно, Захар Прохорович? Прикажете перестать – мы перестанем. . . Мы только так. . . тихонечко. . .

<sup>1</sup> Отделение городской полиции, при котором были камеры, куда на ночь помещали пьяных и дебоширов.

– Нет, нет! Отчего же?.. Пойте. Это даже очень превосходно... Ну, только спели бы вы ту, которую в церкви Софроныч часто заместо запричастного стиха поёт... Ах, хороша штука! Беспременно хороша!.. Как она?.. Ну, вот та, которая... помнишь?.. в ней еще есть слова: “Но я-я-ко благоутробен”...

– А-а!.. – вспоминает молодец. – Это у нас, Захар Прохорович, не выходит. Действительно штука неподобная, ну, не выходит!..

– Почему так?

– Одно колено в ней есть такое, никак его голосом вывести не возможно.

– Как же Софроныч выводит?..

– Софроныч ноту знает, а мы ведь так, с голоса...

– Жаль, жаль... Ну, ладно. Пойте другое, что знаете”.

Не всегда такое пение было добровольным. По воспоминаниям И. А. Слонова, его работодатель купец Заборов был ещё и церковным старостой, поэтому его служащие должны были петь в церковном хоре.

Заборов был классическим деспотом: отличался свирепым нравом и привычкой сурово, вплоть до избиений палкой, наказывать за малейшие провинности. Для отлучек “со двора” приказчики должны были спрашивать у хозяина разрешение и зачастую натывались на отказ. Тогда они просто дожидались, пока купец заснёт, и, договорившись со сторожем или просто перемахнув через забор, отправлялись по своим делам, а с рассветом возвращались.

Впрочем, по свидетельству А. П. Сухова, были среди купцов такие, кто предпочитал жить лишь с одним своим семейством:

“Дом богатого купца Терентия Лукича Дроздова находился в одном из глухих замоскворецких переулков. Он был сложен из кирпича, по образцу старинных купеческих домов, в два этажа с мезонином, крутою крышей и маленькими окнами. В нижнем этаже помещалась кухня с прислугой, бельэтаж занимал сам Терентий Лукич, а в мезонине жили Дроздова сестра-девушка и дочь-девица.

Помещенья для всей семьи, состоявшей – если не считать прислугу – из трёх человек, было уж чересчур много, а этот разъединяющий простор, эта безлюдная тишина и пустота комнат на всех троих наводили подчас уныние. Но такова была воля Терентия Лукича: он любил жить особняком, на широком просторе, и ни за какие деньги не пустил бы в дом к себе никакого постояльца.

– То ли дело пребывать одному! – говаривал Дроздов. – Уж не в пример вольготнее. Благоденствуй, сколько твоей душе угодно, примерно хоть пляши на дворе али под пьяную руку рылом землю вспахивай – никто не обсмеёт тебя. Сам большой и набольший, стало быть, твори, что хочешь...”

При всех вариантах – с приказчиками в качестве квартирантов или нет – для защиты от проникновения посторонних купеческий дом обустраивался по единому образцу:

“Никакой зоркий глаз не проник бы за его высокие заборы, усаженные гребнем из гвоздей, а в ворота, целый день содержимые на запоре, никто не входил без многократного оклика. На ночь же, с девяти часов вечера, отцеплялись от конур две огромные собаки, до того злые и чуткие, что если по улице проходил человек – что в том глухом переулке редко случалось – или проезжал извозчик – что случалось ещё реже – то эти два кобеля бешено бросались на забор и к подворотне и выли неистово”.

Не отличались разнообразием и интерьеры купеческих домов. Даже самые богатые обитатели Замоскворечья, судя по писанию Д. И. Стахеева, обходились без изыска:

“И обстановка была тоже без всяких затей, на старинный лад. Зал с зеркалами в простенках между окон, на стенах несколько литографий в тоненьких рамках со стеклами: старец Серафим – ныне прославленный Саровский чудотворец – в лесу с медведем, дающий ему ломоть хлеба, вид колокольни и собора Киево-Печерской лавры, портрет митрополита Филарета и т. п. В гостиной – мебель, закутанная в белые чехлы, на крашеном полу – дорожки из холста, в кабинете – диван, обитый кожей, письменный стол красного дерева и железный несгораемый шкаф. В спальне – занавесь, разделяющая комнату на две половины; в первой в переднем углу – киот, высокий и широкий, с множеством образов и с горящими пред ними лампадами, около него сбоку на гвозде – связка ключей от амбаров и кладовых, как бы намеренно помещённая поближе к святыне, так сказать, под её охрану, в простенке между окнами – стол, далее – комод, два-три стула; а во второй половине –

широкая кровать с горой подушек, гардероб и... клопы. Эти последние, впрочем, в весьма ограниченном количестве, допускаемом самыми строгими законами купеческого домоводства.

— От клопа и от таракана не уберёжешься, — говорила по этому поводу Анна Фёдоровна, — это уж так от Бога, потому где люди, там и всякая малая тварь. Да и то надо рассудить, что такое, например, клоп, — медведь он, что ли? Само собой, давать ему волю тоже нельзя, потому он на разводку лют и завсегда его надо перед Рождеством и перед Пасхой кипятком ошпаривать. Это уж беспременно требуется”.

Правда, время от времени среди купцов находились нарушители традиций. Отступая от поведенческих норм своего окружения, они, подобно герою романа А. С. Ушакова, и домашний быт устраивали по дворянскому образцу:

“Павел Васильевич поставил дом свой на широкую ногу, роскошно меблировал его, накупил дорогих картин, завёл кучу разнокалиберных экипажей, повара, людей, и начал жить, как говорится, открыто, по-барски... Трудно представить себе более пёстрое и яркое смешение азиатского образа жизни с европейской обстановкой, какое представлял в это время его дом. Немного отличаясь снаружи от окружающих его строений, он сливался в линию неуклюжих домов зажиточного купечества, а внутри блестел ярко и ценно...”

Впрочем, судя по авторской иронии, современники прекрасно видели, что сквозь дорогой внешний антураж явственно проступала старая, заскорузлая натура “чумазого”: “по разноцветным, мозаичным полам нередко ходили стоптанные туфли, в трёх-четырёхаршинных зеркалах отражалось нередко сонное лицо Павла Васильевича в замазленном беличьем халате, в гостиной на дубовой, обтянутой синим бархатом мебели нередко шушукалась с какой-нибудь кумушкой жена Павла Васильевича — простодушная Прасковья Никитишна, которая, несмотря на все его усилия придать ей внешний лоск и сделать похожей на барыню, смотрела самой присяжной купчихой”.

По своему устройству купеческое домовладение во второй половине XIX века представляло собой городскую усадьбу. Кроме жилого дома, на участке располагались необходимые хозяйственные постройки: конюшня, сеновал, каретный и дровяной сарай, погреб с ледником и т. п., а также обширный сад.

Если у купцов не было родовых корней в традиционных замоскворецко-таганских “анклавах”, то они селились по всей Москве — там, где находили подходящее жильё. Например, отец П. И. Щукина сначала арендовал главный дом дворянской усадьбы в Милютинском переулке (сам владелец перебрался во флигель). Затем, достаточно разбогатев, он обосновался в бывшем аристократическом районе — на Пречистенке:

“Дом имел форму буквы Г и был каменный трёхэтажный. При доме имелись сад, небольшая оранжерея и службы. В саду отец выстроил деревянную беседку. В нижнем этаже дома находились комнаты для прислуги, чайная конторщиков и кухня, настольно большая, что в ней во время вечеров пятнадцать поваров свободно готовили ужин. (...)

Во втором этаже находились столовая, буфетная, комнаты моих сестёр и старших братьев, моя комната, комната гувернантки, комната прислуги и контора.

Во второй и третий этажи вела парадная чугунная бронзированная лестница. Бильярдная находилась в стороне от всех других комнат; из передней в бильярдную надо было подниматься по деревянной винтовой лестнице. В третьем этаже жили отец, мать и два младших брата, Владимир и Иван, с пожилой немкой, Эммой Карловной Крузе. Все комнаты третьего этажа были высокие, причём парадные были богато отделаны и роскошно меблированы. Потолок в большом, вроде залы, отцовском кабинете был красный с белыми с золотом лепными орнаментами. Мебель в двухсветной зале была обита жёлтым шёлковым штофом, и из такого же штофа были драпировки на окнах и дверях. Из залы через арку входили в гостиную, стены и золочёная мебель которой были обиты пунцовой шёлковой материей. За пунцовой гостиной следовала голубая шёлковая гостиная, затем белый атласный будуар и спальня матери. Все эти четыре комнаты составляя одну анфиладу. В коридоре третьего этажа на потолке и карнизах была хорошая фресковая живопись итальянской работы; между прочим, были написаны тигры. В третий этаж вела ещё деревянная лестница, а из второго этажа в нижний — каменная (чёрная)”.

Миллионер К. Т. Солдатёнков зимой жил в собственном доме на Мясницкой, а летом – в купленном в 1865 году имении Кунцево.

Распорядок дня обитателей московских купеческих особняков не отличался разнообразием. Глава семейства обычно вставал на рассвете. Супруга с помощью прислуги накрывала на стол. После утреннего чая купцы в собственных экипажах выезжали в Китай-город, где была сосредоточена деловая жизнь Первопрестольной.

“Главные торговые операции производились в городских рядах, – писал А. П. Чехов в повести “Три года”, – в помещении, которое называлось амбаром. Вход в амбар был со двора, где всегда было сумрачно, пахло рогожами и стучали копытами по асфальту ломовые лошади. Дверь, очень скромная на вид, обитая железом, вела со двора в комнату с побуревшими от сырости, исписанными углем стенами и освещённую узким окном с железной решёткой, затем налево была другая комната, побольше и почище, с чугунною печью и двумя столами, но тоже с осторожным окном: это – контора, и уж отсюда узкая каменная лестница вела во второй этаж, где находилось главное помещение. Это была довольно большая комната, но, благодаря постоянным сумеркам, низкому потолку и тесноте от ящиков, тюков и спующих людей, она производила на свежего человека такое же невзрачное впечатление, как обе нижние. Наверху и также в конторе на полках лежал товар в кипах, пачках и бумажных коробках, в расположении его не было видно ни порядка, ни красоты, и если бы там и сям из бумажных свёртков сквозь дыры не выглядывали то пунцовые нити, то кисть, то конец бахромы, то сразу нельзя было бы догадаться, чем здесь торгуют. И при взгляде на эти помятые бумажные свёртки и коробки не верилось, что на таких пустяках выручают миллионы и что тут, в амбаре, каждый день бывают заняты делом пятьдесят человек, не считая покупателей”.

За фотографическую точность этого описания ручался П. А. Бурышкин, ссылаясь на свидетельство своего хорошего знакомого, купца И. Е. Гаврилова: “Гавриловскую семью я знал с раннего детства и хорошо помню, как там с гордостью говорили: “Чехов наш амбар описал в своём рассказе”.

В романе П. Д. Боборыкина “Китай-город”, также построенном на предельно точном изображении купеческой жизни, контора и склад торговой фирмы выглядят немного иначе:

“Верхний амбар полон был света, заходившего именно теперь, к вечеру. По прилавкам и полкам играли полосы и “зайчики”. Штуки разноцветного товара целыми стопами поднимались на прилавках и по полу, у окон и столбов, поддерживающих своды. Запах набивных ситцев и других бумажных тканей смешивался с более кислым запахом прессованного сукна. Склад держался в большой чистоте. Кроме штукатуренных стен, ясеневых полок и прилавков и чугунного пола, лестниц и перегородок, не к чему было пристать пыли и грязи”.

В начале 1880-х годов, когда был написан “Китай-город”, преобладали “амбары” старого типа, но среди купцов уже были те, кто находил нужным менять внешний антураж:

“В рядах старого гостиного двора притихло. И с утра в них мало движения. Под низменными сводами приютились “амбары” – склады самых первых мануфактурных и торговых фирм, всего больше от хлопчатобумажного и прядильного дела. Эти лавки смотрят невзрачно, за исключением нескольких, отделанных уже по-новому – с дорогими стеклами в дубовых и ореховых дверях с фигурными чугунными досками”.

Свой штрих к картине деловой жизни купечества добавил П. М. Рябушинский:

“Амбар – это оптовый склад и тут же контора.

Служащие, начиная с главного доверенного, бухгалтеров, приказчиков, артельщиков и кончая рабочими, всё это – долголетние сотрудники. Редко, редко кого-либо увольняли, разве только что за очень крупные проступки, воровство или уже очень бесшабашное пьянство. Отношение было патриархальное. Если кто-либо сам уходил без особых причин, то это было для хозяина “поношением”. В хороших домах с гордостью говорили: “От нас уходят только, когда помирают”.

Великолепно это патриархальное отношение изображается Шмелёвым. У него не “работодатель” и “работоприематели”, а старшина и его род. Изу-

мительно, например, описание, как отец Шмелёва и его служащие спасают барки во время ледохода. Это прямо рассказ о победоносном бое с врагом князя и его дружины.

У нас всё это было уже хуже и бледнее, но кое-что осталось”.

На практике это “кое-что” могло принимать разные формы. Так, по воспоминаниям П. И. Щукина, у его отца в отношении к служащим на первом месте было доведённое до мелочных придирок требование соблюдения дисциплины:

“У отца в лавке служил его брат Павел Васильевич. Отец был очень строг, и все служащие, в том числе и мой дядя, его боялись. Отец не любил, чтобы в лавке кто-либо из служащих курил, хотя сам курил очень много сигар; он также не любил, чтобы служащие читали газеты или книги, вообще не терпел, чтобы в лавке занимались посторонним делом, и если кто попадался в таких проступках, того отец порядком отчитывал. <...>

В нашей лавке дядя тоже курил трубку, но только в отсутствие отца. Свою трубку дядя держал в лавке за печкой, у которой обыкновенно сидел в мягком, обитом пёстрым ситцем кресле. Кресло стояло близко от входных дверей в лавке, и когда входил отец, то дядя вставал. Раз как-то при мне отец вошёл так неожиданно, что дядя не успел поставить за печку трубку; по этому случаю отец строго заметил дяде: “Могли бы выбрать другое время”. <...>

К отцу в столовую каждое утро вызывался артельщик Михайло Хайлов, которому отец давал разные поручения; потом приходил приказчик Иван Иванович Чельшков, и отец просматривал с ним остаток долгов за покупателями. Тому и другому нередко от отца доставалось. Как-то Хайлов, стоя у стола, за которым отец пил кофе, опёрся руками о стол; тогда отец, не говоря ни слова, встал, взял стул и предложил ему сесть, чем, конечно, очень его конфузил”<sup>1</sup>.

Однако эта строгость воспринималась подчинёнными не проявлением самодурства, а как нормальное требование. Довольно характерная деталь: когда И. В. Щукин умер, рабочие его “амбара” по собственному желанию на плечах пронесли гроб с телом от церкви до кладбища.

Нисколько не сомневаясь в истинности этих свидетельств, для полноты картины приведём рассказ ещё одного современника. В романе А. М. Пазухина “Лунные ночи” одному из приказчиков предложили перейти в другую фирму на хорошее жалование, и в ответ на его просьбу об увольнении вот как восторжествовал принцип “от нас не уходят”:

“— А ты не перебивай, рвань коричневая, ежели с тобою постарше тебя разговаривают! — оборвал Семён Ильич, искусственно раздражаясь. — Верная служба!.. У нас верная-то служба была вот какая: хозяин служащему кусок чёрствого хлеба даёт да раз в день в рыло кулаком суёт, десять, двадцать годов в чёрном теле держит, а потом уже и наградит за терпение да за службу... По-царски наградит, на всю жизнь слугу и детей его сытыми и счастливыми сделает!.. Рукобелова знаешь?.. Заводы свои, дома, потомственным почётным гражданином недавно сделан, а отец его у покойного родителя моего приказчиком был, и родитель его за волосы таскал, двадцать пять рублей ассигнациями в год ему платил, а потом и рассчитал уже, как следует... Это вот верная служба была... Рукобелова-то в Нижний от папаши на две тысячи жалованья сманивали — неслыханная плата в те поры! — а он не подумал даже уходить, а вы...

Семён Ильич плюнул.

— Грош вам цена, дуракам! — договорил он. — Жалованье, вишь, ему дают, а здесь мало, на трактиры да на бильярды не хватает... А я, может,

---

<sup>1</sup> Дальнейший распорядок дня купца И. В. Щукина не отличался разнообразием: “Из столовой отец шёл в контору... <...> В конторе отец просматривал торговые книги, и тут обыкновенно не обходилось без замечаний конторщика. Из конторы отец поднимался к себе наверх, одевался и ехал на одну из трёх фабрик: к Гюбнеру под Девичье (А. Ф. Гюбнер жил на фабрике, где у него был сад. В саду было много цветов и стояла большая железная клетка, в которой летом сидело множество разнообразных певчих птичек). <...> или к Цинделю в Кожевники (при Цинделевской фабрике был прекрасный фруктовый сад, за которым ухаживал сам старик Эмиль Эмильевич Циндель, основатель фабрики. Циндель, как и Гюбнер, был эльзасец), или к Прохорову на Три-Горы, откуда возвращался частью пешком, в то время как экипаж следовал за ним шагом. После завтрака отец ехал в лавку, откуда приезжал домой к обеду. После обеда, если не было гостей, отец отдыхал, а потом отправлялся в театр или в гости”.

тебя, дурака, сразу награжу, может, я тебя в духовном завещании упомяну и откажу тебе то, что тебе и во сне не снилось?.. Дубина!..

— Семён Ильич, батюшка, благодетель! — заговорил глубоко тронутый эту речь Перчаткин, в воображении которого ясно представился день, в который будет вскрыто духовное завещание миллионера Воронкова, щедро награждающего из гроба своего верного слугу. — Семён Ильич, я разве не ценю вас?.. Очень ценю-с, да нужда моя вопиет!..

Он показал на свой туалет.

— Вот в каком гардеробе хожу, срам смотреть: в людях презрение и негодование возбуждаю... Жизнь сейчас дорогая, а у меня на руках мамаша, сестра...

— А ты старайся, и все мамаша твои сыты будут! — ответил Семён Ильич и понял, что Перчаткин им побеждён, что он никуда не поедет и просьбами беспокоить его не будет, ожидая великих и богатых милостей в будущем.

Семён Ильич достал сторублевый билет и бросил на стол.

— На вот, экипируйся, — сказал он. — Жалованья никакого не назначаю, а награждён будешь по заслугам...”

Купец, в доме которого царили патриархальные отношения, был непрерываемым авторитетом не только для служащих, но и для членов его семьи. Таких принципов, как рассказывал А. В. Бурышкин, придерживались Бахрушины:

“Старший, Пётр Алексеевич, правил всем домом, всей семьёй, и братьями, и взрослыми, женатыми сыновьями, как диктатор. Своим братьям, которые были значительно его моложе, он говорил “ты”, “Саша”, “Вася”, но они обращались к нему: “Вы, батюшка-братец Пётр Алексеевич”. До прихода его в столовую никто не мог сесть. Потом младшая дочь читала молитву “Очи всех на Тя, Господи...”, и начинался обед, после которого все подходили к его руке и к руке его жены. Жили долгое время общим хозяйством, материал на одежду покупали штуками, для всех. Долго и касса была общая. В конце года выводилась общая наличность”.

Аналогичные нравы царили в семье Самгиных, в которой вырос С. И. Четвериков:

“Дед не был столь распространённым тогда в купеческой среде типом “самодура”; напротив, это был человек очень мягкий и добрый, но свою власть как главы семьи оберегал очень ретиво. Не только что сделать против его воли, но даже перечить ему на словах считалось в семье преступлением. Характерным было его отношение к старшему брату. Иван Николаевич имел несчастье проторговаться, что тогда в купеческой среде считалось позором. Жил он в маленькой комнатухе в мезонине, состоя как бы нахлебником в семье. Но пока Иван Николаевич не сходил к обеду и не занимал своего места, никто, включая и деда, не смел садиться за стол”.

Кроме “амбаров” купцы проводили рабочий день в “лавках”. Во второй половине XIX века под этим словом подразумевали, в понятиях нашего времени, как магазин, так и офис фирмы, занимавшейся оптовой и мелкооптовой торговлей. Оба эти вида коммерческой деятельности были сосредоточены в Старом Гостином дворе, в Тёплых рядах и на “подворьях” — по сути, торгово-гостиничных комплексах, опять же говоря современным языком. Вот, например, свидетельство И. П. Щукина:

“В старом Гостином дворе К. Т. Солдатёнков снимал лавку, состоявшую из двух комнат — нижней и верхней; в верхней обыкновенно Козьма Терентьевич занимался чтением газет, а в нижней И. И. Барышев стоял или сидел за конторкой, и если не было дела, то писал фельетоны для “Московского листка” под псевдонимом Мясницкого. <...>

В декабре 1878 года отец основал торговый дом под фирмой “И. В. Щукин с Сыновьями”, приняв братьев моих, Николая и Сергея, и меня в качестве товарищей. Торговали мы по-прежнему на Чижовском подворье, а в 1878 году сняли ещё другую лавку в Юшковом переулке, на Шуйском подворье, в доме Московского Купеческого Общества. (В 1886 году мы оставили Чижовское подворье, так как помещение стало слишком тесно, и перешли в соседнее Носовское, оставшись в то же время и на Шуйском.)”

Специфику подворий, рассказывая о жизни Китай-города, отмечал П. И. Богатырёв:

“Переулки, ведущие с Никольской к Ильинке, и сама Ильинка ведут огромную оптовую, преимущественно мануфактурную торговлю. Тут ворочают

огромными капиталами в сотни миллионов рублей, это центр всероссийской торговой силы. Здесь каждый торговый угол носит своё название: Мещаново подворье, Суздальское подворье, Чижовское подворье и много других. На дворах этих подворий и находятся лавки и амбары, где происходит эта громадная торговля. Здесь мелкого покупателя нет, здесь “оптовик”, который наезжает в Москву сам редко, а требования свои выражает или письмами, или “эстафетой”, оттого здесь покупателя мало и видно. Но зато суета здесь большая: с утра до вечера рабочие, русские и татары, запаковывают и распаковывают товары, кладут на возы “гужевых” извозчиков, которые своими возами заставляли, бывало, все подворья. Товары привозились и отвозились, грузились и разгружались, и жизнь кипела, как смола в котле. Тогда на этих подворьях такого простора, за исключением немногих, уж очень больших, и удобств не было, всё было грязновато и темновато, особенно осенью и зимой”.

А вот отрочество и юность И. А. Слонова прошли в “лавке”-магазине, находившейся в Гостином дворе или Верхних торговых рядах. По словам мемуариста, “ряды” имели для горожан жизненно важное значение:

“В семидесятых и восьмидесятых годах на московских улицах не было никаких магазинов, исключая булочных, овощных и табачных лавок.

Поэтому за каждой мелочью приходилось посылать “в город”, то есть в Гостиный двор, где была сосредоточена как розничная, так и оптовая торговля...”

После пожара 1812 года этот торговый центр был перестроен по проекту архитектора О. И. Бове. Здание, протянувшееся центральным фасадом вдоль Красной площади, было двухэтажным, с куполом в центральной части и треугольным фронтоном, опиравшимся на 12 колонн (москвичи называли их “столбы”). Боковые части, выходявшие на Никольскую и Ильинку, именовали “глаголями”. В первом из них была сосредоточена писчебумажная торговля, во втором – продавали фрукты, гастрономические и бакалейные товары.

Типично по-московски за строгим фасадом в стиле классицизма скрывался причудливый лабиринт разномастных зданий, которые, по словам И. А. Слонова, были “похожи на азиатский караван-сарай”. Купцы строили лавки, исходя из своих финансовых возможностей и представлений об удобстве, поэтому результат был закономерен:

“Вследствие такой бессистемности и не одновременной постройки, ряды вышли кривые, один выше, другой ниже.

Лавки тоже все разные, одна больше, другая меньше, одна светлей, другая темней и т. д. <...>

С высоты птичьего полёта торговые ряды представляли собой полнейший хаос разной величины крыш, мансард, чердаков, фонарей и проч.”

Между “глаголями” пролегал самый популярный торговый ряд – Ножевая линия, в описании П. И. Богатырёва выглядевшая так:

“Здесь с одной стороны были лавки, а с другой, к наружной стене, – так называемые “овечки”. Это стеклянные ящики, стоявшие на прилавках. В “овечках” продавали, как и по всей линии, в розницу. Здесь можно было купить пуговицы всех сортов, кружева, ленты, нитки, иголки, напёрстки, венчальные свечи, галстуки, перчатки, носовые платки, чулки, носки, манишки и прочее в этом роде. В лавках, напротив “овечек”, продавали обувь, шляпы, картузы, ковровые платки, шали, дамские пояса, веера и всё то, что называется модными товарами. Запрашивали втридорога, а товар старались “всушить” не особенно доброкачественный. Строптивного покупателя провожали смехом или оскорбительными остротами. Распушенность была полная, и, несмотря на это, Ножевая линия с утра до вечера кишела покупателями, а главное – покупательницами”.

Не менее выразительные названия носили остальные ряды Гостиного двора: Узенький, Широкий, Шляпный, Шёлковый, Серебряный, Медный, Скобяной, Иконный, Кружевной, Лапотный, Суконный, Суровский, Сундучный, Квасной, Ветошный<sup>1</sup>.

Из-за опасений пожаров в лавках Гостиного двора было запрещено иметь печи, а также пользоваться осветительными приборами. Для тех, кто

<sup>1</sup> По поводу наименований рядов И. А. Белоусов замечал: “Правда, некоторые ряды, сохранившие своё название с отдалённого прошлого, в последнее время не торговали теми товарами, от которых получили своё название. Так, Ножевая линия вела торговлю модными и галантерейными товарами”.



здесь трудился, как отмечал И. А. Слонов, это создавало далеко не комфортные условия:

“Свет в ряды проникал сквозь так называемые рядские фонари с низкими грязными рамами с разбитыми стеклами, чрез которые сыпалась на головы проходящих снег и дождь. Солнца совсем не было видно, вследствие этого в рядах всегда ощущалась пронизывающая сырость, от которых большинство торгующих страдали ревматизмом и другими простудными болезнями”.

В последние годы существования Гостиного двора некоторые хозяева отгораживали в своих лавках маленькие застеклённые отсеки, обогреваемые теплом от керосиновых ламп.

Даже в самые жаркие дни в рядах было не просто прохладно, а по-настоящему холодно, поскольку в узкие проходы солнце почти не заглядывало. Положение усугублялось тем, что по давно заведённому обычаю полы в лавках при уборке обильно поливали водой. Купцы, изнемогавшие от зноя, пока добирались до “города”, в лавках были вынуждены облачаться в тёплую одежду. И ещё одна характерная деталь: если в летнюю пору большинство горожан освежались квасом, то в “рядах” купцы согревались чаем, для чего они отправлялись в ближайший трактир.

Само собой разумеется, точно так же они поступали и зимой, причём, по свидетельству И. А. Слонова, чаепитие могло затягиваться на долгое время:

“Зимой в сильные морозы хозяева весь день сидели в трактире, а мёрзнуть в лавках великодушно предоставляли приказчикам и мальчикам”.

В юмористической картинке “У лавок” изображена сцена передачи купцом полномочий своему служащему:

“Девятый час утра и двенадцать градусов мороза. У дверей угловой, только что отпертой мебельной лавки стоит брыластый, с подбитым глазом парень в барашковой шапке и барашковом, низко подпоясанном красным кушаком тулупе. От холоду паренёк ёжится, подпрыгивает и, похлопывая в ладоши, напевает... <...>

Через секунду он становится в театральную позу, жестикулирует руками и неистово орёт:

*Ах! донны вы мобили!*

*В лавке нет мебели:*

*Всю пораспродали*

*Деньги все проп!..*

В этот момент от неожиданного толчка в спину голос певца обрывается... Отлетев два-три шага вперёд, паренёк схватывает с налёту комок снега и воинственно оборачивается.

— Вам чево-с, дянька, угодно-с? — быстро отбросив ком в сторону, спрашивает он, снимая шапку.

— Что орёшь-то... трубадур ты безобразный! — сердито говорит дядюшка.

— Так-с, что-то вспомнилось это, примером, на киятере... опять же-с Патти, и всё этакое...

— Вот я-ти дам Патю! — свирепствует дядя.

— В эфтем ваша-с воля, а зазорного тут как есть ничего нетути-с и даже большие деньги платят, — оправдывается певец.

— Где ночь-то, шатун, шатался? — не слушая оправданий, вопрошает дядя грозно.

Племянник молчит.

— Чего ж молчишь-то, оглашенный?

Паренёк переминается.

— Сказывай! Где шатался? Рас-ши-бу! — наступает дядюшка.

— Мы, сударь дянька, перед вами и помолчать можем, — кротко произносит племянничек.

— То-то! Помолчать можем, — выговаривает дядя, смягчаясь, — теперича я к Фоме Карпычу пойду; так ты, смотри у меня, от лавки не отходи, и ежели теперича Ефремыч поспрашает, посылай в Пятницкий; мы там будем.

Старик проходит дальше, паренёк почёсывает спину и, гримасничая, грозит ему вслед кулаком, потом плюёт.

— Эка харя! Кикимора свежепросольная! Жук маринованный! — кричит он громко”.

Несмотря на запрет, приказчик поддался уговорам купца из соседней лавки и отправился с ним трактир. По закону жанра всё заканчивается вневильной ситуацией:

“В комнату влетает половой.

– Дядюшка ваш с Фомой Карпычем сейчас подъехали-с, – говорить он Щичилкину.

Щичилкин испуганно вскакивает с места, быстро накидывает на себя лисью шубу, нахлобучивает на свою голову огромную шапку субъекта и стремглав бросается к выходу. Старик бежит вслед за своей шубой; купчик истерически хохочет.

– С нами крестная сила! – вскрикивает входящий в двери дядюшка. – Это что ж теперича стряслось у вас такое, чудное! – спрашивает он у буфетчика.

– Так-с, – отвечает ухмыляющийся трактирщик, – это-с шутки они меж собой шутят-с.

Дядюшка успокаивается и требует малость китайской травки<sup>1</sup> с лисабончиком<sup>2</sup>”.

Не только в холода, но и в тёплые дни, как вспоминал И. А. Слонов, совместные посиделки за чайным столом представителей торговой Москвы были неотъемлемой частью купеческого распорядка дня:

“Как только отпирали лавки, соседи собирались в ряду кучками и сообщали разные новости, а то так просто рассказывал друг другу, кто как вчера провёл время.

Такие соседские беседы назывались “чёрской”, – продолжать её шли компанией в трактир, где за чаем сидели 2–3 часа. Затем уходили в свои лавки. Побывав в них недолго, собирались снова в компании и опять уходили в трактир. <...>

Многие небогатые купцы не имели ни приказчика, ни мальчика, но в трактир ходили аккуратно каждый день по два раза и сидели там довольно долго. Уходя в трактир, купец не запирает лавку и даже не затворял её, а просто ставил поперёк дверей метлу и уходил спокойно. Если в его отсутствие приходил покупатель, то, увидев в дверях вместо купца метлу, он безропотно уходил обратно, оставляя покупку до другого раза”.

Совместные сидения у самовара породили в купеческой среде выражение, характеризующее степень знакомства и доверительности отношений друг с другом: “Вместе чай пили”.

Кроме согревания чаем, по мнению А. С. Ушакова, противостоять морозам владельцам лавок помогали физические кондиции, необходимость одеваться соответственно доходам и званию в добротную шубу, а также привычка употреблять спиртное, когда душа пожелает:

“Купцу, залитому жиром, тепло одетому, да ещё по большей части выпившему, разумеется, тепло...”

Находились купцы, у которых выпивка зимой “для сугреву” перерастала во всесезонную привычку. Один из них запомнился И. А. Слонову: “некто Баграков, торговавший готовым платьем, ежедневно с утра уходил в “Бубновскую дыру”<sup>3</sup>, откуда возвращался всегда вечером красный, как варёный рак”.

Зачастую компанию ему составляли коллеги из иконного ряда.

В “Бубновской дыре” некоторые купцы ухитрялись пропивать целые состояния”.

Разумеется, далеко не все торговцы считали возможным оставлять свои владения совсем без присмотра, поэтому в сильные морозы им приходилось бороться с холодом наравне с подчинёнными. В такие дни, как вспоминал И. А. Слонов, в “рядах” практиковались массовые спортивные состязания: разбившись на команды, работники торговли с громкими криками тянули канат или играли “в ледки” – ногами гоняли из конца в конец кусок льда. В романе Д. И. Стахеева “Замоскворецкие тузы” описана игра в своеобразный русский футбол:

“Зимой купцы и их приказчики при затишьи в торговле, случалось, играли здесь в мяч, наскоро сделанный из обёрточной бумаги, перевязанной

<sup>1</sup> В то время так называли чай.

<sup>2</sup> Дешёвое сладкое вино, зачастую поддельное, пользовавшееся большим спросом у невзыскательной публики.

<sup>3</sup> Так называли нижний зал в трактире Бубнова, находившемся на углу Никольской и Ветошного переулка.

бечёвками, и, кидая его ногой, тузили друг друга кулаками по спинам и плечам не столько для развлечения, сколько для того, чтобы согреться. Их тучные фигуры в высоких меховых шапках, в валенках, в шубах, опоясанных кушаками и высоко поднятыми воротниками, казались какими-то странными чудовищами, напоминавшие грубые изваяния доисторических времён.

Иной здоровенный детина, приказчик, случалось, двинет своего хозяина кулаком в бок, да так ловко, что тот закричит от удара и заворчит:

– Эка обрадовался, глупая голова, нешто так можно со всего маху!..

– Морозно больно, – оправдывался тот.

– Гляди – морозно! Я те такого морозу задам, будешь помнить!..

– Простите!.. Оно точно, что неаккуратно вышло!.. Верьте совести, я без намерения!..

– Ещё бы с намерением!.. дубина!

Бумажный ком летал, подбрасываемый в разные стороны, купцы подпрыгивали, стараясь уклониться от его движения, и весело посмеивались один над другим, согреваясь, по их словам “за дешёвую цену”.

– Ну, и холодно, братцы!..

– Да, климат ноне строгой!..”

Кроме холода, зимняя пора создавала обителям “рядов” и такое неудобство в работе, как короткий световой день. При описании будней Гостиного двора Д. И. Стахеев отметил и это обстоятельство: “Зимой в четвёртом часу купцы уже посматривают на тусклый свет, проникавший в ряды через узкую щель сверху, и тоскливо думают о том, что вечер уже близко, а дела сделано мало. Сумерки более и более сгущались, проход между лавками, местами заваленный грудами товаров в рогожных тюках, мешках и ящиках, начинал окутываться темнотой”.

Правда, купцы умудрялись и недостаток света обращать себе на пользу. Так, в некоторых лавках меховщиков специально затемняли стекла, чтобы в полумраке сбывать покупателям изделия с дефектами. Или, как в сцене из романа “Замоскворецкие тузы”, наступление темноты давало возможность неудачливому игроку выпутаться из проигрышной ситуации:

“Бывало в сумерки, приютившись около товарных кип у запертых дверей лавки на деревянных табуретах, купцы сживали, доигрывая партию в шашки, цена которой иногда назначалась в пятьдесят рублей. Другие купцы, тоже запершие свои лавки, следили за игрой и с нетерпением ожидали её окончания. По временам они взглядывали в узкую щель вверху рядов, как бы прося оканчивающийся день задержать на некоторое время наступление ночи. Оплывавший игрок, пользуясь благовидным предлогом, отказывался продолжать игру.

– Шабаш, брат. Не могу больше!

– Как? По какому резону?

– А потому, что шашек не видать.

– Врёшь. Доигрывай! Туго пришлось, так и шашек не видать стало. Мы, брат, тоже, сделай милость, понимаем, что к чему. Доигрывай: твой ход!

– Чудак человек! Как же я теперь, к примеру сказать, буду доигрывать, ежели шашки неявились?.. Не вижу я, понимаешь.

– Отчего же я вижу?

– Да, да. Это верно! – подхватывали другие. – Отчего же он видит, а ты нет?

– У него глаза моложе.

– Это, брат, один отвод, больше ничего.

– Толкуй с тобой.

– Значит, бросить? Так или нет?

– Само собой.

– В таком разе завтра цена вдвое. Понял?

– Ладно. Сыграем и сотенную, – важность небольшая!..”

Игра в шашки между купцами являлась такой же неотъемлемой частью повседневной жизни “города”, как утренние “чёски” и совместные чаепития. В записках И. А. Слонова отмечена особенность этих шашечных турниров:

“Среди игроков были настоящие виртуозы, игру коих собирались смотреть много любопытных, иногда державших за игроков крупные пари”.

В рассказе мемуариста о буднях Гостиного двора есть описание и, говоря современным языком, системы быстрого питания для тех работников торговли, кто не мог или не хотел отойти от лавки:

“Среди публики по рядам ходили многочисленные разносчики, носившие на головах в длинных лотках, покрытых тёплыми одеялами, жареную телятину, ветчину, сосиски, пироги<sup>1</sup>, сайки и проч., при этом все разносчики на разные голоса громко выкрикивали названия своих товаров. <...>

Затем ещё были интересные типы “рядских поваров”. Они носили в одной руке большой глиняный горшок со щами, завёрнутый в тёплое одеяло, в другой руке корзину с мисками, деревянными ложками и чёрным хлебом.

Миска горячих вкусных щей с мясом стоила десять копеек. После еды миски с остатками щей и хлеба торговцы ставили на пол в рядах, около своих лавок, где их доедали бегавшие по рядам бродячие собаки. Потом приходил повар, собирал миски, тут же вытирал их грязным и сальным полотенцем и снова наливал в них желающим горячих щей”.

Качество съестного, продаваемого с лотков, москвичи того времени не переоценивали. В сценке “У лавки” приводится пример простого, но эффективного тестирования пирогов без привлечения сотрудников СЭС:

— Ай, купчики-голубчики! — возглашает вывернувшийся из-за угла пирожник. — С пылу! С жару! С огонёчку! Вечер были в печи, а и по сель горячи!

— У тебя с чем пироги-то? — спрашивает купчик.

— С чем, сударь, пожелаешь: со всяким материалом найдём для твоей милости, отвечает разносчик.

— С бархатом<sup>2</sup> у тебя есть?

— С бархатом нету-с: с бархатом об рождестве пекём; а ноне вот с морковой да с капусткой не желаешь ли?

— Капуста! Ну, брат, пусть ей будет пусто! Она дома нам пуще горькой редьки надоела; а то вот что, друг любезный: взаправду что ли пироги-то у тебя хорошие?

— Самые, сударь, наилучшие! Одно слово — заграничные: ни в одной Америке таких не сыщешь, — расхваливает торговец. — Сам бы я их поел, да деньги-то мне уж очень нужны!

— Коли так, то за весь, стало быть, твой товар, гуртом, значит, что возьмёшь?

— Без обиды, сударь, три четвертачка<sup>3</sup>.

— Получай, брат, шесть, — предлагает купчик, — что бы сейчас, значит, всё это пирожное самому тебе съесть!

Пирожник с омерзением поглядывает на свой товар и задумывается...

— Ну их в омут! — произносит он решительно. — От них ещё подохнешь, пожалуй!

Коммерсанты раздражаются хохотом”.

Не только торговые служащие, но и хозяева лавок не брезговали отведать разносолов, которые предлагали разносчики с лотками. Вот, например, наблюдение с натуры, отражённое Д. И. Стахеевым в его романе о жизни московского купечества:

<sup>1</sup> По воспоминаниям И. А. Белоусова, пирожники, обитавшие в Зарядье, наладили целую индустрию: “Одни из них выпекали жареные пирожки с самой разнообразной начинкой: в мясоеды — с мясом, с ливером, с капустой и яйцами, с молочной кашей, с творогом, а в постные — с рисом и рыбой, с капустой и луком, с грибами, с вареньем. Такие пирожки стоили 5 копеек пара. Выпекались ещё подовые пирожки с мясом, с рисом, с изюмом, с творогом и небольшие пирожки вроде ушков, начинённые мясом с луком; эти пирожки разносились в особых ящиках, внутри которых находились металлические бачки, в них-то в растопленном горячем масле и плавали эти пирожки. Торговец прямо руками доставал их оттуда и подавал покупателю. Пирожки эти были очень маленькие, но вкусные и продавались по одной копейке. Очень были распространены пирожки-расстегайчики, в скромные дни они выпекались с мясом и луком, а в постные — с кусочками белуги, семги и с жирами, то есть с молоками... Расстегайчик клался на блюдечко, посыпался солью, перцем, смазывался несколькими каплями масла и заливался подливкой из рыбного или мясного бульона, который держался в особых металлических лужёных кувшинах с узким и длинным горлышком. Кувшины закутывались тряпками, чтобы подливка не остывала. Расстегайчики продавались по 1 копейке и по 2 копейки, смотря по величине”.

<sup>2</sup> Возможно, это намёк на общеизвестную в то время анекдотичную историю, упомянутую И. А. Слоновым: “Мальчик ест жареный пирог с вареньем, в котором ему попался кусочек грязной тряпки. Он, обращаясь к пирожнику, говорит: “Дяденька, у тебя пироги-то с тряпкой...” Пирожник в ответ: “А тебе, каналья, что же, за две копейки с бархатом, что ли, давать?...”

<sup>3</sup> Четвертак — серебряная монета номиналом 25 копеек.

“Продавец лососины, ветчины, телятины и т. п., чем питаются в рядах купцы, запивающие такие обеды десятками стаканов чая “в прикуску”, замедлял свой шаг, кося глазами направо и налево и придерживая рукой лоток на голове. Он уже не выкрикивал названий своих товаров, а думал только о том, как бы благополучно пробраться между кипами и не обеспокоить “грехом” какого-нибудь его высокостепенства, постоянного своего покупателя, тоже обедающего зачастую “всухомятку”, несмотря на то, что в амбарах у него товаров на сотни тысяч, а в десяти акционерных обществах он заправила и председатель. Случалось, и в поздние сумерки такая походная, так сказать, кухня производила торговлю.

– Постой-ка, милый человек, – останавливал иной раз эту кухню какой-нибудь высокостепенство, – чтой-то я никак есть хочу, дай лососинки кусочек побольше.

– Извольте для вашей милости завсегда с превеликим усердием... Вот полюбопытствуйте этот сорт – высокого достоинства товар!..

Торговец бойко действовал, размахивал фартуком, отирал тарелку, резал лососину и всё с такой быстротой и ловкостью, точно фокусы показывал.

Случалось, тут же сидела около лавки и жена его высокостепенства, тучная, расплывшаяся во все стороны женщина с мясистым подбородком в два яруса, одетая в просторный салоп на лисьем меху с собольим воротником, выехавшая в город “для воздуха” на собственной лошади, подобно ей тяжело дышащая и добравшаяся, переваливаясь уткой, до лавки мужа, чтобы вместе с ним возвратиться домой.

– Дай и мне, – говорила иной раз она, увидев на лотке продавца пищу, – и я что-нибудь съем...

– С нашим почтением... Пожалуйте... Что изволите пожелать?..

– Да уж я и сама не знаю... Разве вот ветчины кусочек или вот телятинки. Хороша больно у тебя телятина...

– Телятина, сударыня, такая – невозможно описать!

– Дай, пожалуй, кусочек... маленький... Что ты так много!

– Извините... Так замахнулся. Кушайте на здоровье”.

Впрочем, такой приём пищи по пословице “Семь раз поели, а за столом не сидели” не был единственно возможным. По многочисленным свидетельствам современников, не менее распространённым для купцов было посещение трактиров помимо дружеского чаепития. Речь идёт об устоявшейся традиции: переговоры в амбаре или лавке купец и покупатель партии товара завершали за совместным чаепитием. Одно из популярнейших мест делового застолья описал И. А. Слонов:

“Трактир Бубнова в жизни торговцев Гостиного двора играл большую роль. Каждый день, исключая воскресные и праздничные, он с раннего утра и до поздней ночи был переполнен купцами, приказчиками, покупателями и мастеровыми.

Тут за парой чая происходили торговые сделки на большие суммы”.

Это заведение было удобно тем, что торговым партнёрам, желавшим “спрыснуть” сделку, достаточно было перебраться в другой зал (в “низок”, как говорили москвичи):

“Внизу, под трактиром, в подвальном этаже помещалась знаменитая “Бубновская дыра”, куда вела узкая лестница в двадцать ступеней.

Помещение “дыры” состояло из большого подвала с низким сводчатым потолком, без окон, было перегорожено тонкими деревянными перегородками на маленькие отделения, похожие на парходные каюты. В каждом таком отделении, освещённом газовым рожком, стоял посредине стол с залитой вином грязной скатертью и кругом его – четыре стула. Другой мебели там не было.

В этих тёмных, грязных и душных помещениях ежедневно с самого раннего утра и до поздней ночи происходило непробудное пьянство купцов.

Эти “троглодиты” без воздуха и света чувствовали себя там прекрасно, потому что за отсутствием женщин там можно было говорить, петь, ругаться и кричать громко и откровенно о самых интимных и щекотливых предметах. Там кричали все. Поэтому за общим шумом и гвалтом невозможно было понять не только разговаривающих за тонкой перегородкой, но и сидящих рядом с вами. Общая картина “Бубновской дыры” была похожа на филиальное отделение ада, где грешники с диким криком, смехом, а иногда и с пьяными слезами убивали себя алкоголем... <...>

От винных испарений и табачного дыма атмосфера в “дыре” была похожа на лондонский туман, в котором на расстоянии трёх шагов ничего нельзя видеть...”

Трактир “Арсентьича” в Большом Черкасском переулке был не менее знаменит, но пользовался популярностью иного рода. В нём подавали ветчину и белорыбицу собственного приготовления, имевшие особый, неповторимый вкус. Московские купцы считали своим долгом попотчевать этим деликатесом иногородних покупателей, а чтобы отметить сделку отправлялись в настоящие значные места – в загородные рестораны.

В описании Китай-города А. С. Ушаков выделял ещё одно заведение, являвшееся центром деловой жизни: “Войдите, наконец, в Троицкий трактир в будничные день, часа в два-три, и вы, смотря на это вечное, неуспокаивающееся движение, этот прилив и отлив, этот неумолкающий глухой шум, переговоры, сделки, покупки за неизменными тремя, четырьмя, пятью парами чая<sup>1</sup>, легко поймёте, какою деятельною жизнью живёт Москва, как оригинальна эта жизнь и как трудно уловить её кажущееся однообразным выражение”.

Троицкий трактир находился рядом с Биржей, что делало его удобным местом для деловых переговоров. Детали описания этого заведения, сделанного в начале 1860-х годов, указывают на особенности менталитета купцов того времени: они не замечают антисанитарии, но весьма чувствительны к почитанию их общественного положения:

“Слова нет, кормят хорошо, стол чисто русский, но грязь, грязь и грязь, куда ни оглянись, и под столами, и на столах, воздух душный, спёртый, всюду воняет маслом, кухней, жара, духота, теснота, толкотня, ворохи шуб, чинопочитание, по карману и честь, неотъемлемое на чай и страшные цены. <...> Троицкий для тузов, в нём рубля на три можно действительно хорошо пообедать, но нечего и соваться туда с полтинником, даже с рублём сереб. – это там сущая безделка... <...> Стакан кваса стоит 5 коп. сер. Цены на кушанье ставятся содержанием совершенно произвольно и достигают в большинстве блюд 75 коп. и 1 р., гораздо меньшее их число стоит 50 к. и ещё меньшее – 35. Карта почти круглый год не меняется и до крайности однообразна. Прислуга поставлена на разные ноги с посещающими. Смотра по состоянию и значению, общество дробится на несколько каст и рангов, и даже комнаты носят названия дворянской, армянской, немецкой и т. п. Порции не для всех одинаковы: лицам, занимающим верхние ступени городской службы, они подаются в больших размерах и особенные, простому человеку идут жалые; тузам идёт особая посуда, простому классу – обитые тарелки и ломаные вилки; с богатых людей получают “как прикажете”, с бедняка тянут до последней копейки”.

После заключения сделки за чайным столом неписанные правила купеческого сообщества предписывали продавцу угостить покупателя обедом. Герой А. М. Пазухина в “картинке с натуры” “Молодые” так объяснял супруге эту особенность своей профессии:

“Сичас покупателя иногороднего надо угостить или нет? Конечно, ежели степенный он, так его накормить в “Большой Московской” обедом, и вся недолга, а ведь другой воздуха просит, ну, и повёз его в парк”.

Обед в “Большой Московской гостинице” означал, что коммерсанты всего лишь переместились в одно из заведений Охотного ряда, где кормили вкусно и сытно. Это могли быть и популярнейший “Большой Патрикеевский трактир” И. Я. Тестова, и трактир С. С. Егорова с его знаменитым блинным отделением.

Когда же в старой Москве говорили “прокатимся в парк взять воздуха”, то подразумевали поездку в Петровский парк. При этом конечная цель могла быть разной. В одном случае действительно просто катались по тенистым аллеям, предназначенным именно для проезда экипажей. Молодой же купец имел в виду иное: он, чтобы угодить желанию покупателя, повёз того обедать (с переходом в ужин до трёх часов ночи) в какой-то из ресторанов, находившихся в Петровском парке, – “Яр” или “Стрельну”. А в ответ на наивную просьбу жены посвятил её в ещё одну тонкость купеческого делового этикета:

---

<sup>1</sup> Порция, подаваемая в трактирах, – два чайника, похожие, по выражению И. С. Шмелёва, “на большие яйца: один – с кипятком, другой, поменьше, – с заварочкой”.

“— Мог бы и меня взять.

— Это в парк-то?

— Да.

Молодой засмеялся.

— Вот так-так! — проговорил он. — Да какой же дурак поедет со мною, ежели я на буксире жену за собой потащу? Человеку нужна воля, простор ну-жен, а тут баба!.. Не дело говорите, Верочка.

— Во-первых, я не Верочка, а Машенька, — обидчиво заметила молодая. — Второй раз меня Верочкой называешь, это не даром, голубчик.

— Да разве привыкнешь сразу-то?

— Однако я привыкла, ни разу не назвала тебя Мишенькой или Колей.

— Совсем линия не та. Ваше дело дома сидеть, а мы по своим коммерческим делам мало ли где бываем.

— И у Верочек?

— Очинно просто. Сичас покупатель потребуе хор, ну, и зовёшь, а в хору, известное дело, и Верочки, и Катеньки, и Любочки, и Софочки, ну, и обверисься за вечер-то”.

Купцы, которых в Москве называли “широкими натурами” (швырявшие на кутежи сотни, а то и тысячи рублей), в загородном ресторане могли не только “обвериться”. Богатей, дошедший до определённой кондиции, — “протокольного состояния” — начинал “чертить”, то есть “гонять чертей”.

Популярнейший в своё время писатель-юморист И. Ф. Горбунов чеканно запечатлел образ любителя пуститься во все тяжкие: “широкая натура пила “Лиссабон”, приводивший человека в неистовство; пила шампанское, приготовлявшееся в городе Кашине, одной бутылки которого достаточно было для того, чтобы привести человека в остервенение; била половых, била маркёров, била посуду и зеркала, целовалась с арфистками, становилась на колени перед цыганками и щедро оплачивала зорко следившего за нарушением общественной тишины и спокойствия квартального надзирателя.

Бывали и такие широкие натуры, которые, как говорится, смешивали грех со спасением”.

К последнему замечанию яркой иллюстрацией служит рассказ Н. С. Лескова “Чертогон”. Его герои, богатейшие московские тузы, абонировали загородный ресторан исключительно для своей тесной компании, чтобы без помех отдохнуть от дел праведных. Апофеозом кутежа явилась охота на “фараончиков” — цыганок из хора, прятавшихся среди зелени зимнего сада:

“Было сражение и рубка лесов: слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные, экзотические деревья, за ними кучею жались в углу какие-то смуглые лица, а здесь, у корней, сверкали страшные топоры и рубил мой дядя, рубил старец Иван Степанович... Просто средневековая картина.

Это “брали в плен” спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок, цыгане их не защищали и предоставили собственной энергии. Шутку и серьёз тут не разобрать: в воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те всё врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степаныч и дядя.

Наконец твердыня была взята: цыганки схвачены, обняты, расцелованы, каждый — каждой сунул по сторублевой за “корсаж”, и дело кончено...

Да; сразу вдруг всё стихло... всё кончено. <...>

Ресторан представлял полнейшее разорение: ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра — и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы её ломались под ногами еле бродившей, утомлённой прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас; он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка.

Им подали счёт — короткий: “гуртом писанный”.

Рябыка читал счёт внимательно и потребовал полторы тысячи скидки. С ним мало спорили и подвели итог: он составлял семнадцать тысяч, и просматривавший его Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнёс односложно: “Плати”, — и затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать”.

---

<sup>1</sup> Зачастую купеческие буйства в ресторане завершались вызовом полиции и составлением протокола.

После кутежа герой рассказа отправился в один из монастырей, чтобы перед чудотворной иконой молить Господа о спасении души<sup>1</sup>. И это вполне счастливый конец истории.

Иные “чертогоны” продолжали разрушительные чудачества и по возвращении домой. По Москве ходили истории о “Кит Китычах”, которые в пьяном виде неуклонно следовали принципу “Моему ндраву не препятствуй!” Один, например, наотрез отказался въезжать во двор через ворота, а потребовал разломать пролёт капитального забора. Другой среди ночи приказал затопить ему баню ... в погребке. Это не говоря уже о “тасках” (кулачных расправах), устроенных членам семьи и прислуге, — то было вполне обычным делом.

Однако нельзя не отметить, что в те времена потребление спиртного в больших количествах для купца было не менее важным, чем другие профессиональные качества. Вот любопытное замечание П. А. Бурьшкина по поводу удачной карьеры в России Л. И. Кнопа<sup>2</sup>:

“Есть мнение, что своим успехом Кноп обязан, прежде всего, своему желудку и способности пить, сохраняя полную ясность головы. Нравы торговой Москвы того времени были ещё почти патриархальными, и весьма многие сделки совершались в трактирах за обеденным столом или “за городом, у цыганок”. Кноп сразу понял, что для того, чтобы сблизиться со своими клиентами, ему нужно приспособиться к их привычкам, к укладу их жизни, к их навыкам. Довольно быстро он стал приятным, любимым собеседником, всегда готовым разделить дружескую компанию и способным выдержать в этой области самые серьёзные испытания”.

Сам Кноп, видимо, гордился стойкостью в потреблении спиртного. После кончины одного из своих друзей, с которым было выпито много вина, — фабриканта С. И. Хлудова — он говорил: “Немец русского перепил, а тот и умер...”

Некоторое представление об уровне “игроков высшей лиги”, с которыми приходилось соревноваться Кнопу, даёт фрагмент рассказа П. И. Щукина “Как в старину пили московские купцы”:

“Московский городской голова Михаил Леонтьевич Королёв, Алексей Иванович Хлудов, Павел и Дмитрий Петровичи Сорокоумовские, Иван Иванович Рогожин, Василий Гаврилович Куликов и Николай Иванович Каулин ходили обыкновенно пить шампанское в винный погребок Богатырёва, близ Биржи, на Карунинской площади. Прежде всего, Королёв ставил на стол свою шляпу-цилиндр, затем начинали пить, и пили до тех пор, пока шляпа не наполнилась пробками от шампанского; тогда только кончали и расходились”.

Заметим, что это описание дружеских посиделок с употреблением одного только шампанского. Во время “вспрыскивания” сделок купцы пили водку и вина, “сколько душа просила”, неограниченно “освежались” коньяком и, как они выражались, “лакировали” всё выпитое “шипучкой” (шампанским), пивом<sup>3</sup> или каким-нибудь “лампопо”<sup>4</sup>.

В фельетоне “Как веселится москвич?” приводится пример купеческого трактирного застолья со смещением различных видов горячительных напитков:

“Из дневника его степенства Тит Тытыча Брускова, первой гильдии купца и разных орденов вплоть до эфиопского — кавалера...”

<sup>1</sup> В письме издателю Н. С. Лесков упомянул, что прототипом главного героя послужил миллионер А. И. Хлудов. Кроме кутежей, он прославился собранной им уникальной коллекцией древнерусских рукописей и старопечатных книг. По мнению П. А. Бурьшкина, его деловая репутация была безупречной: “По отзывам людей, близко его знавших, это был “человек неподкупной честности, прямой, правдивый, трудолюбивый, отличавшийся силой ума и верностью взглядов”.

<sup>2</sup> Кноп Людвиг (в России — Лев Герасимович) (1821–1894) — выходец из Бремена, занимался поставками английского современного оборудования для текстильной промышленности. Масштаб его деятельности характеризует ходившая в то время пословица “Что ни церковь — то поп, что ни фабрика — то Кноп”.

<sup>3</sup> Выпивохы называли пиво “лак” и, указывая официанту на подругу по застолью, могли скаламбурить: “Лакей, принеси лак ей!”

<sup>4</sup> По описанию Н. В. Давыдова, “Лампопо” пили только особые любители или когда компания до того разойдётся, что, перепробовав все вина, решительно уж не знает, что бы ещё спросить. Питьё это было довольно откровенно на вкус и изготавливалось таким образом: во вместительный сосуд — открытый жбан — наливалось пиво, добавлялся в известной пропорции коньяк, немного мелкого сахара, лимон и, наконец, погружался специально зажаренный, обязательно горячий сухарь из ржаного хлеба, кипевший и дававший пар при торжественном его опускании в жбан”.



“... Выпито было знатно! Спервоначала с кумом Митрием Евстигнеевичем засели “под машину”<sup>1</sup> у Тестова и соорудили лёгонькую закуску: балычка провесного, икорки свежей, поросёнка в сметане, гуся с капустой да ветчинки порциев пяток... “Смирновки” выпили три посуды, портвейнцем побаловались, а на заглядку дербалызнули коньячишку... ”

Кум Митрий Евстигнеевич по коньяковому делу специалист и выбрал напиток самый подходящий – коньяк №2, “жёсткий”.

– Это, – говорит, – самый что ни на есть натуральный, потому у нас в Кашине приготавливается! И жёсткости в ём много сидит от природы – такая уж “лоза” произрастает в Кашине!

Поверил на слово, но вышла махонькая коньяковая ошибка: кум Митрий Евстигнеевич ненароком трюму ахнул, я же впал в огорчение чувств и трём половым горчицей рожу перемазал...

Хотели было проехаться в Манеж, но по нечаянности угодили в участок. Впрочем, и там было довольно весело... ”

Хорошо, если, подвыпив, купец не трогал окружающих, как это бывало с И. К. Агеевым. Он всегда приходил в “Яр” и проводил вечер в одиночестве. Молча ел и пил и, только закончив ужин, спрашивал: “Сколько?” – расплачивался и требовал шампанского. Когда приносили, Агеев хватал бутылку и бросал её в зеркало, а затем, не моргнув глазом, спрашивал: “Сколько?” Платил за ущерб и молча уходил.

Гораздо хуже было, когда пьяные купчики помимо зеркал начинали колотить всех, кто попадался под руку. В большинстве случаев их жертвами становились официанты или девицы, напросившиеся в компанию. Однако могло достаться и публике. В рассказе А. М. Пазухина “Старое вспомнил” купцы хвастались своими подвигами в былые времена:

“Такой карамболь учинили – страсть!.. Пили, это, сперва водку, потом на коньяк приналегли и дошли до высоких чинов пьяного звания, дошли да и фокус вышел у нас... Васька сидел, это, искоренял коньяк, да и говорит: “Желаєте, говорит, я вам фокус покажу?” – Покажи, мол... ”

Встал наш Васька и идёт вон к тому столику; а там какой-то господин, вроде чиновника... Подошёл к нему Васька и спрашивает: “Вы, господин, химию знаете?” Тот ему отвечает, что нет, мол, не знаю... “Как же, говорит Васька, господин, вы очки носите, волосья у вас длинные, а химии вы не знаете? По этому по самому вас надо весьма бить... ”

Господин было в амбицию, а Васька возьми его за волосья да с диванато вот на зтолько!.. “Ребята, – кричит, – вот фокус модной конструкции! Игра пустыми шарами или отделение головы от туловища!.. ” Ну, и пошёл у нас греко-болгарский вопрос... Сейчас это полиция, протокол и всё подобное... Такой бульон с пашотом вышел, что беда! Насилу-то господин на двух радужных<sup>2</sup> помирился: “А то, – кричит, – засужу! У меня, – говорит, – дядя потомственный почётный дворянин и даже на генеральной вакансии!.. ” Весело, бывало, жилось, разнообразно! – заключил свой рассказ купец”.

Любопытно, как дебоширы обосновывали свое хамское поведение:

“– Дела веселили, торговля была, ну, и было твоему сердцу вольготнее... Как, бывало, выпьешь, так кулаки у тебя и чешутся, так подходящей скулы и ждётся... И мировую заплатить не тяжело, потому дённая выручка-то у тебя во какая, домой не унесёшь!.. А ноне тихо, ноне купец приник к земле и думает, как бы это себе щи без говядины на солнце сварить, а не то что чужие скулы пробовать... ”

Вплоть до начала XX века на страницах юмористических журналов нередко можно было встретить карикатуру на купца – ресторанного хулигана. Образ был стандартным: мужчина типичного купеческого облика, с солидным брюхом, в долгополом сюртуке, на ногах – сапоги, вооружившись бутылками с шампанским, громит всё кругом.

Впрочем, иногда пьяная компания ограничивалась относительно безобидными шутками: раздетую дамочку вытаскивали из кабинета в общий зал,

<sup>1</sup> Просторечное название механического органа либо оркестриона – устройства, совмещавшего в себе различные музыкальные инструменты, что позволяло ему воспроизводить даже сложные произведения.

<sup>2</sup> “Радужная”, “катенька” называли банкноту в 100 рублей из-за цвета и помещённого на ней портрета Екатерины II.

официанту мазали лицо горчицей (это стоило 10–20 руб.), кого-нибудь из прихлебателей бросали в бассейн с живой рыбой. Персонажи рассказа А. М. Пазухина всего лишь занялись рукодельем:

“Пришли и без всякого сомнения стали пить лафит... Пили, ели, опять пили и видим, Сонечка у нас готова: глазки это закрыла, головку свесила, отодвинулась на спинку дивана и спит... Я было ей хотел из перцу “гусара”<sup>1</sup> в нос пустить, а Егор Митрич и говорит: “Стой, говорит, мы с ей другую водевиль сыграем! Не спать сюда пришли, так надо её наказать...” Сейчас к Танечке: “Есть у вас иголка?” – Есть. – “Пришивай барышню к дивану!”

Танечка достала иголку, ниток нам подали молодцы, и пришили мы сонечкино платье и все прочие дамские принадлежности, вроде там мантильев и оборок разных, к диванной материи... Пришили – и за другой стол... “Эй, – зовём, – человек, заведи машину!” – “Какой номер-с?...” – “Самый громогласный, с барабаном!...” Трр, трр, фю!.. Завели... Как грянет эта машина во все трубы, аж стекла задрожали!.. Проснулась Сонечка, огляделась... Видит – одна, компании нет... А мы сидим за уголком да смотрим, со смеху еле живы!.. Глядела барышня, глядела и хотела было идти... Раз – стоп!.. Другой – тпру!.. Кэээк она завопит, кэээк закричит!.. Ха, ха, ха!.. Из всех залов народ сбежался!.. А она орёт!.. “Ой, кричит, приклеили меня! Ой, невидимая сила держит!..” Умора такая была, что меня от хохоту водой отливали!..”

И что характерно, в купеческой среде распространённым объяснением пьяных чудачеств было утверждение, что до “протокольного состояния” дело дошло как-то само собой. Так, судя по признанию одного из купцов, в загородном ресторане они с товарищем оказались под воздействием непреодолимой силы:

“Говорил Ферапонту Матвеевичу, что опять в “Яре” окажемся... А он: да мы к Бубнову в трактир только на часок зайдём, чайку попьём<sup>2</sup>... Вот и до чаёвничались...”

Вполне закономерно, что на следующее утро таким жертвам рока приходилось восстанавливать работоспособность всякого рода проверенными средствами. Кто-то следовал совету купца Хлюпина, который, сам подвыпив, имел привычку просвещать ресторанный публику. Подойдя к какой-нибудь компании, он громогласно вещал:

“А знаете ли вы, как полезно употребление хорошего огуречного рассола? Приготовленного хозяйственным способом... с дубовым и смородиновым листом, чебром, укропом, эстрагоном, перцем, хреном или чесноком... Поэтому я всегда своим знакомым советую после приятного перепоя пить его стакан два натошак...”

Сторонники способа выбивать клин клином обращались в знаменитую квасную лавку<sup>3</sup>, описанную А. М. Герсоном в одной из его зарисовок с натуры:

“Летний жаркий день. Понедельник. В Сундучном ряду; в лавке, где торгуют квасом, большое скопище народу. Хозяин и прислуга не успевают удовлетворять требования посетителей. Раздаются возгласы: “полбутылки шей”<sup>4</sup>,

<sup>1</sup> В бумажный кулёчек насыпали перец или табак и вставляли спящему в ноздрю.

<sup>2</sup> Автор книги “Москвичи дома, в гостях и на улице” утверждал: “Москвич не имеет обыкновения приглашать на водку; он приглашает на чай; несмотря на то, что, пригласив вас пить чай, в самом-то деле разумеет что-нибудь другое, только не чай, а чай – это так, деликатное приглашение на водку и т. п.; в некотором роде благовидный предлог, эгида, под которой укрываются москвичи”.

<sup>3</sup> “За несколько шагов до квасной лавки обдаст вас сырой свежестью погреба, и ягодные газы начинают вас щекотать в ноздрях. <...> В просторной лавке без окон, тёмной, голой, пыльной, с грязью по стенам, по крашенным столам и скамейкам, по прилавкам и деревянной лестнице – вниз в погреб – с большой иконой посередине стены, – всё покрыто липким слоем сладких остатков расплёсканного и размазанного квасу. Было там человек больше десяти потребителей. Молодцы в чёрных и синих сибирках, пропитавшихся той же острой и склизкой сыростью и плесенью, – одни сбегали в подвал и приносили квас, другие – постарше – наливали его в стаканчики-кружки, внизу пузатенькие и с вывернутыми краями. Такие стаканчики сохранились только в квасных, у сбитенщиков да по селам, в харчевнях и шинках”. – П. Д. Боборыкин. “Китай-город”.

<sup>4</sup> Сорт кваса, приготовленного из пшеничной муки, ячменного и ржаного солода; из-за сильной насыщенности газом бутылки с ним закупоривали на манер шампанского. Считался одним из эффективнейших средств борьбы с похмельем.

малинового стакан, эй, пироги, ветчина!” и проч. и проч. За столами сидит самая разношёрстная публика: тут и военные с жёнами, и чиновники, и купцы, и за одним столом даже два еврея. <...>

В лавку вбегает артельщик.

– Пожалуйте Петру Мартынычу бутылочку и разбавки, только поскорее.

– Разбавки позабористей?

– Обнаковенную-с.

– Аль было что вчера?

– Воскресенье.

– Ну, так горлодеру надо. Пожалуйте, кланяйтесь.

<...>

– Михаил Сергеевичу! – обращается вновь вошедший молодой человек в очках к хозяину, – почёт и поклон.

– А, Александр Максимыч! Как живёте, сударь?

– Ничего, трогаемся. Пожалуйте-ка составу.

– Понедельничного?

– Да, полагаю.

– Что же? Происходило что вчера?

– Происходило. На могилке были...

– О?! Так покрепче надо.

– Само собой...”

Привычка купцов отмечать любое событие обильными возлияниями зачастую делала их героями анекдотов. Вот, например, описанное И. А. Белоусовым ежегодное торжество, связанное с почитанием икон – покровительниц торговых рядов:

“Интересную картину представлял “город”, то есть все торговые пункты центра Москвы, включая Старую и Новую площади, в конце августа и в начале сентября, когда купечество, закончив свои торговые дела на “Всероссийском торжище” – Нижегородской ярмарке, – возвращалось в Москву. Тогда во всех торговых пунктах служились торжественные благодарственные молебны с водосвятием перед иконами, которые висели в каждом торговом пункте, в каждом ряду. На эти молебны привозились московские святыни: огромная икона Иверской Божьей Матери из часовни у Иверских ворот, такая же большого размера икона Спасителя из часовни у Москворецкого моста, мощи Пантелеймона из часовни на Никольской улице; из Успенского собора – икона Владимирской Божьей Матери и “Гвоздь Господень”; из местных храмов приносились хоругви и чтимые иконы. Специально для установки этих святынь устраивались из белого полотна палатки, украшенные цветами и зеленью, приглашались соборные протоиереи и лучшие хоры певчих – Чудовской и Синодальной”.

Дополняет картину религиозного праздника, позволяя увидеть её под другим углом, свидетельство И. А. Слонова:

“На рядских молебны денег собирали много. Несмотря на большие расходы, их оставалось достаточно для угощения купцов в трактире Бубнова. После рядских молебнов купцы, по обыкновению, устраивали большие кутежи в загородных ресторанах – у Яра, в Стрельне и других местах. Однажды произошёл такой случай: после молебна в Ветошном ряду и последовавшего за ним обильного завтрака в трактире Бубнова шесть купцов поехали освежиться за Тверскую заставу в Стрельну. <...>

Находясь в саду Стрельны под живым впечатлением тропической флоры, купцы напились там до невменяемости и под предводительством князя М. тут же решили немедленно ехать в Африку, охотиться на крокодилов... Из Стрельны они отправились на ликахах прямо на Курский вокзал, сели в вагон и поехали в Африку на охоту...

На другой день рано утром они проснулись близ Орла и были очень удивлены, зачем они в вагоне? куда их везут?

Ответить им на это никто не мог, а сами они ничего не помнили...

Недоразумение их объяснила случайно найденная в кармане одного из охотников записка “маршрут в Африку”. Тут только они вспомнили молебен, завтрак у Бубнова, Стрельну и охоту на крокодилов”.

Позднее возвращение купца домой было связано с деловым обедом, перешедшим в загул. Порой сами условия коммерческой деятельности заставляли его заниматься делами до поздней ночи. Герой романа “За-

москворецкие тузы”, появляясь к полуночи, объяснял истомившейся в ожидании супруге:

— Нельзя иначе. Дела задержали... После запора лавки местах в пяти перебивал: с тем — чай, с другим — чай, а без этого нельзя, сама знаешь, дело торговое, не хочешь да пьёшь.

— Неужто, Захар Прохорович, так всю жизнь и будем маяться? На что это похоже, сам посудит!

— Зачем всю жизнь? Статочное ли это дело! Вот, Бог даст, оперимся и в настоящую силу войдём. Теперь мы за покупателем бегаем, по всем подворьям его, как зверя пушистого, выслеживаем, а потом с Божией помощью доживём и до той поры, когда он за нами будет ухаживать.

— Да когда же этого дождёшься? Который год, я смотрю, мечешься с утра до ночи, только и вижу тебя, когда спать ложишься, а дела всё в прежнем положении.

— Что ты говоришь? Как в прежнем положении? Ты припомни, что мы имели, когда ты за меня выходила, и сравни, что было тогда, что — теперь. Не видишь разве, сколько теперь у нас амбаров с товарами?.. Ты, Анна Фёдоровна, не ропчи... Слава Богу, всё хорошо идёт...”

Интересную бытовую деталь, характеризующую семейный уклад в купеческом доме, приводит Д. И. Стахеев:

“В долгие зимние вечера, в ожидании возвращения Захара Прохоровича “из города”, самовар оставался в столовой иногда часов до десяти. Его то доливали, то подбавляли углей, то заменяли другим, дожидавшимся своей очереди на кухне около железной трубы, выходявшей через чёрную лестницу на крышу. Этот другой, как дежурный, всегда был готов к услугам, налит водой, наполнен углями и должным запасом щепок; оставалось только зажечь растопку, и через семь-восемь минут, при сильной тяге трубы, вода в нём закипала ключом. Остывший его собрат возвращался на кухню, безмолвный и точно сконфуженный, находящийся до некоторой степени как бы в пренебрежении у всех; а он, полный огня и кипящей воды, отправлялся на его место, и горничная, идя с ним в столовую, морщилась и отворачивала лицо в сторону от его паров. Пока он клокотал в столовой, стоя на медном блестящем, как зеркало, подносе, сам не менее блестящий и как бы гордый своим положением, — его остывший собрат уже стоял около железной трубы, наполненный водой и углями”.

Замоскворецкий купец, заработавшись до ночи, своим поздним возвращением беспокоил только домашних. Однако среди коммерсантов-трудоголиков находились такие, кто считал возможным после трудового дня ещё и навестить друзей. Об одном из них писал П. И. Щукин:

“Часто у нас гостила приятельница матери Анна Леонтьевна Шустова, брат которой, Николай Леонтьевич, имел в Москве водочный завод. Очень занятый, Николай Леонтьевич являлся к нам лишь по вечерам, иногда даже тогда, когда мать уже была в постели; но для него она вставала, одевалась и спускалась в столовую, где беседовала с ним до поздней ночи. Мы прозвали Николая Леонтьевича “каменным гостем”.

По примеру дворян, некоторые купцы устраивали в определённые дни недели званые обеды. Такой порядок, например, был установлен с доме Щукиных (но с оговоркой):

“По четвергам у нас обыкновенно обедали несколько человек родных и знакомых. <...>

Отец, человек хлебосольный, любил приглашать к обеду гостей, но не любил, если кто сам напрашивался на обед. Так, помню, раз Константин Августович Тарновский сказал отцу: “В четверг я приду к вам обедать”, — на что отец ответил: “Мы будем очень рады, но только нас дома не будет”.

Бывая на обедах у миллионера Солдатёнкова, П. И. Щукин отмечал их особенность, связанную с характером хозяина дома: “Козьма Терентьевич радушно принимал и угощал тонкими обедами; но старея, он становился скупее и стал приглашать к обеду не более двух-трёх человек. На одном таком обеде, *en petit comité*<sup>1</sup>, мой брат Николай сказал: “Угостили бы вы нас, Козьма Терентьевич, спаржей”, — на что Козьма Терентьевич возразил: “Спаржа, батенька, кусается: пять рублей фунт”.

<sup>1</sup> В узком кругу (фр.).

Как ни покажется странным для современного читателя, но мемуарист, отмечая скудость одного из богатейших жителей Москвы, указывал на такую его привычку:

“Перед тем как ложиться спать, Козьма Терентьевич стал обходить свой дом и тушить электрические лампочки, чтобы зря не горели”.

Впрочем, в маниакальном стремлении сберечь копейку Солдатёнков не был оригинален. Современники отмечали эту черту характера у многих купцов. Так, “миллионщик” Г. Г. Солодовников при жизни снискал славу уникального скряги. По Москве ходили анекдоты о том, как он требовал в трактирах только вчерашнюю кашу, поскольку стоила копейки; как не гнушался стащить яблоко у уличного торговца, как из экономии жил в квартире своего приказчика.

По рассказу П. И. Щукина, имел привычку красть в целях экономии и представитель другого богатейшего семейства – потомственный почётный гражданин Ф. Ф. Мазурин:

“Всегда угрюмый и плохо одетый, он по целым дням рылся в книжных лавках, причём иногда незаметно вырывал из редкой книги лист или два, чтобы её обесценить и купить подешевле, а при случае и воровал книги. Мазурин покупал книги в долг и постепенно платил. Будучи страстным любителем книг, он обладал большими библиографическими познаниями. Жил Фёдор Фёдорович в своём доме, окружённый котами и кошками, коих называл по имени и отчеству и с коими не брезговал есть из одной посуды”.

В романе “Замоскворецкие тузы” переговоры о сделке на сотни тысяч рублей купец прерывает вызовом слуги, чтобы отдать ему распоряжение:

– Беги, беги скорее... Я забыл захватить давеча булочек. Беги, купи булочек... вчерашних, вчерашних, понимаешь? Да, да, вчерашние дешевле, по копейке на каждую уступают. Вот тебе деньги, вот... Понимаешь?

– Понимаю, – угрюмо ответил парень, исподлобья смотря на хозяина.

– Ну, вот и беги. Ты поторгуйся, слышишь, хорошенько поторгуйся, может, по две копейки уступят. Слышишь, поторгуйся”.

А когда слуга вернулся без добычи, поскольку весь зачерствевший хлеб булочки раздали нищим, состоялся не менее выразительный диалог:

– Врёшь, врешь!.. Нету в одной, в другую булочную беги, в другой нету – в третью, в десятую. Есть где-нибудь, непременно есть. Ах, ах, какой бестолковый! Зачем только я тебя с собой вожу? Напрасный расход! напрасный расход!.. Ступай, беги скорее, найдёшь в других булочных.

Он снова отдал парню серебряную монету. Парень молча сжал её в своей огромной руке и лениво переминался с ноги на ногу.

– Что же ты столбом стоишь? Глупый, глупый!

– А ежели не найду вчерашних, как тогда быть? Станете меня опять ругать, когда не принесу. Лучше уж прямо скажите теперь, не брать, значит, свежих?..

– Бестолковый! Бестолковый!

Галактион Герасимович глубоко вздохнул и на некоторое время остался в нерешительности.

– Без хлеба нельзя! Нельзя без хлеба!.. – задумчиво проговорил он и после некоторого колебания обратился к парню с решительным словом:

– Не найдёшь – возьми свежих”.

Не только на страницах книг, но и в московской уличной жизни обыденным был отчаянный спор толстосума с извозчиком из-за пятикопеечной скидки на оплату проезда. Привычно было видеть и купца, заплатившего за ложу в Большом театре десятки рублей и пришедшего на спектакль со своим яблоком или кулком конфет в кармане парадного сюртука. А всё потому, что в буфете за эти лакомства пришлось бы заплатить дороже, чем купить у уличного разносчика.

Вернёмся, однако, в купеческий дом. Описывая жизнь обитателей Китай-города, П. Д. Боборыкин предоставил читателям возможность увидеть, как в купеческой семье проходил семейный обед, на который были приглашены родственники и знакомые:

“В зале накрыт был стол во всю длину, человек на четырнадцать. Особой столовой у Марфы Николаевны не было. Она не любила и больших дубовых шкапов. Посуда помещалась в “буфетной” комнате. Белые с золотом обои, рояль, ломберные столы, стулья, образ с лампадкой; зала смотрела сухова-то-чопорно и чрезвычайно чисто. <...>

Профессор ел щи и сильно чмокал, посапывая в тарелку. Прислуживал человек в сюртуке степенного покроя, из бывших крепостных, а помогала ему горничная, разносившая поджаристые большие ватрушки. Посуда из английского фаянса с синими цветами придавала сервировке стола характер ещё более тяжеловатой зажиточности. В доме все пили квас. Два хрустальных кувшина стояли на двух концах, а посередине их массивный гранёный графин с водой. Вина не подавали иначе, как при гостях, кроме бутылки тенерифа для Марфы Николаевны. На этот раз и перед зятем стояла бутылка дорогого рейнского. Молодёжи поставили две бутылки ланинской воды; но техники и юнкер пили за закускою водку, и глаза их искрились”.

“Ланинская” – безалкогольная “газировка”, производства завода “искусственных и минеральных вод” компании купца Н. П. Ланина. Её популярность среди москвичей позволила А. П. Чехову пошутить в одном из рассказов: “Женщинам до 16 лет – дистиллированная вода. 16 лет – ланинская фруктовая”. Что же касается водки, то молодым людям удалось её выпить до начала обеда. Таков был тогда этикет: полагалось в столовой на отдельный стол поставить водку и закуски, чтобы гости могли перед основной трапезой выпить “для аппетита” рюмку-другую.

Дворянин Боборыкин, показывая в романе выход на историческую арену новых хозяев жизни – купцов, – не мог удержаться от мелких уколов. Для него и описание бытовых деталей, в частности, манеры поведения за столом – средство лишний раз показать неискоренимую “чумазость” класса-победителя:

“Подали круглый пирог с курицей и рисом, какие подавались в помещичьих домах до эмансипации. Зазвякали ножи, все присмирели, и в молодом углу ели взапуски... Любаша ужасно действовала своим прибором. Анна Серафимовна старалась не глядеть на неё. Вилку Любаша держала торчком, прямо и “всей пятернёй”, как замечала ей иногда мать, отличавшаяся хорошими купеческими манерами; ножик – так же, ела с ножа решительно всё, а дичь, цыплят и всякую птицу – исключительно руками, так что и подруг своих заразила теми же приёмами. Невольно бросила Анна Серафимовна взгляд на свою кзину. В эту минуту Любаша совсем легла на стол грудью, локти прихотились в уровень с тем местом, где ставят стаканы, она громко жевала, губы её лоснились от жиру, обеими руками она держала госточку курицы и обгрызывала её. <...>

Рыба на длинной деревянной доске, покрытой салфеткой, следовала за пирогом. Соус “по-русски” подавала горничная особо. Любаша, как и все, кроме Анны Серафимовны, – её научил муж, – ела всякую рыбу ножом и крошила её, точно она собирается мастерить тюрю”.

Такое поведение за столом, судя по воспоминаниям В. И. Немировича-Данченко, приводило в отчаяние даже московского генерал-губернатора князя В. А. Долгорукова, которому по служебной обязанности приходилось приглашать купцов в свою резиденцию:

“Рассказывали про него так: для сближения противоположных лагерей у него каждый день обедало не менее двадцати человек, и при нём состоял специальный адъютант, который должен был следить за тем, кого и когда приглашать к обеду.

– Кто у вас по списку на завтра? – спрашивает князь. Адъютант показывает. При одной фамилии князь морщится:

– Нельзя ли без него обойтись?

– Нельзя, ваше сиятельство; давно не звали, человек нужный.

– Я знаю, но он пьёт красное вино после рыбы и режет спаржу ножом...”

Кроме дружеских визитов, в купеческих домах проходили и приёмы большого количества гостей. Какой бы замкнутый образ жизни не вели “Титы Титычи”, несколько раз в год они открывали двери своих домов для родных, близких и хороших знакомых. Как правило, устройством домашнего торжества отмечали именины “самого” и его супруги, а также получение награды, чина или звания.

По мнению П. А. Бурышкина, званые купеческие обеды служили средством, с помощью которого хозяин дома демонстрировал гостям степень своего к ним уважения: “Пресловутое легендарное московское хлебосольство состояло не в роскоши застольной трапезы. Оно выражалось в умении хозяина составить проگرامму обеда и в способности создать приятную для приглашённых обстановку. Незадолго до последней войны в некоторых домах московских снобов, на больших приёмах, когда ужин готовил либо “Эрмитаж”,

либо “Прага”, завели обычай давать карточку. Ужинавший мог заказать, что угодно. Старые любители покушать строго осуждали это нововведение. “Если ты меня зовёшь и хочешь приветствовать, — говорили они, — то избавь меня от заботы думать, чего бы вкусного я бы съел. А в трактир я и сам могу пойти, — денег хватит”.

Характерную особенность парадного обеда в купеческом доме — деление гостей на категории согласно их общественному положению — отметил автор романа “Буря в стоячих водах”:

“С утра уже начали съезжаться гости, и повара до свету готовили в очищенной для них кухне. Обед был сервирован более чем на сто человек, и почётный стол, “глаголем” расставленный в зале, сверкал дорогим хрусталём и новым, для этого дня купленным серебром. Гости толпились по всем комнатам, группируясь небольшими партиями и строго соблюдая местничество; так, например, в гостиной сидели только наиболее почтенные особы, с неизбежным на каждом купеческом торжестве генералом<sup>1</sup>; в зале расположились гости уже не особенно значительные, а в столовой, угольной и прочих комнатах сидели и ходили небогатые родственники, служащие и бедные знакомые, всегда страшно оскорблявшиеся невниманием хозяев, но не могущие отказать себе в удовольствии хорошо пообедать, выпить и похвалиться потом, что “я-де вхож в дом такого-то и такого-то богача”.

В доме тянувшего к дворянству “коммерческого аристократа”, описанного А. С. Ушаковым, наибольшим почётом пользовались чиновники:

“Общество, приезжавшее поесть и сыграть потом в карты, что считалось большим и широким шагом на пути образования, было самое смешанное: первые места занимало чиновничество, с которым вместе служил Павел Васильевич, и разные исполнительные власти столицы, иногда даже проглядывали генералы, которых уже не возили кондитеры, как в старину, по купеческим свадьбам, а которые приезжали сами. Духовные чины высшего ранга также не брезговали трапезой, прилагаемой от плодов земных, а являлись даже, особенно перед началом, во главе общества и благословляли его. Нередко к концу обеда вставал рослый дьякон и гремел тост за здоровье хозяина и почётных гостей: “достопочтеннейшему, высокопочитаемому рабу Божию” и т. д. Умилительная, сладкоточивая улыбка разливалась в это время на жирных лицах представителей почтенного сословия, между тем как приглашённое чиновничество, имеющее претензию на благородное происхождение, улыбалось и весело пило”.

Ухмылки “их благородий” означали, что они, хотя и сидели за столом, но торжество в купеческом доме воспринимали как пародию на настоящий бал. Дело в том, что в дворянской среде светская жизнь строго регламентировалась так называемыми правилами хорошего тона. Например, участники балов делились на “играющих” и “танцующих”. Первыми было проще всего — весь вечер они проводили за игрой в карты. Вторые, чтобы принять участие в танцах, предварительно должны были посетить те семьи, где имелись “выезжающие в свет” барышни. В ходе визита молодой человек ангажировал девушку на танец, а она в специальную бальную книжечку записывала: на каком балу и в каком танце у неё будет этот кавалер. В изображении А. С. Ушакова, купеческий бал в начале 1860-х годов выглядит совсем иначе:

“Балы были ещё разнообразнейшею смесью всякой всячины: на них за недостатком танцующих приглашались в довольно значительном количестве немецкие конторщики, которые, попав на даровую выпивку, как большая часть молодых немцев, буршествовали самым безнаказанным образом и, особенно под конец вечера, купеческие дочери были кружимы ими в вальсе самым бесцеремонным образом; им зачастую приходилось выслушивать немало пошлостей и от них, и от своих русских кавалеров, из которых многие являлись в кадрили и лянсье с самым чистейшим запахом водки и разных закусок”.

Характерно, что и спустя двадцать лет бытописатель А. М. Дмитриев характеризовал балы в купеческих домах, не скрывая сарказма:

“Теперь эти самые балы у них в моду вошли. Да! Теперь все эти Кит Китычи в аристократию лезут, бонтонность свою норовят проявить.

<sup>1</sup> П. И. Щукин, рассказывая о фабриканте В. Д. Коншине, упомянул о его страсти приглашать на домашние празднества военных и штатских генералов, “до которых Владимир Дмитриевич был большой охотник”.

Знай наших! Мы, де, сами с усами. Наприглашают, а то, гляди, за свой счёт выпишут откуда-нибудь танцоров повиднее, знать позовут, музыку что ни на есть первый сорт наймут, и пошла писать губерния! А чтобы она действительно записала, местного строчителя пригласят: изобрази ты, друг разлюбезный, в газетине своей, как всё это у нас отменным манером было. Шампанского, де, выпито было... пиши: тысячу бутылок; конфет поедено... пиши: сто тридцать пуд. А весь бал, выходит, двадцать тыщ стоит. Во как!..

Ну, и наедутся к этому Кит Китычу разные первой — иначе ни-ни! — сорт их степенства, баре именитые наедут, а он же и земли под собой не чует: лестно уж очень. Ни принять-то он, горемычный, никого не умеет, ни слова сказать, а всё же рад радехонек. Как рак красный, стоит и преглупо улыбается. Напоит и накормит он этих бар до отвала, а они над ним же, сердечным, издеваются: хам, говорят, сапожник. Мелюзгу, хоша бы и из своего брата, из своих товарищей по какому-нибудь делу что ли, такой Кит Китыч не пригласит: “Им вместе с билетом, — не конфузясь, брякнет он, — и сорочки чистые посылать надо-ть!”

А в конце концов, и выходит, что баре издеваются, а свои обижаются. Потеха...”

Надо сказать, что в те годы пишущая братия потешалась не только над попытками купцов привести в свой быт черты дворянского образа жизни. Постоянным объектом насмешек была необразованность многих представителей коммерческого сообщества. Вот, например, как прошёлся по торговому словию фельетонист журнала “Мирской толк”:

“Я говорю о том, что с каждым таким гнусным делом, с каждым политическим процессом, общественным мнением наших купцов и лавочников, нашего Замоскворечья вообще — оно и так иногда проявляет себя! — почему-то непременно связывается и наша университетская молодёжь. Слово “студент”, а иногда — и это чаще — “скубент” слышится везде и повсюду. И гадалка с Пятницкой, и кумушка с Полянки, и Кит Китыч с Вшивой горки, и мясник из Охотного, и, наконец, лавочник из Ножевой линии — все они в таких случаях хором кричат: “Это их, скубентов, дело!” И вот, в силу этих-то мнений об университетской молодёжи слово “студент” в сказанной среде сделалось бранным. Ругаются, например, два гостинодворца и, истощив, наконец, весь лексикон бранных слов, раздражаются, не зная как бы ещё посильнее уязвить друг друга, таким хотя бы финалом:

— А ты, такой-сякой, скубент!!

— Ты сам, — быстро парирует соперник, — скубент, и дети твои скубенты, и лавка твоя скубентка!!!”

Или вот А. М. Пазухин в очерке “Пешком по Москве” описал уличную сценку: купец-мясник не без издёвки призвал бедно одетого юношу дать денег пьянице-попрошайке. Дальше состоялся такой характерный диалог:

“— Сами подавайте, коли вы такой филантроп!

— Чиво-с?.. А вы не очень выражайтесь, а то и в загровок накладу, даром что в шляпе!.. Филантроп!.. Может, ты филантроп, а я брат, купец!.. Филантроп!.. Отфилантропить вот тебе затылок-то, так и будешь знать!.. Чушка полосатая, пра, чушка!..”

Молодой человек, употребив в разговоре с купцом мудрёное слово, действительно рисковал получить тумачков. Нравы были таковы, что от “Кит Китычей” можно было ожидать чего угодно. Даже в городских рядах некоторые купцы позволяли себе по отношению к посетителям проявлять откровенное хамство:

“В летопись городских рядов много занесено имён разных безобразников, о похождениях которых есть сотни рассказов из так называемого доброго старого времени, когда проходящих в рядах кувыркали, когда по ряду не пробегала ни одна собака, не получив увечья.

Особенно в рассказах о рядах чаще всего встречается имя купца, получившего за свои похождения прозвище Гришки Отрепьева, жизнь которого мы постараемся со всеми её гнусными проделками описать со временем, имея в руках много данных и в памяти, и в рассказах о его проделках, за которые он не миновал и острога, по выходе из которого имел столько наглости и цинической бессовестности рассказывать сам о своём там пребывании и своих проделках.

От Гришки Отрепьева в ряду не было никому проходу, как говорится, ни конному, ни пешему, ни чину духовному, ни монашеству, ни военному,



ни гражданскому. Всё ему с рук сходило. Только, сказывают, один раз хватил он собачьего арапника всласть.

Приходит к нему в лавку раз молодая дама с человеком<sup>1</sup> и спрашивает серьги для кормилицы. “Сейчас узнаю у приказчика”, — отвечает он, и начинает звать приказчика, очень хорошо зная, что его в лавке нет, и делает это не из чего другого, как из привычки к насмешке и самодурству, которая у него вошла в плоть и кровь, и потом оборачивается к даме, ожидающей его ответа, и говорит, что приказчика нет, он мыла объелся, в баню ушёл, и прибавляет слова, неудобные для печати, поясняя уход приказчика.

Дама, разумеется, растерялась от такой грязной нечаянности и поспешила скорее убраться из рядов, с заклятием никогда не посещать более эти клоаки невежества, грязи и грубости; но всё-таки тут же узнала в ряду фамилию хозяйина этой лавки и по возвращении домой передала мужу случай”.

Супруг оскорблённой дамы, выяснив, что за этим купцом дурная слава ходит давно, решил проучить хама с помощью подручного средства:

“Он предложил ему купить продающаяся у него разные вещи и осмотреть их у него на дому. Заручившись его согласием, он стал его ожидать с арапником в руках, которым дрессируют собак.

Купец не замедлил явиться, и ему вместо вещей показали оскорблённую даму и стали в спину вкладывать урок приличия и вежливости в достаточном количестве”.

К тому времени даже крестьяне, став жертвой “оскорблений действием”, с удовольствием тащили своих обидчиков, пусть даже дворян, для разбирательства к мировому судье. На этом фоне довольно странно выглядит реакция купца на полученную порку:

“Сказывают, что Гришка Отрепьев после этой выкладки задачи умножения арапником на своей спине имел столько наглости, что сказал: “Я жаловаться не пойду, не стоит”, — и попросил, чтобы ему дали спичку; хладнокровно вынул сигарку, закурил и спросил, где ему отсюда ближе пройти в Красное Село”.

Вполне возможно, что в этом было проявление ещё одной характерной черты “старого” купечества — всеми силами избегать общения с полицией и судом. В отличие от праздников, это было неприятным нарушением привычного уклада, о котором писал А. С. Ушаков:

“В жизни купца вообще очень мало перемен: ход её однообразен; он только отличается худыми или хорошими годами, прибылью или убылью семейства, потерю или барышом”.

Обычный для купца путь получения прибыли — продажа товара в большом объёме и по выгодной для него цене. Чтобы преуспевать в этой деятельности, требовалось проявить напор, сломить сопротивление контрагента и добиться сделки на своих условиях. Так, например, действовал один из героев “Замоскворецких тузов”: “Он ещё не оставлял торговли бумажными товарами и приезжал в Москву за их покупкой. Тогда московские купцы называли его “метла-купец”, определяя этой кличкой особенностью его торговых приёмов. “Придёт он в амбар, — говаривали они, — торгуется с бранью, кулаками перед носом торговца грозит, но зато, когда сойдётся в цене, весь товар из лавки заберёт, подметёт её, так сказать, дочиста”.

Также в понятие деловой купеческой хватки входило умение вовремя воспользоваться удачной ситуацией. В том же романе купец делился с супругой секретом мастерства получения прибыли, используя затруднения коллеги:

“Возвращался муж “из города”, начиналось новое чаепитие, разговоры о делах, о покупателях, о том, о другом. Захар Прохорович оживлённо рассказывал о своих удачах и горячо потирал при этом руки.

— Барышок будет! Очень можно сказать, хорошенький барышок схватим, — рассказывал он, — посчастливило мне в одном дельце с приятелем. У него сроки платежей подошли, а у меня как раз ко времени деньги подвернулись свободные. Ему зарез, нет ходу, как говорится, ни взад, ни вперёд... Ну, вот я и выручил его, купил товар с уступкой.

— Прижал ты его, стало быть?

— Ну... м... м... не то, чтобы очень, а так легонечко. Без этого нельзя — дело торговое, и выгоды свои я должен соблюдать. Другой бы его не так на-

<sup>1</sup> Имеется в виду слуга.

жал, да он ни к кому другому и не обращался, знает, что разденут при нужде до рубашки. Убыток он, правду сказать, понёс порядочный, ну, Бог даст, наверстаёт, а мне случай выпал счастливый. Главная причина – товар хороший, ходовой товар, не залежится.

– То-то, вот, Захар Прохорович, ты теперь доволен, а когда он тебя при нужде нажмёт, захряхтишь небось!..

– Не без того. Дело торговое. Убытки и барыши по одной дороге ходят.. Только я на его счёт без сомнения, и он меня, ежели случай подойдёт, тоже до бесчувствия жать не будет. Ну, об этом теперь не к чему разговаривать. Надо Господа благодарить за настоящее, а в будущем – Его святая воля”.

Затруднения, из-за которых купцу пришлось сбить товар за бесценок, – это нехватка оборотных средств. Продукцию фабрик и заводов торговцы брали на реализацию, по сути, в кредит. Деньгами оплачивали частично, а на остальную сумму контракта выдавали вексель с определённой датой погашения. Точно так же выстраивались отношения с иногородними купцами, закупувшими товар в “амбаре” мелким оптом.

Понятно, что, если товар не удавалось продать к контрольному сроку или один из контрагентов не вносил вовремя деньги, купец-оптовик не мог расплатиться с поставщиком. Тогда фабрикант-кредитор мог через коммерческий суд потребовать взыскать долг, пусть даже для этого потребовалось бы распродать с аукциона имущество должника<sup>1</sup>.

Помимо “дружеской” помощи, как в случае с продажей товара за бесценок, купец мог получить необходимые ему деньги, обратившись к так называемым “дисконтёрам”, “процентщикам”, “паукам”<sup>2</sup>. Поскольку в 1860-е годы банков, финансировавших торговые операции, в Москве практически не было, их функции брали на себя купцы, скопившие значительные денежные средства. Они выдавали деньги, беря в залог векселя. Выгоду им приносил “учёт” – разница между обозначенной стоимостью векселя и выданной ими суммой. Обращение к таким финансистам, судя по описанию Д. И. Стахеева, было совсем не простым делом:

“Продавая товар большую частью в кредит под векселя на долгие сроки, Захар Прохорович не мог выжидать времени, когда наступит срок получения денег, и отдавал векселя под учёт купцам-процентщикам.

Тогда торговых банков было мало, и купцы, выдававшие деньги под залог векселей или приобретавшие их до срока (тоже, разумеется, ростовщики), давили и душили маленьких торговцев беспощадно. <...>

Войдёт, бывало, к нему в номер, помолится на образ и старается, насколько возможно, сократить все предварительные разговоры о здоровье, о погоде и т. п. для того, чтобы скорее приступить к делу; но Галактион Герасимович сбивает его с прямой дороги в сторону.

– Вот принёс я вам, – проговорил он, воспользовавшись удобной минутой, – по примеру прежних лет, векселёчки..

– Векселёчки? Вот как!..

Галактион Герасимович откашлялся, потер себе ладонью лоб и ответил после более или менее продолжительного молчания:

– Не знаю, не знаю..

– То есть что не знаете? – озабоченно спросил Захар Прохорович.

– Колеблюсь, брать ли.. Да! Хочу я, дружок мой, всё оставить.. бросить все дела.. Пора! Пора! Всё тлен, прах!.. И стар уже я становлюсь..

<sup>1</sup> Разориться мог любой из купцов, даже самый богатый, о чём рассказывал П. И. Щукин на живом примере: “На углу Маросейки и Армянского переулка возвышается красивый дом Грачёва, когда-то он принадлежал миллионеру, фабриканту Николаю Ивановичу Каулину, который жил в роскоши, давал обеды и, имея молоденьких дочерей, балы. Впоследствии в неудачных спекуляциях Н. И. Каулин потерял всё своё состояние, дом был продан, и Николай Иванович, ездивший прежде только в карете, стал ходить пешком. Я его знал уже мелким маклером – “зайцем”, – стариком с совершенно белыми волосами; он приходил к отцу в лавку даже зимой в холодной поношенной шинели с капюшоном и в шляпе-цилиндр. Под конец его жизни мой отец помогал ему. (“Зайцем” называется неофициальный маклер.)”

<sup>2</sup> П. М. Рябушинский отмечал такую особенность купеческого менталитета: “В московской неписаной купеческой иерархии на вершине уважения стоял промышленник, фабрикант. Потом шёл купец-торговец, а внизу стоял человек, который отдавал деньги в рост, учитывал векселя, заставлял работать капитал. Его не очень уважали, как бы дешёвы его деньги ни были и как бы приличен он сам ни был. Процентчик!”

Дети у меня не удались, дрянь ребята вышли, дрянь. Дураки, пьяницы, кар-тёжники!.. О Господи, помилуй!..

Он вздыхал, смотрел на образа, пред которыми у него теплилась лампа-да, и потом, помолчав, спросил как бы вскользь, между прочим, только ра-ди праздного любопытства:

– А чьи векселёчки-то?

– Да вот посмотрите... Все хорошие, самые надёжные векселя. Я, не ко-леблясь, с оборотом на себя возьму...

– Не знаю, не знаю... Хочу всё бросить... О Господи, спаси... Греш-ник я, грешник... А на много ли вся сумма?..

Вопрос был сделан беспечным тоном, как бы совсем без всякого интере-са к делу.

– Сумма вот... проверьте по этой выписочке...

– Так, так... Хорошие векселёчки, хорошие... Вижу, знаю... Ну, только вот колеблюсь я... Разве уж так только, для тебя, дружок. Очень уж ты при-ятный человек!..

Пересмотрев векселя и на этот раз с большим вниманием, Галактион Гера-симович назначил процент учёта. Вероятно, назначенный процент был очень вы-сок, так как Захар Прохорович, услышав о нём, поспешно поднялся со стула.

– Это невозможно!.. – прошептал он трагически.

– Как угодно, дружок! Как угодно! Невольте грех. Отнеси к другому. Мне меньше взять нельзя...”

В ходе жаркого спора процентщик обосновывал объявленные им суровые грабительские проценты займа коммерческим риском проводимых им опера-ций с деньгами:

“Галактион Герасимович вздыхал, произносил молитвенные возгласы, а сам перебирал в это время векселя.

– Да, ничего... векселёчки хорошие, надёжные. И толковать нечего... А всё же случается, и с надёжными бывает неудача... Всяко бывает!..

– С этими-то, уж извините, никакого риска нет.

– Толкуй! В позапрошлом году я взял от одного сахара векселёчки, тоже уверял, что никакого риска нет, а наконец того оказались никуда не годными: векселедатель погорел, а он вместо уплаты по обороту взял да и помер. Вот тут и учитывай векселя. Рисковое дело, рисковое!

– Я такой неприятности вам не сделаю.

– То есть какой?

– Не умру раньше срока, – улыбаясь, сказал Захар Прохорович.

– Не говори так. Нехорошо. Жизнь и смерть во власти Божией, ну, толь-ко на уступку я не согласен”.

В романе описание переговоров с финансовым “пауком” занимает почти десяток страниц. Несколько раз повторяется одна и та же ситуация:

“– Значит, извините за беспокойство. Разойдёмся.

– Разойдёмся, дружок, разойдёмся. Что делать, – задумчиво прогово-рил Галактион Герасимович и пытливо посмотрел на Захара Прохоровича.

Захар Прохорович свернул в трубочку векселя, взял в руки фуражку, как бы намереваясь уйти.

– Ну, и кремень же ты, я посмотрю, – продолжал Квасников, переменяя тон, – богат будешь, большие деньги наживёшь, потому, видно, характером ты твёрд... Так и быть, слышишь, для тебя только... Ты чувствуешь!

– Что такое... чувствовать?

– А вот то именно, что для тебя хочу сделать уступочку, понимаешь, только для тебя, другому – ни за что!

– Спасибо! Разумеется, я очень хорошо могу это понимать и ценить.

Сколько же уступаете?

– Изволь, четверть копейки сброшу.

– Спустите полкопеечки.

– Ни за что! Уходи, когда так. Уходи! Вот пристал, Уходи, тебе говорю... Ах, какой несносный человек!.. Царица Небесная! Да я такого отродясь не

видывал!..”

Купец добивался снижения суммы дисконта на 0,5 процента (“полкопееч-ки с рубля”), финансист соглашался только на четверть процента. Первый не уходил потому, что в голове постоянно крутилась мысль о предстоящих плате-жах. Второй только делал вид, что не заинтересован в сделке. На самом деле,

взяв в руки векселя, он уже не мог упустить предстоящую выгоду. Поскольку положение позволяло ему диктовать свои условия, переговоры завершаются с предсказуемым результатом:

“Кончился бой тем, что Захар Прохорович, решительно взмахнув обеими руками, сдался.

– Бог с вами!

– Ну, вот и расчудесно!..

– Да уж там как хотите, – со вздохом проговорил он, – чудесно или нет, а обстоятельства заставляют согласиться...

– Давай векселёчки-то, я подсчитаю общую сумму.

– Вот извольте, поверьте по этой выписке, тут подробно все перечислены, и общая сумма означена...

– Погоди, погоди... не мешай мне: я сам все пересчитаю, я по-своему, по-своему...

<...>

Векселя шуршали в морщинистых руках Галактиона Герасимовича, перекаладывались с одной части стола на другую, и пальцы правой руки проворно перебрасывали косточки на счётах.

– Вот и всё, – заключил он, окончив переборку векселей, – значит, вот и общая сумма. Так? И по твоей записочке то же выходит. Стало быть, без всякого сомнения, верно. Ну, теперь скидки за всё время – вот сколько, а к выдаче тебе остаётся – вот сколько. Так или нет?

Захар Прохорович ни слова не произнёс в ответ и только слабым кивком головы дал знак, что возражать против такого расчёта не может.

Свернув векселя в трубочку, Галактион Герасимович ушёл за занавес, где около кровати, в большом железном шкафе хранилась у него тяжёлая устюжская шкатулка с деньгами. Через несколько времени послышался оттуда дребезжащий звук отпираемого замка, потом глубокий вздох и громкий возглас: – О Господи, помилуй!.. Царица Небесная...

Минуту спустя замок снова зазвенел, снова послышался молитвенный возглас Квасникова, и сам он появился из-за занавеса с пачками кредитных билетов”.

Если купцу не удавалось расплатиться с кредиторами, то он, как говорили в Москве, “вылетал в трубу”, то есть разорялся. Объявление финансовой несостоятельности с целью неплатежа кредиторам также имело народное купеческое название: “вывернуть наизнанку кафтан (тулуп)”. Как вспоминал Н. Д. Телешёв, неудачливый коммерсант, дороживший честным именем и считавший себя жертвой стечения обстоятельств, устраивал специальную чайную церемонию:

“Случалось довольно нередко, когда купец, задолжав по векселям разным лицам солидную сумму, созывал своих кредиторов “на чашку чая”, как тогда говорилось, раскрывал перед ними свои бухгалтерские книги и сообщал, что дела его крайне плохи и оплатит полным рублём свои долги он не в состоянии, а предлагает получить по “гривенничку за рубль”, то есть вдесятеро меньше. Если кредиторы признавали несостоятельность как несчастье и верили в честность купца, то устраивали над его делами “администрацию”, то есть опеку, а если видели, что дело это мошенническое, что купец, как говорилось тогда, “кафтан выворачивает”, что деньги припрятаны, а собственный дом переведён благоприятно на имя родни, то устраивали “конкурс” – продавали остатки имущества с молотка, то есть с аукциона, – а самого несостоятельного сажали в яму у Иверских ворот, пока тот не раскается и не выложит припрятанные капиталы”.

И хотя писатель не взял в кавычки слово, обозначающее тюрьму для должников, не следует считать, что её обитатели отбывали срок в подземелье. Есть версия, что название “долговая яма” связано с тем, что она находилась на месте, где в старину был “Львиный ров” – оборонительное сооружение, приспособленное под зверинец. В любом случае, автор очерка “Вечер в долговом” свидетельствует, что “яма” находилась в обычном флигеле городской усадьбы:

“У Иверской, в том старинном здании, где помещается известная, я думаю, всякому московскому гражданину управа благочиния<sup>1</sup>, войдя на двор,

<sup>1</sup> Общегородское полицейское учреждение, созданное Екатериной II и упразднённое в 1881 году в ходе реформы полиции.

налево, есть ворота, окрашенные жёлтой краской и захватанные руками до черноты. Над этими воротами на чёрной доске есть надпись: “Временная тюрьма для неисправных должников”. На воротах, около калитки прибита четвёртка бумаги, на которой написано: “Просят господ посетителей не проносить спиртных напитков”. Это и есть вход в долговое отделение или “Яму”, как называют его москвичи”.

Постояльцев “долговушки” могли навещать родные и знакомые, но доступ был связан с определёнными ограничениями:

“Чтобы войти во двор Ямы, надо постучаться: сейчас в провёрнутой в калитке дырочке засветится глаз сторожа, стукнет запор, и посетитель войдёт. “Вы к кому?” – спросит сторож. “К такому-то”, – ответит посетитель. Сейчас сторож осмотрит посетителя, выворотит, пожалуй, карманы, и посетитель не должен обижаться на это, потому что всё это делается с хорошею целью – ей-богу с хорошею, именно: чтобы посетитель не пронёс с собой спиртных напитков и тем не растлил аскетических намерений лиц, содержащихся за этими воротами. “Пожалуйста”, – скажет сторож, осмотрев посетителя”.

В лучших традициях русской литературы рассказ о визите в долговую тюрьму не обошёлся без описания пейзажа:

“Теперь уже час шестой вечера. Июньское солнце скользит своими лучами по золотым маковкам кремлёвских церквей, по кровлям домов, бьёт в старые, выцветшие стекла древних зданий, дрожа и переливаясь в нить разноцветными огнями радуги, и упирается в жёлтые стены этих зданий. На дворике долгового отделения нет солнца, а любуются там только золотистым отблеском его на стенах соседних домов. Дворик, куда я вошёл, принадлежит дворянскому отделению неисправных должников. Около барьера, окаймляющего двор с одной стороны, растут несколько симметрично рассаженных молоденьких тополей с курчавой кроной; около почти каждого из них врыты в землю зелёные скамеечки”.

Любопытна фигура одного из героев очерка, – судя по манерам, из купцов:

“В коридоре послышался крепкий кашель и тяжёлые чьи-то шаги: вошёл Мармонов, приземистый и широкоплечий мужчина лет сорока, который слышит за силача. Мармонов как-то давно, года два тому назад, сидел в долговом отделении и выпущен уже из него; но он приобрёл такую привычку и, можно сказать, даже любовь к нему, что почти каждый день и теперь посещает его. Из прежних его сотоварищей по несчастью никого уже не осталось в Яме, он завёл знакомство с новыми лицами, которые теперь сидят, и продолжает навещать свою “квартиру всегдашнюю”, как сам Мармонов выражается про Яму. Нуждается ли Мармонов в папиросах, выпить ли ему захочется, а денег не случится, – он идёт в Яму с полнейшей уверенностью, что он всё это найдёт там. Спать ли захочется Мармонову, а к жене идти не хочется, – он опять идёт в Яму и действует там на правах хозяина: заходит в чей-нибудь номер, ложится на койку и засыпает, – и уже тут его никто не буди, не надоедай – беда тому. Иные новички Ямы, не знавшие Мармонова, сначала пытались будить его, когда он ложился на их постель, но тот отвечал только рычанием.

– Не буди льва в берлоге, – бормотал он лениво.

А когда Мармонову слишком докучали, он вскакивал и, подняв вверх кулак, как молот полупудовик, ревел в истомный голос:

– Видал ли ты обломки корабля? В щепы разнесу!”

Мы не берёмся объяснить, почему московский купец вдруг ударился в морскую тематику. Возможно, это как-то связано с тем, что в то время постояльцы дворянского отделения “ямы” своё пребывание за решеткой называли “Кругосветное путешествие на фрегате “Надежда”. Аллегория, в общем-то, понятна: подобно морякам, узники обречены пребывать в замкнутом пространстве неопределённый срок. Правда, мореплаватели могут потерпеть кораблекрушение и испытать страдания из-за отсутствия пищи и воды. А вот жертвы житейских бурь, как выясняется, голод и – главное – жажду утоляли довольно легко:

“Составилась складчина по рублю. Алёшку отправили за водкой, за вином и за закуской. “Но ведь в воротах осматривают всех, чтобы никто не пронёс спиртных напитков в долговое отделение! Как же сделает Алёшка?” – подумает читатель. Если бы ты, читатель, задал этот вопрос лично Алёшке, он бы непременно захохотал прямо тебе в лицо. “Нельзя, – сказал бы он, –

только на небо взлезть”. И правда. Чтобы пронести в ворота водку или вино, употребляются большие аптекарские склянки с сигнатурками. Если сторож спросит, что в этих склянках, отвечают всегда: “Это, мол, барину лекарство”, — ну, и носи с Богом, коль лекарство. Но к этому и подобным, так сказать, тайным средствам прибегают только новички долгового отделения; большая же часть действует открыто: люди, которые живут в Яме вместе со своими господами, обыкновенно заводят знакомство со сторожами, входят с ними в приятельские отношения — и дело ладится хорошо. Разумеется, сторожа за эту поблажку получают с заключенных гонорары или в виде ежемесячных податей, или в виде подарков к разным праздникам; а сверх того угощаются слугами сидящих в Яме.

Поэтому нисколько не удивительно, что Алёшка вернулся из города с целым кульком водки, вин и закусок”.

По всей видимости, далеко не все москвичи знали о таких подробностях тюремного быта, поэтому, по свидетельству И. А. Слонова, постояльцев “ямы” жалели и снабжали продуктами: “. . . их называли, “несчастненькими”, жертвовали чай, сахар, калачи и проч. А иногда, к праздникам Пасхи и Рождества Христова более сердобольные благотворители выкупали заключенных, то есть уплачивали их долги, и должников выпускали на свободу”.

Так, праздничную амнистию одному из должников из года в год устраивал московский генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков. Те, кому не выпадало такого везения, продолжали сидеть, и в отличие от обычной тюрьмы, у них не было чётко определённого судебным приговором срока. Злостный банкрот мог провести в “яме” весь остаток дней. Свободу он получал, если кредитор получал требуемый долг (или хотя бы его приемлемую часть), либо когда он же переставал вносить “кормовые деньги” — то есть прекращал оплату содержания заключённого.

“Всё это делалось на законном основании, — рассказывал Н. Д. Телешёв. — Но за купца в яме надо было платить — за содержание, за еду. . . Сидит, сидит купец в яме, кредиторы за него платят, платят, а толку нет. Иной раз родственники жалуются и вносят некоторую сумму из припрятанных денег. И если кредиторам надоедало платить за харчи, они прощали купца и выпускали из ямы, а то требовали новой суммы в уплату, и купец продолжал сидеть”.

Манипулирование “кормовыми” могло служить и инструментом изошёренной мести. Если поступление денег прекращалось, должника выпускали на свободу. Однако стоило ему в полной мере ощутить радость жизни на воле, кредитор возобновлял уплату. За банкротом приходили полицейские, и он снова оказывался в “яме”.

А ещё в истории долговой тюрьмы был случай, когда купца, “вывернувшего тулуп”, очень долго продержал в узилище собственный сын. По рассказу П. А. Бурышкина, случилось это так: “Он был ещё молодым человеком, его отец решил не платить и “сесть в яму”. Он перевёл дело на сына и объявил кредиторам, что ничего платить не может. Его “посадили в яму” — тюрьму для неплательщиков — и стали ожидать, какая будет предложена сделка.

После некоторого времени узник позвал своего сына и поручил ему предложить кредиторам по гривеннику, в уверенности, что те согласятся и выпустят его на свободу. Но сын всё медлил и на сделку не шёл. Через некоторое время, когда отцу уже сильно надоела тюрьма, он стал сурово выговаривать сыну, который преспокойно отвечал: “Посидите ещё, папаша”. Когда возмущённый отец сказал: “Ведь это я всё передал тебе, Вася”, — сын ему “резонно” ответил: “Знали, папаша, кому давали”. Отец долго просидел в тюрьме, потом его всё-таки выпустили, после чего вскоре он умер”.

В романе “Коммерческая аристократия” А. С. Ушаков поделился таким жизненным наблюдением:

“Купцы больше всего любят свадьбу, хотя нередко охотно ждут и похорон; но если часто похороны одного лица много изменяют ход жизни, то свадьба имеет на жизнь ещё большее влияние. То и другое большей частью предполагает денежную наживу. . .”

Действительно, в купеческих семьях свадьба, кроме цели “остепенить” сына или “пристроить” дочь, была и средством выгодного вложения капитала<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Подробный рассказ о купеческих свадьбах содержит наша предыдущая книга “Барышни и дамы”.

Смерть богатого купца меняла расстановку сил среди промышленников и торговцев. Если наследники не обладали деловой хваткой отца или желанием продолжать семейное дело, фирма приходила в упадок и уступала в конкурентной борьбе. Сами условия завещания могли привести в движение большие денежные потоки, как это случилось у Бурышкиных:

“По своему завещанию мой отец назначил денежные выдачи всем своим служащим, включая в это число и всех тех, кто служил в нашем торговом деле. “Включая сюда и всех служащих в учреждённом мною Товариществе А. В. Бурышкин”, – было сказано в завещании. Выдачи исчислялись согласно числу лет службы, и отдельные выплаты были довольно высоки.

Все же вместе эти выплаты выразились в очень больших цифрах и для того, чтобы не трогать деньги из дела, хотя бы путём займа, нам пришлось продать некоторые из наших имений.

Завещание моего отца не было “единственным в своём роде”, но такие примеры бывали, по правде сказать, редко, и потому об этом деле довольно много говорили. Надо сказать, что провести всю эту операцию было совсем не легко”.

Последняя воля покойного зависела от его воззрений и личных качеств. Одни купцы отписывали накопленные миллионы на благотворительность, и тогда в Москве появлялись больницы, богадельни, приюты, школы и училища, носившие имена умерших богачей<sup>1</sup>. Другие завещали огромные средства церквям и монастырям.

При этом случалось, что наследникам доставались крохи. Так, например, поступил знаменитый скряга Г. Г. Солодовников. Его дети получили чисто символические суммы, а более 20 млн руб. пошло на благотворительные цели. Треть от них поступило в распоряжение Городской Думы – на строительство домов дешёвых квартир для городской бедноты.

Если наследники были не согласны с условиями завещания, они подавали протест и затевали судебное разбирательство. Чем больше миллионов стояло на кону, тем красноречивее выступали знаменитые адвокаты. Такие судебные процессы долго служили пищей для пересудов среди москвичей.

Впрочем, смерть богатого купца сама по себе была событием, нарушавшим привычное течение городской жизни. Первыми, кто начинал суетиться, были гробовщики. По воспоминаниям П. И. Щукина, они проявляли большую настойчивость, стремясь получить выгодный заказ:

“Дядя Владимир Петрович Боткин, женатый на Анне Ефимовне Гучковой, был человек атлетического сложения. Жил он с семьёй на даче в Сокольниках, где однажды захворал белой горячкой, стал буйствовать, почему был связан и скоро умер, ещё в молодые летах. Мы с отцом приехали в Сокольники, когда Владимир Петрович лежал уже мёртвый, и у ворот дачи толпились гробовщики. Потом приехал Пётр Петрович Боткин, и гробовщики стали приставать к нему; один говорил: “Я делал гроб вашему батюшке”; другой: “Я делал гроб вашей сестрице”; и т. д. (Похоронные бюро тогда ещё не существовало; гробовщики сами узнавали, где есть покойник, и являлись за получением заказа)”.

А вот так описал П. И. Щукин некоторые моменты похорон отца:

“Начались обычные панихиды и приготовления к похоронам. Швейцар Егор Акимович и повар Егор Петрович, которым часто от отца доставалось, сами попросили, чтобы им позволили читать у гроба отца Псалтырь, что, конечно, им разрешили, и они по очереди стали читать.

5 декабря состоялись похороны в приходской церкви Воскресения Христова на Остоженке. За отпеванием присутствовали почётный опекун генерал-лейтенант А. А. Козлов, городской голова Н. А. Алексеев, гласные Думы, вы-

<sup>1</sup> “Москве знакомы два типа купца-благотворителя: один систематически, всю жизнь жертвует, планомерно создавая какое-нибудь учебное или общественное учреждение, становясь при жизни “благодетелем”; второй всю жизнь наживает всеми средствами, вплоть до самого беспардонного хищничества, а умирая, завещает свои миллионы на благотворительные цели... Простое перечисление всего созданного в Москве на купеческие деньги заняло бы несколько страниц: Хлудовская, Бахрушинская, Морозовская, Алексеевская, Солдатёнковская больницы; больница для душевнобольных на Канатчиковской даче, почти все клиники; Тарасовская, Медведниковская, Мазуринская, Ермаковская и др. богадельни; Ермаковский ночлежный дом, дома дешёвых квартир имени Г. Г. Солодовникова, Рукавишниковский приют; Третьяковская галерея, театральные музеи А. А. Бахрушина, музей П. И. Щукина, Медведниковская гимназия, Шелапутинский педагогический институт, его же гимназия и реальное училище и т. д.” – писал Г. Василич в статье “Москва 1850–1910 г.”.

борные купеческого общества, члены московского Учетного банка, родные и много знакомых. Было множество венков, между прочим, от К. Т. Солдатёнова – “В память 52-летней дружбы”. (Отец подружился с К. Т. Солдатёновым ещё до своей женитьбы. Оба жили в Москве, в Таганке, и квартира отца состояла всего из двух комнат; в одной стояли кровать и конторка, а в другой – два ткацких станка, на коих работалась кисея.) От церкви Воскресения Христова до Покровского монастыря гроб отца несли на руках рабочие Чижовской артели, по собственному желанию. Похоронили отца около самой монастырской церкви”<sup>1</sup>.

Некоторое представление о том, как провожали в последний путь умершего купца, даёт соответствующая сцена из романа А. А. Соколова “Тайна”:

“Шествие открывал высокорослый детина в белом балахоне и с булавой. За ним шли по двое в ряд торговые мальчики и приказчики Куропаткина. Управляющий, тот самый Никандр Похитонов, которому по завещанию указано было вести дело покойного, важно выступал с золотой подушкой, на которой укреплены были знаки отличия. Около него шли кассир и бухгалтер. Далее следовали певчие и духовенство. Гроб несли на руках рабочие, за гробом следовала жена, ведомая под руки сыновьями, масса родных и родственников, друзей и знакомых, просто любопытных и случайно, как говорят, по дороге пристегнувшихся.

За толпой ехали пустые дроги, а за дрогами – две колесницы с венками – новейший обычай чествования памяти умерших”.

В богатых семействах не жалели средств, чтобы погребальный обряд выглядел по-настоящему пышным и торжественным. Вот как запомнился Н. Д. Телешёву антураж купеческих похорон:

“Белый балдахин над колесницей с гробом и цугом запряжённые парами четыре и иногда даже шесть лошадей, накрытых белыми попонами, с кистями, свисавшими почти до земли; факельщики с зажжёнными фонарями, тоже в белых длинных пальто и белых цилиндрах, хор певчих и духовенство в церковных ризах поверх шубы, если дело бывало зимой. Вся эта процессия не спеша двигалась к кладбищу”.

На “перворазрядных” похоронах для декорирования гроба не жалели ни парчи, ни живых цветов. Однажды корреспондент журнала “Будильник” наблюдал интересную картину:

“Эта процессия обращала на себя внимание не столько пышной обстановкой, сколько почти небывалым явлением: покрытые дорогими парчовыми покрывалами и украшенные венками живых цветов медленно двигались один за другим два гроба. Несшие их люди были совершенно скрыты под парчой и массой цветочных гирлянд, перевязанных ленточками. Таким образом, казалось, что хранилища бранных останков усопших неслись как бы по воздуху”.

По московской традиции замыкали процессию специально нанятые родственниками усопшего несколько линейек. Это были экипажи, перевозившие по десятку пассажиров. Они предназначались для бедных родственников и знакомых умершего, но, судя по очерку “Лизоблюды”, набивались в них профессиональные искатели дармовщины:

“На линейках, идущих в хвосте процессии, заседает самая разношёрстная публика: салонницы всевозможных оттенков, отставные военные в сильно потёртых форменных одеяниях, какие-то тёмные личности с неуловимой для глаза профессией, рыночные кумушки и проч. На всех лицах написана покорность судьбе, слышатся частые вздохи и отрывки из благочестивых размышлений по поводу смерти, но иногда эти размышления прерываются вопросами и замечаниями чисто житейского свойства:

- Рыбу, не слышно, у кого брали к поминкам?
- Не слыхала, матушка, не хочу лгать... Да уж известно, брали что ни на есть лучшую – люди богатые...
- Ну, а раздача будет?
- Вот тоже не могу наверно сказать...”

Пассажиры линейки не зря интересуются качеством рыбы, поскольку для них главное – попасть на поминальный обед. А словом “раздача” обозначен другой обычай купеческой среды: раздавать бедным деньги “на

<sup>1</sup> Как отмечал И. А. Белоусов: “Именитое купечество и люди учёные хоронились на кладбищах при московских монастырях – Донском, Новодевичьем, Симоновском, Даниловом, Покровском и прочих”.



помин души новопреставленного раба Божьего”. Об этом, в частности, упоминал И. А. Белоусов:

“Похоронную процессию всегда сопровождала толпа нищих; родственники покойного везли с собой целые мешки медной монеты и во всю дорогу до кладбища раздавали их нищим”.

Однако не всегда раздача происходила именно на похоронах. Автор бытовой зарисовки “Алчущие и жаждущие” описал иное развитие событий. На похоронах купца, оставившего многомиллионное наследство, среди собравшейся толпы разнёсся слух, что раздавать будут не медь, а по целому рублю. И вдруг:

“— Раздачи сегодня не будет! — прокричал начальнический голос.

— Раздачи не будет! Раздачи не будет! — пронеслось по толпе и замерло где-то на конце улицы. Толпа поволновалась и стала мало-помалу редеть...”

Заклательным этапом прощания с умершим купцом был поминальный обед. Как правило, их устраивали с помощью так называемых “кондитеров” — владельцев специальных заведений, где проводились свадьбы и поминки. Н. Д. Телешёв о них писал:

“Москвичи вообще любили помянуть своих покойников.

Поминальные обеды справлялись с особым ритуалом: прежде всего, на них присутствовало духовенство, которое перед обедом читало положенные молитвы, служило литию и благословляло “яство и питье”, которыми обильно были уставлены столы. Меню поминальных обедов состояло из рыбных кушаний, особенно если поминки приходились в постные дни недели или посты. Первым блюдом подавались блины с зернистой икрой, а кончался обед киселём с миндальным молоком.

По окончании обеда духовенством опять служилась лития, заканчивавшаяся “вечной памятью”, которую пели все присутствующие, после чего разносилась в стаканах мёд-сыта<sup>1</sup>”.

И ни одни поминки не обходились без пронырливых “лизоблюдов”, которых воспринимали как неизбежное зло:

“Все прибывшие на похороны сидели теперь в залах гостиницы за несколькими столами и поминали усопшего обильным обедом, на который не поскупилась вдова богатого Кожуркина. Народу набралось бездна; к званным примкнуло много и незваных, но на это родственники покойного не обращали внимания, считая недостойным в такие торжественные и печальные минуты, какие переживались ими теперь, заводить разговоры и сцены с людьми, явившимися без приглашения помянуть умершего.

Для непрошеного и бедного люда были отведены особые столы в особых комнатах гостиницы...”

Отдельные столы в особых комнатах — это ответная мера организаторов поминок на нашествие незваных гостей. Для них “кондитеры” планировали специальное меню: блюда из продуктов подешевле и похуже качеством (например, рыба “с душком”), а также соответствующие напитки. Да ещё инструкторовали официантов, чтобы те в оба глаза следили за сохранностью столовых приборов.

Если “раздача” происходила на следующий день после похорон, “алчущие и жаждущие” опять были тут как тут:

“Утро. Перед домом вдовы покойного вся площадь запружена народом. Между большими множеством детей разного возраста, есть даже грудные, которых держат на руках матери. Более чистая “публика” находится во дворе, за чугунной решеткой. Её впускают туда городовые поодиночке, в уважение к шляпкам, кокардам и прочим атрибутам, наглядно выражающим звание и порядочность. Публика на площади волнуется, по временам слышится брань: бранятся между собой больше бабы, толкают друг друга; во дворе публика ведёт себя сдержанно; в отдельных кружках толкуют о разных житейских делах, о непрочности всего земного, о громадном состоянии покойного. Идут предположения, что вдова покойного наверно достойно почтит его память...”

Фантазия собравшихся не имела границ: кто-то уверял, что семья миллионера будет выдавать на помин души по рублю в течение сорока дней. Однако в действительности всё вышло иначе: “господин с кокардой указал на чётёрёх человек в костюмах артельщиков, которые вышли на крыльцо... Толпа

<sup>1</sup> Мёд, разведённый в воде.

дрогнула... Потянулись руки... Двое артельщиков раздавали на дворе, двое других отправились на площадь...

Там буквально стоял стон: “усердие” блюстителей порядка установить тишину и хотя сколько-нибудь удержать толпу было тщетно. Народ лез как на приступ; но вдруг, посреди самого разгара, случилось что-то такое, отчего толпа быстро рассеялась... Стоявшие во дворе увидели, как из пожарной машины, которая выросла как из-под земли и очутилась на площади, качали воду и обливали ею кого попало...

— Вот так сюрприз! Недурно, право недурно. По гривеннику на брата и угощение холодным душем! — смеялся господин с кокардой.

Толпа с криком разбегалась”.

Интересно, что спустя год после публикации этого очерка общественных нравов, возле дома чаеоторговца А. С. Губкина на Рождественском бульваре произошла схожая история. Вот как она запомнилась И. А. Белоусову:

“Когда в начале восьмидесятых годов умер богатый купец Губкин, родные его вздумали раздавать подавание на дому. Двор дома Губкина на Рождественском бульваре до того был переполнен нищими, желающими получить подавание, что было задавлено несколько человек, и весь бульвар запружен желающими пробраться во двор, чтобы получить довольно крупное подавание, кажется, по рублю; конная и пешая полиция едва разогнала толпу...”

С уходом из жизни купцов старой закалки с их специфическим поведением (“нравом”) в ведении дел и в быту тон в Москве начинают задавать представители нового поколения деловых людей. Однако “Кит Китычи” оставили о себе память не только тем, что послужили прототипами героев пьес А. Н. Островского. Благодаря их коммерческой и общественной деятельности Москва подошла к XX веку совершенно другим городом, о чём писал современник:

“Ушли тузы барства под тяжесть могильных плит и... пришли им на смену другие тузы с Таганки и Замоскворечья, и... переделали Москву-усадыбу в Москву-фабрику и торговую контору, Москву трамваев и небоскребов, фабричных труб и световых реклам. Пришли из глубин народных и другие живые силы и обратили столицу рабовладельцев и вольтерьянцев в столицу русского просвещения, с музеями и аудиториями, с бесплатной народной школой, с народными домами, театрами и университетами”.

## РОССИЯ МЕЖДУ ПРОШЛЫМ И БУДУЩИМ

**Сейчас в нашей общественной жизни устойчиво ощущается приближение скорых и неизбежных перемен. Тревожная международная обстановка, сложная экономическая ситуация внутри страны, близость к нашим границам различных военных конфликтов – всё это сочетается с самой памятной трагической и героической датой в истории России – с 70-летием завершения Великой Отечественной войны, с юбилеем бессмертной Победы! Не удивительно же, что и нынешняя подборка читательских писем, их откликов и обращений связана с двумя актуальными темами: вечной памятью о Великой Войне и нынешним состоянием дел в нашем Отечестве. Явственно слышится в этих письмах тревога наших читателей за будущее России, боль за страдания близких нам людей в воюющем Донбассе, за плачевную участь деревень в российской глубинке, обеспокоенность исканием национальной идеи, которая могла бы сплотить Россию. И всё-таки главная тема сейчас, в год юбилея Великой Победы – это наша вечная благодарность защитникам Отечества, вечная память о них.**

### СУДЬБА РЯДОВОГО ПЧЁЛКИНА

Здравствуйте, Станислав Юрьевич, дорогой!  
Самый надёжный и незаменимый товарищ в делах и преодолениях!

Мой отец, Пчёлкин Андрей Иванович, был призван на фронт Краснопресненским райвоенкоматом г. Москвы 4 ноября 1941 года, ушёл из нашего дома в Скатертном переулке, а до того, 30 мая этого года отвёз нас, маму и троих детей, на лето в деревню Леоново (ст. Румянцево тогдашней Калининской ж. д.), как вскоре стало понятно – поближе к войне. Там мы на два с лишним зимних месяца попали в плен (тогда так говорили), а папка наш стал “без вести пропавшим”. Мы вернулись в наш Скатертный переулок 1 февраля 1942 года, жили там, росли и учились до февраля 1955 года.

А отец наш вернулся из той неизвестности-небытия только через 67 лет.

Чудо это произошло летом 2008 года в деревне Ленино у станции Снегири Московской области, неподалёку от мемориального музея, что в здании довоенной школы.

В этой деревне справа от Волоколамского шоссе (если встать лицом к Москве) стали строить на месте грядок с капустой жилой дом под № 9; обнаружили воинское захоронение, прибыли поисковики – откопали 16 человек и два “медальона” (коротенькие трубочки из эбонита с винтовой крышечкой): один не прочитывался, а второй оказался принадлежащим отцу нашему, Пчёлкину Андрею Ивановичу. Это поняли, когда, разломав трубочку, извлекли, развернули, прочитали вложенную туда записку.

Нас, его прямых потомков, нашли по фамилии брата. 1 ноября 2008 года пришёл к нему домой очень симпатичный молодой офицер (звание не помню) из ГРУ – в руках отцов медальон! Написанная его рукой простым карандашом записка – с известными нам фамилиями и адресами.

Вот так, наконец, узнали мы, что защищал родную землю рядовой Пчёлкин А. И. на полпути от дома, где родился в деревне Армягово под Истрой, до дома в Москве, откуда призван был на фронт.

Воевал на самом ближайшем западном рубеже обороны столицы в составе 131-го стрелкового полка; командир полка – Н. Г. Докучаев, 78-й гвардейской дивизии, командир А. П. Белобородов, 16-й армии под командованием К. К. Рокоссовского.

Здесь он пал смертью храбрых в первых числах декабря 1941 года. Здесь, после непрерывных недельных боёв 5–6 декабря 1941 года началось наше прославленное контрнаступление!

**МОСКВУ ОТСТОЯЛИ!**

То была наша первая Победа в той войне!

Отец – её участник! В лето 2008 года в братской могиле на территории мемориала её участником перезахоронено 94 воина, погибших в этих местах в ноябре–декабре 1941 года. Известно только одно имя – Пчёлкина А. И., а остальные – безвестные... Сколько же их, безвестных героев, всем им памятник у Кремлёвской стены – Звезда и Вечный огонь!

До войны, с января 1941 года мой отец работал оформителем в Измайловском парке им. И. В. Сталина (списано с сохранившегося профсоюзного билета). Как вспоминает ныне здравствующая его двоюродная сестра: “Андрюша был весёлый, добрый парень”.

Рядом с братской могилой, под величественным скульптурным монументом, покоятся их командиры: полка – Н. Г. Докучаев, погиб в январе 1942 года под Истрой; дивизии – А. П. Белобородов, слава Богу, долго жил, много служил Отечеству.

Здесь на этом поле русской советской доблести отец обрёл свой последний покой.

Вечная слава и благодарность потомков!

12 июля сего года исполняется 110 лет со дня рождения Андрея Ивановича Пчёлкина. Земной поклон!

И ещё добавлю от себя.

Дети войны – особое поколение людей, причастных к её сути, хотя нынче нас никто не выделяет из толпы стариков. Они поймут мою радость и гордость за отца, потому что мы все жили тогда. Война не только накрыла наше детство своим чёрным крылом, но осталась в памяти до скончания дней.

Я училась в 91-й московской женской школе; в первом классе в 1945 году мы, девчонки, взметнули лес рук, когда спросили нас, чьи отцы погибли на фронте, – таких было большинство...

Святые наши матери и любимая Родина своими заботами вывели нас в люди: из нас вышло три советских инженера и один мастер – золотые руки.

Да, ещё не сказала! Уходя на войну, отец, прощаясь с мамой, затеял новую жизнь – его четвёртое дитя (сын) появился на свет в августе 1942 года.

Теперь эта единственная реликвия – медальон отца – хранится в резном деревянном киоте под двойным (с обеих сторон) стеклом в моей квартире в Москве на Ленинградском проспекте.

Младшая дочь отца  
**Александра Андреевна Крылова**  
(урождённая Пчёлкина)  
г. Москва

### **“НО ОТСТОИТЕ ВЫ РОССИЮ...”**

Уважаемая редакция, здравствуйте!

В канун 70-летия Победы очень хочется рассказать о судьбе моей семьи, о моих родных и близких – ветеранах Великой Отечественной войны. Сколько им пришлось пережить – невозможно и представить. Сама я родилась в семье военнослужащих, можно сказать – из военной династии. Из первых уст, от родителей и дедов слышала о зверствах фашистов.

Невозможно словами передать все ужасы той войны. Моя мама родилась в 1923 году в Белоруссии и жила в городе Жлобине, где перед войной закон-

чила среднюю школу с отличным аттестатом. А тут война, нашествие фашистов, и она сразу после школьного бала попадает в концлагерь “Азарычи”, где немецкие фашисты проводили биологические эксперименты над заключёнными, как над подопытными животными.

На её глазах всех её подруг еврейской национальности оккупанты сразу расстреляли на школьном дворе. Попыталась она тайно на вторые сутки похоронить любимую свою подругу Хаву, но получила автоматную очередь... Ни один из её одноклассников не вернулся домой с поля боя. А ей до конца дней снились горы детских тел у Красного берега, где фашисты устроили детский концлагерь...

Отец мой с первых дней 1941 года на передовой – снайпер-разведчик. Рассказывал: ежедневно уйдут в разведку 30 человек, а возвращаются 1–2 бойца... Такова статистика, а было и хуже. Сестру его, белорусскую крестьянку Федору, мать пятерых детей, казнили фашисты за то, что пекла партизанам хлеб и носила в лес. Немцы живьем отрезали ей грудь, это было в деревне Ново-Высокое, Гомельской области. Лютые зверства чинили враги. Страшно об этом писать... Хочется, чтобы молодое поколение помнило, откуда они пришли в сегодняшний день, какой ценой им досталось сегодня. Живя с такими родителями, с детства понимаешь цену и смысл жизни, да и не только это. Очень важно, чтобы новое поколение понимало, какой ценой завоёвано счастье жить. Жить прекрасно! И созидать мир.

Я сама работаю учителем, классным руководителем в средней школе № 2044 в Москве в Северо-Восточном округе. Сейчас веду пятый класс. У меня прекрасные дети, и они очень внимательно слушают мои рассказы о войне и многое понимают. Одна моя ученица, Бурлакова Анастасия, написала стихотворение с названием “Письмо в 1941 год”. Хочется привести из него несколько строчек:

*Я напишу тебе письмо  
Из невесомых строчек.  
Я напишу тебе письмо  
На довоенный адресочек.*

*Я расскажу тебе о том,  
Что предстоит вам долго биться,  
Я расскажу тебе о том,  
Что жизнь, конечно, возродится.*

*Пять лет протянется война,  
Но отстоите вы Россию,  
Мы будем помнить вас всегда,  
Как ваши песни боевые.*

Мы будем помнить вас всегда... Своей внучке Ольге я постаралась привить эту память, она ведь правнучка двух прадедов-фронтовиков, только один её прадед был рядовым на войне, а другой – полковником. Вот что написала она о своих предках.

“Было заметно: о чем бы прадеды ни говорили – все сфокусировано было на теме: “Война”. Я много слышала о ней и узнавала не по кино и не по книгам. Узнала столько неожиданного для себя о том, о чём даже не пишут.

Судьба Петра Аникеевича Крючкова, отца моей бабушки, была тяжёлой, но счастливой. С двух лет – сирота. Всю войну прошёл разведчиком-снайпером. Тяжёлое ранение получил лишь в 1944 году, но был годен к строевой в тылу (почти слепой). До последнего дня жизни (а прожил он 97 лет) считал себя в чём-то виноватым, т. к. никто из его сверстников из ужасного 1941-го не вернулся. Сам Пётр Аникеевич до конца жизни не мог понять, как остался жив. Ведь пять лет кругом свистели пули, ухали снаряды, скрежетал металл, горел лес, самолёты, танки; оглушали залпы “катюш”, клубы зловонного дыма закрывали всё вокруг, а зимой мороз в 40 градусов сковывал руки и ноги. С каждым метром продвижения на запад гибли друзья. Их оставалось на безымянных высотках всё больше и больше. Душа рвалась. Только сила воли и осознание цели давали силу бойцам 1941 года. Низкий поклон вам, дорогие!

Мне запомнился рассказ Петра Аникеевича о бое на Волге за Сталинград. Выстроились на противоположных берегах танки двух враждующих армий. На одном из них танцевала и пела с акцентом в микрофон песню “Катюша” молодая красивая немка. Блондинка с развевающейся на ветру шалью, алой розой в волнистых, по пояс, пшеничных волосах. Она складно пританцовывала. Это была психологическая атака на русских бойцов, изощрённое издевательство. Снайпер Крючков П. А. должен был её снять. Для прадеда это было самым трудным заданием, выполнение которого он затягивал. Все замерли в ожидании его выстрела, ведь на войне, как на войне, — стреляют. Но не мог прадед воевать с женщинами, он не стрелял в немку.

Второй мой прадед — это Алексей Павлович Савченко. Он тоже имел десятки медалей, много орденов и среди них очень редкий — орден Александра Невского. Алексей Павлович — участник парада Победы 1945 года. Сколько об этом рассказано! В войну он был профессиональным офицером, лейтенантом, только что закончившим ускоренный (из-за войны) курс академии. Дослужился до генеральской должности. Прабабушка моя (его жена) — коренная москвичка в четвёртом поколении — сбрасывала зажигательные бомбы с крыш домов на Масловке. Сегодня её дом сохранился на развилке московских улиц. Одиноко стоит, горделиво храня тайны прошлого, а прадедушка с прабабушкой дошли дорогами войны до Берлина.

**Валентина Петровна Савченко,**  
учитель русского языка и литературы,  
и её внучка **Ольга Ларионова,**  
студентка  
г. Москва

## **МИР ДОНБАССУ!**

Уважаемая редакция!

В декабре прошлого года я работал в составе миротворческой миссии в Луганской народной республике. Наша работа заключалась в содействии обмену пленными между воюющими сторонами, а также поиску безымянных трупов украинских солдат, которых остались тысячи в земле разорванного войной Донбасса. Впечатлениями от этой работы, от всего ужаса, что творится на многострадальной земле, я хочу поделиться с читателями вашего журнала, а также поблагодарить за присылку экземпляров “Нашего современника” в библиотеки непокорённого Луганска.

\* \* \*

Мы стоим по щиколотку в грязи у неглубоких ям, где свалены обломки двух гробов. Под толстым слоем грязи можно даже распознать цвета этих гробов — зеленовато-жёлтый и насыщенно-синий. В перевёрнутой крышке жёлтого гроба лежит скомканная форменная военная куртка. И форма, и бязевая обивка крышки покрыты округлой белой крупой. Вникать, что это такое, категорически не хочется. Сверху на шею свинцовой тенью давят тучи. Непрестанно идёт моросящий дождь. Даже небесам тоскливо на этом пустыре, затерявшемся посреди современной войны.

Впереди, за пустырьём видны руины измочаленной в хлам Новосветловки, а сзади — ограда Свято-Покровского храма. Мы — это миротворческая группа: луганские “афганцы”, российские общественники и представители украинского “Офицерского корпуса”. Плюс журналисты: корреспондентская группа Луганского информационного центра и тележурналисты компании “СТБ” из Украины. Миссия предельно проста: передать украинской стороне тела шести военнослужащих, убитых в летних боях за Новосветловку.

“Передать” — звучит просто. Однако это почти военная операция. Началось всё ранним утром. Основную согласовательную работу проделали наши “афганцы” — глава Луганского Союза ветеранов Афганистана Сергей Шонин да его зам и верный соратник Виктор Муха. Сколько времени и сил потребовалось на взаимное согласование по обе стороны фронта — одному Богу

известно, но сегодня мы с вооружённым комендантским эскортом уже выдвигаемся к блокпосту у города Счастье.

Некогда разделённая отбойником шикарная трасса изувечена воронками. Отбойник во многих местах закручен и порван взрывами. Машины постоянно перестраиваются с правой стороны на левую прямо по разжёванным в кашу газонам. Дорога покрыта равномерным слоем грязи. У блокпоста картина, как в Первую мировую: капониры, блиндажи, траншеи и ходы сообщения в полный рост. Везде покошенные в щепу деревья, мусор и непроникающая непролазная грязь. Над унылым военным пейзажем, под нескончаемым промозглым дождём стоят бойцы ополчения. Вышли. Обнялись с мужиками. По фронтовой традиции соприкоснулись плечами, словно на мгновение поддерживая друг друга. Дальше двигаться нельзя: через километр блокпост “укропов”. Иначе здесь противника не называют. Мост, говорят, заминирован. И – предупреждение: “Машины отгоните за посадку – не дробите корректировщиков с той стороны”.

Пока загоняли транспорт, “афганцы” выставили из окна парламентёрский флаг организации и поехали на ту сторону. Витя Муха со смехом рассказывал, что “айдаровцы” прошлый раз пообещали его посадить на пару дней “на подвал”. Мол, шибко борзый. Шутили или нет – никто не знает. Но он поехал. Через пятнадцать минут вернулись. Следом за бусиком “афганцев” пришла “Газелька” с бумажными прямоугольниками на стекле: “Груз 200”. Это – первый этап нашей операции: встреча “труповозки” и представителей украинской общественной организации “Центр освобождения пленных “Офицерский корпус”. Вместе с ними приехали и журналисты из телекомпании СТБ. Имеют право. Правда, мне сложно представить наших журналистов на территориях подконтрольных, например, батальону “Айдар”.

Подъезжаем к Новосветловке. Именно там эксгумировано шесть тел одностороннего обмена. Назад возвращаемся в бусике, сидя прямо на головах. В кабине “труповозки” ехать желающих не нашлось. Украинские телевизионщики Боря и Алексей напряжены и молчаливы, но работу свою делают чётко – прямо из залитых дождём окон снимают разрушения, останки военной техники и остовы уничтоженных украинской артиллерией объектов. Поглазеть им есть на что. Бывший стационарный пункт ГАИ ощерился из-под земли тремя осколками фундамента и рассыпался посередине трассы большой кучей дроблёного кирпича. Две заправки – газовая и обычная – разметаны прямыми попаданиями и полностью выгорели. От танка остался только остов – перевёрнутая башня валяется поодаль, видимо, сдетонировал боекомплект. Это я уже видел в Афгане – узнаваемо. У башни и остатков брони пожухшие венки и выгоревшие фотографии.

Представитель “Офицерского корпуса” Алла Борисенко изредка отмечает особо впечатляющие объекты. Телевизионщики воспринимают её указания, как безусловные команды. Сама немногословна, обстоятельна. В глазах невыразимая тоска.

На въезде в город народ оживился. Журналисты СТБ заметно поражены наличием жизни в Луганске. Остановки транспорта, многочисленные пешеходы, работающие магазины – всё это вызывает неподдельный интерес и удивление. Также гостей заметно впечатлили разрушения. При попытке снять с ходу недостроенную 27-этажку за зданием СБУ, поймавшую за лето три прямых попадания, оператор заметил:

– Далеко, мне не достать...

– Ничего, ваши гаубицы нормально доставали, – влёт парируют наши “афганцы”.

От шутки украинцы поёжились.

Луганск проскочили с представителями комендатуры, а на Новосветловку пошли сами – блокпостов внутри ЛНР больше нет. Ехали молча. Уже на подъезде Алла вдруг открыла на своём телефоне фотографию маленькой девочки и показала нам. Очаровательная кроха, только-только начавшая держать головку. Печальные глаза матери на мгновение озарились внутренним теплом.

– Соломия. Шесть месяцев уже...

Тут уж не выдержал я:

– Тебе надо с дочерью сидеть, а не трупы по всей стране таскать.

– А этим кто будет заниматься? – ровно ответила она.

– Дочь сейчас с родителями?

В ответ Алла грустно покачала головой:

– У меня дома в Киеве живёт семья беженцев с Луганска. У них двое детей. Ну и моя – с ними.

Глаза подёрнуты траурной дымкой, вокруг тёмные круги и какая-то еле ощутимая печать неизбежности. Хотел спросить про мужа, да осёкся. Как потом выяснилось – правильно сделал.

В Новосветловке, прямо над гробами, слушаем Валерия Приходько – представителя российской общественной организации с длинным неудобоваримым названием “Центр содействия государству в противодействии экстремистской деятельности”.

– Откуда тела, мы не знаем. И выяснить теперь не у кого. Здесь стояли части Львовской 80-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВСУ, бойцы “нацгвардии” и территориального батальона “Айдар”. Покойники, говорят, были после ранений. У одного якобы отсутствовали внутренности. Кому именно принадлежат эти тела, узнать можно, если задать соответствующие вопросы тем военнослужащим, кто находился здесь во время боевых действий. Местные жители ничего не знают. Их украинские каратели согнали в церковь, обложили зарядами и сказали, что всё заминировано. Потом привезли два тела и велели похоронить. Жители села похоронили их тут же за оградой. По-людски похоронили, с соблюдением обряда православного и в гробах. Ещё четверых военнослужащих укры самостоятельно закопали в сотне метров, на пустыре.

...Теперь я точно знаю, как выглядит ад. Не тот с котлами, рогами и “скрежетом зубным”, а настоящий, человеческий. На самом деле, преисподняя – это бывшая уличная подсобка Краснодонского отделения судебно-медицинской экспертизы. Помещение 2,5 на 3,5 метра. Ну, это как ваша совмещённая с туалетом ванная или чуть-чуть поболее. В этом закутке два десятка человеческих тел, упакованных в простыни, покрывала, мешки или полиэтилен. Тела давнишние, лежат с лета, уже не раз замерзали и не раз оттаивали. Они текут. От запаха слезятся глаза, и останавливается дыхание. Света там нет – только скудный фонарик заведующего отделом судмедэкспертизы, самоотверженного врача Алексея Витальевича Самойленко. Останки вперемешку и в несколько этажей. Гражданские, военные, неопознанные, не востребованные выехавшей роднёй, просто бомжи – кого только нет!

Два мужика, присланные из Краснодонского КПЗ, отрабатывают свой “залётный” наряд – грузят наши трупы. Каждые пять минут, не всегда сдерживая рвотные позывы, по очереди выскакивают отдышаться. В глазах крошечный ужас. Слишком всё просто, слишком всё страшно, слишком всё по-настоящему. Вот это – взаправдашний ад, а не голливудские пафосные картинки.

Погрузка шла долго, практически до вечера. Тела надо было найти, опознать, вытащить из общей кучи, упаковать вначале в специальный мешок, а потом в герметичный полиэтиленовый рукав, затягиваемый скотчем. Пока шла работа, мы разговорились с женщиной из магазинчика ритуальных услуг, что на территории больницы. Татьяна оказалась живым свидетелем летней украинской оккупации. Удивилась нашей миссии.

– Да вы у нас в Новосветловке к любому подойдите! Вам каждый покажет, где этих тварей прикапывали! Ведь они своих бросали, как падаль! Лето, жара, трупы раздутые, лопаются, с них течёт, мухи... Мы их прямо у дорог закапывали.

– Сами-то “укропов” видели? – Татьяна аж задохнулась, – Да я до сих пор не понимаю, как выжила!

Далее – сбивчивый рассказ о пережитом ужасе. Всего не расскажешь, но вот один показательный эпизод. В Краснодонской больнице свыше двух месяцев лечили мужчину, серьёзно повредившегося рассудком в период временной летней оккупации. Причина проста: в подвале, где они прятались от непрерывных обстрелов, вместе с ними отсиживались “айдаровцы”. Попеременно они насиловали жену и тещу связанного и забитого в угол мужика. У него на глазах – насиловали. Он сошёл с ума.

Подчиняясь некоему внутреннему импульсу, говорю Татьяне:

– Можно я приведу сюда двух киевских журналистов, и вы им расскажете всё, как было в те дни?



Через минуту Боря и Алексей сидели в магазинчике и, не расчехляя камеры, слушали Татьяну. Слушали очень внимательно, дома им таких подробностей точно не услышать.

По окончании погрузки записали официальную часть. Алла Борисенко была совершенно искренне благодарна нашей стороне.

— Без помощи луганских “афганцев” — Сергея Шонина и Виктора Мухи — наша деятельность на территории Луганской народной республики была бы невозможна.

Говорили о дальнейших планах. Ведь не секрет, что только на территории ЛНР находятся тысячи несанкционированных захоронений. Причём не только в земле. Есть пока непроверенные сведения об утоплении в болотах, сбрасывании тел в шурфы, закатывании останков своих бойцов украинскими силовиками бульдозерами во рвах и карьерах.

Сергей Шонин был на этот счёт предельно чётко:

— Если говорить об общем числе, то, скорее всего, речь может идти о тысячах подобных захоронений на территории Луганщины.

Шли назад уже затемно. Ребята из СТБ “разогрелись”. Старший съёмочной группы Борис всё пытался добиться от меня и от Мухи подробностей начала восстания, бомбоштурмового удара по зданию бывшей областной администрации, расстрелу Луганска и началу боевых действий. И, что меня поразило, он действительно хотел разобраться в ситуации! Более того, говоря о федерализации, русском языке, выпытывая суть наших требований, он действительно пытался нащупать, уловить тот зыбкий путь, который может привести Украину если не к миру, то хотя бы к началу диалога. Как минимум — к прекращению братоубийственной войны. Коллега реально хотел понять, как и чем можно остановить кровопролитие.

И я не просто уверен, а чётко знаю это, так как видел тот сюжет, который они выпустили в эфир. В этой передаче СТБ не было ни грана лжи. В ней не было ни одного передёргивания или искажения смыслов, на которые так щедрый украинские средства массовой информации.

Недавно я брал интервью у известного Луганского учёного — философа и религиоведа Константина Деревянко. Он высказал достаточно простую мысль: “Через нас проходит геополитический раскол между Россией и Западом, а Украина, попавшая в этот разлом, больше не держится православными скрепами”.

Возвращаясь домой, я вдруг подумал, что вот эта гуманитарная миссия и есть та самая, практически незримая скрепа, всё ещё удерживающая всех нас от срыва в окончательный кровавый хаос взаимной ненависти и истребления. Ведь да: в масштабах тысяч не поднятых тел сделанное нами — ничто. Но! Шесть конкретных матерей получают тела своих детей. Для человеческого отпевания, захоронения и вечного пристанища. Для каждой конкретной семьи сделанное нами — “афганцами”, доламывающими очередную войну, молодой мамой и уже вдовой Аллой, водителем украинского “Офицерского корпуса” Сашей, бывшим спецназовцем Валерой из российского “Центра содействия государству в противодействии экстремистской деятельности”, журналистами и нашими коллегами из СТБ — это реальный подвиг. Самой своей миссией мы, как тонкая прозрачная линия, стоим между ненавистью, жаждой мести и взаимным истреблением.

**Глеб Бобров**, журналист  
г. Луганск

### **“НАПИШИ МНЕ ПРО ДЕРЕВНЮ...”**

Уважаемая редакция!

Где бы человек ни жил и куда бы он впоследствии ни переезжал, есть место, которое он считает своей малой родиной. Как правило, это место, где он родился и провёл своё детство, где похоронены его предки. Я своей малой родиной считаю глубинку российского Нечерноземья, деревню Феднево Галичского района Костромской области, где я родился, жил, учился до 7-го класса сельской школы, где остались могилы моих родственников.

Сейчас же, после развала Советского Союза, мне кажется, и само-то слово “родина” померкло в своём значении и на какое-то время потеряло даже свой старый, гордый, дорогой каждому человеку моего поколения смысл.

Началась нерегулируемая миграция, когда люди, прежде всего, искали безопасности и возможностей найти на новом месте работу и прокормить семью. Они готовы были ехать куда угодно, где бы их приняли и помогли в обустройстве. И часто оказывалось так, что коренным россиянам некуда было вернуться, хотя масса мест Центральной России страдает от безлюдья, но там нет работы, нет никаких перспектив для жизни. Всё это ещё требует глубокого осмысливания и изучения, ибо, как говорят: “Большое видится на расстоянии”...

Не хотелось бы только, чтобы это расстояние было слишком большим, так как сегодня беды моего родного края – российского Нечерноземья – стали бедой всей России. Какое можно придумать другое слово, кроме беды, когда обезлюдел и зарастает лесом и сорняками целый край общей площадью 2411,2 тыс. кв. километров?..

Как пишет поэт из глубинки В. Дробышев в газете “Буйская правда” в стихотворении “Письмо к другу”:

*Ты просишь: напиши мне про деревню,  
Мол, не бывал на родине давно...  
Наверное, уж выросли деревья,  
Что мы с тобой сажали под окном.*

*О чём писать... Деревни нет в помине.  
Закрыли ферму, как исчез колхоз.  
Нет школы, клуба, книжки на машине  
Библиотекарь в город перевёз.*

*Деревня как-то сразу опустела.  
Век доживают только старики.  
Дома стоят, и окна даже целы,  
Но ночью в них не светят огоньки.*

*Кто помоложе, в город укатали,  
Ты, встретивши, узнаешь их едва.  
Да, о деревьях... Их давно спилили,  
Как разобрали школу на дрова.*

*А про родных узнаешь на погосте.  
Над ними ветер шевелит кусты.  
К ним очень редко приезжают гости,  
Чтобы поднять упавшие кресты.*

Эти стихи мне прислал мой друг Олег Александрович Васильев из города Буя Костромской области. С Олегом мы вместе учились в сельской семилетней школе в селе Николо-Берёзовец, в полутора километрах от нашей деревни, вместе ходили в лес, на рыбалку и даже на охоту.

После окончания 7-го класса пути наши несколько разошлись: я уехал учиться в Ленинград, хотел стать моряком, Олег остался в деревне с родителями, которые были уже в возрасте, и впоследствии стал работать шофёром на единственной в колхозе машине ГАЗ-51.

Окончив ремесленное училище в Ленинграде, я работал на заводе в Кронштадте, учился в вечерней школе, затем в высшей мореходке, работал в Архангельском управлении морских путей, был призван в кадры ВМФ, переезжал из города в город, пока после демобилизации не осел на двадцать лет в Измаиле Одесской области, затем 9 лет представлял СССР, а потом Россию в Секретариате Дунайской Комиссии в Будапеште, откуда в 1999 году переехал в Москву.

Моя мечта стать моряком осуществилась. Вместе с тем, все 10 лет – после окончания в 1951 году сельской школы до самого призыва в кадры ВМФ в 1961 году – я почти каждый год, а иногда и дважды в год приезжал в род-

ную деревню навестить бабушку и тётю, которую мы с сестрой звали матерью, так как именно она заменила нам мать, умершую в блокадном Ленинграде, а также приезжал повидаться со своим другом Олегом.

Олег тоже уезжал ненадолго в Ленинград, окончил там ФЗО, получил специальность токаря, но вернулся в деревню. Потом служил в армии, работал в колхозе водителем грузовой машины, а в трудное для колхозов время односельчане избрали его председателем колхоза.

Так что о бедах российского Нечерноземья он знает не понаслышке, а из первых рук. Только после смерти родителей и когда по указаниям сверху колхозы стали то укрупняться, то разъединяться, а часть деревень была объявлена неперспективными, Олег Александрович с женой, имея уже двоих детей, продали свой дом в деревне и переехали в районный центр, в г. Буй, где купили небольшой деревянный домик с огородом и русской печкой. Несмотря на то, что позднее в дом было проведено водяное отопление, русскую печку Олег Александрович сохранил до сих пор.

До самого ухода на пенсию Олег Александрович работал водителем-дальнобойщиком на огромных фурах, объехал весь Союз.

Наши встречи с ним продолжают и сейчас и, вспоминая свою молодость, своих друзей тех лет, мы никак не можем понять, как так случилось, что наши прекрасные родные места, расположенные всего в шести часах езды от Москвы и Санкт-Петербурга, с чудесной, истинно русской природой оказались заброшенными и никому не нужными. Большая часть деревень Николо-Берёзовского сельсовета перестала существовать и даже уже не обозначена на вновь издаваемых картах этих мест.

Зарастают быльником и чертополохом бывшие поля и огороды, а лесной порослью — луга, поля и покосы. Разбиты до невозможности дороги из Буя и другого районного центра — Галича — до любого села. Из Буя стало невозможно проехать на машине до сёл, расположенных в 30–35 км, в том числе и до нашего Николо-Берёзовца.

Если такое происходит в центре России, тогда что же делается на севере и востоке страны? Положение, видимо, ещё хуже, но принять это как оправдание никак не могу.

Мне уже скоро 79 лет, и меня всё время волнует вопрос, что же будет с этими краями лет через десять, двадцать? Неужели судьба этого края — только пустоши и лесные пожары?.. И невольно на ум приходят слова из одной хорошей песни про друзей и про музей, где на двери замок:

*Что бы я был без друзей,  
Что значил бы я и что мог,  
Был бы я, как музей,  
Где на двери замок...*

Теперь, с позиции своих лет, я согласен с автором, что горько видеть музей, у которого на двери замок, но ещё горше видеть полуразрушенную закрытую старую церковь, ограду которой разбирают оставшиеся селяне на кирпичи, или заколоченные досками окна и двери бывших школ и библиотек, поликлиник и больниц, почты и магазинов.

Создаётся впечатление, что во всём Нечерноземье на “двери замок”. Такого просто не должно быть, так как везде в мире земля — на вес золота, но это, к сожалению, есть, и для исправления такого положения пока что не принимается никаких мер. Вот это-то и беспокоит больше всего.

Невольно вспоминаешь разного рода аналогии. Моя бабушка Наталья Денисовна Федотова, всю жизнь прожившая в Феднёве и похороненная на сельском кладбище, рассказывала мне, тогда ещё совсем мальчонке, что у их “барыни” управляющим именем был немец Отто. И всё хозяйство было в образцовом состоянии. Возможно, и сейчас настало такое время, когда надо снова приглашать кого-то со стороны, ведь приглашала же Екатерина II немцев для освоения Поволжья, и обжили они отведённые им места неплохо.

Человеку со стороны, да ещё молодому, возможно, затрагиваемые мной проблемы покажутся несущественными, но мне думается, что это не так.

Только пожив достаточно долго, человек начинает понимать, что значили для него родные места, друзья юности. Особенно он понимает это, когда многих из этих друзей уже нет в живых и с ними уже нет возможности встре-

титься. Именно поэтому тема малой родины всегда остаётся главной при наших встречах с Олегом Александровичем и в переписке с ним.

Встречаясь с Олегом Александровичем, мы поимённо вспоминаем всех деревенских друзей, наши походы на речку Нолю, в бывшую дворянскую усадьбу Селено и сохранившийся ещё тогда прекрасный Селенский сад с липовыми, берёзовыми и тополиными аллеями и зарослями сирени, прудами с рыбой и полянами с зарослями одичавшей клубники, такой сладкой и душистой.

А больше всего вспоминаем колхозные поля ржи, пшеницы, ячменя и овса, ухоженные покосы, в какую бы сторону от родной деревни мы не пошли.

Вспоминаем наши походы в ближайший лес за грибами и ягодами, вспоминаем о том, как все сельские мальчишки, чтобы заработать на конфеты, всё лето заготавливали для потребкооперации ивовую кору (сырьё для дубления кож), ловили капканами кротов и сдавали шкурки в ту же потребкооперацию, собирали для аптеки корни валерьянки, калгана, цветы ромашки и другие полезные растения.

По моему глубокому убеждению, русская деревня заслужила большего внимания к себе, хотя и забыта всеми сегодня – и властью, и своими уроженцами, большинство из которых или уже умерли, или живут в городах.

Она забыта за массой других проблем, так же как всё последнее время, отдавая должное ветеранам войны, совсем забывали матерей и вдов погибших участников войны, которые без мужской поддержки, особенно на селе, бедствовали и голодали, в одиночку поднимая детей и разорённые войной колхозы.

Песня “Поставьте памятник деревне на Красной площади в Москве” на стихи Николая Мельникова с болью повествует об этом очень прискорбном факте.

Впервые услышав строки из песни в Тверской области в городском доме культуры и увидев слёзы на глазах людей в зрительном зале, бурными аплодисментами встретивших исполнителя, я понял, что память о деревне пока ещё жива в народе.

И сегодня мне мучительно больно сознавать, что мои родные места, так же как и всё Нечерноземье, когда-то демографическая основа России, приходят в полное запустение. Рушатся и исчезают деревни, зарастают поля и погосты, перестают жить в этих прекрасных местах люди.

И невольно задумываешься над вопросом, почему же земли в центре России, расположенные рядом с Москвой и Санкт-Петербургом, в которых когда-то за честь считалось селиться русское дворянство, не стали в новых условиях развития страны местом, куда бы устремились предприниматели и фермеры, и вообще молодые предприимчивые люди, желающие начать всё с нуля? Почему же там не появились новые поселения, хорошие дороги, молочные фермы, мельницы, маслосырозаводы, предприятия для переработки льна и другие приметы современного мира?..

В трудное военное и послевоенное время, несмотря на ограниченные размеры угодий, в моём колхозе, объединившем 67 деревень, была молочная ферма, конюшня. Колхозы сдавали государству молоко, мясо, шерсть. На небольших полях выращивались яровая и озимая пшеницы, рожь, ячмень, овес, лён, картофель, капуста. Надо было видеть, какая чудесная картошка и капуста вырастали на полях в пойме Ноли!

Хорошо зная причины разорения русской деревни, тем не менее, не могу понять, в чём причина того, что это разорение продолжается и сейчас.

Один из первых ударов по только что начинающей привыкать к электричеству русской деревне и возможному закреплению в ней молодёжи в наших краях нанесло укрупнение колхозов. Появились новые термины: “центральная усадьба” и “неперспективные деревни”.

Всем жителям “неперспективных” деревень предлагалось съезжаться на центральные усадьбы, а в неперспективных деревнях переставали работать школы, почты, магазины и другие жизненно важные объекты сельской жизни. Потом в них отключали радио и электричество. . .

В наших краях такими неперспективными сразу стали все деревни, находящиеся в стороне от большой дороги. Все они очень скоро перестали существовать. Перестала существовать и моя родная деревня Назимово. Сейчас они ещё значатся на картах Костромской области, но подчёркнуты пунктирной линией, что означает, что фактически их уже нет.

По данным печати, в Костромской области в 60–70-х годах были расселены и в дальнейшем погибли до 70% всех деревень.

Мои родственники из-за бытовых проблем и бездорожья в 1978 году переехали из Костромской области в Калязинский район Тверской области, где первое время положение было получше. Но очень скоро и в Тверской области повторилась всё то, что мы видели в Костромской, включая действия местных властей в отношении сельских учреждений. Серьёзные проблемы начались сразу после развала колхозов.

Колхозные хозяйства хотя и дышали на ладан, но всё-таки давали жителям села работу и обеспечивали какую-то деревенскую организацию (сидели за дорогами, подвозом газа, зимой чистили дорогу от снега и т. д.).

Когда перестали существовать колхозы, землю разделили на какие-то непонятные паи бывшим членам колхоза, многие из которых давно уже умерли. Чья теперь эта земля, понять трудно. Стала ненужной на селе такая уважаемая профессия, как механизатор.

Одновременно с ликвидацией колхозов в деревнях перестала существовать и какая-либо сельская инфраструктура, дающая работу на селе: скотные дворы, фермы и конюшни, сельские школы, больницы.

Трудоспособные колхозники остались без работы и зарплаты и стали перебиваться случайными заработками на строительстве дач, рытье колодцев и пилке дров для дачников. А многие просто ударились в пьянство. Дорога от просёлка через поле оказалась скоро разбитой до такого состояния, что по ней теперь возможно проехать только на танках. Деревенские русские люди оказались отрезанными от цивилизованного мира и предоставленными самим себе.

А все оставшиеся от колхозов строения были быстро разорены и стоят теперь вдоль шоссе только остовы этих сооружений без крыш, окон и дверей, а также покосившиеся водонапорные и силосные башни в окружении зарослей ядовитого борщевика и других сорняков. Даже не верится, что когда-то наши предки боролись за каждую сотку пахотной земли, за каждую сотку покоса, отстаивая их у леса. В деревнях Костромской области долго сохранялись такие названия, как, например, “Байковы гари”, “Смирново огнище” и др. Это вырубленные и выжженные участки леса для сельскохозяйственных угодий.

Сейчас же годами некошенные и непаханные поля и луга вокруг ещё сохранившихся деревень зарастают мелколесьем, кустарником и сорняками, а земля на них покрылась каким-то кочкарником по типу термитников в Африке, по ней невозможно проехать с косилкой или жаткой.

Ну, а деревни из населённых пунктов с обязательной деревенской инфраструктурой в виде дорог, пожарных проездов, прудов, колодцев, пастбищ, покосов и огородов и обязательного местного самоуправления превратились в дачные участки земли, где все дома раскуплены, перестроены, обнесены высокими заборами, куда дачники обычно приезжают из города только на выходные, да и то не всегда. Но даже скромной организации, типичной для дачных кооперативов, на селе нет, так как каждый дом-дача – сам по себе. Исчез деревенский сельский мир, чем крепка была всегда Россия.

Леса и лесочки между деревнями, где раньше полно было грибов и ягод, где в жару прятался и кормился скот, протаптывая дорожки и тропинки, которые так любили грибники, теперь превратились в непроходимые буреломы, так как там вообще нет хозяина и можно рубить деревья, где попало и как кому угодно, не убирая сучки, вершины, кору и прочие отходы. Это всё прекрасный материал для неизбежных теперь лесных пожаров, что мучат Россию в последние годы.

Вероятно, и центральной, и местной власти уже давно пора понять, что процесс перестройки на селе пошёл не так, как планировался, и необходимо его срочно исправлять. Исправлять, прежде всего, в том плане, чтобы не дать окончательно погибнуть земле. Раз в село не едут предприниматели, несмотря на всю красоту русской природы, туда вообще не едут здоровые и молодые люди на постоянное жительство, значит, что-то не так делают наши власти. Боюсь, скоро дойдёт до того, что земля исконной России вообще зарастёт лесом, тем более что сами дачники этому способствуют, рассаживая вокруг дач, на бывших лугах и покосах для красоты хвойные и лиственные деревья, надеясь, наверное, что грибы будут расти прямо у порога.

И я часто задумываюсь, а сможет ли Россия жить вообще без деревни в её старом классическом понимании?..

Мне думается, что это было бы сложно. Ведь когда-то именно деревня кормила Россию, была основой крепкой большой семьи, государственной демографической политики, трудового и семейного воспитания молодёжи, православия и ещё много чего. С утерей русских деревень мы теряем и всё это, сегодня так нужное России. Восстанавливать в деревнях и сёлах только церкви мало, пора подумать и о приходах. Пока же складывается впечатление, что эти вопросы мало волнуют власти предрекающие.

**В. М. Воронцов,**  
член Союза журналистов России,  
г. Москва

## **РОССИЯ: ПО КАКОМУ ПУТИ ИДТИ?**

Уважаемая редакция!

Много спорят сейчас о национальной идее. Но забывают при этом, что в истории не бывает ничего случайного. Ничего не происходит “просто так”. История — это цепочка закономерностей. И закономерность истории последнего времени заключается в том, что события настолько уплотнились, сгустились, что уже можно говорить о количественно-качественных изменениях в окружающей действительности. События, происходящие сегодня в России и в мире, настойчиво подталкивают нас к решению одной из самых сложных и важных задач — формированию национальной идеи и национальной идеологии.

**Период “безыдейности”, неопределённого состояния длится уже почти четверть века. Для истории срок небольшой. Но его вполне хватило, чтобы произошло то, что происходит сейчас на Украине.** “Свято место пусто не бывает”. Нет своей идеологии — придёт чужая. За последнее время у нас выросло целое поколение, которое худо-бедно знает английский язык, но не знает русского, не понимает — что делают русские на Украине, уверено, что развитые, цивилизованные страны находятся на Западе, считает, что мы сидим на “нефтяной игле”, что патриотизм — это плохо и что мы должны построить “общество потребления” и т. д., и т. п.

Надеюсь, всё это — лишь временное “помешательство”, смятение души и ума, вызванное материальным блеском параллельной нам англосаксонской цивилизации. Цивилизации сугубо материальной, товарно-денежной. В таких случаях нас всегда выручал национальный иммунитет, национальный код, который нам и предстоит расшифровать. Вот цивилизация — это уровень развития материальной и духовной культуры общества. Принято считать, что развитие происходит по спирали. Пусть так. Но нужно сделать одно очень важное уточнение, без которого невозможно понять законы развития общества. Моделью цивилизационного развития может служить (и, очевидно, служит) структурная модель ДНК. Это — двойная спираль. Спираль, объединяющая в себе два начала — материальное и духовное. Мир материальный и мир духовный. Материально-техническое развитие и развитие нравственное, духовное. Определение цивилизации прямо возвращает нас к основному вопросу философии — об отношении материи и духа, бытия и сознания. В каком соотношении они находятся? Как взаимодействуют? В XIX веке классики марксизма-ленинизма решили вопрос философии “в пользу” материализма. Материя — первична, сознание вторично. Бытие определяет сознание.

Применительно к западной цивилизации это выглядит так.

Бытие определило сознание. Материя победила дух, причём победила полностью и окончательно. В условиях свободного рынка спрос определил предложение. Предложение обеспечило спрос. Круг замкнулся. Капитализм — это самозамкнутая система, это бег по кругу, формулу которого вывел ещё К. Маркс — товар-деньги-товар-деньги — и так без конца. Развитие возможно только материально-техническое, технологическое. Товаров всё больше, качество их всё выше (в идеале), капитала всё больше. И эта финансовая пирамида, постоянно вибрирующая, зависящая от множества внешних и внутренних факторов и рисков, эта система так и живёт — от кризиса до кризиса.

Капитал (от лат. *Capitalis* – главный) – это “священная корова” западной цивилизации, его “несущая конструкция”. Конституция, законодательство, государственные институты – это всего лишь инструменты, его обслуживающие. Он определяет не только материальную, но и мировоззренческую, нравственную жизнь общества. Вот здесь и возникает ключевой вопрос: может ли полноценно развиваться общество, используя лишь одну ветвь двойной спирали развития?.. Модель такого “односпирального” развития – это западная товарно-денежная цивилизация, не обремененная никакими духовными, моральными и нравственными ценностями. Ещё Маркс замечал: “В мире капитала... мораль, нравственность, религия – всё это не более как буржуазные предрассудки, за которыми скрываются буржуазные интересы”. “Общество потребления” по западному образцу – это тёплое, сладкое, комфортное, законопослушное болото. Цивилизация детского возраста. “Детский мир” для взрослых. Мир красивых игрушек, удовольствий и развлечений. И лексикон у него соответствующий – “хочу” и “дай!” Русский человек прекрасно понимает, что если всю жизнь бегать за своими желаниями, то ничего хорошего из этого не получится, потому что “больно хорошо – тоже не хорошо”, “много хотеть – добра не иметь”, как всегда говорил русский народ.

“Общество потребления” – занятная штука. Произвели – употребили. Употребили – опять произвели. Хорошее занятие. Хорошее занятие – все при деле. “Круговорот веществ в природе”. И всё бы ничего, но вот беда: на этом развитие и останавливается. Далее – поиски новых рынков сбыта, передел собственности, кризисы и т. д. Всё это мы видим сейчас в современном мире. Меркантильный мир опасен. Без морально-нравственной узды он напоминает бультерьера без поводка и намордника. Причём с ангельской, голливудской улыбкой. И это в полной мере проявляется во внешней политике западных держав.

Нужен ли был такой “односпиральный” период в развитии мировой цивилизации? Безусловно. Должны были развиваться в достаточной степени производительные силы, наука, технологии, подняться уровень благосостояния общества. Но история знает и обратную сторону такого развития. Материальное благополучие, комфорт и удовольствия, поставленные во главу угла, ведут к духовному распаду и деградации. Что мы и наблюдаем в “развитых”, “цивилизованных” странах Запада. **Если у общества, нации, цивилизации нет ничего святого, нет духовных, моральных, нравственных ориентиров и ценностей, то такое общество не является ни развитым, ни цивилизованным.** Капитализм – это вчерашний день в развитии мировой цивилизации. Россия с достоинством принимает эстафету цивилизационного развития у капиталистического Запада. Запад заволновался. Трудно слезать с трона, особенно, если ты его себе придумал сам. Но, как говорится: “Мавр сделал своё дело, мавр может уйти”.

Как мы уже говорили, цивилизация – это уровень развития материальной и духовной культуры общества. И только благодаря взаимодействию этих двух начал общество может развиваться гармонично и стабильно. Иначе говоря, дверь в цивилизацию будущего открывается не одним, а двумя ключами. И они находятся в России. В отличие от западной цивилизации, которая живёт по законам материального мира, Россия всегда существовала в двух реалиях – материальной и духовной. И это даёт нам право сказать, что определение цивилизации может быть реализовано в полной мере только в России.

Величие России – в её духовности. Россия – это территория Духа. Западный мир – это “цивилизация тела”. Материальное благополучие, комфорт и удовольствия – это предел мечтаний параллельной англосаксонской цивилизации. У русского народа богатство никогда не считалось главной ценностью жизни, не было стремления разбогатеть любой ценой, как в англосаксонском мире. В этом и заключается ответ на вопрос, почему Россия, страна с огромной территорией и несметными богатствами, до сих пор не превратилась в какие-нибудь Арабские Эмираты, Катар или, на худой конец, в Швейцарию. Образу говоря, “цивилизованный” Запад – это рай для тела, а Россия – это рай для Души. Причём, “русский рай” подразумевает отнюдь не комфорт и удовольствие, а бесконечные поиски истины, добра и справедливости, это непрекращающийся и бесконечный процесс самосовершенствования. Русский дух – это наш *perpetuum mobile* – вечный двигатель, который никогда не даст нам остановиться на достигнутом. И в нём залог нашего будущего развития.

Россию по праву называют “духовной крепостью мира”. Для всего мира русский дух, русская душа существуют как отдельная, самостоятельная и непонятная субстанция. Русский дух – это национальное достояние. Это наш генетический национальный код, основа национальной идеологии.

Русский мир должен громко и внятно заявить о своих нравственных, духовных ценностях и неуклонно им следовать. Тогда мы получим тот единственно возможный путь национального развития, который и приведёт нас на новый виток цивилизационного развития.

В настоящее время Россия напоминает витязя с картины В. Васнецова “Витязь на распутье”: “Налево пойдёшь – в коммунизм попадёшь”, “Прямо пойдёшь – в капитализм попадёшь”. А на правом камне очень простая и доходчивая надпись: “Иди домой”. И это лучшее, что может сделать наш витязь, добрый молодец.

**Геннадий Цемеров**  
г. Москва

Уважаемый Станислав Юрьевич, здравствуйте!

Впервые пишу Вам письмо. Познакомился я с журналом “Наш современник” следующим образом. Однажды прочитал в одной из патриотических газет о журналах, которые пользовались спросом ещё с советских времён, среди них был и “Наш современник”, и решил его выписать. С первых номеров журнал мне очень понравился за смелость, правдивость и бескомпромиссность редакции в борьбе с перевёртышами, жуликами и просто глупцами, восседающими в высоких креслах. Третий год я выписываю журнал и буду выписывать его всегда, так как он помогает мне и всему трудовому народу распознавать, кто есть кто.

Второе. Хотел бы выразить в качестве пожелания следующее. В журнале “Наш современник” за 2015 год № 3 прочитал статью кандидата культурологии Нины Ягодинцевой “Технологии хаоса”. Тема, затронутая автором, современная и нужная в наше беспокойное время. Суть данной статьи мне понятна – это посеять в сознании народа любой страны хаос и затем в мутной воде этого хаоса проводить нужную колонизаторскую политику. Свежий пример тому – Украина. Подобного рода статьи надо публиковать в двух вариантах: в расширенном и глубоком толковании в журнале и более доступном и сжатом виде для широкого круга читателей в газетах “Советская Россия”, “Правда” и “Завтра”. У простого человека не всегда есть время и желание вникать в тонкости какой-то проблемы, её детали. Да и тиражи газет намного больше, чем тираж журнала. А следовательно, и больше людей прочитают материал по актуальной проблеме.

Необходимо будить народ от спячки и равнодушия. Казалось бы, его задавили вконец поборами ЖКХ, ростом цен на всё и вся, беготнёй по кабинетам чиновников, всевозможными налогами и так далее, но он молчит. Невозможно вытянуть людей на митинг в их же защиту, хотя раздаются тысячи газет и листовок с приглашением принять в нём участие. Нередко услышишь в ответ: “А от меня ничего не зависит, мне это не надо”. Порой поражаешься равнодушию и пассивности наших граждан. Немало ещё людей, которые считают, что пройдёт ещё какое-то время и всё “само собой образуется”.

Психологическая война велась против нашей страны и раньше, и привела она к распаду СССР. Ведётся она против нас и теперь. Необходимо патриотически настроенным учёным, экономистам, политикам помочь народу в доступной форме распознавать телевизионную ложь и противостоять ей. Необходимо уберечь народ от отрицательного психологического воздействия манипуляторов.

Когда мы научимся распознавать, кто есть кто, когда вытравим из себя ложную мысль, что “от меня ничего не зависит”, тогда и жить станет легче, и в стране будет порядок.

С уважением  
**Александр Попов,**  
г. Барнаул, Алтайский край



## БУДЕТ СЛАВЯНСКИЙ СОЮЗ!

Уважаемый Станислав Юрьевич!

Не так давно в газете “Крестьянская Русь” был опубликован ряд статей по украинской теме. Эти статьи носят, на мой взгляд, странный и провокационный характер. Вот некоторые пассажи из означенных статей.

Из статьи “Необъявленная война” (“КР”, № 20, 2015): “Спустя некоторое время после присоединения Крыма к России на территории Востока Украины началось вооружённое противостояние между украинскими силовиками и сепаратистами, которые требовали вхождения Донецкой и Луганской областей в состав РФ”; “...начиная с июня 2014 года, вооружённые силы Украины приняли успешное наступление на позиции сепаратистов, которое впоследствии захлебнулось”; “...по признанию Захарченко, среди сепаратистов находятся 3-4 тысячи российских добровольцев”.

Из статьи Ю. Максимова (“КР”, № 21, 2015): “Никак не понять Москве, что не желают украинцы возврата в коммуналку...”; “...поражало и количество голосов, поданных на крымском референдуме за вхождение в Россию – более 84 процентов”, “...всё дальше отдаляется от нас Европа, подпитывавшая до этого нашу страну высокими технологиями, финансами и качественной продукцией”.

Заодно авторы из “КР” бросают в болото болтовни и обеспечение референдума в Крыму со стороны России, и Курилы, и Карельский перешеек, и остров Даманский.

Весёлые картинки в “КР” № 20 и № 22, изображающие Россию в виде свирепого медведя, хватающего лапой несчастную безобидную Украину, являются верхом провокации со стороны безымянных художников, до чего и не додумались бы, предполагаю, даже отпетые русофобы. Постановочная картинка в “КР” № 21 с лозунгом “Прости нас, Украина” тоже является хитрым провокационным ходом. А ведь газета выпускается тиражом более 60 тысяч экземпляров и ориентирована на читателей крестьянской православной России!

Я не буду опровергать каждый из доводов этих авторов. А хочу дать своё понимание происходящих трагических событий и историческую справку по литературным источникам, и в том числе из Интернета.

### **Есть понятия внешняя и внутренняя политика любого государства.**

Внутренняя политика – это обеспечение условий физического и традиционного духовного проживания основной массы населения, технической, управленческой и гуманитарной интеллигенции и руководящей элиты.

Внешняя политика – это обеспечение национальных интересов государства, защиты населения от внешней агрессии, защита моральных ценностей данного государства от информационной войны.

Кратко об истории Украины как территории проживания одной из славянских национальностей. Украинцы, белорусы и русские – это единый восточно-славянский народ, который создал последовательно Новгородскую Русь, Киевскую Русь, Московскую Русь, Московское царство, Российскую империю и Советскую Россию, названную СССР – Союз Советских Социалистических Республик. На памятнике в Великом Новгороде в честь тысячелетия России в числе других исторических героев изображён гетман Богдан Хмельницкий.

Из интернета: “8 января 1654 года в Переяславе (на территории теперешней Украины) была собрана рада, на которой после речи Хмельницкого, указывавшего на необходимость для Украины выбрать кого-нибудь из четырёх государей: султана турецкого, хана крымского, короля польского или царя московского и отдаться в его подданство, народ единодушно закричал: “Волим под царя московского, православного”.

После присяги Хмельницкого и старшин, вручая гетману царский флаг, булаву и символическую одежду, Бутурлин (посланник царя) произнёс речь. Бутурлин указывал на происхождение власти царей от власти св. Владимира...”

СССР был образован в декабре 1922 года на базе территорий Российской империи. При создании Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) руководители СССР В. Ленин (Ульянов) – Председатель Совнаркома и Л. Троцкий (Бронштейн) – Председатель Реввоенсовета добавили к областям с украинским православным населением области с преимущественно русским православным населением, а именно: Харьковскую, Донецкую, Лу-

ганскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Херсонскую, Одесскую. Во время решения о названии страны И. В. Сталин (Джугашвили), как комиссар по делам национальностей, предлагал название Российская Советская Федеративная Социалистическая республика (РСФСР) как правопреемница империи – царской России. Однако Ленин предложил создать Союз Советских Социалистических Республик под названием СССР, отвергнув сталинский план автономизации. Троцкисты в правительстве навязали также взрывоопасную статью о праве выхода любой республики из состава СССР. Историческое название страны Россия исчезло с географической карты мира. Впрочем, следует сказать, что наша страна так официально никогда и не называлась, она называлась Российской Империей.

В 1939 году после заключения пакта о ненападении между СССР и Германией был проведён раздел в зоне западных границ СССР и восточных границ Германии. В состав СССР вошли исторически славянские земли: Западная Украина и Западная Белоруссия. Западная Украина – это древнерусская Галиция, которая в условиях вековых событий и польской оккупации попала под мировоззренческое влияние католического Рима. Была создана греко-католическая Уния – то есть внедрено католическое богослужение, но на славянском языке и католическое меркантильное мировоззрение. СССР и Сталин считали, что мы вернули славянские земли, которые были оторваны от России в 13–14 веке. Таким образом, УССР после 1939 года состояла из населённой украинцами Православной центральной право- и левобережной Украины, Православной Новороссии, населённой русскими, украинцами, сербами и другими национальностями и униатской (католической) Западной Украины с преобладающим украинским населением. В Прибалтике в 1940 г. были проведены выборы. Эстония, Литва и Латвия стали советскими республиками с населением преимущественно с католическим мировоззрением.

Решениями Тегеранской и Ялтинской конференций после Отечественной войны был проведён передел политических границ. Литве передали польский Виленский край со столицей в городе Вильнюс. Россия в лице СССР получила Пруссию, ставшую Калининградской областью. При образовании Организации Объединённых Наций (ООН) И. В. Сталин, как мне кажется, совершил ошибку, согласившись на участие в ООН Украины и Белоруссии как независимых фактически стран. Это стало ловушкой со стороны Запада. В 1954 году первый секретарь ЦК КПСС Н. С. Хрущёв “подарил” Крым Украине, чтобы обеспечить себе поддержку первых секретарей областей Украины на пленумах ЦК КПСС (это было реализовано при дискредитации И. Сталина и “разоблачении” так называемой антипартийной группы в 1957 году). С получением Крыма Украина стала фактически федеративной республикой.

В 1975 году в Европе были подписаны Хельсинские соглашения, которые установили незыблемость границ. В условиях взаимных территориальных претензий это было шаг вперёд. Но не прошло и пятнадцати лет, как западными спецслужбами был устроен развал Югославии, спровоцирован национализм в Прибалтике.

После разрушения СССР в 1991 году западные спецслужбы начали готовить на Украине националистический переворот. Сотни некоммерческих прозападных организаций, финансируемые прозападными фондами, разлагали население, возбуждали иллюзию “богоизбранности” украинского народа. Ющенко в период президентства направил в Православный Киев для поступления в институты униатскую молодёжь, что изменило мировоззренческую среду в столице Украины.

Майдан, который сначала был организован как народное движение против олигархии и президента Януковича, был в феврале 2014 года перенацелен на антирусское направление, на рекламу бандеровского движения как националистического освободительного от большевиков, от “москалей”. Боевики готовились на Западной Украине (об этом сообщали в прессе). Националистические идеи ненависти к русским – “москалям” и лозунги “Украина це Европа” захватили мировоззрение почти всей западно-украинской молодёжи и значительной части молодёжного населения Киева.

После провокаций против сил правопорядка (“Беркут” и др.) в феврале 2014 года организованные отряды “Правого сектора”, на следующий день после подписания 22 февраля согласительного договора министров иностранных дел Германии, Франции и Англии с Президентом Януковичем, совершили

переворот с захватом государственных учреждений, началось физическое насилие против несогласных. То, что переворот носил антиправославный характер, было завуалировано скрытыми организаторами пропагандой идеи борьбы с олигархией.

Русские и украинские православные жители Крыма увидели угрозу своей жизни от бандеровских сотен, которые в условиях безвластия устанавливали свои порядки и расставляли свои кадры в областях Украины. Начался поиск выхода из ожидаемого нашествия на Крым. Со стороны православного славянского населения интуитивно возникло движение воссоединения с Россией. Элита России также увидела угрозу наступающего фашизма. Останься Крым в составе Украины, в Крыму возникли бы базы НАТО и в ближайшем будущем ракеты, нацеленные на всю территорию России. А в доках славного русского города Севастополя угнездился бы американский флот. Стихийно возникшей инициативной группой было принято решение о проведении Референдума. Для этого в ситуации нахождения на территории Крыма украинских войск, подчиняющихся власти, исходящей из Киева, надо было создать условия для свободного голосования. И Россия помогла блокировать вооруженные силы Украины в Крыму, в основном силами Черноморского флота, который и всегда там находился. В марте 2014 года большинство крымчан проголосовало за воссоединение с Россией.

На Донбассе также увидели возрождение фашизма, увидели физическую угрозу православному населению. В условиях отказа от федерального устройства, от русского языка как государственного и родного для большинства населения региона патриоты Донбасса самоорганизовались, приняли решение о референдуме. Проведение референдума было назначено на 11 мая 2014 года, до проведения наскоро инспирированных выборов Президента Украины 25 мая 2014 года. Нужно отметить, что Россия в то время не рекомендовала проведение референдума в Донецкой и Луганской областях. В условиях, когда группы бандеровцев разъезжали по городам Украины и наводили свои порядки, жители Донецкой и Луганской областей пошли на выборы. Примерно 75% проголосовали за административную самостоятельность областей и образовали Донецкую и Луганскую народные республики. По объявленным результатам выборов на Украине (без жителей ДНР и ЛНР) за П. Порошенко проголосовало 53% избирателей. Сразу после выборов жители ДНР и ЛНР были обозваны сепаратистами, была объявлена антитеррористическая операция (АТО) и началось наступление на Донбасс. Жители организовали ополчение, в которое добровольцами вступали и вступают те, кто имеет родственников на Донбассе, и те, кто решил защищать православных жителей. Дважды ополченцы в локальных войнах в сентябре 2014 года и январе 2015 года одерживали победы. Подписанные после перемирий минские соглашения не выполняются киевскими властями.

Со стороны украинских властей продолжают попытки переформатировать православное мировоззрение большинства населения Украины на католическое – меркантильное.

Выход из тупиковой ситуации на Украине без исторического анализа ситуации, без федерализации страны бесперспективен и приведёт к новым жертвам.

Представлять современную Россию как агрессора по отношению к Украине – дезинформация и провокация, как со стороны наших либералов (в том числе из “Крестыанской Руси”), так и со стороны элиты Западной Европы. Россия поставила сырьевых ресурсов на Украину в размере десятков миллиардов долларов в ущерб своим экономическим интересам, терпела оскорбления в адрес руководства, пыталась предупредить о последствиях неграмотной экономической, религиозно-мировоззренческой и национально-языковой политики, не выставила ни одного ультиматума за враждебные действия. Всё это принимали за слабость. Но, по пословице: сколько бы верёвочке ни виться, а концу быть, и многонациональный народ Донбасса, без сомнения, отстоит свою независимость. Но что будет с Украиной?.. История ответит нам на этот вопрос, но одно мы знаем точно – братские народы – украинский, русский и белорусский ещё объединятся в единый Славянский Союз, который и станет основой нашего светлого и счастливого будущего.

**Юрий Кириенко,**  
г. Москва

## “ПОМОГАЛ НАМ ДОБЫВАТЬ ОТЧИЗНУ НАШУ...”

В настоящей публикации из наследия Вадима Валериановича Кожина представлены тексты из домашних и государственных архивов.

“Внутреннюю рецензию” на книгу Михаила Лобанова “Внутреннее и внешнее” предоставил сам Михаил Петрович. Книга эта вышла в 1982 году в издательстве “Советская Россия” под окончательным названием “Размышления о литературе и жизни”, и видно, что на окончательное решение Лобанова изменить её название повлияли именно рассуждения Кожина.

Вадим Валерианович (при всех своих разногласиях с Лобановым) не раз отзывался о нём в самых высоких словах. Так, в одной из своих статей он указывал, что новое направление журнала “Молодая гвардия” в 1960-х годах “начало складываться... прежде всего в статьях Михаила Лобанова” (“Самая большая опасность”), а в другой напомнил о критике, “чьё поведение в литературе на протяжении десятилетий — образец для каждого литератора” (“Литература и демократия”).

Следующие два текста, условно названные “Рассказ о вышедших и выходящих книгах” и “О круге чтения последних лет” сохранились в машинописи без заголовков в личном архиве Вадима Валериановича. Очевидно, это записи на магнитофонную ленту для радиопередач или газетных публикаций. Но ни в одной из опубликованных бесед Кожина этих текстов нет.

Отдельного слова заслуживают письма Кожина. Его письмо к члену-корреспонденту АН СССР, сотруднику Института мировой литературы Николаю Фёдоровичу Бельчикову (1890–1979) написано в то время, когда в жизни молодого сотрудника отдела теории института происходил существенный перелом: от изучения собственно теории литературы Кожин двигался в направлении фундаментального и глубокого изучения её истории. Помимо всего прочего, это письмо служит живым опровержением распространившегося злокозненного “мифа”, что Вадим Валерианович, якобы, не работал непосредственно с архивными документами.

История взаимоотношений В. В. Кожина с М. М. Бахтиным — тема отдельного литературного исследования, по сути, целой книги. Часть их переписки уже публиковалась в витебском журнале “Диалог. Карнавал. Хронотоп” (2000, № 3–4. Публикация Н. В. Панькова). Мы публикуем часть сохранившихся в архиве М. М. Бахтина кожиновских писем, преимущественно касающихся истории издания книги Бахтина “Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса” в издательстве “Художественная литература” в 1965 году. Как правило, все письма Вадим Валерианович отправлял на имя Михаила Михайловича и его супруги Елены Александровны от своего имени и имени своей супруги Елены Владимировны. Таким образом эта переписка при всей существенности затронутых в ней вопросов и проблем приобрела некий “семейный” характер.

Переписка с поэтом Борисом Чичибабиным — отдельная страница в эпистолярном наследии Кожина. Он высоко ценил ранние стихи Чичибабина, а стихотворение “Кончусь, останусь жив ли...” было даже записано им на магнитофонную плёнку и не единожды “ставилось” для прослушивания раз-

личным посетителям кожиновского дома. Но для Вадима Валериановича было непеносимо, что поэт так и застрял в плену либеральных штампов и ориентиров и так, по сути, не созрел духовно. Окончательную черту в этом “диалоге” (ответные письма Б. Чичибабина пока не обнаружены) Кожин подвёл в первой главе книги “История Руси и русского слова. Современный взгляд” (М., 1997), проанализировав строки из стихотворения Б. Чичибабина “Проклятие Петру” (1970): “...У людей, чьи жизненные устои рушила эпоха Петра, было действительно и несомненное право начисто отрицать её: трагедия стрельцов, рельефно воссозданная в суриковском полотне, — это подлинная трагедия. А в трагедии, как убедительно доказывал Гегель, правы обе борющиеся не на жизнь, а на смерть стороны. Между тем историческая оценка петровской эпохи дана, думается, навсегда самим Пушкиным, который не упускал из виду фигуру Петра на протяжении всего своего творческого пути. И нынешнее проклятье по адресу Петра, если оно честно и последовательно, должно сопровождаться отрицанием одной из незыблемых основ пушкинского исторического мышления, которое, между прочим, являет высший образец объективности: “утверждение” и “отрицание” Петра здесь гениально уравновешены... На основе поверхностного, легковесного отношения к истории, одно в ней подвергается безумной хуле, а другое столь же безумной хвале. Так, например, тот же Б. Чичибабин, начисто презрев глубокое пушкинское осмысление фигуры Петра, вместе с тем безо всяких оснований “привлѣк” Пушкина к своему легковесному воспеванию другого исторического деятеля:

*В наши сны деревенские и городские  
пробираются мраки со дна —  
только Пушкин один да один у России,  
как Россия на свете одна.*

*А ведь разумом Пушкин-то с Лениным сходен,  
словно свет их один породил,  
и чем больше мы связи меж ними находим,  
тем светлее заря впереди.*

Такая стихотворная “историософия” (я говорю о стихах и о Петре, и о Пушкине с Лениным), да ещё в сочинениях автора, увенчанного в 1990 году высшей премией, способна внести прискорбнейшую сумятицу в сознание людей...

Переписка с Варламом Шаламовым касалась преимущественно поэзии А. А. Голенищева-Кутузова. И здесь обращает на себя внимание высокая оценка Шаламовым книги В. В. Кожина “Как пишут стихи” (М., 1970). “Ваша книжка “Как пишут стихи” пример верного подхода к самой сути стихов. Стихи — это ведь особый мир, очень далѣкий, от, скажем, прозы. В Вашей книжке можно рассматривать отдельные имена, но не метод, не суть метода. “Как пишут стихи” — ярчайший пример именно серьёзного и умного <подхода> к роковому вопросу русского стихосложения. Поэзия ведь непереводаима, и не напиши Вадим Валерьянович Кожин о Голенищеве-Кутузове, и большой поэт исчезнет, хотя он — наш современник...” (Из письма В. Т. Шаламову В. В. Кожину от 5 января 1977 года). В опубликованных записных книжках Шаламова остались свидетельства этой высокой оценки (“Книга Кожина “Как пишут стихи” — первая, где высказана правильная мысль о существовании дела, о том, что стихи — это искусство, <какие> стихи требуют обновления и что стихи — это особый мир, который нельзя исследовать прозаическими средствами...” — и в то же время в архиве самого писателя обнаружился рукописный отзыв на книгу, написанный чрезвычайно трудно разбираемым почерком, где Варлам Тихонович в самых высоких выражениях оценивает книгу в целом, но подвергает “уничтожению” последнюю главу “Судьба поэта и лирическое творчество. Блок и Есенин”, где Кожин подробно анализирует стихотворение Сергея Есенина “Прощай, Баку! Тебя я не увижу...” и Анатолия Передреева “Околица родная, что случилось?...” По мнению Шаламова, здесь автор “глух и слеп”, ибо лучший Есенин, по его мнению, это Есенин “Пугачёва” и “Исповеди хулигана”, а его стихи последнего года “не имеют отношения к поэзии”. Несправедливость его суждений очевидна, но сам этот штрих в общем портрете писателя явно небезынтересен.

Письма В. М. Лапшину и Е. В. Курдакову — поэтам, чьё творчество В. В. Кожин ценит чрезвычайно высоко, — относятся уже к концу XX столетия — на грани и за гранью “роковой черты” времён. Обращает на себя внимание небольшое предисловие “О творчестве Евгения Курдакова” к книге поэта “Русский Пантеон”, которая не публиковалась до сих пор.

\* \* \*

Завершить это небольшое предисловие хотелось бы словами Валентина Григорьевича Распутина, сказанными им через месяц после кончины Вадима Валериановича:

“...Мы настолько привыкли, что у нас есть Вадим Валерианович Кожин, и он, сколько бы ни путали путаники отечественной культуры и истории, всё расставит по местам, поймает за руку, всему даст точное объяснение... — настолько привыкли, что и в горе прежде явилась невпазд какая-то детская обидка: да что же это он? Как теперь без него?

“Исследователь” и “следователь” — слова близкие, одного корня, и означают поиски правды. Кожин в его последнее, самое тяжкое для России, преступное десятилетие, быть может, больше даже подходит “следователь” — в нравственном смысле: свои поиски он вёл не бесстрастно, не по-буквоедски, а словно спасая самую близкую судьбу, торопясь представить доказательства оговора и подтасовок. Даже тому, что происходит на наших глазах, Вадим Валерианович давал своё самостоятельное объяснение, и оно оказывалось более верным. Он постоянно находился рядом с нами, но шёл как бы чуть обочь — откуда видно лучше и где потайное смещение культурных и общественных пород оставляет читаемые знаки.

Что говорить! Он был одним из тех и даже более чем кто-либо другой, кто помогал нам добывать Отчизну нашу. Он очень нужен сегодня и как нужен был бы завтра...”

*Письмо Н. Ф. Бельчикову публикуется по оригиналу (РГБ, ф. 828).*

*Письма М. М. Бахтину — РГБ, ф. 913.*

*Письма Б. А. Чичибабину — РГАЛИ, ф. 3202. оп. 1. ед. хр. 47.*

*Письмо В. Т. Шаламову — РГАЛИ, ф. 2596, оп. 3, ед. хр. 320.*

*Письма В. М. Лапшину и Е. В. Курдакову публикуются по оригиналам из семейных архивов.*

**Публикация, предисловие и комментарии к письмам  
подготовлены Сергеем Станиславовичем Куняевым.**

## **ВАДИМ КОЖИНОВ**

*В издательство “Советская Россия”*

### **Отзыв о книге Михаила Лобанова “Внутреннее и внешнее. Литературно-критические статьи”**

Не могу не начать с того, что название книги представляется мне крайне неудачным и по существу, и в силу неизбежной ассоциации с фармакологией, делящей свои продукты именно на “внутреннее” и “внешнее”. Гораздо уместнее было бы, скажем, назвать книгу “Классика и современность”.

Это название не только точно обрисовало бы “материал” книги, но и выразило бы её основной пафос, и — одновременно главное её достоинство. Дело в том, что Михаил Лобанов обладает редкой способностью осмысливать и чувствовать творения Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лескова

как жгуче современные, как живые силы нашего сегодняшнего бытия; вместе с тем он замечательно умеет раскрыть в деятельности современников – Астафьева, Белова, Шукшина, Распутина – прямое продолжение классики (пусть не всегда достигающее ее уровня).

Это удастся Михаилу Лобанову потому, что он сам всем своим существом живет жизнью русской литературы во всем ее объеме, – литературы, которая (это не требует доказательств) есть полнейшее и вернейшее воплощение нашего национального бытия. То, что это действительно так, прекрасно подтверждают вошедшие в книгу Михаила Лобанова проникновенные лирические зарисовки “Из памятного”; из них явствует, что критик видит в нашей жизни, – в конце концов даже в мелочах повседневного быта, – те же самые стихии и противоречия, которые открываются в великом мире русской литературы.

Чтобы раскрыть суть дела, процитирую точное размышление М. М. Бахтина: “Художник и человек чаще всего механически соединены в одной личности; в творчество человек уходит на время из “житейского волнения” как в другой мир “вдохновенья, звуков сладких и молитв”. Что же в результате?..

Когда человек в искусстве, его нет в жизни, и обратно. Нет между ними единства и взаимопроникновения... Что же гарантирует внутреннюю связь? Только единство ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью... Поэт должен помнить, что в пошлой прозе жизни виновата его поэзия, а человек жизни пусть знает, что в бесплодности искусства виновата его нетребовательность и несерьезность его жизненных вопросов. Личность должна стать сплошь ответственной... И нечего для оправдания безответственности ссылаться на “вдохновенье”. Вдохновенье, которое игнорирует жизнь и само игнорируется жизнью, не вдохновенье, а одержание. Правильный, не самозванный смысл всех старых вопросов о взаимоотношении искусства и жизни, чистом искусстве и проч., истинный пафос их только в том, что и искусство и жизнь взаимно хотят облегчить свою задачу, снять свою ответственность, ибо легче творить, не отвечая за жизнь, и легче жить, не считаясь с искусством.

Искусство и жизнь не одно, но должны стать во мне единым, в единстве моей ответственности”. (М. М. Бахтин. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с. 5–6).

Именно так обстоит дело в том духовном мире, который выразился во всей целостности в книге Михаила Лобанова.

То, что я сказал о деятельности Михаила Лобанова, можно бы, конечно, развить и конкретизировать, но, я думаю, и из этого ясно, что Михаил Лобанов в моих глазах – один из очень немногих выдающихся литературных критиков современности. При этом не имеет решающего значения, все ли в его статьях “бесспорно”. Очень многие люди спорили и спорят до сих пор с тем, что говорили, допустим, Аполлон Григорьев и – крайне далекий от него – Дмитрий Писарев. Но никто уже не будет спорить с тем, что оба названных человека – замечательнейшие критики своего времени.

И тот факт, что критическая деятельность Михаила Лобанова многими из нынешних литераторов не оценена по заслугам, свидетельствует лишь о том, что эти литераторы не доросли до понимания ее внутренней значительности.

Не скрою, что я сам мог бы поспорить (и даже жестоко поспорить!) с целым рядом мыслей и оценок Михаила Лобанова. Но это был бы тот спор, тот вечный диалог, который в определенном смысле и составляет глубокую суть самой нашей жизни. И вести такой спор в издательской рецензии ни к чему. Интересно, между прочим, что мне нередко хочется спорить с Михаилом Лобановым, когда он говорит о литературе, однако когда он говорит (хотя бы в тех же зарисовках “Из памятного”) о жизни, мне всегда хочется соглашаться с ним.

Литература, по-видимому, вообще не может не вызвать на спор, ибо она есть не только воссоздание, но и истолкование жизни, которое прямо-таки побуждает нас заостренно высказывать свои, особенные суждения. И чем глубже и страстнее эти суждения (а суждения Михаила Лобанова именно таковы), тем закономернее спор вокруг них...

Мне было сообщено, что перед издательством волей-неволей встает вопрос о некотором сокращении книги (на 5 авт. листов). Книга, несмотря на то, что она состоит из отдельных статей, очень цельна, и лучше всего было бы обойтись без сокращений. Но если уж они окажутся неизбежными, с меньшими потерями для целого могут быть опущены, следующие главы: “Будни”

(стр. 191а–212), “Язык и характер” (стр. 321–386) и раздел о “Записках снайпера” (стр. 299–306).

Как ясно из предыдущего, я приветствую издание книги Михаила Лобанова и призываю издать ее максимальным из возможных тиражом, ибо иначе она сразу же станет такой библиографической редкостью, какими стали предшествующие книги критика.

16 февраля 1981 г.

### **Рассказ о вышедших и выходящих книгах**

С самого начала своей литературной деятельности я — как и всякий человек, по-видимому, — испытывал желание иметь на своих полках те или иные книги. Но книги, которые были мне нужны, либо давно не переиздавались, либо вообще не видели свет, и это побудило меня заняться издательской деятельностью. Причем, не скрою, основным моим желанием при этом было, чтобы выпущенная мною книга стояла у меня на полке. То, что одновременно выйдут еще 99 тысяч 999 экземпляров, было как бы второстепенным моментом. Началось это с книг М. М. Бахтина о Достоевском и о Рабле. Давно, в шестидесятые годы, я прочитал изданную в 1929 году книгу Бахтина о Достоевском. Она меня потрясла. Я познакомился с Бахтиным, узнал, кстати, что книга вышла неполной, кроме того, тираж ее был всего две тысячи экземпляров. И я решил эту книгу издать.

Но что значит — “издать”? У издательств существуют свои планы, свои запросы. О Достоевском в то время писали примерно полтора десятка маститых литераторов, Бахтин же с 1929 года как бы не существовал, поскольку был арестован, находился в заключении, в ссылке, а после освобождения жил в Саранске, так как въезд в столицы ему не разрешили — всеми забыт и не знаем<sup>1</sup>.

Кроме того, не скрою, я не знал многого из того, чем собирался заняться. Я обратился в издательство “Советский писатель” просто потому, что там работал мой друг по аспирантуре Лев Алексеевич Шубин, прекрасный человек, безвременно ушедший из жизни. Я не знал другого серьезного редактора, который мог бы мне помочь, и поэтому обратился в издательство “Советский писатель”. Потом, задним числом, я узнал, что это было самое нелепое решение, какое я мог принять: в издательстве работал некто Лесючевский, в прошлом следователь ленинградского ГПУ, лично занимавшийся делом Бахтина. Зная, что Бахтин осужден за антисоветскую деятельность, Лесючевский в качестве директора издательства предпринял неслыханные усилия, чтобы остановить эту книгу. Но мне случилось его победить, несмотря на то, что я был еще очень молод. Это был целый роман, авантурный и карнавальным, и чтобы пересказать все перипетии, понадобится 6–7 часов. Был, например, такой эпизод: книга в очередной раз не идет, и в этот момент появляется довольно известный итальянский русист Витторио Страда, который был осужден как ревизионист, а до этого был коммунистом, считался другом Советского Союза. Он пожелал со мной встретиться. Он рассказал, что известное итальянское издательство собирается издать все лучшие книги о Достоевском. Меня вдруг осеняет: “Слушайте, Витторио, есть прекрасная книга Бахтина, издайте ее”. — “Как, мы издаем таких замечательных исследователей, как Шкловский, Гроссман...” — “Да это все жалкие потуги рядом с Бахтиным. Книга Бахтина — гениальная книга, конгениальная Достоевскому”. Он смотрит на меня, прошу прощения, как баран на новые ворота, явно мне не верит и ничего для издания этой книги делать не будет. Тогда я говорю: “Витторио, хорошо, оставим вопрос об издании. Но не могли бы вы оказать мне одну любезность, ни к чему вас не обязывающую: прислать в “Международную книгу” бумагу, что собираетесь издавать книгу Бахтина и просите обратиться ко мне, как к человеку, представляющему Бахтина в Москве, поскольку он живет в Мордовии, куда иностранцев не допускают”. И он присылают такое письмо. Я пробиваюсь на прием к директору “Международной книги”, то есть к заместителю министра внешней торговли, говорю ему: “Вы знаете, сложилась очень драматические обстоятельства: итальянское издательство хочет получить эту книгу, а нам было бы выгоднее, если бы она сначала вышла в Москве. О Бахтине давно забыли, он человек, не обладающий властью,



книга его лежит в издательстве “Советский писатель” и никак не идет, а в результате кончится тем, что в Италии она выйдет раньше, чем у нас, и будет повторение истории с Пастернаком.” Заместитель министра – к сожалению, не помню его фамилии – на моих глазах буквально затрепетал и стал у меня, почти мальчишки, спрашивать, что же делать. Я достал заранее заготовленную бумагу о том, что в связи с готовящимся выходом книги Бахтина в Италии “Международная книга” настоятельно рекомендует издательству немедленно выпустить книгу в свет в Москве, чтобы за границей она печаталась по советскому изданию – и предложил послать такое письмо на бланке “Международной книги” в “Советский писатель”. Он тут же вызывает секретаря, приказывает оформить письмо на бланке, и я добавляю: “Вы знаете, там все бездельники сидят в этом издательстве, вы пошлите письмо с курьером и чтобы курьер принес ответ”. После этого книга пошла в набор<sup>2</sup>.

Таких историй я могу рассказать десяток.

Потом только я понял, что книгу Бахтина издать было нельзя. И потому, что осужден он был не в 37-м году, а в 29-м, а таких людей никто особенно не реабилитировал. И потому, что книга откровенно немарксистская, и когда она вышла, кстати, тут же появились рецензии, обвиняющие издательство в том, что оно издало идеалистическую книгу о Достоевском, и т. д., и т. п. Но сам факт того, что я начал свою издательскую деятельность с такого крепкого орешка, привил мне некий азарт.

И как только мне в голову приходила идея издания той или иной книги, я шел в какое-нибудь издательство, предлагал, подчас это было трудно, бывало, что на это уходили целые годы, но книга, тем не менее, выходила.

Я очень дорожу, например, книгой “Поэты тютчевской плеяды”, вышедшей в 1982 году. Это сборник стихотворений Ф. Тютчева и еще шести поэтов, близких Тютчеву. Должен сказать, что до появления этой книги не существовало самого понятия “тютчевская плеяда”. Несколько литературоведов указывали, что после пушкинской плеяды были поэты тютчевской поры, как-то связанные с Тютчевым<sup>3</sup>. Издать такую книгу было непросто: мне сразу же начали говорить, что никакой такой плеяды нет, и лишь когда книга вышла, стало возможным убедиться, что шесть представленных поэтов (а в предисловии я указывал, что можно было опубликовать и два десятка имен) шли уже по другой, отличной от Пушкина дороге. При том, что до этого момента было издано около полутора десятков, если считать дореволюционные, сборников поэтов пушкинской плеяды, пушкинской поры, появление аналогичного тютчевского сборника было неожиданностью и многими не принималось. Кроме того, все вошедшие в сборник поэты, как и сам Тютчев, были тесно связаны с религиозной темой, и это тоже создавало затруднения.

Даже не ставя перед собой такой задачи, я принял очень удачное для данного случая решение: я пригласил оформить книгу известного графика Ю. Селиверстова, который давно связан с церковью, и он выполнил заставки к подборке каждого из поэтов, подчеркнул религиозный характер их творчества. Особенно интересна его заставка к Шевыреву, хотя и не достигавшему силы лучших тютчевских творений, но очень интересному поэту. Вот стихотворение Шевырева о поездке в Италию:

*Воздух скован теплотой,  
Крылья ветра непрохладны:  
Манят тени темнотой,  
Но и тени безотрадны.  
В тёплых рощах стрекоча,  
Надоела саранча;  
Зефир листьев не колышет;  
Всё чуть движется, чуть дышит;  
Мир уснул, оцепенел;  
Морит зной, но небо ясно,  
И не жди, чтоб дождь ненастно  
Над тобою прошумел.*

Среди стихотворений Шевырева есть знаменитое стихотворение о Соловецком монастыре<sup>4</sup>. При создании иллюстрации Селиверстов совершенно естественно обратился к старинной литографии с изображением основателей

монастыря преподобных Зосимы и Савватия, проплывающих на лодке мимо его стен. Издательство просто-таки взревело от подобной “пропаганды религии”. И Селиверстов, в свою очередь, твердо встал на своем, и сколько я его ни уговаривал отказаться от этой идеи, он отвечал мне, что не может совершить предательство по отношению к преподобным Зосиме и Савватию. В конце концов он пошел к своему духовнику, и тот, лукавый русский поп, сказал ему: “А что? Они, может, в данный момент за парус зашли...” И поскольку эта литография сейчас широко известна, а сюжет ее в рисунке Селиверстова сохранен, то так и вышло, что преподобные отцы просто зашли за парус, и поэтому их не видно... Излишне говорить, что из-за каждой иллюстрации в издательстве происходила такая же драка. После я сказал Селиверстову: “Извини, Юра, но ты мне очень помог. Из-за твоих иллюстраций никто не посмотрел, какие стихи печатаются”. Всем бросились в глаза картинки, и уже не хватало внимания на стихи, большинство из которых имели ярко выраженное религиозное содержание. Вот, например, стихотворение Вяземского, первое вспомнившееся:

*Иному жизнь — одна игрушка,  
Другому жизнь — тяжёлый крест:  
Скорбь и веселье, плач и хохот  
Доходят к нам из тех же мест.*

*А может быть, над этим смехом  
Есть отвержения печать;  
А может быть, под этим плачем  
Таится Божья благодать.*

Так что, если бы не иллюстрации Селиверстова, книги могло и не быть. А она все-таки вышла, и произвела хорошее впечатление на кого-то из властей предрежущих, после чего директор издательства дал распоряжение отпечатать второй тираж — сто тысяч, а потом добавил еще сто тысяч. Правда, должен признаться, что я их никогда не видел и не знаю, куда ушли эти двести тысяч тиража. Их словно засохшая пустыня впитала.

Я очень горжусь тем, что в 1976 году в издательстве “Советская Россия” издал книгу стихотворений Тютчева<sup>5</sup>. Я давно занимался его творчеством, и мне казалось, что многие стихотворения Тютчева печатаются с искажениями. Я хотел дать настоящие варианты, причем поступить честно и в примечаниях указать, что в других изданиях есть такие-то и такие-то отличия. Вот, например, очень известные строки Тютчева, которые многие годы печатались так:

*Блажен, кто посетил сей мир  
В его минуты роковые!  
Его призвали всеблагие  
Как собеседника на пир.*

Мне удалось установить, что в рукописи у Тютчева было: “Счастлив, кто посетил сей мир...” Кто-то из редакторов (видимо, Тургенев), исправил “счастлив” на “блажен”, посчитав неправильным ударение на втором слоге в слов “счастлив”. Между тем в начале XIX века употреблялись обе формы: “счастлѣв” и “сча́стлив”. Сейчас мы говорим “сча́стлив” — и, по-моему, потому, что так говорил Пушкин. А вот Тютчев говорил “счастлѣв”.

К тому же Тютчев, при его величайшей чуткости к слову, не мог в одном четверостишии употребить дважды слово с одним и тем же корнем: “блажен” и “благие”.

Но главное — мне хотелось издать эту книгу так, чтобы слово “Бог” стояло в ней с большой буквы. И это была первая книга после 1917 года, где слово “Бог” и все производные от него были напечатаны с большой буквы. Вот, например, одно очень короткое стихотворение:

*Всё отнял у меня казнящий Бог:  
Здоровье, силу воли, воздух, сон,  
Одну тебя при мне оставил Он,  
Чтоб я Ему ещё молиться мог.*

Здесь и “Бог”, и “Он”, и “Ему” напечатаны с большой буквы.

Но как это было возможно тогда, в 1976 году? (Солженицын, кстати, сказал, что он не вернется в эту страну, пока слово “КГБ” будет писаться с большой буквы, а “Бог” с маленькой.)

Мне пришлось беседовать с цензором. Не знаю, как сейчас, сейчас считается, что цензуры нет — я, правда, в этом не уверен, но в последнее время пока не сталкивался — а тогда в каждом издательстве сидел цензор. На меня очень долго давил редактор, наконец убедил, и я явился пред очи женщины, ведавшей цензурой, и говорю ей: “Задача моя вовсе не в том, чтобы дразнить кого-то словом “Бог”, дело в том, что у Тютчева есть два стихотворения, в которых совершенно исказится смысл, если слово “Бог” написать с маленькой буквы. Это, во-первых, стихотворение “Неман” о вторжении Наполеона в Россию. В этом стихотворении слово “Бог” употребляется дважды:

*Один лишь раз по воле Бога,  
Ты супостата к ней впустил —  
И целость русского порога  
Ты тем навеки утвердил...  
.....  
И с высоты, как некий бог,  
Казалось, он парил над ними  
И двигал всем и всё стерёг  
Очами чудными своими...*

Во втором случае слово “бог” совершенно недопустимо писать с большой буквы, потому что оно употреблено в значении “идол”, именно как “некий бог” (разве мог Тютчев про Господа Бога Вседержителя сказать “некий?”). И я сказал этой женщине: “Разве можем мы напечатать слово “бог” одинаково в обоих местах и приравнять тем самым Богу Наполеона — врага и супостата? И второе искажение, еще более печальное, в стихотворении на смерть Пушкина:

*Из чьей руки свинец смертельный  
Поэту сердце растерзал?  
Кто сей божественный фиал  
Разрушил, как сосуд скудельный?  
Будь прав или виновен он  
Пред нашей правдою земною,  
Навек он Высшею рукою  
В цареубийцы заклеимён.  
.....  
Вражду твою пусть Тот рассудит,  
Кто слышит пролитую кровь...  
Тебя ж, как первую любовь,  
России сердце не забудет!..*

Если “Высший” не поставить, как полагается, с большой буквы, то что это за высшая рука — царя, что ли? А “Тот”, если написать его с маленькой буквы, Дантес? И представьте себе, эта женщина согласилась со мной и взяла на себя эту ответственность, а так как в двух стихотворениях было разрешено печатать слово “Бог” с большой буквы, то в остальных уже никто особо не придирался. И вот в 1976 году вышла книга, где впервые в истории советского книгоиздательства слово “Бог” было написано правильно. Причем правильно не в том, что все перед ним стоят на коленях, а в том, что он единственен, и если есть еще разные мелкие боги, то когда мы говорим о Боге христианском, то говорим об единственном существе.

И, если вернуться к тому, с чего я начал, мне хотелось поставить на свою полку книгу стихотворений Тютчева с верными последними вариантами тютчевских текстов и с правильной орфографией.

Сейчас много разговоров идет о том, чтобы устранить государственную монополию, преобразовать государственные издательства в кооперативные, частные и т. д. Моя практика (а я издал более сорока книг, еще пять находятся сейчас в производстве) заставляет усомниться в правильности такого под-

хода, и могу сослаться также на известного писателя Станислава Лема, равно широко печатавшегося и на Западе, и на Востоке. В интервью газете “Книжное обозрение”, отвечая на вопрос о состоянии книгоиздательского дела в капиталистических и социалистических странах, он ответил весьма определенно, что есть достоинства в капиталистической издательской системе, есть серьезные недостатки в социалистической, но если говорить о настоящей литературе, а не о развлекательном чтиве, то для нее гораздо лучше именно социалистические порядки.

Чем это можно аргументировать? Из тех, кто кричит сейчас о денационализации книгопечатания, многие просто не имеют представления о существовании проблемы. Мало кто знает, что практически все научные книги убыточны, и издаются они на Западе либо на деньги благотворительных фондов, либо на государственные средства. Например, все учебники в Америке выходят за государственный счет. Поскольку их нельзя сделать слишком дорогими, и к тому же они часто меняются, государство берет на себе эту обузу. И что самое любопытное – крупнейшие частные издательства на 30–40 процентов обеспечивают свою прибыль, выпуская учебники по государственным заказам. Многие ценнейшие книги, которыми гордится человечество, выходят на Западе только благодаря энтузиазму тех или иных бескорыстных людей. В Японии, например, вышло восьмитомное собрание сочинений М. М. Бахтина, и японский издатель с гордостью рассказывал мне, что оно было убыточным, но он рад тому, что сделал нужное, благородное дело. И я, многие годы издавая книги практически на голом энтузиазме, сейчас, после отмены института цензуры, твердо могу сказать, что при таких условиях государственная система книгоиздательства неизмеримо лучше частной. Я ни в коем случае не занимаюсь сейчас реабилитацией социализма или чего бы то ни было, я говорю лишь об этой конкретной проблеме.

За все годы моей работы никто никогда не ставил меня перед вопросом, окупится ли выпускаемая мною книга и кто будет ее покупать. И несмотря на это, все выпущенные мною книги – я очень горжусь – стали библиографической редкостью, хотя некоторые из них вышли тиражом по 200 тысяч, а тираж еще одной – сборника “Страницы современной лирики”, куда вошли стихи двенадцати лучших поэтов моего поколения, – в общей сложности составил 370 тысяч экземпляров. Я нарочно издал эту книгу в издательстве “Детская литература”. Правда, ряд стихотворений, примерно 30 из 300, пришлось снять, например, наиболее откровенные стихи о любви, поскольку книга была адресована юношеству. Но там действительно собраны лучшие творения поэтов, родившихся в тридцатые годы, и мне особенно лестно было то, что Московская патриархия рекомендовала эту книгу священникам в качестве высоко нравственного чтения. И разве не удивительно то, что в 80-м застойном году вышла книга, содержащая такое, например, стихотворение Глеба Горбовского:

*Возвращение в дом, под родное крыло —  
неизбывная тема российских поэтов.  
Возвращаюсь и я, оставляю седло.  
Натыкаюсь на серую руку соседа.  
Открываю ударом забитую дверь.  
Опускаюсь на тёмную лавку вдоль окон.  
Из-под печки доверчиво выбежал зверь, —  
здравствуй, добрая мышка, и ты одинока?  
С голосистым ведёрком иду за водой,  
раздуваю живительный жар в самоваре...  
На стене фотография: дед молодой,  
молодой, принаряженный дедушка-парень.  
...На кого он похож? На царя? На меня?  
Где мы с ним разминулись  
среди белого дня?<sup>6</sup>*

Или стихотворение Василия Казанцева, которым русская поэзия, можно сказать, откликнулась на вторжение в Чехословакию в 68-м году.

*Как по деревне танки шли!  
Как клацали, как грохотали  
Плывущие поверх земли  
Зазубренные глыбы стали.*

*Они не шли во весь опор —  
Им узкий коридор был тесен.  
Но как могуч был их напор,  
Как непреклонен, как железен.*

*Ровня жёсткие строи  
В сгущающемся напряженье,  
Шли не чужие, шли свои.  
И не на битву — на ученье.*

*Избушки, сбившиеся в ряд  
Пред медленным железным рядом,  
Пугливо сжались. Дрогнул взгляд  
Под медленным железным взглядом.*

*К земле прирос... Ну что же вы,  
Как виноватые стоите,  
Поднять не смея головы?  
Кричите же “ура”, кричите!*

У меня много друзей в Чехословакии, но после 68-го года я ни разу там не был, мне не хочется там бывать, хотя хочется, чтобы это стихотворение они знали. Оно написано тогда же, в 68-м, хотя датировано 1967 годом, чтобы пройти цензуру.

Или впервые опубликованное стихотворение Станислава Куняева о том, как арестовали его мать. Герой стихотворения, десятилетний ребенок, не понимает происходящего, и его больше всего восхищают “кони НКВД”, мощные кони, увозящие мать. “Кони НКВД” напечатать было нельзя, и я заменил их на “кони страны НИГДЕ”, так что многие могли догадаться, о чем идет речь.

*Мчатся кони НКВД.  
Воет вьюга в тылу глубоко,  
плачут вдовы в селе убогом...  
Где же было всё это? Где?  
Погрохатывает война  
за далёкими за лесами,  
по дороге несутся сани,  
мутно небо и ночь мутна.*

Здесь поэт замечательно использовал строчку из пушкинских “Бесов”, обозначив все это время.

И этой книги, несмотря на трехсоттысячный тираж, я не видел в магазинах. Не могу не сказать еще об одной книге, которую считаю очень ценной. Это выпущенный в прошлом году с большой помощью Евгения Ивановича Осетрова выпуск “Альманаха библиофила” под названием “Тысячелетие русской письменной культуры”<sup>7</sup>. Выпуск в основном посвящен великому памятнику древнерусской литературы “Слову о законе и благодати” митрополита Илариона. Оно было создано на полтора века раньше “Слова о полку Игореве”, и если уступает по своей художественной силе, то по глубине и высоте мысли, несомненно, превосходит. Поразительно то, что в последний раз это творение было издано в 1844 году. После этого и до выхода “Альманаха библиофила” было лишь два ротاپринтных издания и публикация в “Богословских трудах”, недоступные для широкого читателя. И вот с огромными трудностями мы выпустили “Слово о законе и благодати” пятидесятитысячным тиражом, в ярком переводе<sup>8</sup> — произведение, которому в прошлом году исполнилось 940 лет, из которого, как из зерна, выросла вся русская литература: здесь можно найти и мотивы Пушкина, и мотивы Достоевского, и мотивы Блока.

Текст сопровождается комментариями и таких известных ученых, как Д. С. Лихачев, и совсем молодых исследователей<sup>9</sup>. В отличие от других выпусков “Альманаха библиофила”, этот том не залежался на прилавках, его можно было выпустить даже двухсоттысячным тиражом. Впрочем, издательство “Художественная литература” начинает сейчас выпуск довольно необычной серии под названием “Логос” (т. е. “Слово”), куда войдут произведения художественно-философской литературы. Сейчас готовятся к изданию первые две книги: творения великого византийского философа и богослова Иоанна Златоуста и “Словеса святых пророков” — книга, содержание которой поясняет ее подзаголовок: “Русская философско-художественная литература домонгольской эпохи” (т. е. до середины XIII в.). Естественно, там будет перепечатано и “Слово о законе и благодати”. Но и помимо него, как ни странно, от этой эпохи нам досталось богатое наследие: объем книги составит около 30 авторских листов. Причем ни одно из произведений, которые я готовлю к изданию в этой книге, не вошло в 12-томную серию “Памятники литературы Древней Руси” того же издательства. А среди них такие шедевры, как “Толковая Палея”, “Словеса святых пророков”, давшее название всей книге, “Житие святого Кирилла”, издававшееся ранее, но очень маленьким тиражом<sup>10</sup>.

Еще одна книга, которую мы готовили с Евгением Ивановичем, а также с молодым, но уже известным писателем П. Паламарчуком, сборник статей о Гоголе, является своего рода переломной книгой: в ней впервые опровергается одностороннее и искаженное представление о Гоголе как о чистом сатирике. Причем впервые не за годы господства догматического марксизма, а за всю историю гоголеведения.

Белинский по прочтении “Мертвых душ” написал: “Нельзя ошибочнее смотреть на “Мертвые души” и грубее их понимать, как видя в них сатиру”. Но потом, не желая согласиться со статьей славянофила К. Аксакова, начал писать нечто другое. В письме своему другу и ученику Кавелину он признавался, что кривит душой: “Вы правильно говорите о том, что Гоголь не сатирик, но лучше об этом умолчать”. Видимо, некая политическая идея увлекла его настолько, что он готов был пожертвовать объективностью. Целый ряд статей в нашей книге раскрывают истинную природу творчества Гоголя, отличающуюся ренессансной полнотой, когда сатира присутствует лишь как одна из стихий, рядом с которой обязательно есть нечто противоположное. Гоголь беспощаден как сатирик, но вместе с тем он превосходит всех русских писателей по своей апофеозности: вспомним лирические отступления в “Мертвых душах” — о тройке, о русской песне — более одического стиля вы не найдете нигде. Гоголь дает пример самого органического соединения сатиры и оды, и если представлять его лишь как сатирика, все распадается.

Книга вышла в 85-м году, но готовилась в застойные годы, и издательство все-таки заставило включить туда статьи, содержащие именно такой подход. Иначе книги просто не было бы. Более того: пришлось снять одну из лучших работ — статью П. Паламарчука. Получилось как в известной русской сказке о том, как солдат варил суп из топора: топор как раз и не уварился. Статья Паламарчука вышла за границей, скоро она будет опубликована и у нас в его авторской книжке<sup>11</sup>.

Тем не менее сборник получился очень интересный. Сейчас мы готовим второй подобный ему сборник статей о Гоголе. В нем мы стараемся идти дальше: опять-таки впервые, например, открыто говорится об “Избранных местах из переписки с друзьями” как о вершине творчества Гоголя<sup>12</sup>.

Самый знаменитый специалист и единственный вершитель гоголевской судьбы, покойный академик Михаил Борисович Храпченко сказал: “Ну что же, издали. Я ее буду критиковать. Будьте мне за это благодарны, потому что в другое время вас за это наверняка бы арестовали”.

Раз уж мы вспомнили Храпченко, то хотелось бы привести еще и такой случай: однажды он опубликовал статью, в которой выступил в том смысле, что мы ценим, конечно, прелестные стихи Фета, но кому сейчас придет в голову публиковать его монархические мемуары? Я разозлился и издал в Воронеже (потому что в Москве был Храпченко) избранные места из мемуаров Фета, не издававшихся до этого около ста лет, интересные не только в качестве новой информации о большом поэте, но и как изумительно написанная проза. Это было в семьдесят восьмом году<sup>13</sup>.

Причем моя задача заключалась не только в том, чтобы напечатать мемуары. Дело в том, что в свое время Фет был безобразно отредактирован Тур-

геневым и так всегда и издавался. Я не хотел бы сказать, что плохо отношусь к Тургеневу, но была у него такая странная страсть — редактировать поэтов. Я уже говорил в этой связи о Тютчеве — подлинный Тютчев стал нам доступен не более полувека назад. А что касается Фета, то мое воронежское издание, включившее лучшие стихи, стало первым, в котором отсутствовала тургеневская редакция. Почему Фет соглашался с правкой? До нас дошли его слова, написанные по выходе очередного его сборника под редакцией Тургенева: “Счастлив художник, способный исправлять свои произведения согласно указаниям знатоков. Но и тут есть известные границы и опасности. Вот что называется написать картину. Это случалось даже с изданиями Тютчева, где алмазные стихи заменены сразу же”. Тут Фет имеет в виду именно тургеневскую правку. А о своей книжке он сказал так: “Издание под редакцией Тургенева вышло настолько же очищенным, насколько изуверченным”. Слово “очищенным” употреблено здесь явно в ироническом смысле, потому что Тургенев всё время повторял, что он “очищает” от каких-то “грехов” стихи Фета.

Приведу один пример. Вот знаменитое фетовское стихотворение в восстановленной авторской редакции:

### ДАЛЬ

*Облаком волнистым  
Прах встаёт вдали;  
Конный или пеший —  
Не видать в пыли!*

*Вижу: кто-то скачет  
На лихом коне.  
Друг мой, друг далёкий,  
Вспомни обо мне!*

Тургенев внес в него всего две поправки: снял название и заменил одно слово. Убрав название “Даль”, представавшее как категория человеческого мироощущения, он лишил стихотворение внутреннего философского настроения, превратил в прелестный этюдик. А архаическое слово “прах” из-за нелюбви к любой архаике заменил словом “пыль”: каждому должно быть понятно, как ужасно и ничем не оправдано повторение слова пыль в двух соседних строках, и как сильно чисто фонетически проигрывает “пыль” перед словом-взрывом “прах”, и насколько разные рисуются картины...

После Воронежа я издал эту же книгу в издательстве “Современник”<sup>14</sup>, сделав еще одну важную вещь. Дело в том, что у нас установилась традиция печатать лишь те портреты некоторых писателей, где они запечатлены в состоянии агонии. Чехов, например, богатырского роста, огромной физической силы, и, между прочим, несмотря на близорукость, до последних лет не носил ни очков, ни пенсне. Тем не менее он вошел в сознание людей, как полумертвый человек в последней стадии туберкулеза. И Фет в большинстве изданий изображен в ту пору, когда его стали одолевать тяжелые недуги, в частности, тяжелейшая болезнь глаз. А между тем он был самым красивым из русских поэтов. И когда смотришь на этого разжиревшего (от того, что он не мог ходить), с распухшими веками человека, трудно поверить, что он мог писать такие прекрасные стихи, что у него могла быть трагическая любовь, из-за которой женщина, которая не могла с ним соединиться, покончила с собой<sup>15</sup>. Книга издательства “Современник” вышла с портретом Фета — тридцатипятилетнего красавца-офицера.

Кстати, в ходе работы над этой книгой я запросил своего знакомого западногерманского русиста, и мне прислали точнейшие данные из кронштадтского архива, касающиеся происхождения Фета. Эти данные приведены в книге, и теперь ясно, что, несмотря на все сплетни и легенды, он был сыном Шеншина. Шеншин, как ясно из его фамилии, был татарин по происхождению, и в нашем портрете Фета явственно проступают татарские черты. Так что Фет не был сыном Иоганна Фёта, хотя, если бы он был им, как следует из присланных мне материалов, то был бы сводным братом супруге Александра II и двоюродным дедушкой супруге Николая II Александре Федоровне, по-

сколькo немецкий чиновник Иоганн Фёт был побочным сыном герцога Дармштадтского<sup>16</sup>.

Что касается современных авторов, то книжка Рубцова, изданная мной, была не первой, но все предыдущие казались мне недостойными памяти поэта. Эта книжка вышла довольно большим тиражом — 150 тыс. экз. и в престижной серии “Поэтическая Россия”<sup>17</sup>, и была первой, составленной с текстологической точки зрения: например, были восстановлены многие цензурные изъятия<sup>18</sup>. Я издал первое “Избранное” Алексея Прасолова<sup>19</sup>, к сожалению, до сих пор малоизвестного, но являющегося одним из крупнейших русских поэтов шестидесятых годов. При жизни у него вышло несколько маленьких книжек, но после его самоубийства на него был наложен запрет, так как он оставил записку, которую истолковали политически: “Не могу разорвать ложь, не могу дальше жить во лжи”. На самом деле политического смысла записка не содержала, но книжку я издал с огромным трудом, и, кажется, лишь благодаря тому, что тогдашний председатель Госкомиздата Стукалин когда-то работал в районной газете в городке Россошь, где родился и вырос Прасолов, и первым опубликовал в этой газете стихи молодого поэта в 1949 году. Я узнал об этом, пробился к нему на прием, и только после этого книга пошла.

Сейчас в издательстве “Детская литература” я готовлю сборник “Русские писатели о Родине”<sup>20</sup>. Тираж предполагается очень большой — 300 тысяч экземпляров. Последний подобный сборник, на мой взгляд, очень плохой, вышел в 1942 году. Наш сборник преследует четко обозначенную цель: наряду с патриотически-апофеозными высказываниями дать всю национальную самокритику, столь присущую лучшим русским писателям от Пушкина до Шукшина. Вот, например, Пушкин: “Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом”. Есть также самые резкие высказывания Достоевского о русском характере. Только вялая, слабая любовь к Родине боится жестких слов. Я уверен, что человек сказавший “черт меня догадал родиться в России с умом и талантом”, никогда ей не изменит.

Следующая книга, которая пополнит эту серию, — “Русские мыслители о Родине”. Она будет составлена из высказываний пятидесяти русских мыслителей, многие из которых совершенно забыты. В нашей нынешней эйфории мы бросились печатать всех, кого раньше печатать было нельзя, что и является зачастую единственным критерием. Но ведь есть определенная иерархия: никому не придет, наверное, в голову ставить в один ряд Бунина и Арцибашева. Но зато нередко можно увидеть через запятую написанные фамилии С. Булгакова и Д. Мережковского. Мережковский как мыслитель был вполне заурядной личностью, хотя, нужно отдать ему должное, трудолюбивым и образованным человеком. Но философ — это тот, кто говорит что-то, а не о чем-то. То же самое касается Розанова и Бердяева. Розанов был по-своему противоречив, по-своему амбивалентен, но, как прекрасно выразился его биограф Голлербах, Розанов был не двуличен — он был двулик. А Бердяев был просто не уверенный ни в чем (даже в том, что он сам говорил) человек, у которого можно найти самые противоположные, самые несовместимые друг с другом высказывания. Допустим, выражая в “Философии неравенства” некоторые симпатии к фашизму, он в то же время мог говорить, что если уж выбирать между фашизмом и коммунизмом, то коммунизм лучше. Или его знаменитое, лично мне непонятно почему, рассуждение о том, что III Интернационал — это продолжение идеи Третьего Рима. Кроме часто встречающейся цифры три, между ними нет ничего общего. Идея Третьего Рима, которая не была, между прочим, взята на вооружение ни одним из русских царей, — это идея изоляционистская, подразумевающая отмежевание от впадших в грех народов, начиная с греков, подчинившихся туркам, исключаящую какую бы то ни было экспансию, поскольку выйти за пределы своей страны означало оскорбиться. А идея III Интернационала — прежде всего экспансионистская идея, имеющая конечной целью мировую революцию. Более нелепого сопоставления трудно было придумать, но Бердяев ухитрился целую книгу на нем построить.

При этом есть русские мыслители, которые сейчас совершенно забыты, а между тем, может быть, именно они в данный момент нам особенно нужны. Например, такие, как Платонов, или Величко, чья книга “Русское дело на Кавказе”, вышла сейчас, но не в Москве, а... в Баку. Эта книга, написанная еще в прошлом веке, находит пути разрешения кавказского конфликта.



Мне хотелось бы, чтобы сборник “Русские мыслители о Родине” был, если угодно, антимодным, чтобы вместо того, что уже навязло в зубах, прозвучали гораздо более серьезные и глубокие вещи.

С молодым поэтом Михаилом Грозовским мы подготовили интересную, на мой взгляд, антологию “Гордость и горечь”, включившую стихи о войне, написанные за последние двадцать лет<sup>21</sup>. Эти стихи не получили широкой известности, но многие из них гораздо правдивее, подчас даже натуралистичнее, и гораздо глубже говорят о той страшной войне, чем многие, ставшие знаменитыми и хрестоматийными, написанные в первые годы после Победы. Кроме того, в книгу вошли и стихи об афганской войне.

И последняя книга, о которой я хочу сказать и которая мне особенно дорога, — “Вершины русской лирики XIX века”, запущенная в производство в издательстве “Современник”<sup>22</sup>. Эта книга проходила труднее всех. Заявку на нее я подал восемь лет назад. Три раза издательство отвергало ее по самым разным соображениям. Например, мне передают мнение директора: нужно включить стихотворение Пушкина “Деревня”. Я отвечаю: конечно, не включу. Юношеское, написанное в девятнадцать лет, жалкое либеральное стихотворение, где Пушкин мечтает только о том, чтобы рабство упало по манию царя — зачем его включать в антологию вершин русской лирики?

Казалось бы: классика — и лишь в прошлом году дело сдвинулось с мертвой точки. Может быть, в чем-то эти люди были правы. В книгу включены стихи всего лишь семи поэтов, и я старался как можно более убедительно показать, что только семь поэтов XIX века были подлинно великими, если вкладывать в понятие величия глубину и мощь поэтического смысла и совершенства. Например, такие поэты, как Ф. Глинка или К. Случевский, обладая невероятной поэтической мощью, не сумели воплотить ее в совершенном, чеканном виде — стихи их несовершенны. А с другой стороны, были поэты, чьи стихи обладают поэтическим совершенством, но не несут в себе той мощи (Полонский, Апухтин).

В результате в сборнике оказалось только семь поэтов, но самое интересное, что стихи-то вошли не те. За годы работы над книгой я проверял и перепроверял себя на многих людях, на поэтах, на литературоведах, и убедился в том, что никто из великих русских поэтов, за исключением Лермонтова, в своих высших, самых зрелых творениях нам не известен.

Я прочту несколько стихотворений из этой книги.

*Как с древа сорвался предатель ученик,  
Дьявол прилетел, к лицу его приник,  
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной  
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...  
Там бесы, радуясь и плеща, на рога  
Приняли с хохотом всемирного врага  
И шумно понесли к проклятому владыке,  
И Сатана, привстав, с веселием на лице  
Лобзанием своим насквозь прожѣг уста,  
В предательскую ночь лобзавшие Христа.*

Или другое стихотворение, о любви.

*Её глаза то меркнут, то блистают,  
Как на небе мерцающие звёзды;  
Дыханья нет из уст её, но сколь  
Пронзительно сих влажных синих уст  
Прохладное лобзанье без дыханья.  
Томительно и сладко: в летний зной  
Холодный мёд не столько сладок жажде...  
Когда она игривыми перстами  
Кудрей моих касается, тогда  
Мгновенный хлад, как ужас, пробегаёт  
Мне голову, и сердце громко бьётся,  
Томительно любовью замирая.  
И в этот миг я рад оставить жизнь,*

*Хочу стонать и пить её лобзанье.  
А речь её... Какие звуки могут  
Сравниться с ней — младенца первый лепет,  
Журчанье вод, иль майский шум небес,  
Иль звонкие Бояна Славьи гусли.*

Из десятков писателей, поэтов и литературоведов, которым я читал эти стихи, большинство не знали шедевры, написанные Пушкиным в зрелые годы. Люди знают в основном его стихи, написанные до 1826 года, тогда как Пушкин действительно великим поэтом стал именно к концу двадцатых годов.

Но с самой неожиданной стороны предстает в антологии Некрасов. Однажды я дарил свою книгу бесконечно мною уважаемому Олегу Васильевичу Волкову, и он просматривая ее, вдруг воскликнул: “Как?! Вы пишете о Некрасове? Ведь это же посредственный поэт!” Я даже задохнулся... Но не стал ругаться: человек, 27 лет проведший в лагерях и тюрьмах, действительно мог не иметь времени читать Некрасова. Некрасов – замечательный поэт, но совсем не тот, каким его преподают в школе. Некрасов – самый религиозный и самый христианский русский поэт. Кроме того, он самый пророческий поэт: то, что он писал о крестьянстве, относилось к крестьянству не 70–80-х годов прошлого века, а 20–36 годов нынешнего. Некрасов, прошу прощения за резкость, писал много халтуры: ему надо было заполнять журнал, выполнять “социальный заказ”. Но были у него творения, созданные наедине с собой и Богом, никому не известные, но ставящие его в ряд величайших русских поэтов.

1990

---

<sup>1</sup> Историю своего открытия трудов М. М. Бахтина и своей борьбы за издание его книг В. В. Кожин описал в следующих статьях и беседах: “Так это было...”. Беседа П. Акимов с В. Кожинным (Дон, 1988, № 10); “Как пишут труды, или Происхождение несозданного авантюрного романа” (Вадим Кожин рассказывает о судьбе и личности М. М. Бахтина). (Диалог. Карнавал. Хронотоп. – Витебск, 1992, № 1. Беседа Н. Панькова с В. Кожинным); “Бахтин и его читатели. Размышления и отчасти воспоминания” (Диалог. Карнавал. Хронотоп. – Витебск, № 2-3, 1993); Об одном “обстоятельстве” жизни М. М. Бахтина (Диалог. Карнавал. Хронотоп. – Витебск, 1995, № 1); “Куда девалась рукопись М. М. Бахтина?” (Москва, № 10, 1997)

<sup>2</sup> Л. А. Шубин был “отодвинут” от редактирования книги М. М. Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского”, о чём сам Кожин написал М. М. Бахтину в письме от 11.10.1963: “Очень благодарил Вас Л. А. Шубин. Вы, быть может, не представляете, как много он сделал для “проталкивания” книги. Он так воевал, что, в конце концов, его отставили от её редактирования и решили взять редактора со стороны...” В результате редактором книги стал С. Г. Бочаров. Об этой истории, а также об истории взаимоотношений Вадима Кожина с Витторио Страда – см. также: Н. А. Паньков. “В поисках утраченного времени”. М. М. Бахтин и В. В. Кожин на фоне 1960-х... (Диалог. Карнавал. Хронотоп. – Витебск, 2000, № 3-4).

<sup>3</sup> Шесть поэтов (кроме Тютчева), представленные в этой книге – Пётр Вяземский, Фёдор Глинка, Алексей Хомяков, Степан Шевырёв, Лукьян Якубович, Владимир Бенедиктов. Соавтором В. В. Кожина в составлении этой книги, автором примечаний и статей об отдельных поэтах была моя сокурсница на филологическом факультете МГУ Елена Владимировна Кузнецова (Воропаева), к сожалению, рано ушедшая из жизни. В последние годы она занималась изучением творчества Бориса Зайцева.

<sup>4</sup> Имеется в виду стихотворение С. П. Шевырёва “Соловецкая обитель”, написанное 7 июля 1854 года.

<sup>5</sup> Имеется в виду книга: Ф. Тютчев. Стихотворения. М., “Советская Россия”, 1976.

<sup>6</sup> Это стихотворение Г. Я. Горбовского печаталось в его книгах “Тишина” (Л., 1968) и “Монолог” (М., 1975) без последнего двустишия.

<sup>7</sup> Е. И. Осетров был главным редактором периодически издававшегося “Альманаха библиофила”. Речь идёт о 26-м выпуске альманаха, составителями которого были В. В. Кожин и П. Г. Горелов.

- <sup>8</sup> “Слово о законе и благодати” митрополита Илариона было опубликовано (параллельно с древнерусским текстом памятника) в переводе Виктора Дерягина с комментариями Виктора Дерягина и Алексея Светозарского.
- <sup>9</sup> Публикацию “Слова о законе и благодати” предваряли статьи Вадима Кожинова (“Творчество Илариона и историческая реальность его эпохи”), Дмитрия Лихачёва (“Слово о законе и благодати” Илариона), Гелиана Прохорова (“Прошлое и вечность в культуре Киевской Руси”), Вилены Горского (“Образ истории в “Слове о законе и благодати”), Анатолия Макарова (“Нравственные воззрения Илариона Киевского”), Николая Розова (“Иларион и первые русские летописи”), Владимира Колесова (“Умное слово в “Слове” Илариона Киевского”), Владимира Милькова (“Слово о законе и благодати” Илариона и теория “казней божих”), а также Николая Кормина, Татьяны Любимовой и Натальи Пилюгиной (“Характер философского мышления Илариона в “Слове о законе и благодати”).
- <sup>10</sup> Эти издания не были осуществлены.
- <sup>11</sup> В сборнике “Гоголь: история и современность” (М., “Советская Россия”, 1985) была опубликована статья П. Г. Паламарчука “Список уцелевших от сожжения рукописей Гоголя”. Работа “Ключ к Гоголю” вышла в Лондоне в 1985 году под псевдонимом “В. Д. Носов”. В России она была издана в 2009 году (СПб, “Астрель”).
- <sup>12</sup> Это издание не осуществилось.
- <sup>13</sup> А. А. Фет. “Ранние годы моей жизни” (Фрагменты из воспоминаний А. А. Фета): А. А. Фет. Стихотворения (Воронеж, 1978).
- <sup>14</sup> А. А. Фет. Стихотворения. М., “Современник”, 1981.
- <sup>15</sup> В примечаниях к мемуарам А. А. Фета сам В. В. Кожинов опровергал версию о “самоубийстве” Марии Лазич: “Во многих работах о Фете бездоказательно утверждается, что гибель Марии Лазич была не трагической случайностью, а самоубийством или “замаскированным самоубийством”. Правда, версия эта даётся в плане предположения (“возможно”, “некоторые считали” и т. п.), но тем не менее она утвердилась в сознании многих читателей. Между тем никаких реальных оснований для этой версии нет. Она возникла исключительно “на почве” тех традиционных “обвинений”, которые предъявляются Фету, и – в не меньшей мере – на основе собственных беспощадных приговоров самому себе в ряде стихотворений, связанных с Марией Лазич... Сплетня о самоубийстве (иначе трудно квалифицировать разбираемую версию) совершенно рассыпается, если вдуматься в подробности гибели Марии Лазич, переданные Фетом со слов близкого друга семьи Лазич (следует учитывать, что к моменту создания книги Фета были живы многие свидетели драмы, которые могли выступить с опровержениями)”.
- <sup>16</sup> Об этом см. страницы из предисловия В. В. Кожинова к упоминаемой книге – “... Просиял над целым мирозданьем” (стр. 11–14).
- <sup>17</sup> Ошибка памяти. Сборник стихотворений Николая Рубцова вышел в 1983 году в серии “Сельская библиотека Нечерноземья”.
- <sup>18</sup> В частности, это касается стихотворений “Грани”, “Прощальная песня”, “В старом парке”.
- <sup>19</sup> Алексей Прасолов. Стихотворения. Составители Вадим Кожинов и Инна Ростовцева. М., “Советская Россия”, 1983.
- <sup>20</sup> Это издание, как и следующее, не осуществилось.
- <sup>21</sup> Гордость и горечь (Стихи 1970–1980-х о Великой Отечественной войне). М., “Советская Россия”, 1990.
- <sup>22</sup> Эта книга вышла в издательстве “Эксмо-пресс” лишь в 1999 году тиражом 7000 экземпляров. В книгу вошли подборки стихотворений А. Пушкина, Е. Боратынского, Ф. Тютчева, А. Кольцова, М. Лермонтова, А. Фета, Н. Некрасова.

### О круге чтения последних лет

В своих читательских интересах я сегодня вряд ли оригинален: в центре моего внимания, как и у многих – вероятно, сотен тысяч или даже миллионов читателей, – книги и статьи об отечественной истории.

Говорить обо всем, что в последнее время прочитано, читается и, возможно, будет читаться – немыслимо. Скажу лишь об одной части читанных и читаемых книг – книгах о первых веках (VIII–XI вв.) отечественной истории. В определенном смысле знание и понимание начала наиболее важно, ибо

в нем, как в зерне, как в семени содержится все последующее. В те или иные эпохи развития России (скажем, в периоды стабильного бытия, или, напротив, в периоды резких сдвигов) на первый план выступают отдельные стороны ее целостной природы. Но в начале истории (как это показывает изучение любого развивающегося организма) можно как бы сразу всмотреться во все многообразные черты страны – пусть и в их неразвернутом до конца виде. И я встречал за последнее время немало людей – притом, самых различных и по своей профессии, и по духовному складу, – которых более всего интересовало именно начало отечественной истории.

Большинство из них вчитывается в первые тома Карамзина, Соловьева и Ключевского – благо, эти тома, хотя и с немалыми трудностями, все же удается сегодня “достать”. И это, конечно, полезные или даже необходимые книги.

Но нельзя не напомнить, что самой “новой” из этих книг – первому тому курса Ключевского – исполнилось уже около девяноста лет. А изучение русской истории, несмотря на тяжелейшие для этого дела 1920–1950-е годы, продолжалось. И многие историки занимались этим делом без всякого расчета на публикацию своих трудов, занимались в ссылках, в эмиграции и даже в ГУЛаге! Можно бы назвать десятки имен настоящих подвижников исторической науки.

И современный образ первых веков отечественной истории (хотя он, конечно, так или иначе вобрал в себя то, что воплощено в курсах Карамзина, Соловьева, Ключевского и других историков XIX – начала XX вв.) предстает существенно иным и, в частности, более многогранным и сложным.

Назову три книги: Л. Н. Гумилев. Древняя Русь и Великая степь. М., “Мысль”, 1989; А. Г. Кузьмин. Падение Перуна. Становление христианства на Руси. М., “Молодая гвардия”, 1988 (книгу по-своему подготовило предшествующее скрупулезное исследование А. Г. Кузьмина – Начальные этапы древнерусского летописания. М., изд-во МГУ, 1977); Д. А. Мачинский. О месте Северной Руси в процессе сложения Древнерусского государства и европейской культурной общности.

Правда, книга Д. А. Мачинского еще не стала книгой в прямом смысле слова. Я привел название одной из десятка замечательных статей этого историка, опубликованных в 1980-х годах, – опубликованных, к сожалению, в очень малотиражных сборниках (см., например, сб.: Формирование раннефеодальных славянских народностей. М., “Наука”, 1981; Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Л., Изд-во ЛГУ, 1984; Археологические исследования новгородской земли. Л., Изд-во ЛГУ, 1984; Материалы к этнической истории Северо-Востока. Сыктывкар, 1985; Русский Север. Л., “Наука”, 1986; Балканы в контексте Средиземноморья. М., “Наука”, 1986; Археологический сборник. 29. Л., “Искусство”, 1988; Культура Русского Севера. Л., “Наука”, 1988 и др.). Но я полагаю, что книга Д. А. Мачинского должна быть и будет издана<sup>1</sup>.

Итак, три книги, посвященные первым векам отечественной истории (правда, рамки обширного – почти полсотни авторских листов – трактата Л. Н. Гумилева шире: “действие” в нем доведено до середины XV века). Они очень разные, эти книги. И известно, например, что А. Г. Кузьмин крайне критически относится к трудам Л. Н. Гумилева (хотя последний не раз сочувственно ссылается на работы А. Г. Кузьмина)<sup>2</sup>, а вся работа Д. А. Мачинского движется в особенном русле, где историография нераздельно сплетена с археологией.

Должен признаться, что сам я не разделяю многих общих методологических идей Л. Н. Гумилева, а также не согласен и со множеством отдельных его суждений и выводов. Но тем не менее я убежден, что долгожданное издание его книги (она была закончена почти десять лет назад и мне посчастливилось тогда же познакомиться с ней в рукописи) – настоящее событие. Его книга принадлежит к тем очень и очень немногим книгам, где история Руси, во-первых, предстает как история страны, которая с самого начала была многонациональной, а во-вторых, история эта раскрывается в контексте, в неразрывном единстве с историей всего мира (не считая, понятно, еще не открытого в изучаемую эпоху Нового Света).

Повторю еще раз: я вполне понимаю тех историков, которые не согласны с “биологически-космической” методологией Л. Н. Гумилева. Но методология

вообще очень “изменчивая” вещь. Были времена, когда историки целиком объясняли движение событий чисто личными желаниями царей и полководцев, или сменой общественных настроений, или же, напротив, самодовлеющим движением экономики и т. д. Однако мы, так сказать, отнюдь не перечеркиваем яркие и содержательные панорамы движения истории, созданные исследователями, опиравшимися на столь односторонние принципы.

И для меня истинная ценность книги Л. Н. Гумилева заключена не в ее, так сказать, методологической схеме, но в богатом конкретном образе исторического движения Руси в громадном мире, простирающемся от Испании до Китая и от Арктики до Индийского океана.

Можно (да и нужно) оспаривать те или иные черты созданного Л. Н. Гумилевым образа, но исключительно важно, что он есть, что нам представлен этот образ. Уверен, что во множестве читателей он пробудит гжучий и глубокий интерес к отечественной истории.

1990

---

<sup>1</sup> Отдельной книгой работы Д. А. Мачинского не издавались.

<sup>2</sup> См., например, полемику Л. Н. Гумилёва и А. Г. Кузьмина: А. Кузьмин. “Пропеллер пассионарности, или Теория приватизации истории” (“Молодая гвардия” № 9, 1991). Л. Гумилёв. Что-то с памятью... (“День” № 1, 1992).

### **Письмо Вадима Кожина Николаю Бельчикову**

15.12.65

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Фёдорович!

Примите сердечную благодарность за Ваше доброе письмо и очень ценный для меня подарок! Вся семья Владимира Владимировича присоединяет чувство глубокой признательности Вам за Ваше сочувствие горю, которое является и Вашим личным – горем первого учителя Владимира Владимировича<sup>1</sup>.

Хочу сообщить Вам, что в тот самый день, 18 ноября, через 2 часа после смерти Владимира Владимировича родилась его внучка (то есть моя дочь) Александра. Он словно передал ей жизнь... Он умер, возвратившись из родительного дома, куда он ездил узнать о состоянии дочери (я отвёз её туда в час дня, в 5 часов Владимир Владимирович вернулся оттуда, почувствовал себя плохо и через 10 минут был уже мёртв – скорая помощь прибыла слишком поздно).

Так странно складывается иногда жизнь... Но что же делать? Надо думать о той, которой он передал жизнь.

С большим интересом изучил книгу, посвящённую Вашей деятельности<sup>2</sup>. Мне были хорошо известны только основные Ваши работы, и я открыл для себя немало нового. В частности, меня очень заинтересовали работы “Тургенев и Вяземский”, “Достоевский и Тютчев”, “Приёмы изучения частных фондов”, и почему-то совсем не известная мне вышедшая под Вашей редакцией книга “Иностранные писатели о русской литературе” (Почему она описана по корректуре? Может быть, она просто не вышла в свет? Было бы очень жаль<sup>3</sup>.)

Ваша работа в целом сейчас особенно важна для меня в связи с тем, что я в ближайшее время, так сказать, меняю профессию. От теории литературы, которой я занимался более десяти лет, я перехожу к истории литературы в самом строгом смысле слова. Думаю, что это вполне закономерно и правильно. Выработав какой-то взгляд на природу искусства слова, я теперь надеюсь более или менее серьёзно потрудиться над изучением истории русской литературы. Сейчас меня более всего интересуют тридцатые годы XIX века (т. е. 1826–1840). Это одна из самых великих эпох в истории нашей культуры – эпоха зрелого Пушкина, Баратынского<sup>4</sup>, Гоголя, Лермонтова, Языкова, первой (и, лучшей, на мой взгляд) “половины” Тютчева, Владимира Одоевского, Ивана Киреевского (“дославянофильского”), Вяземского, Чаадаева, молодых Хомякова, Шевырёва, Погодина, эпоха Полежаева, Кольцова и т. д. и т. п.

И при всём том — эпоха почти неизученная (я берусь хотя бы это доказать), эпоха, которую приходится изучать **прежде всего\*** по **архивным** материалам и затерянным в журналах и альманахах того времени публикациям.

Сейчас я приступаю к первой работе в этой области — “Проблема реализма в русской литературе (или даже шире — **культуре**) **тридцатых годов**”. Работа пишется для сборника, издающегося в ИМЛИ под ред(акцией) Н. Л. Степанова<sup>5</sup>.

Кроме того я пишу небольшую книжку популярного характера “Дочь Фёдора Толстого” — о забытой русской поэтессе Сарре Толстой, умершей в 1838 году, 17 лет отроду<sup>6</sup>. Белинский ставил её “Сочинения...”, изданные в 1839–40 гг. в один ряд со “Стихотворениями” Лермонтова... И в этом есть свой смысл. Я хочу **воскресить** — как призывал когда-то Н. Ф. Фёдоров — эту удивительную девушку.

Многое уже написано, но работа моя застопорилась из-за того, что я не могу найти ряда архивных материалов.

И вот в этой связи я осмеливаюсь обратиться к Вам за помощью. Не подумайте, что я делаю это, пользуясь прежде всего Вашим добрым ко мне отношением. Я обращаюсь к Вам как к крупнейшему авторитету в области архивного дела и источниковедения. К тому же, поверьте, я несколько не буду обижен, если Вы не сможете уделить времени для моего дела, ибо Ваша занятость и Ваш возраст могут просто помешать Вам им заняться.

Итак, дело заключается в следующем. Мне необходимы любые архивные материалы, связанные с жизнью и деятельностью графа **Фёдора Ивановича Толстого** (Американца) (1782–1846), его дочерей **Сарры Фёдоровны** (1821–1838) и **Прасковьи Фёдоровны** (1831–1882) (в замужестве **Перфильевой**, жены известного друга Л. Н. Толстого), его жены **Авдотьи Максимовны** (1796–1861) (урожд(ённой) Тугаевой), его сестры **Веры Ивановны** (1783–1879, в замужестве **Хлюстиной**), а также учителя и издателя сочинений Сарры Толстой **Михаила Николаевича Лихонина** (1802–1864), известного в своё время переводчика и стихотворца<sup>6</sup>.

Если бы можно было обнаружить какие-либо архивные материалы, связанные с этими лицами (мне это, несмотря на целый ряд попыток, не удаётся), я имел бы основание рассчитывать, что в этих материалах могут обнаружиться рукописи Сарры Толстой или какие-либо документы, свидетельства и т. д., проливающие свет на её жизнь и творчество (а также жизнь всей её семьи).

Нельзя не упомянуть здесь также о муже Прасковьи Фёдоровны, **Василии Степановиче Перфильеве** (1826–1890), который в 1878–1887 гг. был московским губернатором (он, кстати, послужил прототипом образа Стивы Облонского). П. Ф. и В. С. Перфильевы были доверенными лицами Л. Н. Толстого во время его женитьбы, а на свадьбе — посаженными матерью и отцом. П. Ф. Толстая-Перфильева написала роман “Графиня Инна”, который дал Толстому материал для “Войны и мира” (роман этот остался в рукописи; местопребывание рукописи неизвестно).

С семьёй Ф. И. Толстого была тесно связана и тётка Л. Н. Толстого **Александра Андреевна Толстая** (1817–1894).

Несмотря на сравнительное обилие имён, мои поиски пока безрезультатны. Я имел несколько писем Ф. И. Толстого в фонде **П. А. Вяземского** (может быть, там есть и ещё что-нибудь, но я не знаю как взяться...). Вообще у меня есть все основания думать, что мои неудачи обусловлены отсутствием опыта, чисто теоретическим знакомством с архивным делом.

(Замечу в скобках: к своему величайшему сожалению, я в своё время не сумел достать новое издание Вашего “Путеводителя” по ЦГАЛИ (том: “Литература”). Не знаете ли, где можно достать его сейчас? Затруднительно каждый раз ездить за ним в библиотеку).

Ну, я уже, конечно, утомил Вас своими вопросами. Ещё раз подчеркну: я ничуть не буду обижен, если Вы не сочтёте возможным помочь мне. Достаточно уже того, что Вы прочитаете такое длинное послание.

Ваш Вадим Кожинов.

Р. S. Вы начали своё учение во Владимире. Не знали ли Вы тогдашнего инспектора мужской гимназии Василия Андреевича Пузицкого? Это мой дед,

\* Здесь и далее выделение автора (в оригиналах писем слова были подчеркнуты) — **С. К.**

отец моей матери. Ему принадлежит популярный в те годы учебник “Отечественная история”.

---

<sup>1</sup> Тесть В. В. Кожина В. В. Ермилов умер 18 ноября 1965 года.

<sup>2</sup> Н. Ф. Бельчиков. Библиография. Сост. Р. И. Кузьменко. М., 1965.

<sup>3</sup> Эта книга неизвестна.

<sup>4</sup> Тогда Кожин употребляет “традиционное” написание фамилии Боратынского. См. его статью “Легенды и факты: Заметки о Грибоедове, Боратынском, Есенине” (Русская литература 1975, № 4).

<sup>5</sup> Очевидно, речь идёт о статье “К методологии истории русской литературы: (О реализме 30-х годов XIX века)”, опубликованной в ж. “Вопросы литературы” (1968, № 5).

<sup>6</sup> Текст этой книги пока не обнаружен.

## Письма Вадима Кожина Михаилу Бахтину

2.12.64

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

К величайшему сожалению поездка наша к вам откладывается из-за навалившихся дел. Но, я уверен, — ненадолго. Мы будем у вас около 10 октября.

Пока осмеливаюсь просить посмотреть мою статью о структурализме. Мне крайне важны Ваши замечания, Михаил Михайлович!

26 ноября состоялось обсуждение Вашего “Достоевского” в МГУ<sup>1</sup>. Присутствовало более 300 человек. Выступало человек 15. Все, за исключением одного, оценили книгу очень высоко, хотя была и полемика по ряду проблем. Один противник — это... Переверзев. Да, да, тот самый. Ему только что исполнилось 80 лет. Говорил он так, будто на дворе 1929-й, а (не) 1964-й<sup>2</sup>. Это было даже странноватое ощущение. С ним никто не полемизировал, его восприняли как некое атмосферное явление. Было даже жалко его. (Он, кстати, уже несколько лет пытается переиздать что-либо — я знаю об этом от А. А. Белкина, который помогает ему в этом, — но ничего не выходит. В самое последнее время только продвинулась в какой-то мере его маленькая книжка о Нарезном<sup>3</sup>).

Выступали и Бочаров, и Гачев, и я. Но подробно в письме не расскажешь. Отложу до встречи. Важно, что на обсуждении были представители из редакции Гослитиздата — они расскажут там об успехе.

Да, одно объяснение по поводу посылаемой статьи<sup>4</sup>. Она написана как ответ на статью семиотика И. Ревзина, помещаемую в том же номере “Вопросов литературы”. Статья, надо сказать, малосодержательная (И. Ревзин ругает в ней статью Палиевского<sup>5</sup>). Выслать её Вам я не имею возможности — в редакции один экз(емпляр). Но, как мне кажется, из моей статьи ясно, о чём идёт речь у Ревзина.

Примите самые добрые приветствия и пожелания. До скорой встречи!

Любящие Вас Вадим и Лена.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о книге М. М. Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского” (М., “Советский писатель”, 1963) — см. переписку В. В. Кожина и М. М. Бахтина (Диалог. Карнавал. Хронотоп. Витебск — 2000, № 3-4). Кожин вспоминал об этом обсуждении (“В университете Абрам Александрович Белкин устроил обсуждение книги Бахтина, очень широкое... Огромная 6-я аудитория на Моховой. Собралось несколько сот человек. Это было вскоре после выхода книги...”) и о выступлении на нём В. Ф. Переверзева (“Где здесь социология, где здесь классовость!? О какой вообще концепции здесь может идти речь!?”) — (Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1994 № 1).

<sup>2</sup> В. Ф. Переверзев в 1912 году издал книгу “Творчество Достоевского” (переиздана в 1928), где применял к творчеству писателя социологический метод, а стиль Достоевского выводил из психологии “упадочного мещанства”.

- <sup>3</sup> В 1933 году В. Ф. Переверзев выпустил “Избранные романы” В. Т. Нарезного со своей вступительной статьёй и примечаниями. “Книжка о Нарезном” издана не была. В 1965 году была переиздана его книга “У истоков русского реалистического романа” (первое издание – “У истоков русского реального романа” – вышло в 1937 году).
- <sup>4</sup> Речь идёт о статье В. К. “Возможна ли структурная поэтика?”, опубликованной в журнале “Вопросы литературы” (1965, № 6).
- <sup>5</sup> См. И. Ревзин. О целях структурного изучения художественного творчества (“Вопросы литературы”, 1965, № 6). См. также: П. Палиевский. О художественном произведении (“Вопросы литературы”, 1965, № 2).

26.1.65

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Долго откладывал письмо, т. к. ждал выяснения ряда дел. Так пока ничего толком не выяснилось, но я решил всё же написать Вам. Дела, собственно говоря, связаны прежде всего с “Рабле”<sup>1</sup>. С. А. Лейбович<sup>2</sup> заболела, и всё остановилось. В “Лит. России” публикация откладывается<sup>3</sup> (хотя статья принята и готова к набору) до съезда писателей РСФСР<sup>4</sup> (ибо, во-первых, идут предсъездовские материалы, а, во-вторых, редакция, к(ото)рая будет отчитываться на съезде, боится опубликовать нечто необычное накануне; они там сейчас стараются делать газету так, чтобы вообще было не очень заметно, что она существует!).

Но это всё не так уж важно. “Рабле” уже имеет даже стоимость! На обложке № 1 “Вопрос(ов) лит(ерату)ры Вы можете прочесть, что Ваша книга о Рабле стоит 1 р. 42 к. ... Дороговато Вы берёте за книгу!

Конечно, Вы уже читали статьи Л. Шубина и Г. Поспелова<sup>5</sup>. Мне статья Шубина очень нравится, хотя в неё и пришлось вставить некоторые прагматические детали. Статья Поспелова ужасна, но, по-моему, не может повредить благодаря своему наукообразному тону. Меня особенно поразила его мысль о том, что “незавершённость” героев Достоевского объясняется тем, что в романах изображается не вся их жизнь... Это изумительно.

Очень хочется поговорить с Вами – в письме ничего не скажешь. Думают ли ещё ваши саранцы приглашать меня читать лекции?<sup>6</sup> Очень было бы хорошо приехать в феврале-марте. Я постараюсь не особенно надоедать Вам...

У нас всё по-прежнему. В “Лит. России” от 29 янв(аря) будет, вероятно, статья Лены – по-моему, интересная<sup>7</sup>.

Напишите хотя бы несколько строк о здоровье и о работе над “Жанрами речи”<sup>8</sup>. Мы постоянно мечтаем о том времени, когда будет приведена в порядок главная работа...

Желаем Вам всего самого доброго.

Ваши Дима и Лена.

<sup>1</sup> Речь идёт о подготовке к печати книги “Творчество Франсуа Рабле и народная культура Ренессанса”. М., Художественная литература, 1965.

<sup>2</sup> Лейбович Сарра Львовна, редактор книги “Творчество Франсуа Рабле”. См. С. Л. Лейбович. Тридцать лет спустя (Редактор “Рабле” С. Л. Лейбович вспоминает о подготовке книги к изданию. (Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1997, № 1).

<sup>3</sup> Публикация в “Литературной России” отрывка из книги “Творчество Франсуа Рабле” не состоялась.

<sup>4</sup> Съезд проходил в марте 1965 года.

<sup>5</sup> Речь идёт о рецензиях Л. А. Шубина (“Гуманизм Достоевского и “достоевщина”) и Г. Н. Поспелова (“Преувеличения от увлечения”) в журнале “Вопросы литературы” (1965, № 1).

<sup>6</sup> В. В. Кожин периодически приезжал к Бахтину в Саранск, где читал по приглашению лекции в Мордовском государственном педагогическом институте.

<sup>7</sup> Речь идёт о статье Е. В. Ермиловой “Ещё о чувстве меры”.

<sup>8</sup> О ненаписанной книге М. М. Бахтина “Жанры речи” см. примечания Н. А. Панькова к письмам В. В. Кожина к М. М. Бахтину от 5.6.1963 и от 5.9.1963 и к письму М. М. Бахтина к В. В. Кожину от 29.10.1964 (Диалог. Карнавал. Хронотоп., 2000 № 3-4).



Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Пользуюсь возможностью передать Вам через Нину Григорьевну<sup>1</sup> эту записку.

О себе буквально нечего писать – всё по-прежнему.

“Рабле” из-за длительной болезни и последующего отпуска С. Л.<sup>2</sup> задерживается. Что поделаешь! Я очень просил дать другого редактора – С. П. Гиждеу<sup>3</sup>, очень хорошего человека, друга Леонида Ефимовича<sup>4</sup>. Но по ряду причин ничего не выходит (в частности, не хотят обижать С. Л.). Во всяком случае, мне твёрдо обещали сдать книгу в набор в мае.

Что “Жанры речи”? Можете не сомневаться, что у этой книги будет гораздо более простая и лёгкая судьба, чем у двух предшествующих. Я уже говорил о ней в изд(ательстве) “Наука”.

Меня беспокоит: вдруг Вам уже нужна книга Лотмана?<sup>5</sup> Из-за всякой суеты я не успел ещё освоить её до конца (сделать выписки и проч.)

Последнее время очень увлекаюсь последекабристским периодом русской культуры (1826–1840). Удивительное время. Самое **прекрасное**.<sup>6</sup>

10 марта я, очевидно, прибуду в Саранск читать лекции – дней на 10–12. Не пугайтесь, я буду беречь Вас и посещать не чаще, чем через день.

Мы с Леной уже живём этой встречей (она надеется вырваться тоже на несколько дней).

От всей души – всего Вам доброго.

Любящие Вас

Д. и Л.

<sup>1</sup> Нина Григорьевна Куканова и её муж А. М. Куканов были большими друзьями Михаила Михайловича и Елены Александровны Бахтиных. См. воспоминания Н. Г. Кукановой “Бахтины в моей жизни” (“Странник”, Саранск, 1997, № 1).

<sup>2</sup> С. А. Лейбович.

<sup>3</sup> С. П. Гиждеу так и не стал редактором книги М. М. Бахтина о Рабле – им осталась С. Л. Лейбович.

<sup>4</sup> Л. А. Пинский.

<sup>5</sup> Речь идёт о книге Ю. М. Лотмана “Лекции по структуральной поэтике: Введение. Теория стиха” (Тарту, 1964). В письме от 20.2.1965 М. М. Бахтин писал В. В. Кожинуву: “О книге Лотмана не беспокойтесь: она мне пока не нужна”.

<sup>6</sup> В письме от 23.2.1964 В. В. Кожинув писал М. М. Бахтину: “Хотелось бы мне... написать что-нибудь и о 20–40-х годах прошлого века, о фантастическом развитии русской художественной (и вообще) культуры от Любомудров до Аполлона Григорьева, понять всё это заново. Кстати сказать, на днях я взял в руки Баратынского и впервые по-настоящему понял этого совершенно гениального поэта. Его стихи последних лет – это какое-то чудо. Может быть, я увлекаюсь, но я готов поставить его выше Тютчева – не говоря уже о Лермонтове. И какая невероятная судьба – никто в XIX веке Баратынского не понял, даже не прочитал. Да и в XX-м что-то странное. Так, Блок, восхищавшийся Полонским и воздававший должное Григорьеву, совсем прошёл мимо Баратынского – хотя, быть может, это самый близкий ему поэт”.

Слова Кожинова о “последекабристском периоде русской культуры”, как о “самом прекрасном” времени написаны не без некоторого вызова. И в официальных, и в околорисидентских литературных кругах это время характеризовалось преимущественно, как время некоего “упадка”. В моде были книжки, повествующие о “безвременье николаевской реакции”. Актуализировался Юрий Тынянов с его характеристикой 1830-х годов: “Как страшна была жизнь превращаемых, жизнь тех из двадцатых годов, из которых перемещалась кровь! Они чувствовали на себе опыты, направляемые чужой рукой, пальцы которой не дрогнут... С Лермонтова идёт по слову и крови гнилостное брожение, как звон гитары...” См., например, книги А. Белинкова “Юрий Тынянов” (М., 1961) и А. Лебедева “Чаадаев” (М., 1965).

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Посылаю Вам два (точнее, три) “материала” — письмо С. А. Лейбович<sup>1</sup> и отзыв Г. А. Соловьёва на “Рабле” + одно из его замечаний к работе. При-знаюсь Вам, что я сам предложил Соловьёву передать Вам отзыв (отзыв на-писан 3 месяца назад! — 11 ноября). Он почему-то не решался послать его Вам. Но, по-моему, будет гораздо лучше, если Вы узнаете его истинные мнени-я о “Рабле”<sup>2</sup>. Кстати сказать, Ваша вставка о проблеме “серьёзности” (точ-нее, соотношения смеха и серьёзности — 4 странички к 199 стр. работы) в **из-вестной мере** снимает его замечания. Не знаю, написали ли Вы их потому, что я передал Вас смысл замечаний Г. А.; во всяком случае, я специально по-казал ему эти страницы, заметив, что они сделаны в ответ на переданное мною Вам его мнение (помните, я говорил о его критике — что Вы, дескать, абсолютизируете смеховое начало).

(Замечу в скобках: не обижайтесь на мой дикий слог; вчера ко мне при-ехали гости из Одессы, и я почти не спал — теперь голова плохо работает).

Итак, об отзыве Г. А. Вы увидите, что критика серьёзная, принципиаль-ная. Он противопоставляет Вам оптимистическую концепцию исторического развития известного толка. Вместе с тем — думаю, вы увидите и это — в его критике нет ровно ничего угрожающего. Сам он — я уверен в этом — готов из-дать книгу без всяких изменений. Он, кстати, очень был доволен, что Вы по-шли навстречу ему в упомянутой вставке. Правда, он выразил пожелание не-сколько развернуть эту проблему. Но это совсем не обязательно.

Да, самое главное. Отзыв этот — неофициальный, его никуда не переда-вали и не передадут. Он написал его в точном смысле слова **для себя**. Он да-же не собирался (всерьёз, во всяком случае) передавать его Вам. Но так как вполне возможно, что в какой-то момент он вдруг мог решиться дать его Вам как **мнение редакции**, я счёл правильным послать его Вам как можно рань-ше (до сих пор Г. А. не хотел даже мне его показывать, это вообще человек со сложной и отчасти болезненной психикой — в частности, с несколько бо-лезненным самолюбием). Вы можете теперь спокойно обдумать Ваше отно-шение к отзыву. Особенно важно, что С. Л.<sup>3</sup> разделяет замечания Г. А. (об этом она, кстати, и сама пишет); при встрече с Вами она будет высказы-вать примерно те же пожелания.

Чтобы вся картина была ещё яснее, позволю себе изложить ситуацию шире, — хотя письмо, видимо, получится слишком длинное и утомительное. Дело в том, что Ваша работа оказала огромное, даже преобразующее воздей-ствие на Г. А. Он прочёл её внимательнейшим образом (это явствует из его пометок на экземпляре, который он читал), и она буквально подняла на но-вую ступень всё его сознание. В этом убеждает, в частности, его рецензия. Если бы Вы посмотрели его предшествующие работы (статьи в “Вопр(осах) литературы” или книжку о Добролюбове, вышедшую в прошлом году<sup>4</sup>), Вы не поверили бы, что этот человек мог написать столь серьёзную и по-своему да-же “блестящую” статью о Вашей книге. Вы же знаете, как обычно ничтожна и бьёт мимо цели наша критика (кстати, читали ли Вы уже статью Бурсова о Вашем “Достоевском” во 2-м номере “Октября” за 1965 год? Это небезын-тересно — в частности, он критикует Вас с националистической позиции, на которой он недавно утвердился — в своей книге “Национальное своеобра-зие русской литературы”, 1964; вообще национальный вопрос приобретает сейчас невероятную остроту<sup>5</sup>).

Так вот — Г. А. явно (это чувствуется в разговоре с ним всё время) испы-тывает громадную — хотя, быть может, неосознаваемую — благодарность и глубочайшее уважение к Вам. Я думаю, что это очень хорошо. Книга безус-ловно — я думаю так — выйдет в этом году.

Да, ещё есть замечание Г. А. К стр. 65. Его он вообще не собирался Вам передавать. Я его нашёл в экземплярах работы и, грубо говоря, выкрал. Ин-тересно, что в конце он говорит (о Ньюtone и Эйнштейне) “буквально” о том же, о чём Вы уже написали во вставке (о серьёзной науке).

Не могу не оговорить: не подумайте, что я не понимаю глубочайшего смысла Вашей постановки вопроса о той подлинной научной серьёзности, ко-торая лишена догматизма (как и подлинная трагедия, и подлинный смех), ибо **проблемна**, самокритична и незавершима (превосходная автохарактеристика;

эта вставка была необходима! – Вы ввели ею **себя** в мир Вашей книги)\*.

Ну, кажется я всё объяснил. Кстати: если можно было бы “пойти навстречу” Соловьёву в форме **таких** вставок и оговорок (которые на самом деле имеют совсем иной смысл – и лишь по видимости перекликаются с замечаниями Г. А.) – было бы неплохо...

Последнее: встал вопрос – ввиду того, что Ваша книга очень сложна и своеобразна, не следует ли дать к ней предисловие, написанное Л. Е. Пинским или же М. П. Алексеевым<sup>6</sup>. Этого нельзя делать без согласия автора. Как бы Вы отнеслись к такому предложению? Вообще-то это только предположение, некая маниловщина. Но меня просили **неофициально** узнать Ваше мнение. Напишите.

Наверняка я крайне утомил Вас – посему обрываю.

Всего самого доброго Вам.  
Дима.

---

<sup>1</sup> Письмо С. Л. Лейбович хранится в фонде М. М. Бахтина в Отделе рукописей РГБ.

<sup>2</sup> Отзыв зав. редакцией критики и литературоведения в издательстве “Художественная литература” Г. А. Соловьёва “Творчество Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса” опубликован в журнале “Диалог. Карнавал. Хронотоп”, 2000, № 3-4. В письме к В. В. Кожину от 20.2.1965 М. М. Бахтин писал: “Присланные Вами замечания Г. А. Соловьёва меня поразили: они очень интересные, умные и в высшей степени благородные по своему тону...”

<sup>3</sup> С. Л. Лейбович.

<sup>4</sup> См. статьи Г. Соловьёва “По законам красоты” (“Вопросы литературы” 1961, № 5), “В борьбе за “партию народа” в литературе” (“Вопросы литературы” 1963, № 9), а также его книгу “Эстетические взгляды Н. А. Добролюбова” (М., 1963).

<sup>5</sup> Статья Б. Бурсова называлась “Возвращение к полемике”. В словах В. В. Кожина трудно не услышать иронии по отношению к деятелям, мгновенно перешедшим с “интернациональных” позиций на “национальные”.

<sup>6</sup> В ответном письме от 20.2.1965. М. М. Бахтин писал: “Против предисловия Пинского и Алексеева я, конечно, не возражаю”. Но книга Бахтина вышла без предисловия.

<sup>7</sup> Речь идёт о следующем пассаже из работы Г. А. Соловьёва: “Смех **утверждал** жизнь народа, его деятельность ради своих потребностей – ради глотки, брюха, плоти, радости общения и т. д., и это утверждение было по необходимости **консервативным**, так как двигаться вперёд – значило пуститься в отчуждающий мир. Смех **отрицал** иерархию сословий, и это отрицание было **революционным**, но революция означала гибель утверждающего смеха. Наконец, эта гибель – тоже, как говорилось, амбивалентна, из гибели средневекового смеха должна родиться какая-то другая форма амбивалентного смеха, потому что отчуждение человека, его **человеческая трагедия** – не вечна, она – путь к высшей человечности, к возвращению человечеству человека как цели, и в этом смысле **утверждающая** сторона средневекового смеха, его **консервативная** сторона – в перспективе громадных эпох – оказывается **революционной**, утопическим прообразом революции, выводящей в человеческий мир. Утопия имеет свою реальность”.

10.3.65

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Во-первых, выяснилось, что я Вас напрасно беспокоил вопросами, связанными с моим приездом. С. С. Конкин<sup>1</sup> сейчас в Москве, и мы с ним обо всём договорились. Простите, что я Вас потревожил!

---

\* Забавное соображение: Соловьёв ведь упрекает Вас в том, что Вы завершаете амбивалентный смех... Он же утверждает, что сама историческая гибель смеха амбивалентна. Но – см. стр. 15, 3-я строка – он сомневается – возможно ли возрождение! – т. е. этот человек засомневался в осуществлении утопии! Правда, только в одном месте своей статьи...<sup>7</sup>

Во-вторых, высылаю книгу О. М. Фрейденберг<sup>2</sup>. Я давно хотел поговорить о ней. Не знаю даже, известна ли Вам она? Я когда-то, лет 10 назад, изучил её с большой пользой для себя — она расширила кругозор etc., хотя в ней, по-моему, нет глубокой и серьёзной концепции. Шлю я эту книгу вот почему: мне кажется правильным и справедливым хотя бы упомянуть (а может быть “оттолкнуться”) о ней в “Рабле”. Хотя Рабле упоминается в ней всего один раз и к тому же в весьма нелепом контексте, она всё же имеет, на мой взгляд, определённое отношение к Вашей проблематике.

Судьба этой женщины трагична (мне о ней рассказывал неоднократно Н. Я. Берковский, её друг). Приведу только один факт. После этой книги О. М. Ф. перестали печатать (о книге была разгромная статья... в “Правде”<sup>3</sup>, ибо книга вышла как раз в момент дискуссии о фольклоре в связи с критикой оперы “Илья Муромец” на либретто Демьяна Бедного — кажется, так?<sup>4</sup>). В конце 40-х — начале 50-х гг. О. М. — профессор, доктор наук — неожиданно решила защищать диссертацию на соискание имени... канд(идата) фило(офских) наук (что-то об античной философии<sup>5</sup>). Берковский пришел к ней и изумлённо спросил: — Что Вы делаете? Зачем? И к тому же Вас всё равно разгромят... — И она ответила, что, по крайней мере, будет отпечатан в 100–200 экз(емпляров) её автореферат... Вскоре она умерла<sup>6</sup>.

Итак, если Вы сочтёте нужным, посмотрите книгу (повторяю: мне не ясно — знаете ли Вы её или нет).

30 марта надеюсь быть в Саранске.

Самые сердечные приветствия от нас с Леной.

Ваш Дима.

---

<sup>1</sup> С. С. Конкин (1917–1999) — историк литературы, специалист по творчеству Н. П. Огарёва. В соавторстве с Л. С. Конкиной издал книгу “Михаил Бахтин. Страницы жизни и творчества” (1993).

<sup>2</sup> Речь идёт о книге О. М. Фрейденберг “Поэтика сюжета и жанра: период античной литературы” (М., 1936).

<sup>3</sup> Разгромная рецензия на книгу О. Фрейденберг “Вредная галиматья” (автор — Ц. Лейтензен) была опубликована не в “Правде”, а в газете “Известия” 28 сентября 1936 года.

<sup>4</sup> Прямой связи с разгромом “комической оперы” “Богатыри” (а не “Илья Муромец”) уничтожение книги О. Фрейденберг не имело, здесь очевидна синхронность по времени этих событий. В 1936 году после постановки в Камерном театре издательского спектакля, поставленного на либретто Демьяна Бедного, вышло постановление ЦК ВКП(б) “О пьесе “Богатыри” Демьяна Бедного”. Об этом см. В. В. Кожин. К спорам о “русском национальном сознании” (В кн. В. В. Кожин. Россия как цивилизация и культура. М., 2012. С. 382–383).

<sup>5</sup> На самом деле книга “Поэтика сюжета и жанра” была докторской диссертацией О. М. Фрейденберг, защищённой в 1935 году. Последняя её работа “Образ и понятие” увидела свет в 1978 году.

<sup>6</sup> О. М. Фрейденберг умерла в Ленинграде 6 июля 1955 года.

15.8.65

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Откладывал письмо — ждал, когда придёт корректура “Рабле”. Затянули они малость, но, наконец-то, свершилось! Сейчас приступаю к чтению (мне дали экземпляр).

У нас всё в порядке, верю, что и у Вас тоже. Очевидно, Вы получили уже корректуру (её Вам отправили ещё вчера). Особенно себя не утруждайте и, главное, не следите специально за **опечатками**. И С(арра) Л(ьвовна), и корректоры, и я постараемся, чтобы их не было (конечно, в пределах, предусмотренных теорией вероятности...).

Должен Вам сообщить вот о чём. К Вам собирается зайти некий пензенец Алексей Александрович Дорогов<sup>1</sup>. Зная, как Вы сейчас заняты, я, конечно,

мог уговорить его не делать этого. Но этот человек – я о нём Вам рассказывал, если Вы помните – так давно хотел повидаться с Вами, что просто трудно его отговаривать. Не подумайте, что я дал ему какую-нибудь “санкцию” на посещение Вас. Это человек, который всю жизнь активнейшим образом посещал людей, которые были ему интересны. Едва ли найдётся выдающийся человек, живший в 40–60-е годы, которого он не посетил бы.

Как я рассказывал, Дорогов по-своему замечательный, глубоко самобытный человек. Он инженер, теоретик науки, историк, философ и филолог. Во всех этих областях он имеет блестящие познания и создал те или иные оригинальные и содержательные концепции. Превосходно знает он историю России и русской культуры. В течение многих лет он пишет явно замечательную книгу “История машины” – книгу технико-**философского** характера<sup>2</sup>. Задумана у него история русской мысли с древнейших времён. Правда, он больше любит составлять проекты, чем писать. Но это не от недостатка способностей или трудолюбия, но по каким-то сложным психологическим и иным причинам.

Сейчас он читает курсы по истории науки и техники сразу в нескольких московских институтах – и технических, и **гуманитарных** (что особенно интересно). Словом, это человек, с которым стоит познакомиться. К тому же с ним **можно говорить**.

Ему сорок с небольшим лет. Он немножко сумасшедший, но это как-то естественно.

Полагая, что корректура придёт 5-го авг(уста), я просил Дорогова – перед его отъездом в Пензу (кстати, его покойный отец – выдающийся почвовед, автор известной книги “Почвы Пензенской области”) – посетить Вас в самом конце августа, когда Вы уже освободитесь от “Рабле” (кстати, сестра Дорогова – филолог, близкая знакомая Сарры Львовны). Боюсь, что теперь он приедет в Саранск в самый разгар работы. Уж простите меня, что так получается. Во всяком случае, поверьте, что он постарался бы увидеться с Вами и без моего посредничества.

Вот такая история.

Мы живём за городом, и я пишу понемногу книгу, о которой рассказывал, – книгу “Дочь Фёдора Толстого”.

Лена чувствует себя хорошо и сердечно Вас приветствует.

Если найдёте время и настроение – напишите, пожалуйста, нам несколько строк – прежде всего о здоровье и самочувствии.

Всего Вам доброго!

Ваш Вадим.

---

<sup>1</sup> Об А. А. Дорогове (1923–2003) см. А. А. Дорогов о встречах с М. М. Бахтиным и о его месте в истории лингвистических идей. Вступление С. Г. Бочарова, публикация П. Б. Переверзевой. (Московский лингвистический журнал. т. 8, № 2, 2005).

<sup>2</sup> “История машин в России” – диссертация, которую А. А. Дорогов защитил в 1956 году.

28.10.65

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Простите, что долго не писал. Собственно, я ждал 2-й сверки “Рабле”, которая всё откладывалась и откладывалась. Наконец-то она пришла и сейчас я уже вычитал больше половины. По-моему, всё в порядке. Меня несколько беспокоит только некоторые иностранные тексты – в особенности, старофранцузские. Но и здесь, кажется, теперь стало терпимо. Пользуясь Вашими специальными санкциями, я сам решил вопрос о некоторых предельно небольших сокращениях, не затрагивавших смысла. Это, во-первых, вынужденные сокращения отдельных слов (или уничтожения **разрядки**) в тех случаях, где, как говорят типографщики, “повисли” строки (не вошедшие концы абзацев печатаются в этих случаях внизу, под текстом). Чтобы “вогнуть” эти концы, пришлось бы “перебирать” целые листы, и это страшно удлинит бы про-

цесс печатания. Как мне представляется, я сделал сокращения, не нанеся ни смыслового, ни сколько-нибудь заметного стилистического урона. Лыщу себя надеждой, что Вам не удалось бы даже угадать, где и что сокращено (впрочем, речь идёт о сокращении – в целом – на одну-две страницы).

Второе – это опущение некоторых **переводов** “непристойных” выражений, сделанное мной по настоянию редакции (например, теперь нет перевода выражения “baston de mariage”, – стр. 222, которое широко употребляется в современном русском просторечии и имеет весьма фривольное звучание<sup>1</sup>).

Всё это я говорю о сокращениях ещё в **первой** корректуре. Во второй опять-таки несколько (впрочем, мало) слов “висит”. Я уже сделал необходимые манипуляции.

В целом всё идёт прекрасно. Жаль, что книга, очевидно, не поспеет к Вашему юбилею<sup>2</sup>. Но к концу года она выйдет.

Да, ещё курьёзный случай. Я – правда, только уже в корректуре – обратил внимание на эпиграф:

*Я понять тебя хочу,  
Тёмный твой язык учу.*

У Пушкина – “смысла я в тебе ищу”. После долгих поисков выяснилось, что это одно из исправлений, внесённое Жуковским. Сделано оно из религиозного пуризма, но получилось всё равно очень хорошо. И, главное, очень подходит к Вашей теме. Поэтому я уговорил оставить эпиграф с примечанием, что 2-я строка принадлежит Жуковскому<sup>3</sup>.

Замечательно, что в Вашем сознании – очевидно, с гимназических лет – остался этот вариант, не переиздававшийся с 1890-х гг.!

У нас всё в порядке. <...><sup>4</sup> Все друзья и знакомые здравствуют и более или менее нормальны (разве только Гачева заносит). Палиевский побывал в Италии и в Париже – недели три всего, – переполнен впечатлениями, очень доволен.

Не знаю, дошёл ли до Вас слух о неприятной истории. Арестован и находится под следствием Андрей Синявский, о котором я, очевидно, Вам что-либо говорил. По официальным данным, его обвиняют в том, что он печатал за рубежом произведения антисоветского характера (под псевдонимом). Он был сотрудником нашего института – отдела советской литературы<sup>5</sup>.

Горько было узнать о кончине Сарафима Вечканова<sup>6</sup>. При всех недостатках он показался мне добрым человеком. По-видимому, дело в пьянстве?

В духовной жизни ясно обозначаются интересные явления. Есть какой-то кризис, переход, сдвиг. Но это долгий разговор.

Вообще о многом бы хотелось поговорить!

Простите за сумбурное и нестройное письмо – в этом есть свой смысл и оправдание.

Примите самые добрые пожелания.

Ваш Вадим.

---

<sup>1</sup> Обозначение фаллоса “в действии”.

<sup>2</sup> М. М. Бахтин родился 17 ноября 1965 года. Книга “Творчество Франсуа Рабле” успела выйти к этой дате.

<sup>3</sup> В ответном письме от 4 ноября 1965 года М. М. Бахтин писал В. В. Кожинуву: “Я безмерно благодарен Вам за ту огромную работу, которую Вы проделали! Все Ваши сокращения удивительно удачны: я ни одного из них не заметил. Очень рад, что Вы спасли мой эпиграф из Пушкина. Я действительно запомнил эти стихи ещё в ранней юности и не сверял их с текстом”.

<sup>4</sup> Купюры в этом и в последующих письмах относятся к семейным перипетиям В. В. Кожинова, связанным с рождением дочери Александры и состоянием здоровья жены Елены Владимировны.

<sup>5</sup> А. Д. Синявский под псевдонимом “Абрам Терц” передал для издания на Западе несколько своих повестей (“В цирке”, “Суд идёт”, “Любимов”, “Гололедица”, “Пхенц”). 4 сентября 1965 года был арестован, позже судим (вместе с Ю. Даниэлем) и приговорён к 7 годам колонии по обвинению в антисоветской агитации и пропаганде.

В статье “Патриоты, мыслители” (в кн. “Судьба России” М., 1997) В. В. Кожин-нов писал: “Курируемое Яковлевым (замзавотделом агитации и пропаганды ЦК КПСС – С. К.) судилище было, разумеется, вопиющим попранием самых элементарных норм демократии, ибо “преступление” Синявского заключалось всего-навсего в публикации за рубежом довольно безобидных с политической точки зрения литературных сочинений. Конечно, каждый имел право как угодно резко полемизировать с этими сочинениями, но устраивать из-за них судебный процесс по статье, предусматривающей длительное лишение свободы, могли только стопроцентные тоталитаристы”.

<sup>6</sup> Вечканов Серафим Емельянович (1914–1965) – мордовский поэт.

3.12.65

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Большое спасибо за помощь. Вы меня очень выручили<sup>1</sup>.

У нас всё более или менее в порядке. <...>

Как Вы поживаете? Очень хотелось бы получить от Вас весточку.

Всё время забывал напомнить Вам, что необходимо послать в редакцию заказ на книги для Вас (сколько экземпляров – Вы обдумайте); иначе Вы рискуете остаться без собственной книги! Мне уже сообщили из авторитетных кругов, что она станет предметом спекуляции...

А как обстоят дела с “Жанрами речи”? Я простот гарантирую Вам, что эта книга пройдёт совершенно легко и быстро. Вы можете свободно высказать в ней **философское** содержание Вашей лингвистической концепции.

Читали ли Вы в “Вопросах языкознания” восторженное упоминание о книге “Волошинов. Марксизм и философия языка”?

О “Рабле” уже пишется рецензия (чтобы предупредить возможность повторения наскака а la Дымшиц<sup>2</sup>). Кроме того высокоположительный разбор книги написан (по принадлежащей мне корректуре) для того самого сборника о Возрождении, в который Самарин (кстати, весьма обиженный – но чёрт с ним!) просил Вас дать статью.

О себе писать нечего – весь погружён в житейские заботы.

Сердечные приветствия от меня, Лены, Саши.

Ваш Дима.

---

<sup>1</sup> В предыдущем письме В. В. Кожинова содержалась просьба о присылке денег в долг.

<sup>2</sup> В “Литературной газете” от 11 июля 1964 года была напечатана статья А. Л. Дымшица “Монологи и диалоги”, посвящённая “разбору” книги М. М. Бахтина “Проблемы поэтики Достоевского”.

4.12.67

Дорогие Елена Александровна и Михаил Михайлович!

Давно не писал Вам – какой-то у меня “кризис”, очень трудно браться за перо; к тому же я знал о болезни Елены Александровны, о диагнозе хирурга и понимал, что Вам не до меня. Но вот всё же решаюсь написать.

Надеюсь, что сейчас у Вас всё более или менее в порядке. Очень хотелось бы побывать у Вас, но не знаю, насколько Вы сейчас способны лицезреть столь резвого гостя.

У нас в общем и целом всё по-прежнему. Обменным делам не видно конца, слегка работаем. <...>

“Общекультурная” обстановка в Москве крайне, небывало смутная, ничего не разберёшь, какие-то странные копошения многочисленных стремлений и идей. Такого ещё при мне не было. Даже пожилые люди сбиты с толку, теряют прежние свои позиции. Ну, может быть, что-то и выкристаллизуется из этого мутного раствора.

“Достоевский” переведён в ГДР, сейчас издаётся. На днях сдаётся “Методологический сборник” с Вашим “Романом”. Очень жаль, что так застопорилось дело с “Жанрами речи”...

У меня самого всё тоже как-то смутно. Давно хочу выйти за пределы своих “национальных” идеалов, но ещё не знаю, куда...<sup>1</sup>

Сильно переделал свою статью о Пушкинской эпохе, которую Вы читали; даже сделал из неё две! Одна из них — о Гоголе и Чаадаеве, где, в частности, выясняется, в связи с Вашими идеями, амбивалентность понятий “Мёртвые души” и “Некрополис” (город, из которого пишет письма Чаадаев). Что Вы об этом думаете? Об этих смертях, чреватых рождением?<sup>2</sup>

В последнее время очень увлекаюсь Н. Ф. Фёдоровым.

Палиевский подружился с внуком П. А. Флоренского и узнал массу исключительно интересного. Мы вводим его работы (в т(ом) ч(исле) неопубликованные) в нашу “Эстетику славянофилов”<sup>3</sup>.

Впрочем, я даже не знаю, как Вы относитесь к Флоренскому.

Собираемся устроить курс лекций (в Политехническом музее) “Русские мыслители — от Илариона до того же Флоренского. Сейчас пишу для Литэнциклопедии статью “В. В. Розанов”. Постараюсь “пробить” нечто “объективное”. И обязательно с портретом!<sup>4</sup>

Видите, как расхвастался. Пора остановиться.

Очень надеюсь получить от Вас несколько строк.

Примите от нас всех самые горячие пожелания здоровья и бодрости.  
Ваш Вадим.

---

<sup>1</sup> Об этих своих “колебаниях” и “эволюционных изменениях” В. В. Кожинов через два с лишним десятилетия писал в статье “1948–1988. Мысли и отчасти воспоминания об изменении литературных позиций”: “Честно признаюсь, что в шестидесятые годы я сам думал, что следует непосредственно “продолжать” и “развивать” наследство, допустим, Киреевского, Хомякова, Григорьева, Леонтьева и т. д., и даже прямо писал об этом (насколько это получалось в тогдашних условиях печатания). Но давно уже пришёл к выводу, что это, повторяю, и невозможно, и не нужно”.

Может быть, в это время, когда В. В. Кожинов нащупывал подступ к таким своим статьям, как “К методологии истории русской литературы” (“Вопросы литературы” 1968, № 5), “Национальная литература: прошлое или будущее” (“Литературная газета” 1969, 23 июля), “О главном в наследии славянофилов” (“Вопросы литературы” 1969, № 10), “О “поэтической эпохе” 1850-х годов” (“Русская литература” 1969, № 3) — он одновременно уже думал о “размыкании” своего “идейного” круга, к выходу на своеобразный “слом стены” между классической славянофильской и классической западной мыслью в России — результатом чего стала его знаменитая статья “И назовёт меня всяк сущий в ней язык” (“Наш современник” 1981, № 11), ставшая во многом неприемлемой как для литературного официоза, так и для многих кожиновских единомышленников.

<sup>2</sup> Речь идёт о статьях В. В. К. “Пушкин и Чаадаев. К истории русского самосознания” и “Чаадаев и Гоголь: о литературе 1830-х годов”.

<sup>3</sup> В предыдущем письме от 20 февраля 1967 года В. В. Кожинов писал: “...Мы с Палиевским и Урновым будем готовить к изданию (договор уже есть) антологию “Эстетики русских славянофилов” — от Киреевского до Розанова”. Авторы чрезмерно затянули срок сдачи рукописи, в результате чего “антология” вышла с другими составителями и в ином составе (см. “Русская эстетика и критика 40-50-х годов XIX века”. Подгот. текста, сост., вступ ст. и прим. В.К. Кантора и А. Л. Ословата. М., Искусство, 1982).

<sup>4</sup> Статья в “Краткой литературной энциклопедии” о В. В. Розанове подписана фамилией “Н. П. Розин”.

## Письма Вадима Кожинова Борису Чичибабину

11.2.72

Дорогой Борис!

Не примите это обращение за пустую фамильярность — я, вопреки Вашему предположению, знаю Вас давно (знал Вас сначала как “Полушина” и даже упомянул Вас в статье о поэзии году в 60-м в журн. “Знамя”<sup>1</sup>), лет пятнадц-



цать, и с тех уже давних пор часто читаю наизусть Ваше “Кончусь, останусь жив ли...” А, значит, как-то сроднился с Вами. Если я что-то понимаю в стихах – в этом и Ваша заслуга, так как только стихи (настоящие, конечно) **современников** могут помочь действительно проникнуть в мир поэзии.

Спасибо Вам за радость, принесенную Вашим письмом, – радость не от похвал (она поверхностна, и я ей дорожил только в юности), а от чувства, что твоя работа не совсем бесплодна, что она нужна – притом, человеку, которого высоко уважаешь.

В стихах Ваших (в которых Вы открылись для меня заново и, в частности, как поэт очень многогранный) есть безусловная подлинность, самобытность и – что сейчас крайне редко бывает – **сила** (наигранной силы у нас хоть отбавляй, но та настоящая, которая есть у Вас, – уникальна).

Конкретно говорить о стихах в письме невозможно – или уж нужно писать целый трактат. Надеюсь, что мы сможем поговорить – Вы же бываете в Москве? Мой тел. 2916728, очень рад буду встретиться.

Проще сказать о “направленности”. Многое для меня спорно – возможно, в силу различия поколений (мне 41). Из-за несколько “внешних”, упрощенных идей, некоторые Ваши стихи, на мой взгляд, риторичны.

Ну вот, скажем, стихи “Твой лоб, как у статуи бел...”<sup>2</sup>. Герой этого Вашего стихотворения в 1957 году отправил послание к “Друзьям на Востоке и на Западе” (у нас оно было опубликовано в газ. “Лит. Россия”, 1965, № 1; Вы его, наверно, не читали). Он говорил в нём: “Вот за что скажите спасибо нам. Наша революция задала тон и вам, наполнила смыслом и содержанием... Не мы, не наша молодёжь – даже сын вашего банкира уже совсем не то, чем были его отец и дед. И за этого нового человека, за... то, что он живет, тоньше и одарённее своих грузных высокопарных предшественников, скажите тоже спасибо нам” и т. д.

Мне кажется, что Вы недостаточно верно представляете себе суть Вашего героя. Вы видите его “обет” в том, что “не может быть злой человек хорошим поэтом”. Злым он не был (хотя это едва ли большое достоинство), но **холодным** – в значит. степени (несмотря на частые слёзы). А его друг, который вместе с ним на снимке, и на которого Вы также “поминутно смотрите с любовью”, был, конечно, очень злым<sup>3</sup>. Я не вижу никакой **принципиальной** разницы между ним и героем другого Вашего стихотворения – “Однако радоваться рано...”<sup>4</sup>. Я бы даже сказал, что первый (т. е. М.) в известном смысле хуже<sup>5</sup>. Прочтите, пожалуйста (Вы, как я понял, много читаете, и это не будет Вам в тягость) следующие страницы в т. 12 его последнего Полн. собр. сочинений: 302–304, 312–320, 328–331, 390–391 и (особенно!) 533. Очень интересно Ваше мнение об этих страницах “поэта”.

Конечно, всё это спорные вопросы. Но без их решения не обойдёшься.

Вот Вы ещё – так, во всяком случае, я понял – вините “Русь” в гибели Пушкина<sup>6</sup>. Мне кажется, что на вопрос, кто убил Пушкина, точно ответил Блок в своём завещании (см. т. 6 последнего изд. соч., стр. 166–167, со слов “Между тем жизнь Пушкина...” – не бенкендорфы даже (которые мешали лишь в “третьем деле”<sup>7</sup>), а те, кто отнимал творческий покой, творческую волю. Имя там одно названо<sup>8</sup>.

Впрочем, всё это, повторяю, слишком спорно. Когда-нибудь обсудим. Во всяком случае, иные Ваши стихи со слишком “внешним” смыслом для меня звучат как риторика. Другое дело – “Махорка”, “Во мне проснулось...”, “Так-сяк...” и др.

Ещё раз благодарность Вам от сердца.

Всего Вам самого доброго.

Стихи Ваши я уже читаю друзьям – как Вы хотели.

Пишите, пожалуйста.

Искренне Ваш  
Вадим Кожин.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о статье В. В. Кожина “Внешняя и внутренняя тема в современной лирике” (“Знамя” 1960, № 11).

<sup>2</sup> Речь идёт о стихотворении Б. Чичибабина “Пастернаку” (1962).

- <sup>3</sup> См. строки Б. Чичибабина из стихотворения “Пастернаку”: “Я стих твой пешком исходил, ни капли не косвен, храня фотоснимок один, где ты с Маяковским, где вдоволь у вас про запас тревог и попок. Смотрю поминутно на вас, люблю вас обоих...”. Имеется в виду фотоснимок Б. Л. Пастернака с В. В. Маяковским 1924 года.
- <sup>4</sup> Речь идёт о стихотворении Б. Чичибабина “Клянусь на знамени веселом” (1959), начинающемся строфой: “Однако радоваться рано — и пусть орёт иной оракул, что не болеть зажившим ранам, что не вернуться злым оравам, что труп врага уже не знамя, что я рискую быть отсталым. Пусть он орёт — а я-то знаю: не умер Сталин”. Это “не умер Сталин” — рефрен всего чичибабинского сочинения.
- <sup>5</sup> В. В. Кожин знал, о чём писал. Ему самому принадлежит несколько статей о творчестве В. В. Маяковского. Кроме того он принимал участие в подготовке 7 тома 13-томного Полного собрания сочинений В. В. Маяковского (1955–1961).
- <sup>6</sup> Имеется в виду строки из следующего стихотворения Б. Чичибабина: “Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю — молиться — молюсь. А верить — не верю... А я тебя славить не буду вовеки. Под горло подступит — и то не смогу. Мне кровь заливает морозные веки. Я Пушкина вижу на жжёном снегу...”
- <sup>7</sup> Имеются в виду следующие строки из речи Александра Блока “О назначении поэта” (1921): “Наступает черёд для третьего дела поэта: принятые в душу и приведённые в гармонию звуки надлежит внести в мир. Здесь происходит знаменитое столкновение поэта с чернью...”
- <sup>8</sup> См.: “Между тем жизнь Пушкина клонилась к закату, всё больше наполнялась преградами, которые ставились на его путях. Слабел Пушкин — слабела с ним вместе и культура его поры: единственной культурной эпохи в России прошлого века. Приближались роковые сороковые годы. Над смертным одром Пушкина раздавался младенческий лепет Белинского. Этот лепет казался нам совершенно противоположным, совершенно враждебным вежливому голосу графа Бенкендорфа. Он кажется нам таковым и до сих пор. Было бы слишком больно всем нам, если бы оказалось, что это — не так...” (Александр Блок. “О назначении поэта”).

<письмо без даты>

Дорогой Борис!

То, что я собираюсь сейчас делать, — глупо и бессмысленно, заранее обречено на провал. Но не могу удержаться, так как мне, честное слово, больно от того, что Вы, человек, как я понимаю, не зависящий от давления “группы”, “среды”, всё же — при всём уме, даровании, опыте — закабалены, подавлены дутыми авторитетами, дешёвыми идеалами.

Ну, что в самом деле стоит одно уже нежное упоминание Маршака<sup>1</sup> — этого ничтожества, этого графомана, который всю жизнь служил верой и правдой (притом, служил особенно умело, даже подчас незаметно) тому именно, что Вы всей кровью ненавидите, тому, что Вас топтало и корёжило?

Я опять вспоминаю, что взялся за нелепое дело, что Вы не можете под пятьдесят лет вытравлять из себя те свойства, которые я с величайшим трудом вытравил из себя между 30 и 35 годами (т. е. 1960–1965)<sup>2</sup> — не можете, даже если бы и захотели.

А ведь вопрос тут, собственно, чисто теоретический. В сфере культуры то, что находится ниже среднего уровня (и даже на среднем) — в принципе вообще не существует. Ваши прямые враги (ну, скажем, те, кого Вы в одном стихотворении называли “кретинами” и “хамами”<sup>3</sup>) вообще не существуют, как явление культуры. С ними не о чем спорить (на почве культуры). Те, кто находится под их “духовным” влиянием (те “поэты”, скажем) такое уж мизерное явление, что о них и жалеть не приходится. Даже хорошо по-своему, что они, эти “поэты” сидят в этой дыре и не срамят своим бумагомаранием какие-либо более “высокие” сферы. Спорить с ними поэтически — значит унижать себя (и Вы, кстати, этим грешите). Спорить можно только лишь на определённом уровне. Но как только Вы встречаетесь с явлением более или менее высокого уровня — Вы восхищаетесь, даже падаете ниц. Так Вы чуть ли не как перед Богом преклоняетесь перед поэтом — разумеется, поэтом замечательным, многие строки которого я с дрожью в голосе твержу наизусть<sup>4</sup>, — но поэтом, глав-

ные вещи которого по своему смыслу никак не заслуживают преклонения, ибо первая изобразила небывалую в истории народную трагедию – трагедию, которая, возможно, вообще уничтожила самые **гены** нации, – чуть ли не как идиллию<sup>5</sup>, а вторая показала другую трагедию чуть ли не как водевиль<sup>6</sup>.

Я не случайно сослался в прошлом письме на завещание Блока. Вы пишете, что не принимаете Блока. Что ж, это был, без сомнения, первый по времени великий **профессиональный** поэт (первый русский), что наложило на него особую, иногда очень неприятную печать. Он, в частности, напечатал едва ли не больше стихотворений, чем все великие русские поэты до него, вместе взятые. Я не могу читать его ранние стихи – совершенно холодные и выдуманные. Но примерно в 1905–1906 его нечто пронзило, и есть у него 50–70 великих вещей. Думаю, что я мог бы составить его книгу, которую приняли бы все, включая Вас. Но это так, к слову.

Говорю об его завещании, о “тайной свободе”, о “творческой воле”. Вот Вы разделяете “подлинное, глубокое, вечное” и “мнимое, внешнее, временное”. Но для того, чтобы действительно отделить эти вещи, необходима именно эта высшая свобода. Для освобождения от мнений “кретинов” и “хамов” её не требуется, – хотя и были годы (я, как и Вы, хлебнул их, – правда, поменьше), когда и это было трудновато.

Опять и опять я чувствую тщету своих слов. Но горько и больно читать у настоящего поэта строку о Маршаке (Вы можете сказать – вот, мол, привязался к одному имени! Но это просто “лакмусовая бумажка”.), ожидающем друга на небеси со словами о Рождестве (слава Богу, ещё хоть с маленькой буквы – так у Вас). Хорошо ещё, что не упомянуты Чуковский, Светлов, Эренбург (кто там ещё?) и – авансом – Иракий Андронников – словом, все либеральные светочи.

Если же Вы всерьёз говорите, что и тот, и другой “тоже Россия” и “сколько русских, столько Россией” – то почему же Вы изгоняете “хамов” и “кретинов”? И почему вам новые “джамбулы” не по душе?<sup>7</sup> Это нелогично.

Ещё и ещё раз повторю: я умею ценить всё ценное у **кого угодно**. Но не надо видеть **идеалы** общественного поведения и нравственной позиции там, где ими и не пахнет.

Да и логика действительно верная вещь. Вот Вы пишете, что Блок и Есенин имели иллюзии, близкие к иллюзиям героя Вашего стихотворения, и “не нам их судить”. Но одно дело – иллюзии до 1925 и тем более 1921, а другое – до 1957. Как Вы это упустили?

Или ещё: герой, которого ожидает Маршак, по Вашей мысли, чуть ли не ходил над пропастью. С чего Вы взяли? Никогда ему не угрожало ничто, кроме лишения какого-либо нагрудного знака (точнее, даже просто понижения его – знака – “стоимости”). Вы сами по сравнению с ним, – герой<sup>8</sup>. Зачем же расстилаться?

Но я заболтался. Простите, если огорчил Вас или обидел. В последнем случае можете обидеть меня молчанием.

Всего Вам доброго, от души.

В.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о стихотворении Б. Чичибабина “Памяти А. Твардовского” (1971), где есть такие строки: “Бесстыдство смотрит с торжеством. Земля твой прах сыновний примет, а там Маршак тебя обнимет, “Голубчик, – скажет, с рождеством!” В присланном В. В. Кожинуву тексте стихотворения слово “Рождество” было написано с маленькой буквы. С. Я. Маршак был одним из рекомендателей Б. Чичибабина в Союз писателей СССР.

<sup>2</sup> В. В. Кожинув неоднократно подчёркивал, что этот перелом произошёл в нём под впечатлением от общения с М. М. Бахтиным.

<sup>3</sup> См. стихотворение Б. Чичибабина “Клянусь на знамени весёлом”: “Пока во лжи неукротимы сидят, холёные, как ханы, антисемитские кретины и государственные хамы, откуда взяточник заносчив, а волокитчик беспечален, пока добычи ждёт доносчик, – не умер Сталин. . .”

<sup>4</sup> Имеется в виду А. Т. Твардовский.

<sup>5</sup> Поэма А. Т. Твардовского “Страна Муравия”.

<sup>6</sup> Поэма А. Т. Твардовского “Василий Тёркин”. Лучшей из крупных вещей Твардовского В. В. Кожинув называл поэму “Дом у дороги”.

<sup>7</sup> Здесь и далее, очевидно, цитаты из письма Б. Чичибабина В. В. Кожину, пока не обнаруженного.

<sup>8</sup> С 1946 по 1951 год Б. Чичибабин отбывал тюремный и лагерный срок по обвинению в антисоветской агитации.

### Письмо Вадима Кожина Варламу Шаламову

3.1.76

Глубокоуважаемый и дорогой Варлам Тихонович!

Когда-то мы обменялись с Вами письмами<sup>1</sup>. Меня зовут Вадим Кожин, я автор книги “Как пишут стихи”, которая Вам нравилась. Потом у нас был эпистолярный спор о поэзии Голенищева-Кутузова<sup>2</sup>, причём, в конце концов, Вы дали ей в своём письме высокую оценку.

Сейчас я написал книгу о русской поэзии, где, в частности, идёт речь о забытом Голенищеве-Кутузове. Было бы очень хорошо подкрепить мою оценку поэта Вашей. Посему я обращаюсь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить процитировать в моей книге Ваши высокие слова о поэзии Голенищева-Кутузова (из Вашего письма ко мне от 9 января 1972 года)<sup>3</sup>.

Буду очень благодарен за согласие.

Книгу скоро нужно сдавать, поэтому проще всего было бы, если бы, получив это письмо, Вы позвонили мне по телефону 2916728, чтобы сообщить своё решение.

Если Вам это неудобно, напишите, пожалуйста, по адресу: Москва, Г-19, ул. Мясковского 35/37 кв. 14.

Примите самые добрые приветствия и пожелания.

Искренне Ваш  
Вадим Кожин.

---

<sup>1</sup> Предыдущее письмо В. В. Кожина пока не обнаружено. Ответное письмо В. Т. Шаламова было напечатано в его Собрании сочинений в 6 тт. (т. 6. М., 2005, с. 588–592).

<sup>2</sup> Ото всего “эпистолярного спора” осталось вышеуказанное письмо В. Т. Шаламова, в котором он, в частности, писал:

“Голенищев-Кутузов – огромный кусок поэтической русской классики бесспорно и кроме стыда за своё опрометчивое суждение в “Дне поэзии 1968” я ничего не испытываю. (Имеется в виду следующий пассаж В. Т. Шаламова в статье “Пушкинская премия Академии наук”: “Станным сейчас выглядит награждение полной Пушкинской премией поэта А. А. Голенищева-Кутузова. Всего одно поколение понадобилось, чтобы этот лауреат был вовсе забыт – он даже для литературоведов не представляет интереса” – С. К.).

Считается, что вся эта апухтинская стезя давно потеряла силу и ни один чтец-декламатор – главное орудие классики в борьбе со стихами не подскажет тебе фамилии и стихи Голенищева-Кутузова, хотя, казалось бы, они созданы для мелодекламации, утраченного ныне жанра, весьма популярного в дни моей юности... Я мог бы и просмотреть тот мелодекламационный вклад, что сделал Голенищев-Кутузов в русской поэзии конца прошлого века. Просмотреть активное содружество с Мусоргским. Я – человек, очень далёкий от музыки. У меня, как у Блока, нет музыкального слуха. Общение с Маяковским, который отрицал музыку вовсе, как нельзя лучше совпало с моими собственными опасениями на сей счёт.

По своему левовскому нигилизму я мог бы и заглазно и заушно выудить по молодости лет тревоги и вкусы Голенищева-Кутузова и утратить большого русского поэта чуть не на всю жизнь...

Ощущение ухода от людей, сближение с природой, находки на этом пути и давали Голенищеву-Кутузову возможность строить свою самозащиту в четырёх стенах.

По своему ощущению мира Голенищев-Кутузов принадлежит к числу русских пророков с философией, обгоняющей западные образцы. Но это – и вовсе отдельная тема...

Открытие нового русского поэта-классика для другого поэта шестидесяти шести лет от роду само по себе – уникальный случай в истории русской литературы. Но чудеса на этом не кончаются. Совпадают (с моими стихами) эмоциональный тон, интонационный строй, техника (даже названия стихов одинаковы – “Старик”, “Орёл”, “Метель”, “Костёр”). Прошло ведь сто лет. Тут уж я опускаю руки. Загадку совпадения не могу объяснить.

Подражание, эпигонство, отсутствие новизны считаю главным грехом стихотворца, и загадку Голенищева-Кутузова не могу объяснить. В природе больше необъяснимого и случайного, чем мы знаем. Более поражающих вещей, чем мой, весьма удивительный случай, свертелепатические чудеса. Но это всё – не главное. А главное в том, что Вы сделали мне редчайший, уникальнейший годоводный подарок – подарили нового русского классика...

<sup>3</sup> Речь идёт о книге В. К. “Книга о русской лирической поэзии XIX века” (М., “Современник”, 1978). В ответном письме В. Т. Шаламов писал: “Цитировать из моего письма, я разумеется, разрешаю сколько угодно, хотя и не надеюсь замолить грех перед Аполлоном (Григорьевым – С. К.) и Голенищевым-Кутузовым за свой проступок. В вечных сожалениях за свой просчёт. Ваш В. Шаламов” (Письмо от 5 января 1977 года). Одна из частей заключительной главы “Лирика “безвременья” (Конец века)” посвящена поэзии А. А. Голенищева-Кутузова. Но никаких цитат из письма В. Т. Шаламова в ней не содержится.

### Письма Вадима Кожина Виктору Лапшину

19. 1. 84

Дорогой Виктор!<sup>1</sup>

Не сердись, что долго не писал: представь себе, как-то неожиданно запил да ещё обварил ногу крутым кипятком (ожоги до 3–1 ст(епени)!). Дней десять был как в тумане.

Сборник твой готов<sup>2</sup> – и без учёта требований мнацаканянов и ко<sup>3</sup>. Книгу твою в “М. Г.” (удалось добиться этого) поддерживает Костров, рабоч(ий) секр(етарь) Моск(овской) организац(ии)<sup>4</sup>. Так что дело облегчилось.

Единственное, что следует в самом деле учесть, – это поставить вперёд что-нибудь “посветлее”. Что касается поэм, которые ты хочешь добавлять, я, по-видимому, их не знаю; так что пришли.

Вопрос, который надо решать ещё – это правка, которую сделал в твоих стихах Поликарпович<sup>5</sup>. В основном, она, по-моему, очень удачна\*. Но, естественно, ты должен сам всё решить. И перепечатать, кстати, стихи в “окончательном” виде.

Вечер твой в Костроме (так уж получилось) запланирован на апрель. Так что есть ещё время готовиться.

Поучись, милый ты мой, читать (в смысле – декламировать) стихи! Поэт **должен** это уметь. Найди и обработай **свою** голосовую трактовку. И чтобы можно было читать громко (это уже вторая задача).

На всякий случай сообщаю: в ЖЗЛ только что вышла прекрасная книга моего друга, твоего земляка-костромича Николая Скатова о Кольцове<sup>7</sup>. Почитай, если можешь достать.

Да, заглянув в твоё письмо, сообщаю: своего “Тютчева” я сдал, а что там дальше – уже не от меня зависит<sup>8</sup>.

Чуть не забыл: 17 янв(аря) обсуждали “День поэзии” в ЦДЛ<sup>9</sup>. Ты был одним из главных героев обсуждения.

Сердечный привет твоим близким от всех нас, обнимаю.  
В. К.

---

<sup>1</sup> Это письмо было опубликовано самим Виктором Лапшиным в подборке писем В. В. Кожина “Восторга не теряющий” (“Наш современник” 2005, № 7), но с необъяснимыми купюрами. Собственно говоря, из всего письма В. М. Лап-

---

\* Кроме стихотв(орения) “Без искания...”, которое я прошу тебя дать в “моём” варианте – из “Лит(ературной) учёбы”<sup>6</sup>.

шин по непонятной причине оставил лишь два коротеньких абзаца. А оно крайне важно в контексте их эпистолярного и личного общения.

<sup>2</sup> Речь идёт о сборнике Виктора Лапшина “Поздняя весна” (М., “Молодая гвардия”, 1985).

<sup>3</sup> Видимо, речь идёт о “внутренней рецензии” стихотворца С. Мнацаканяна на указанную книгу В. Лапшина.

<sup>4</sup> Речь идёт о поэте В. А. Кострове.

<sup>5</sup> Ю. П. Кузнецов.

<sup>6</sup> Первая серьёзная подборка стихотворений В. М. Лапшина с послесловиями В. В. Кожина и Ю. П. Кузнецова была опубликована в журнале “Литературная учёба” (1983, № 5).

<sup>7</sup> Николай Скатов. “Кольцов” (М., “Молодая гвардия”, ЖЗЛ, 1983).

<sup>8</sup> Книга В. В. Кожина “Тютчев” вышла в “Молодой гвардии” в серии ЖЗЛ лишь в 1988 году.

<sup>9</sup> В “Дне поэзии 1983”, составленном Ю. П. Кузнецовым, была напечатана большая подборка стихотворений В. М. Лапшина.

14.9.87

Дорогой Виктор!

Перевод твой я мог бы найти, но это нелегко<sup>1</sup> (ты, думаю, видел, сколько у меня рукописей, и они неизбежно исчезают на время – хотя до конца ничто никогда не пропадало, т. к. из моей комнаты никто не может вынести даже просто запачканного листика).

При всём том поверь, что перевод твой тебе не нужен, он был очень слабый. Найди лучше “Неделю”, где были и тексты, и подстрочники, и комментарии к 3-м стих(отворен)иям твоего тёзки Дыка<sup>2</sup>.

На Виолетту<sup>3</sup> плюнь – подумаешь, какое серьёзное дело. С гл(авным) ред(актором) “Учит(ельской) газ(еты)” я не знаком, да и не знаю, кто это вообще<sup>4</sup>.

Глушкова, т(ак) сказать, дружила с Кузнецовым и мной. Но она принадлежит к тем – увы, распространённым – женским натурам, которые, обретая нечто от друзей, требует всё большего и большего, а поскольку это не всегда возможно, превращает друзей во врагов. Она писала достаточно восторженно и о Куняеве, и о Кузнецове, но теперь “мстит”<sup>5</sup>. Впрочем, это также не столь уж важное дело. Гораздо важнее её памфлет на всемирное еврейство, написанный в виде статьи о стихах Дзэика Самойлова<sup>6</sup>. За эту блистательную сатиру нужно ей быть благодарным. Или за расправу над Аннинским на страницах “Лит(ературной) газеты”<sup>7</sup>. Я за этот диалог даже ей восторженную телеграмму послал. И сейчас готов её восхвалять за самойловскую статью. А то, что она хвалит Ступина в противовес Кузнецову и Куняеву – крайне несерьёзно. Бог с ней!

Пугачёву обожают бабы с неудачной судьбой и подростки. Меня на одном выступлении спрашивали (взрослые) – почему, мол, наши дети без ума от Пугачёвой? Я сказал: они восхищены тем, что вот, мол, пожилая тётя, а ведёт себя, как мы!

Лена (моя жена) же уверена, что Пугачёва – с того света, не человек. Она жадно глядит на экран, полагая, что видит настоящую нечистую силу. Я же думаю, что это чрезмерный комплимент Пугачёвой.

Давно ты не присылал стихи. Как бы тебе не истощить самую способность к сложению стихов в переводах. Не увлекайся слишком.

Очень хороший рассказ Королёва в № 6 “Москвы” за этот год<sup>8</sup>.

Пиши,

привет семейству,  
обнимаю.

В. К.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о стихотворении Виктора Дыка в переводе В. М. Лапшина.

<sup>2</sup> См. В. Кожин. Послесловие литературоведа. К итогам конкурса на лучший перевод стихотворений чешского поэта Виктора Дыка. (“Неделя”, 1983, № 52).

- <sup>3</sup> О ком речь – неизвестно.
- <sup>4</sup> Главным редактором “Учительской газеты” в 1987 году был В. Ф. Матвеев.
- <sup>5</sup> Речь идёт о статье Т. М. Глушковой “Через несколько лет”. (“Русский узел” в стихах наших дней” в её книге “Традиция – совесть поэзии” (М., “Современник”, 1987). В этой же книгу вошли её статьи “Призраки и силы и вольности” и “Образ поэта – образ критика. О “Свободной стихии” Станислава Куняева”, в которых она писала о творчестве Юрия Кузнецова и Станислава Куняева в совершенно иной тональности.
- <sup>6</sup> Статья Т. М. Глушковой “В пристальном свете русской классики”. (О некоторых тенденциях современной поэзии в зеркале её критики”), посвящённой разбору поэзии Давида Самойлова, в той же книге.
- <sup>7</sup> См. диалог Льва Аннинского и Татьяны Глушковой “Фениксы и хамелеоны” (“Литературная газета” 1987, 22 апреля).
- <sup>8</sup> Речь идёт о рассказе Анатолия Королёва “Перелёт”.

12. 9. 89

Дорогой Виктор!

Зря обижаешься, что редко пишу. Если бы ты мог с помощью некоего чудесного прибора видеть мою жизнь, тебе даже не пришлось бы в голову упрекать меня, что я не нахожу времени регулярно писать тебе.

Ряд сильных стихотворений ты прислал в последний раз – недавно. Большая часть из них появится в одном из ближайших номеров “Современника”, где теперь хороший гл(авный) редактор – Куняев<sup>1</sup>. Поэтому не печатай их в других журналах и еженедельниках (в газетах – можешь). Представляю, как ты уже берёшься за перо, дабы спросить меня, какие именно из тех стихов. Но для того, чтобы это точно выяснить, мне пришлось бы провести расследование, на которое нет времени. Так что не публикуй пока все те, которые прислал в последний раз. И не забывай, что мне в будущем году 60 лет, и силы убывают.

Теперь, что касается книги<sup>2</sup>. Я готов сделать то, что ты просишь, но мне нужен для этого текст книги, а не их названия. Тут ведь опять-таки надо всё искать и впадать тем самым в лишние хлопоты. И Кузнецов, и Сиротин, и Куняев, и Тряпкин, и др., чьи книги я составлял<sup>3</sup>, давали мне тексты, с которыми я затем работал (что-то добавлял, что-то удалял и т. п.). Не думаю, что у них меньше забот, чем у тебя.

Кстати, переписываешься ли ты с Сиротиным, Курдаковым, Поздняковым<sup>4</sup>? Что Старостин<sup>5</sup>? Казиева пока не собрался прочитать, но прочту<sup>6</sup>.

Всего тебе доброго, привет тебе и семье от всех нас.

В. К.

---

<sup>1</sup> С. Ю. Куняев стал главным редактором “Нашего современника” в начале сентября 1989 года.

<sup>2</sup> Речь идёт о книге стихотворений В. М. Лапшина, составителем которой он просил быть В. В. Кожина.

<sup>3</sup> См. Ю. Кузнецов. Стихотворения и поэмы. М., 1989. Б. Сиротин. Происшествие в новом городе. 1989. Ст. Куняев. Путь. Стихи разных лет. М., 1982. Н. Тряпкин. Избранное: (1940–1979). М., 1980.

<sup>4</sup> Переписка В. М. Лапшина с Е. В. Курдаковым известна. Писем поэтов Бориса Сиротина и Александра Позднякова в известной нам части архива В. М. Лапшина не найдено.

<sup>5</sup> В. А. Старостин (1910–1995) – костромской писатель, в прошлом – председатель колхоза.

<sup>6</sup> Очевидно речь идёт о стихах поэта Багаутдина Казиева, на которые внимание В. В. Кожина обратил В. М. Лапшин.

26.10.92

Дорогой Витя!

После нескольких в том или ином смысле “нескладух” ты прислал, наконец, настоящие лапшинские вещи – и я очень рад. Видно, было у тебя год-полтора нестройно в душевном храме, а сейчас замечательно достойный голос звучит. Правда, есть “небрежения”.

**“Во тьме”:** *И подобразами в углу  
плевками – нехорошо.*

**Слухробкий** нечаянно ловит  
инобытию – как-то иначе надо.

**“Кузькина мать”:** **Пелкузька** о гордом “Варяге”.

**“На рынке”:** Не годится, что только из 16-й строки узнаёшь: речь идёт о женщине.

**“Миг”:** *Где рок мой заблудился.*  
Это **неточно** – рок.

Ты скажешь: вот, мол, мелочи. Но сообщу тебе малоизвестное. Пушкин читает “Будрыс и его сыновья”. Слушатели хвалят. Пушкин: “ – Я недоволен этими стихами... Например, полячка младая... Это небрежно, надобно было сказать молодая, но я поленился переделать **три стиха для одного слова**”. (“Разговоры Пушкина”, М., 1991, с. 207).

\* \* \*

Бедный Витя! Зачем ты отказался от Абая?<sup>1</sup> Это удивительная наивность. Никаких “переводов”, кроме детективов и порнухи, в Москве не издают. Если и есть, то десятки “маститых” профессионалов дерутся за каждую 1000 строк. Я бы на твоём месте попробовал бы вернуться к Абаю – переведил бы по субботам и воскресеньям.

Насчёт Проханова ты не прав. Ты просто не можешь даже **вообразить** себе, как он занят. И вовсе не только “глобальными” проблемами<sup>2</sup>.

Ну, будь здоров. И ещё – я бы на твоём месте завёл поросят, кур и т. д. По-моему, это единственное реальное спасение сегодня, или, точнее, завтра.

Обнимаю, привет супруге.  
В. К.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о переводах Абая Кунанбаева, с которыми к В. М. Лапшину обратились казахстанские издатели.

<sup>2</sup> Очевидно, для В. М. Лапшина было трудновыносимо долговременное невнимание к его стихам, на которое он и пожаловался В. В. Кожинину.

## Письма Вадима Кожина Евгению Курдакову

5.2.87

Глубокоуважаемый и дорогой Евгений Васильевич!

Хотя у меня есть некоторые существенные пожелания Вам (о них напишу как-нибудь потом), не могу не сказать сразу же, что Вы – совершенно замечательный поэт. Конечно, Вы и сами это понимаете, но когда ещё кто-то понимает – наверное, немаловажно.

Впрочем, буду хвалить Вас не словом, а делом (это мне привычнее). Я пишу сейчас для “дискуссионного” сб(орника) статей в “Сов(етском) писателе”



обзор сегодняшней поэзии и считаю теперь, — после прочтения Вашей книги<sup>1</sup>, — необходимым сказать там о Вас<sup>2</sup>. Во-вторых, я готовлю для массового издания сборник стихотворений лучших современных поэтов (примерно 10 имён) и должен поместить в эту антологию и Ваши стихи<sup>3</sup>. В третьих, хочу опубликовать солидную подборку Ваших стихотворений в к(аком)-н(ибудь) журнале или альманахе<sup>4</sup>.

Пожалуйста, не откажитесь сделать следующее (**прошу**, потому что знаю — Вы не из тех, кто бодро рвётся на такого рода предложения):

1) Пришлите **как можно больше** стихотворений — именно как можно больше (даже если можете прислать несколько сот).

2) Хотел бы получить “Сад мой живой”<sup>5</sup>.

3) Обязательно сообщите **подробные** сведения о себе (включая “анкетные”).

4) На случай публикации в журнале (есть такие варианты) пришлите фотографию.

5) Напишите, кого из современных поэтов Вы цените (и м(ожет) б(ыть) поэтов XX века вообще).

Ради Бога не воспринимайте моё письмо как нечто подобное **псам Актеона**<sup>6</sup> — я другой человек.

Поскольку я Вас читаю и буду читать, хотелось бы, чтобы Вы, в свою очередь, прочитали мою статью в журнале “Наш современник” № 11 за 1981 г. (в областной б(ibliote)ке Усть-Каменогорска наверняка найдёте этот номер). И написали мне о Вашем восприятии этого опуса<sup>7</sup>.

Стихами Вашими в Москве восхищаются уже десятки людей (в т(ом) ч(исле) и поэты), хотя я получил книгу только три дня назад (Вы послали её по старому адресу — новый на конверте — и она долго добиралась до меня).

От души — всего Вам самого доброго.

В. К.

---

<sup>1</sup> Речь идёт о книге Е. В. Курдакова “Мой берег вечный”, Алма-Ата, 1986.

<sup>2</sup> Статья В. В. Кожина “Истинное и мнимое. Поэзия сегодня” в сборнике “Взгляд”, М., 1988.

<sup>3</sup> Это издание не состоялось.

<sup>4</sup> См. следующее письмо о переговорах с редакцией ж. “Новый мир”.

<sup>5</sup> Книга стихов Е. В. Курдакова, вышедшая в 1984 году в Алма-Ате.

<sup>6</sup> “Псы Актеона” — стихотворение Е. В. Курдакова. Имеются в виду его заключительные строки: “Стихи мои, слепые псы, собаки Актеона, я вас с руки кормил, а вы всё мчитесь мне вдогон...”

<sup>7</sup> Речь идёт о статье В. В. Кожина “И назовёт меня всяк сущий в ней язык...”, которую он считал во многом определяющей для себя.

## 2.6.87

Дорогой Евгений Васильевич!

Сочинение Ваше о птицах, без сомнения, в высшей степени интересно, но само направление мысли мне, должен признаться, чуждо<sup>1</sup>. Это, разумеется, вовсе не значит, что я не усматриваю в Вашем сочинении подлинной **ценности**. Просто мне трудно обсуждать Вашу мысль. Если Вы не против, я бы дал рукопись одному замечательному человеку, который, как мне представляется, сможет понять Вас родственнее и глубже<sup>2</sup>. Жду Вашего согласия.

Мне захотелось, чтобы Ваши стихи стали широко известны. Надеюсь, что Вы не будете возражать против публикации в “Новом мире”. Чухонцев (он ведает там поэзией — в частности дал в № 4 — кажется, так? — большую подборку Николая Тряпкина<sup>3</sup>) обещал мне для Вас № 9 (это, уверяю Вас, очень быстро — боюсь даже, как бы не сорвалось)<sup>4</sup>.

Он отобрал “Оттепель”, но очень просит опустить предпоследнюю строфу, считая её ухудшающе “литературной”. Думаю, в этом есть резон (к тому же **сила** стихотворения обратно пропорциональна его длине). Даже —

“Словно белый рассвет” и “Псы Актеона”, где уже я (и Чухонцев согласен) прошу снять строфу “Дышали псы вокруг, хрипя и клацая зубами...” Во-первых, здесь искажён миф: Актеон “не посмел калечить” не собак, а своих товарищей по охоте — людей. Во-вторых, “дышала смерть...” — неудачная строка. В-третьих, (Вы, возможно, этого не видите), стихотворение очень чётко разделяется на **восьмистишия**, каждое из которых — относительно самостоятельное **звено** мифа. Так и стоит печатать. А указанная строфа — выпадает из этого **само собой** сохранившегося членения (обратите внимание: каждое восьмистишие начинается или заканчивается упоминанием о “мифе”). И ещё. Чухонцев просит разрешить напечатать отрывок (указав, что это отрывок) из “Баллады перевода” под названием “Абай”.

Обо всём этом жду Ваших — надеюсь, скорых — соображений.

Моя статья о сегодняшней поэзии (я писал Вам о ней), где речь идёт и о Вас, сдана в производство.

Да, на будущее: прошу Вас переделать строку в стих(отворении) “Старый пень”:

*Сквозь **короб** **корявой** **коры** под трухой*

м. б. шершавой? слишком уж заформализовано.

Знаете ли Вы книгу Василия Казанцева “Стихотворения” (М., “Сов. Россия”, 1986) — вернее, её первый раздел (стр. 13–103)<sup>5</sup>. Интересно, что Вы о ней думаете. Мы с Казанцевым, кстати, говорили о Вашей книге, но об этом коротко не напишешь.

К Вам, возможно, обратится Ю. М. Ключников из Новосибирска. Это замечательный человек и во многих смыслах близкий к Вам.

Знаете ли Вы книгу (антологию) “Поэты тютчевской плеяды” (М., 1982)<sup>6</sup>? Мне кажется, Вам было бы очень важно её изучить, т. е. это пласт русской поэзии, который особенно существен сейчас... Если не найдёте, готов прислать Вам для прочтения.

Всего Вам самого доброго.

В. К.

---

<sup>1</sup> Эссе Е. В. Курдакова “Спасённые птицы Христа”.

<sup>2</sup> О ком речь — неизвестно.

<sup>3</sup> В “Новом мире” были опубликованы 15 стихотворений Н. И. Тряпкина.

<sup>4</sup> Публикация стихов Е. В. Курдакова не состоялась.

<sup>5</sup> Книга, составленная В. В. Кожиновым.

<sup>6</sup> См. “Рассказ о вышедших и выходящих книгах”.

22. 5. 88

Дорогой Евгений Васильевич!

Был рад подышать Вашими стихами — и новыми, и прежними. Но (конечно, Вы можете отвергнуть моё мнение как субъективное), я как-то не верю в “циклы” (в том числе, скажем, и в бесконечные “Циклы” Блока, или Анненского, или Фета). Мне представляется, что **стихотворение**, так сказать, абсолютная единица.

Кратко о Ваших вопросах. В “Огоньке” сменился “зав. поэзией” (теперь — Олег Хлебников, человек, на мой взгляд, с сугубо извращённым миро- и “искусствовосприятием”; к тому же относящийся ко мне болезненно-противоречно; пьяный — иногда звонит и что-то лепечет, но вообще-то считает врагом, так что помочь я не могу). Что можно сделать: написать **лично** (в “Огонёк”) Феликсу Николаевичу Медведеву, который и решил вопрос о Вашей премии<sup>1</sup>. Теперь он не ведаёт поэзией, но вдруг что-нибудь сделает. Попытка — не пытка; напишите. С оттенком задушевности — он, в общем-то мужик “с чуйствами” (как говорит одна моя молодая знакомая).

Что касается издательства “Современник”, я не сомневаюсь, что Ваша книга выйдет там. Просто, по старой русской поговорке “скоро **сказка** скажется, да не скоро **дело** делается”. Но всё же напишите Ларисе Георгиевне Барановой (укажите обязательно, что мол, Кожин посоветовал написать) и спросите, как и что<sup>2</sup>.

Очень рад, что Вы намерены перебраться в Самару. Уверен, что Борис<sup>3</sup> Вам поможет, — в самых **разных** отношениях. А Алтай Вы увезёте целиком в себе и к тому же иногда будете ездить туда. А Волга придаст новые силы<sup>4</sup>.

Жаль, что из-за чистого разгильдяйства организаторов (они всё искали Ваш телефон, вместо того, чтобы пойти на телеграф) сорвалась Ваша командировка в начале мая в Питер (где были Ю. Кузнецов, Б. Сиротин и др.).

Если письмо успеет, скажите за торжественным столом, что эмоциональный литератор Кожин желает счастья молодым — я, кстати сказать (что для меня давно большая редкость), сейчас в хмельном состоянии — так уж получилось — и потому как бы уместен за свадебным столом<sup>5</sup>.

Всего Вам самого доброго, глубины души. Пишите, приезжайте.  
В. Кожин.

---

<sup>1</sup> Лауреатом премии ж. “Огонёк” Е. В. Курдаков стал в 1987 году.

<sup>2</sup> Сборник стихотворений Е. В. Курдакова “Словно белый рассвет” вышел в издательстве “Современник” в 1991 году.

<sup>3</sup> Поэт Борис Сиротин, живущий в Самаре.

<sup>4</sup> Переезд в Самару не состоялся.

<sup>5</sup> Старшая дочь Е. В. Курдакова в конце мая 1988 года вышла замуж.

### О творчестве Евгения Курдакова

Я знаю Евгения Васильевича Курдакова прежде всего как поэта, и поэта, безусловно, замечательного. Может, это покажется нескромным, но я всё-таки выскажу, что в процессе чрезвычайно внимательного и углублённого изучения современной русской поэзии в течение последних 35 лет кое-что посчастливилось мне правильно определить. В частности, я очень рад тому, что мне выпало одному из первых сказать о значении в судьбах и страны, и литературы таких поэтов, как Николай Рубцов, Николай Тряпкин, Анатолий Передреев, Юрий Кузнецов, Виктор Лапшин. Я мог бы назвать ещё целый ряд имён, сейчас общепризнанных, чью высокую значительность мне удалось уловить по первым же публикациям, а некоторых — ещё до того, как они начали печататься. Всё это даёт мне некоторое право на то, чтобы считать мои оценки объективными.

Если говорить о последнем десятилетии, то наиболее яркая и весомая фигура, появившаяся в русской поэзии, это именно Евгений Курдаков. Его публикации немногочисленны, да он и не так много написал, но если представить его поэзию единой книгой, то к ней можно будет применить слова Фета:

*Вот эта книга небольшая  
Томов премногих тяжелей,*

Причём творчеству Курдакова присуще редкостное, воистину счастливое сочетание вещей вроде бы трудносоединимых: высокой, изощрённой техники, культуры стиха — и совершенно живой, необычайно естественной, вольной поэтической стихии, с таким непосредственным сопереживанием миру! Мы как-то привыкли, что чаще эти стороны творчества являются нам порознь. . .

Несмотря на то, что за плечами Евгения Курдакова нет какого-то систематического “официального” образования, этот человек, безусловно, очень много работал сам над своим и литературным, и духовным образованием, начав своё духовное становление в интеллектуальной среде Ленинграда.

Вместе с тем, — и это немаловажно и по-своему уникально, — он проработал много лет простым токарем на заводе, — правда, не совсем простым, а высококвалифицированным, ставшим даже лауреатом всесоюзного конкур-

са. Затем серьёзно и глубоко увлёкся фольклористикой, сохранив любовь к дереву на всю жизнь. Эта его работа также, став профессией, имела всесоюзное признание. Этой работе посвящена его книга “Лес и мастерская”.

И, наконец, представляется важным, что он сумел как бы обнять Россию от западных границ до Средней Азии и Алтая, где он прожил долгие годы. Это ему очень много дало в творческом осмыслении мира.

Что касается стихотворческой деятельности Курдакова, то, повторю, среди поэтов, появившихся на литературном небосклоне за последние десять лет, он занимает, безусловно, ведущее место. Но, кроме того, он чрезвычайно высоко образован в области этнографии, археологии, мифологии, и, обладая цепкой интуицией, работает и над осмыслением древних духовных памятников и материальной культуры человечества. Я знаю его довольно многочисленные статьи на самые разные темы, где всегда чувствуется опыт глубокого понимания русской культуры, причём – и это тоже очень важно – русская культура рассматривается в контексте всей Евразии. Эти ценнейшие, самые важные заветы русского сознания (ведь и Пушкин писал, что на “Руси великой” его назовёт “всяк сущий в ней язык”, – то есть любой народ, не только русский), Курдаков воспринял и продолжает эту традицию в своей новой большой книге о русской мифологии в контексте мировой.

Я нисколько не сомневаюсь в том, что эта книга, будучи издана, станет очень интересным и очень ценным явлением русской культуры. Любое исследование в этой области, конечно же, вызовет неизбежные споры – слишком издавна приходит к нам это наследство, ничего в мифологии нельзя утверждать со стопроцентной точностью. Здесь особую важность приобретает сама личность исследователя. Когда на такую тему пишет человек, духовно богатый, если хотите – смелый в своём отношении к духовно-исторической реальности, то получается не просто интересное чтение. Это и вклад в утверждение национального самосознания.

Я всецело поддерживаю план издания книги Евгения Курдакова “Русский Пантеон”, несмотря на то что, повторяю, многие её аспекты могут быть спорны. Но когда речь идёт о духовной реальности, создававшейся несколько тысячелетий, споры, конечно же, неизбежны. Знаменитый пространственный трактат Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу”, классика русской мифологической литературы, массу споров вызывает и до сих пор. И они не могут быть препятствием для новой попытки проникновения в древнейшее наследство славян. Такая попытка и оправдана, и просто необходима.

27 февраля 1996 года.

В. В. Кожин,  
ведущий сотрудник РАН,  
член Союза писателей России.

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ

## МЕДЛЕННЫЕ ПТИЦЫ

*(Бытийный круг в поэзии Николая Алешкова)*

*...Я по Каме впадаю в Волгу  
И взлетаю на Млечный Путь.*

*Зачерпнув из реки небесной  
Благодати, увижу вдруг  
Правый берег, покрытый лесом,  
Левый берег — цветущий луг.*

Николай АЛЕШКОВ

*...Узкая-узкая, дальняя-дальняя  
В поле дорога мерещится мне.*

Дмитрий КЕДРИН

В последние десятилетия в русской литературе утвердился мотив возвращения. Как никогда прежде, он силён и особенно отчётлив в сегодняшней поэзии.

Поэзия обладает исключительной возможностью преодолевать границы реальности, не говоря уже о линиях, которыми расчерчено наше пространство и время. И здесь уже возвращение выглядит как акт волевой и метафизический, которому воспрепятствовать житейскими, видимыми действиями практически невозможно. Именно потому русская жизнь, напитываясь духовными энергиями поэзии, во многом сохраняет себя под давлением западного образа жизни, устроенного с сатанинским лукавством и жестокостью.

Интуиция народа бывает подавлена искушениями и заблуждениями, в реальности — иной раз самого кровавого толка. Однако с течением лет эти глубоко спрятанные мысль и чувство набирают силу и заявляют о себе вновь. И потому русская поэзия, не споря с Православной Верой, является хранильницей и проводником народной души — идеального образа русского человека, способного освободиться от всего низкого и поклониться изначально высокому и светлому.

Стихи Николая Алешкова в этой связи могут показаться совсем не сосредоточенным совокупным лирическим высказыванием. И здесь — их тайна, когда за пустяком высвечиваются важнейшие вещи, а за лёгкими словами — смысл, охватывающий жизнь и судьбу.

У Алешкова поэтическая речь проста, порой обыденна, в ней нет литературной изощрённости (“я простой и понятный”). Его пейзажные, элегические стихи очень естественны, а природа, как правило, олицетворена. У неё есть характер и повадка, словно у знакомого или прохожего. Это позволяет автору снять дистанцию как между читателем и поэтом, так и между человеком и миром (“Август <...> чуть прошёлся по листе // и с особою охотой — по просёлочной траве”; “как невесты, стали чинно // с жемчугами да с фатой // и берёзы, и осины // вдоль дороженьки пустой”).

Обыкновение, повадка его героя, — скорее, сельские, чем городские. И тут особенный срез сознания: селянин, живущий в городе, но тоскующий по деревне (“деревенским поэтом по Отчизне иду”).

Он — *земляной* человек, не *асфальтовый*, и ценит прикосновение порою даже больше созерцания — именно так он входит в природное перетекание света и темноты, предметов и тел. Физика любви почти магнетического притягивает его, но и то, что осталось только порывом в отсутствии телесного соприкосновения, очень значимо: “...необъяснимая словами // жар-птицей нежность промелькнёт. // Прекрасно всё, что ни случится!”

Алешков — один из самых *предметных* поэтов, приверженных русской лирической традиции. Картины жизни человека и природы у него удивительно точны в изобразительном отношении. Прочитав стихотворение, будто через увеличительное стекло видишь описанное. Причём его строки вмещают в себя и переживание, и затаённую мысль: “Отзовётся детство гулко: // с лёгкой удочкой в руке // по широкому проулку // босиком бегу к реке”.

В его сюжетах много житейского, ему нравится *укладывать* в стихи ту или иную реальную историю (“достану молча книжку записную // и что-нибудь о жизни расскажу”). Делает он это с завидной лёгкостью, очень точно прописывая мизансцены и вскользь роняя характеристику происходящего: изображая, осозная и, одновременно, *ведя* читателя.

Способность соединять земное и небесное подразумевает сосредоточенность души и одновременно — её открытость Божьему миру. Поэтому важно отметить неизменные ориентиры, замыкающие пространство, в котором движется поэт, — реальное, смысловое, ценностное: “Свет небесный, хлеб насущный, // твердь земли моей родной”.

В свою очередь, каждое из понятий, перечисленных в авторской строке, оказывается своего рода входным наименованием целого спектра сюжетов, вполне человеческих и конкретных. Коллизии здесь перетекают на соседнее художественное поле: житейское перекликается с духовным, а родное — с повседневным и надмирным. Потому и “хлеб насущный” для поэта связан с “заветным зерном”, которое он роняет “на ниву русской речи”, со стихами о природе, с любовной лирикой и всем, что сопровождает его в пути по тернистым земным тропам. А развёрнутый образ Родины, сердечный и насыщенный реальными деталями, обладает метафизическим отражением в “небесных” пределах. Это не только Святая Русь, но и подвиги подвижников и героев, русский стоицизм и способность к возрождению наперекор тяжести прежних поражений.

Родная сторона у Алешкова — и географическое место, и часть жизни. Не однажды он замечает в своих стихах, что его родина — детство (“и забыть нельзя, что есть истоки — // чистые из детства родники”). Собственно, так могут сказать многие — для поэзии подобное утверждение не является открытием. Но когда оно воссоздаётся при помощи поэтического образа, органично наполненного оттенками лиц и характеров, подробностями радостей и бед, чертами действительности, которые сжимают объём до границ детского царства, — всякий раз в словах поэта возникает маленькое чудо.

*Вот по лугам вечерним кони  
бредут чуть слышно. И верхом,  
небрежно повод сжав в ладони,  
я восседаю на Лихом.*

<...>

*Озёра плаваются в закате.  
И запах трав, и вкус ухи!  
Растут из этой благодати  
мои негромкие стихи.*

*И если пристальной взглядеюсь  
в судьбу свою и жизнь свою,  
я б навсегда остался в детстве,  
как ангел в сказочном раю.*

Для поэта детство оказывается не священным — в такой характеристике очевиден сухой ум, — но “райским”, невинным, свободным, светлым, доверчивым. Он мог бы привести в стихах свидетельства тягот и горечи, поскольку рождён в год Победы, а послевоенное десятилетие требует от художника суровых красок и жёстких линий. Но Алешков оберегает детскую радость и упо-

ение жизнью от поздних рациональных суждений зрелого человека. И такое отношение — одна из самых твёрдых опор его творческого сознания: “Боже, как же нас в детстве любили! Нам бы, Господи, так же любить”.

*А на лужайке Настенька и Ванечка  
веселым смехом радуют гостей  
и белый пух сдувают с одуванчиков,  
и он летит над памятью моей!*

В этой солнечной картине светятся блики счастья — как детского, так и взрослого. Заметим: когда хранит русский человек интуитивное ощущение собственной причастности к роду, тогда и возникает в его душе подобное “райское” эхо...

Умудрённость души и её широта — отличительные черты облика лирического героя Николая Алешкова. Все умозаключения, “хорошие советы” и предостережения автор испытал на себе, и это сказывается в искренности поэтической интонации (“ты сам выбираешь — в добре или зле возрастать”). В его стихах не найти *амбивалентного отношения* к жизни и человеку — здесь поэт открыт, определён. В его голосе слышна сокрущённость, когда он упоминает о своём жизненном пути, который переоценивает и переосмысливает. Бережно берёт всё светлое, живое, порывистое, страстное — и судит свои метания, здесь сюжеты стихотворений достаточно красноречивы.

Между тем, исповедальные строки Алешкова о родном крае становятся свидетельством не только его лирической биографии, но и самой личности.

*Правый берег, поросший лесом,  
левый берег — цветущий луг.  
Здесь крестьянским ржаным замесом  
был я втянут в житейский круг.*

*От истока реки до устья  
рыба плещется под волной.  
Если вдуматься, каждый кустик  
мне с рождения здесь родной.*

*Здесь отец мой всю жизнь трудился.  
Здесь мой дом и моя родня.  
“Где родился, там пригодился”, —  
эта присказка про меня.*

Кама — река, на которой прошло детство автора. Словно в духовном видении, он соединяет её течение с жизнью и космосом: “Я по Каме впадаю в Волгу и взлетаю на Млечный Путь”. Его герой, вкусив благодати из “реки небесной”, внезапно видит родные берега — всё земное, что бесконечно дорого его сердцу. И происходит метафизический цикл слияния земли с небом и неба с землёй. Одновременно возникает согретое воспоминаниями, странное прикосновение “давней” души героя, ещё не повреждённой беспощадными поздними искушениями, к его “изношенной судьбе”.

Очень большое место в поэзии Николая Алешкова занимает любовная лирика. Разумеется, стихи о любви у современных поэтов встречаются часто, однако они практически никогда не становятся приоритетным направлением их творчества. И Алешков оказывается редким исключением из “цехового” правила.

*Целуй же! Мне твои желанны губы.  
Их дикий мёд я только пригубил.  
Не мсти за то, что не был однолюбом,  
что не тебя сильней других любил.  
Рассудит Бог — лишь он меж нами третий.  
А в небесах, где Млечный Путь блестит,  
одну лишь душу я хотел бы встретить,  
которая за всё меня простит.*

У Николая Алешкова любовная тема выходит из собственных берегов и достигает русской природы, дыхания небес, земной тяги и всего круговорота жизни человека. Причём начало этого созерцательного движения дано

в современности — в таком контексте у поэта нет размышлений над историей и её фигурами.

Стихи его отличаются печальной мудростью и мальчишеской безоглядностью, а также завидной простотой, когда из реальных деталей возникает метафизическая дымка любовного чувства. Порой он может изобразить, на первый взгляд, избыточное количество подробностей события, что более свойственно прозе, но почти всегда в его строках есть замечательная недосказанность, “послесвечение” слова. В свою очередь, множество реальных черт происходящего придают достоверность стихотворению, после чего рука поэта сообщает тексту “волшебство” — и он оживает. . .

Алешков обладает способностью передать в строке и черты, доступные глазу, и внутренние, психологические: “Как горестно сжаты и плотно // желанные губы твои. . .”

*Птиц щебетанье в прибрежных кустах  
то ли на Каме, а то ли на Волге,  
ветра порыв, поцелуй на устах —  
долгий.*

Как хороша здесь последняя усечённая строка, протяжное ударение в первом слоге: и форма торжествует, и чувство царит безраздельно!

Не однажды в стихах Николая Алешкова возникает образ журавлей. Обычно в русской поэзии их полёт связан с наступлением осени, когда птицы и родная земля разлучаются и приходят холода. Однако у Алешкова этот образ связан с возвращением на родину: “Мне журавли под осень прокричали, что я по снегу к мамушке вернусь”. Здесь важный, объёмный знак, однако его смысл не выходит за границы житейского распорядка. Тем не менее, подобная “осенняя” дорога в родные края обретает у поэта черты *надмирные*, когда “у бездны на краю // проплывают медленные птицы // к северу, на родину твою”.

У Алешкова тезис “пора подумать о душе” неотделим от телесной жизни, он словно бы спорит с ней и примеривается к границам земного существования. Однако при всех таинственных предчувствиях и предзнаменованиях ощущение полноты жизни от детства до старости сопровождает большинство стихотворений поэта.

Но избежать роковых вопрошаний не удаётся и ему: “Мы тоже уходим, сами не зная — куда”; “Легко ли душе возвращаться, откуда однажды пришла?”

*Когда моя душа простится с телом,  
не сразу мне закрой глаза, скорбя.  
Я, может быть, ребёнком оробелым  
в последний миг почувствую себя.  
Я, может быть, увижу, как вдали  
душа летит к таинственному лону,  
и медленные птицы — журавли —  
за нею вслед летят по небосклону.*

Величие и грозное содержание беспредельного бытия, куда малой песчинкой попадает освободившаяся от брэнного тела душа человеческая, читаются здесь в образе оробевшего ребёнка, который чувствует ещё только самого себя — как средоточие индивидуальной жизни, полной эмоций и тревожных ожиданий.

Знание пути не отменяет сам путь. Вот почему в стихах Николая Алешкова существуют на равных правах прозрения о бытийном круге и смятение человека, стоящего перед неизведанным и бесконечным пространством. Он сам определяет собственную судьбу и преодолевает трудные, нехоженые тропы.

*Придёт и Пасха. Молодой звонарь  
на колокольне свяжет воедино  
небесный купол и земной алтарь,  
и благовест услышит вся долина.*

Небесное и земное, церковное, мирское и природное взаимно соприкасаются, а молодая сила связывает телесное с духовным под весенним светом Пасхи, Господней. Вот где таятся единственные ответы на горькие земные вопросы, к которым каждый подбирает свои слова: тихо, не таясь, коротко и просто.



АЛЕКСАНДР ВАРАКИН

## ПОБЕГ ОТ СЕБЯ

*Олег Рябов. “Убегая — оглянись, или возвращение к Ветлуге”, Н. Новгород, Издательство “Деком”, 2015 г.*

Мой друг привёз мне книгу из Нижнего Новгорода. Я искренно порадовался. Книга тиражом 2000 экз. издана нижегородским издательством. Конечно, говорить о возрождении русской провинциальной книги не приходится, но радостно то, что художественная литература “держится” теперь по регионам. Не увядают писатель хотя бы на местном уровне, о нём помнят, его хоть немного ценят.

Впрочем, об Олеге Рябове так и не скажешь, он печатался в крупных московских издательствах и был финалистом премии “Ясная Поляна”.

Пафоса и некой дидактики в книге немало, даже на обложке сразу наткнешься на две пространные цитаты о Родине. “...Родина — это то место, где ты родился, и вычисляется это место очень легко. Оно закодировано в твоём организме, в генах...” Другая цитата: “Россия — это не страна, не государство, а неопознанный пока геополитический институт, возможно даже одушевлённый...” Так о чём же речь в книге?

Сюжетная линия, вернее — линии романа, просты и понятны. Перед нами три главных героя. Причём их судьбу автор выписывает поочерёдно. С детских лет и до встречи на реке Ветлуге. К сведению, Ветлуга это красивая река, которая протекает в нескольких областях: Костромской, Кировской, Нижегородской... Таких рек у нас много. В каждом региона есть своя Ветлуга, — место, где своя атмосфера, свой живой мир. Место притяжения, место корневое, символическое.

Итак, трое друзей разными путями идут по жизни, хотя начинают свой путь вместе со школьно-студенческой скамьи. Приключения, преступления, первая любовь, жажда наживы и новых впечатлений, а также невидимая и ничем необъяснимая рука судьбы разводит друзей даже не в разные города и страны, а на разные континенты.

Один из них, Андрей, оказывается в Африке. С детства он жил в богатстве, не знал, что такое безденежье. Он и живёт, по сути, ради денег, и за граница, как ничто другое, ему подходит. Папа у Андрея — крупный чиновник, связанный со снабжением области, ему нет ни в чём отказа, а сам Андрей становится известным картёжником. Где карты, там нечестные деньги. Вот и Андрей угодил в тюрьму, в мордовские лагеря. Словом, ничего особенного в судьбе героя нет: криминал, воровские “средства” — сперва папы, потом свои, — и в итоге побег за границу, побег от правосудия, и тихая обида на свою родину, которая оказалась плоха и вытолкнула его за свои пределы...

Когда читаешь первую часть романа, испытываешь постоянное раздражение от этого героя. Он ловок, хитёр, — и очень хочется поскорее “посадить” его за решётку; очень хочется, чтоб его нагрели, наказали, “кинули”, — слишком он удачлив.

Тут-то я и поймал себя на мысли: уж не завидую ли этому “счастливику”: деньги, женщины, удача; ведь даже в тюрьме он находится на особом положении – и ни в чём не нуждается. . . Может, действительно из зависти, хочется, чтобы этому персонажу свернули шею. Ну хоть не в России, то хотя бы в Африке. Оставим пока этот вопрос без ответа, ведь Андрей не единственный герой романа.

Следом за первым персонажем автор описывает судьбу его друга, еврея Лёвы, талантливого парня, впоследствии учёного, который тоже оказывается за бугром, в Америке. Лёва становится “винтиком” богатой “тоталитарной американской системы”. Америка умеет выжимать соки из талантливых людей. Но до отъезда в Америку Лёва успел насладиться богемным антисоветизмом, чопорностью столичной элиты и всем тем, что подпитывало “колбасную” эмиграцию и первой, и второй волны.

Оба друга теперь за рубежом, оба богаты, оба скучают по России, ностальгируют. А чего ностальгировать-то?! Вы, господа хорошие, страну предали, разворовали, оплевали, убежали из неё, считали, что здесь – быдло и “совки”. Чего это вдруг вы завывали ностальгическими голосами?!

Ответ на этот вопрос даёт ещё один персонаж книги – Борис. Судьба его, наверное, могла сложиться похожим образом, ведь он не глуп и мог бы сделать карьеру. Но карьера ему не нужна. Жизненные невзгоды, болезнь, неразделённая любовь приводят его к духовному одиночеству, к уединённости, к листу бумаги, к поэтическому творчеству.

Пожалуй, его образ и переворачивает представление обо всей книге. Они – и нувориш Андрей, и учёный Лёва, сбежавший за деньгами и реализацией своего таланта (кстати, он становится в конце концов не светилом науки, а обычным спекулянтом и торгует в Америке антиквариатом), – так вот эти успешные господа выглядят на фоне Бориса некой шелухой, пустоцветом. Хотя они и богаты, и успешны.

Из трёх героев Борис – самый обаятельный, человечный. И не потому что он поэт, и никуда не стремится из России, и никуда не поедет, и не потому что ему до фени весь столичный и воровской бомонд, а потому, что он цельный, живой. Он ни под кого не подстраивается.

Автор исподволь убеждает – в первую очередь самих героев, а не читателя, – от себя, мол, не убежишь, жизнь конечна, и ничего с собой туда не заберёшь, никакие богатства. За тем ли гонялся, для того ли хитрил и выкручивался?!

Есть в книге и любопытный свод жизненных правил. Вот старый опытный “волк” уходя, оставляет послание из 12 пунктов, которые предлагает своему подопечному повесить на стену. К примеру, такие:

“Дружи с первыми лицами”.

“Будь нравственным. Нравственно только то, что полезно твоей стае”.

Прописывая некую психологию отчуждения к Родине, побег из неё и далее возвращение к ней, автор предупреждает: убегая – оглянись. Но вора, жулика хочется сказать: бегите не оглядываясь! Бегите! Пока не поймали! Родина по вам не соскучится. А ваши слёзы её не разжалобят.

А теперь вернёмся к вопросу о зависти к богатым, успешным дельцам. Нет, не зависть испытывал я, читая роман Олега Рябова, не зависть раздражала меня при чтении о таких удальцах Андреех и Лёвах, а совсем другое чувство. Скорее всего – чувство обиды, обиды от несправедливости. . . А как же зависть? Да вообще возможна ли, естественна ли зависть к жизненным шулерам, которые обманывали и обирали таких, как Борис, плевали на свою страну, бежали за границу, а теперь ностальгируют по речке Ветлуге, где так приятно посидеть у костра? К таким людям зависть невозможна. Ложь, двоедушие и духовная скудость – этому завидовать противоестественно. Но возможно ли снисхождение к этим персонажам? На этот вопрос сам себе ответит читатель, когда закроет последнюю страницу книги Рябова.

Эпилог в романе явно лишний. Читателю и по ходу книги всё становится понятно. “Сидели в темноте, выпив три бутылки водки и выхлебав котелок ухи, два друга, и говорить им было не о чем. А всё равно приятно: приятно молча вспоминать жизнь”. Тут автор явно теряет меру. Вспоминать жизнь после трёх бутылок водки на двоих?! И уж совсем может показаться лишней последняя фраза романа. “Вот такая она русская жизнь – горькая и удивительная”.

Встаёт вопрос, где взять эту книгу, чтобы прочитать. Вопрос не праздный. И хотя книга Олега Рябова продаётся в центральных магазинах Москвы, со всей России до неё не дотянешься. Есть интернет-магазины. Надо, по-видимому, привыкать к тому, что художественная книга становится предметом интернет-продаж. Разыскивать нужное издание на полках местных книжных магазинов или в библиотеках бессмысленно. Однако, Год Литературы, господа!

АЛЕКСАНДР РУДНЕВ

## “МАЯКОВСКИЙ: PRO ET CONTRA”

Под таким ставшим уже традиционным заглавием в прошлом 2014 году в Санкт-Петербурге вышло очередное увесистое издание “Русского пути”, посвящённое личности и творчеству В. В. Маяковского в оценках современных ему писателей, критиков, исследователей, политических деятелей, составленное и прекрасно прокомментированное известным маяковедом, участником группы ИМЛИ, работающей над уже начавшим выходить Полным академическим собранием сочинений Маяковского в 20-ти томах, В. Н. Дядичевым. В этот уже 2-й том антологии вошли критические рассмотрения творчества поэта и отзывы о нём, начиная с 1924 года и заканчивая посмертными оценками и характеристиками, включая 1935 год. Большинство этих материалов перепечатываются впервые с момента начальной их публикации.

Составитель справедливо отмечает в предисловии, что всякого рода “сбрасывания с пьедестала”, “развенчания” Маяковского, сдирание с него хрестоматийного глянца, происходившие в 1990–2000-х годах, оказываются уже, по его мнению, “неубедительными повторами, неудачным “ремейком” словесных баталий вокруг Маяковского 1920–1930-х годов, а “зеркалом русской революции” для нас сегодня оказывают не “лаконичные документальные сведения о героических днях”, а творческие свидетельства подлинных художников – современников событий. Таким “зеркалом” является творчество Маяковского, продолжающего свой путь в бессмертие (с. 8), невзирая ни какие пересмотры и дискуссии, не умолкавшие в течение всего XX столетия, да продолжающиеся и поныне, когда прошло уже 85 лет со времени гибели поэта.

Как известно, литературоведческая, критическая и мемуарная литература о Маяковском огромна. Один лишь перечень публикаций на русском языке о нём за 100 лет (1909–2010), указывает В. Н. Дядичев, занимает “свыше 1800 книжных страниц” (с. 9).

Антология же, которая сейчас перед нами, содержит 6 разделов: “Футуризм и революция”, “От “Ленина” к “Десятому Октябрю”, “От Революции духа к культурной революции”, “От футуризма к футурологии”, “После выстрела в Лубянском”, “От смерти к бессмертию”. Перед читателями, как видим, развёртывается целая панорама критических отзывов о Маяковском самых разнообразных литературных, а также и политических деятелей – от Ю. И. Айхенвальда, К. М. Мочульского, Ю. Н. Тынянова, Б. Я. Бухштаба, Н. В. Рыкова, О. М. Брига до Д. Бедного, М. Е. Кольцова, М. Цветаевой, Андрея Белого, Р. Якобсона В. П. Полонского, А. В. Луначарского, Н. И. Бухарина и заключается знаменитым пассажем И. В. Сталина: “Маяковский был и остаётся лучшим, талантливым поэтом нашей советской эпохи”.

Из множества приведённых материалов становится очевидным, что Маяковского активно не принимали критики и литераторы самых разнообразных

направлений и вкусов, особенно в статьях, рассматривающих футуризм как литературно-общественное течение. Недаром язвительный Корней Чуковский, впоследствии в целом положительно и сочувственно относившийся к поэту, назвал в своей ещё дореволюционной книжке о футуризме Маяковского “хулиганом и кликушей”.

“Уже первые стихотворения Маяковского, – писал Н. Горлов в статье “Футуризм и революция. Поэзия футуристов”, – были криком, который не могла прожевать старая литература. Было ясно, что пришёл в литературу кто-то чужой, большой и грубый, не имеющий ни малейшего отношения ни к её современным идолам, ни к её реликвиям и мощам, пришёл и стал выметать эти “святыни” как ненужный сор” (с. 46).

В критике того времени было также достаточно распространённым сопоставление поэзии Маяковского с эстетикой и литературной практикой экспрессионизма, в частности, и главным образом с творчеством Леонида Андреева, в целом далёкого от Маяковского и чуждого ему, с его “родами, масками, хищниками”, чудовищными гиперболами. И в этом был несомненный резон. Именно так писал о Маяковском в 1920-х годах А. В. Луначарский.

Литературные деятели, ушедшие в эмиграцию – Ю. И. Айхенвальд, В. Ф. Ходасевич, отчасти М. А. Осоргин, – признавая талантливость и своеобразность поэзии Маяковского, всегда присущее ей остроумие, “её надёжность неожиданными, хотя и придуманными образами <...> избытком темперамента” (Ю. И. Айхенвальд), но всё же считали его всего лишь поэтом “агит-лубка”, поскольку, по их убеждению, он никак не возвышался “над элементарностью и трафаретностью” (с. 82).

В. Ф. Ходасевич в большой статье под названием “Декольтированная лошадь” утверждал, что литературная биография Маяковского есть не более чем “история продвижения от грубой пошлости несознательной – к пошлой грубости нарочитой” (с. 248). И в отличие от многих других, писавших о Маяковском, Ходасевич начисто отказывал ему в каком бы поэтическом новаторстве, считая Маяковского отнюдь не “поэтом рабочего класса”, а только лишь своего рода стихотворным рупором “подонков, бездельников, босяков просто и босяков духовных” (так же, заметим, как, например, Р. В. Иванов-Разумник называл Маяковского “ломовым извозчиком поэзии”), в пререволюционные годы “пужавшим” подонков интеллигенции и буржуазии, выкрикивая брань и похабщину с эстрады Политехнического музея”, ибо истинный пафос его был и навсегда остался пафосом “хулиганства, погрома и мордобоя” (с. 252).

А известный дореволюционный критик П. Пильский определил Маяковского как “стихотворного Дорошевича для дураков”.

Но наряду с этим нельзя не заметить и того, что известные литературоведы и критики 1920-х годов уделяли наибольшее, пожалуй, внимание формальной стороне поэтического мира Маяковского. Так, искусённый филолог Ю. Н. Тынянов в известной статье “Промежуток” выводил литературную родословную Маяковского через голову XIX века в век XVIII, ибо, как он считал, “геологические сдвиги XVIII века ближе к нам, чем спокойная эволюция XIX века” (с. 91). Поэтому Маяковский, таким образом, в известной мере как бы “воскресил” и возобновил грандиозный вселенский поэтический образ, утерянный со времени Державина, а отчасти и Ломоносова, так как “стих Маяковского – всё время на острие комического и трагического. Это площадной жанр, “бурлеск”, рассчитанный именно на площадный резонанс” (там же).

В противоположность тем, кто постоянно критиковал и обличал Маяковского за агитационность и рекламизм, близкий поэту О. М. Брик взял на вооружение известный отзыв В. И. Ленина о стихотворении “Прозаседавшиеся”.

“Ленин, – писал О. М. Брик, – не берётся судить, хороши ли эти стихи поэтически. Но если бы они были плохи, он бы их просто не заметил, – и, конечно, никакого удовольствия бы не испытал” (с. 105).

Интересна и во многом показательна рецензия известного ленинградского литературоведа тыняновской школы и критика, совсем молодого тогда Б. Я. Бухштаба на книгу Маяковского 1929 года “Слоны в комсомоле”, в которой, по его убеждению, вместо стихов “рифмованные статьи, не имеющие силы новой мысли, так как это повторение много раз читанных статей, ни силы логической убедительности, доступной только прозе, ни силы поэтической концепции, которой просто нет” (с. 437). Стихи этого сборника отличает, по мнению критика, “поразительная художественная неряшливость” (там же

они сравниваются и сближаются с известной дореволюционной лубочной детской книжкой “Стёпка-растрёпка”.

Читая антологию, можно только удивляться тому, насколько противоречиво в тогдашней критике оценивались такие ключевые произведения Маяковского советского периода, как поэмы “Владимир Ильич Ленин”, “Хорошо!”, “Левый марш”, “Во весь голос”, драматургия – вначале “Мистерия-буфф”, а затем “Клоп” и “Баня”. Один признавали их высшим достижением нового пролетарского искусства в целом, другие же считали всё это “жёванной бумагой”, отказывая означенным произведениям в какой бы то ни было художественной значимости и делая акцент на исключительно их агитационно-лубочном содержании, невзирая на их подлинно-стиховое новаторство, блестящее сатирическое мастерство, острую политизированность и публицистичность. Однако неслучайно некоторые, например, А. В. Февральский, усматривали основную заслугу Маяковского именно в том, что он сделал поэзию публицистической, но в высоко поэтическом смысле этого слова. А что касается драматургии Маяковского, то её сценическое воплощение, как известно, оказалось тогда под силу только Вс. Мейерхольду.

Многие же критики – писали о “чётко утилитарном” искусстве Маяковского, осуждая его за нигилистическое отношение к классическому наследию. Так. Г. Шангели в очень неаполетической по отношению к поэту книге “Маяковский во весь рост” отмечал, что, например, “Толстой, которого Маяковский удостоил заимствованием названия для поэмы (“Война и мир” <...> оказывается годен у него только для непристойного сравнения:

*– И с неба смотрела какая-то дрянь  
Величественно, как Лев Толстой”* (с. 194)

или же пьесе “Баня” Толстой назван совершенно издевательски “величайшей медведицей пера” (там же).

Но удивительно одно: никто из тогдашних критиков так и не пришёл к столь беспорному и очевидному выводу, что поэзия Маяковского – это чистой воды авангардизм даже в своих наиболее, казалось бы, одиозных советско-агитационных проявлениях.

Помещённые в издании многочисленные отклики на неожиданную и трагическую кончину Маяковского (Я. Агранов, Н. Асеев, Д. Бедный, Д. Бурлюк, С. Третьяков, И. Беспалов, Д. Заславский, Ю. Тынянов, Г. Фиш, Д. П. Святополк-Мирский, Л. Д. Троцкий и др.) объединяет в первую очередь один и тот же основной и доминирующий мотив – подобно Пушкину, ушёл из жизни 37-летний поэт, составивший эпоху в отечественной словесности нового революционного времени, оставивший такой след, равного которому, пожалуй, в определённом смысле не было в истории литературы. Такой преимущественно смысл всех откликов, но имевших отнюдь не только поминальный, некрологический характер. Отголоски прежних жарких дискуссий ошутимы в них, хотя, конечно же, ругань, которой осыпали Маяковского при жизни, уже во многом потеряла смысл. Маяковский стал рассматриваться и оцениваться на некотором расстоянии, так как урна, захороненная на Новодевичьем кладбище, навсегда отделила его от живых, в том числе и тех, с кем он, по его словам из предсмертного письма, не успел “дурнуться”.

Так, А. В. Луначарский впервые публично признал, что “в великом целом жизни Маяковского были две необходимые друг другу стихии: эпическая, широко общественная и лирическая, глубоко интимная. Трубы и литавры великой борьбы, “флейта-позвоночник” (с. 487). Но Маяковский “разбился о быт как частная личность” (с. 489).

О “новых революционных обязанностях” стихового слова Маяковского написал в своей некрологической заметке упоминавшийся Ю. Н. Тынянов. Для поколения своих сверстников и современников он был, по выражению критика, их “новой волей”. И его стихи были явлением не книжного, а скорее уличного, сугубо публичного порядка, ибо он вёл сознательную борьбу за гражданский строй поэзии, тем самым во многом “наступая на горло собственной песне”, будучи – проникновенным лирическим поэтом (с. 498-499), хотя далеко не все это признавали как при жизни, так и после смерти Маяковского.

Наиболее же отчётливо и выразительно путь Маяковского в будущее и к бессмертию отражён в последнем разделе книги “От смерти к бессмертию”,

который, как нам представляется, удачнее было бы озаглавить “Смертию смерть поправ”. В этих заметках, откликах и статьях ещё всё-таки не вполне стихнувшие споры о значении Маяковского перебиваются утверждающим глубоко позитивным тезисом о том, что “Маяковский был великим мастером своего искусства, деловитым и пылким, вдохновенным работягой. Он был подлинным новатором в литературе” (Л. Якубинский, с. 593). А и будущее, воскрешающее людей настоящего – это не только поэтический приём (поэма “Война и мир”. – А. Р.), не только мотивировка причудливого сплетения двух повествовательных планов. Это сокровенный мир Маяковского” (Р. Якобсон. “О поколении, растратившем своих поэтов”, с. 609).

Таким образом, можно заключить, что все pro et contra оказались всё-таки взвешенными в этой мозаике самых разнородных и разнообразных критических суждений о великом поэте, интерес к которому не исчезает до сих пор, чему наиболее показательные свидетельства – новое научное издание сочинений Маяковского, строящееся по жанрово-хронологическому принципу, где он представлен ещё и как талантливый и интересный художник, работы о нём современных исследователей, написанные на высоком уровне современного литературоведения и с большой любовью к предмету и, кроме того с привлечением многочисленных, ранее лежавших под спудом материалов и источников. Та что, если перефразировать заглавие известной поэмы Н. Асеева – “Маяковский продолжается”.

---

*Информируем читателей, что в номерах 1—10 за 2015 год редакцией реализуется разработанный ею социально значимый проект “Славянские ручьи...” Литература Республики Беларусь”.*

*Проект осуществляется при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.*